

---

# Владимир Дружинин Державы Российской посол



Текст подготовил Ершов В. Г.  
«В. Н. Дружинин. Державы Российской посол: Роман»: Советский писатель; 1982

## Аннотация

Главное действующее лицо романа – Борис Иванович Куракин, выдающийся дипломат эпохи Петра I. В книге показана деятельность посла на благо родины, нарисована широкая картина жизни России и Западной Европы в начале XVIII века.

Роман написан на документальной основе. Его острый сюжет подсказан историей того времени, изобиловавшего военными конфликтами, заговорами, интригами. Автор использовал печатные и архивные материалы на разных языках, собранные им в нашей стране и за рубежом.

## Владимир Николаевич ДРУЖИНИН ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ ПОСОЛ

### МЫШЕЛОВ

#### 1

Во дворце было полно мышей. Кошки разжирели, обязанность свою исполняли нерадиво. Утром царица Наталья открыла ларец с ожерельями и вскрикнула – даже туда ухитрилась забраться вороватая тварь.

Борис похвастал: есть у него дома кот, злой-презлой, вмиг переловит мышей.

– Тащи, – сказал Петр.

Однако вышел конфуз. Рыжий, лохматый мурлыка оробел, оказавшись в царских покоях. Лапы вязли в пышных коврах – какая уж тут охота! Смущало кота многолюдство, слепил глаза блеск парчи и бархата, сбивали с толку запахи благовоний, ладана, шалфея, мяты, залежей старых кафтанов, шуб, телогреек, траченных молью. От кремлевского колокольного грома, бившего в слюдяные окна, Ерофей – матерый, выдавший виды котище – зябко ежился, терся об ноги хозяина.

– Ужо обвыкнет, – защищал Борис своего любимца. – Вот посижу с ним...

– Сиди, Мышелов!

С тех пор и пошло. А кот получил кличку Франц – в честь учителя Тиммермана, толстого, медноволосого гамбурганина. Его царское величество все переиначивает по-своему.

Борис Иванов сын Куракин, состоящий при юном царе в спальниках, – мальчик хворый, тщедушный. То чирьи одолевают, то занеможет горлом либо грудью. Врачи не то что лекарства – и названья болезни не подберут. Страждет, коротает время в горнице.

День впереди длинный. А ночи у царя короткие: он вскакивает чуть свет, будит спальников, стягивает с лавок за ноги. Кто не очнется сразу – лбом шмякнется об пол. Айда, шнель, экзерциция!

– Ох, Мышелов ты несчастненький!

То царица Наталья. Лицо ее чаще всего печально, черные брови в изломе. Говорят, обижают ее царевна Софья, правительница. Иногда, заглядевшись на сына, на резвящихся спальников, рассмеется Наталья Кирилловна звонко, по-девичьи, и опять затуманится.

Борису рассказывали страшное. Во дворце буйствовали стрельцы, убили двоих Нарышкиных – сродников царицы. Кровь на коврах, мертвые тела, посеченные саблями...

Тоскливо было бы одному с котом, да приохотился Борис читать. Под рукой – ларь с книгами, кладезь неизведанного.

– Ты бы божественное взял, Бориска. На-ко! О трех отроцах, в печи сожженных. Я обрелась.

Царица сует под локоть Жития святых. Петушиным гребешком поднялся огонь в печи, почти поглотил отроков, лижет им подбородки.

Огорчать Наталью Кирилловну стыдно. Да что поделаешь – пленила другая книга.

– Своевольники вы все с Петрушей. Ну, что тут доброго? Бесы одни, бесы, прости господи!

Сердится она ласково. Борис благодарен ей, – сколько раз выручала, выволакивала из кутерьмы плачущего, втискивала леденец в упрямый, дрожащий от ярости кулачок. И все же нет, не отпускает дивная книга.

Лежала она на самом дне ларя, забытая, уже наскучившая Петру. Царь на четыре года старше спальника. Пришлось выгрести сочинения, напечатанные латынью, числами, толкование светил небесных. Едва не надорвался, вытаскивая пудовую «Александррию».

– «Напали на Александра летучие жены дикие, – читает спальник вслух, – и он избил их множество. И повелел жечь тростник, где оные обитали».

Искусники-ярославцы, изготовившие книгу, не пожалели красок на лютых жен – пегих, с черными крыльями, на желтых муравьев величиной с волка, на свирепых великанов, обросших рыжей шерстью.

– Сказки, Мышелов, – смеется царь.

Он вроде Александра Македонского – ничего не боится. А сильный какой! Даже из сверстников никто не переборет, не перегонит, где уж тягаться младшему, замухрышке Мышелову! Борис состязается с царем лишь в мечтаниях. Раз ночью проснулся с воплем – бежал будто бы с Петром взапуски и упал, задохнувшись. И тотчас окружили великаны с дубинами.

Летом царское семейство переезжает в Измайлово. Тамошний дворец – деревянный, утыканный башенками, в кружеве резных наличников, коньков, крылечек – понравился Борису. А Петр является под крышу только ночевать. Возится с магнитом, с подозрной трубой, лягушек потрошит. Пуще же всего полюбилось царскому величеству управлять потешным войском.

Одних спальников для ученья уже мало – ему надо полки набрать. Борису тяжело. Ладони в крови – так прилежно роет траншемент. И все равно, мнится, – он самый, самый последний. Тужится, взваливает на себя бревно потяжелее, обдирает плечо, шею. Рубаха вся в коросте смолы, словно панцирь.

Бревна пилят, обтесывают, по краю траншементов ставят ограды, рекомые шанцами. От траншементов тянутся щели-апроши, прорезанные в земле сколь можно ближе к позициям неприятельским.

Кончили рыть – айда плести фашины из камыша, из веток, укрывать от вражеского глаза

артиллерию – рядок мортир, заряженных нешутейным порохом и пыжами. От фашин достается пальцам Бориса – кровоточат, ноют, ложку не удержать.

– Шевелись, Мышелов! Сам ты раздобрел, как твой кот.

Хорошо, хоть заметил Петр. Теперь редко кинет взгляд на Мышелова. Настырно лезет к царю Алексашка Меншиков. Откуда он взялся? Говорят, на базаре пирогами торговал.

Гремят потешные баталии. Бьются войска истово, есть раненые, сраженные насмерть. Помоги бог задавить в себе страх! Кидаясь на штурм, Куракин криком раздирает рот:

– Берем короля-а, ребята-а!

Ругает супротивного короля сквернейше, а потом глаз поднять на него не смеет. То Бутурлин, человек почтенный, в летах.

А царь потехами не насытится. Роясь в амбаре, наткнулся на старый бот – заброшенный, разохшийся, заваленный рухлядью. Только бушприт торчал – клыкастый морской змей. Тиммерман сказал, что бот английский, строен манером наилучшим.

– Ходить способен двояко, государь, – на фордевинд и на бейдевинд.

– И на бейдевинд? Врешь! – загорелся царь.

Вскоре Куракин услышал от немца:

– Его величество рожден под парусом. Посмотрите, сиятельный князь! На Язуе ему тесно.

Из ближних людей Петра один Тиммерман ни разу не назвал Бориса Мышеловом.

– Бей-де-винд, – шептал спальник, работая топором, воздвигая бесконечные шанцы. Привязалось слово, «Бейдевинд» – значит «против ветра». Полюбопытствовал, – пошел на Язуу, втиснулся в толпу, наблюдавшую маневры царского корабля. И верно – ловко! Не попроситься ли в матросы?

Замечтался, хватил себя топором по ноге. После того две недели пролежал.

Шли годы. Пора детства для спальника еще не минула, а царь возмужал богатырски. Наталья Кирилловна сетовала – удружил немецкий учитель, сатана пузатый! Научил своему языку, ввел в искушение. Петр пропадает в Немецкой слободе, якшается с иноземцами. А в народе ропот. Того жди, опять Софья стрельцов натравит.

Бориса тревожил дух неведомых удовольствий – от царя попахивало нездешним вином, копотью табацкой. Увы, те новые забавы спальнику настрого заказаны.

– Ты кто таков? Страж домашний, кошачий наставник. Забыл, что ль?

А то вымолвит непонятно:

– Блюди дом, Аргус неусыпный!

Борис опять взаперти, на спине и под мышками вскочили чирьи, не работник он и не солдат.

– Дай срок, в твоих коготках турки запищат, – сжалился царь. – Вот как начнем воевать...

Живого турка Борис не встречал. Из пленных, содержавшихся на Аглицком дворе Кремля, большая часть – поляки. Турок не было. На картинке визирь оттоманский топорщил усы, грозил кривой саблей. На голове – вроде одеяло, скрученное жгутом. Смешной!

Царь говорит, едва сыщется владыка сильнее турецкого султана. Цесарь римский и тот не удержал бы свой стольный город Вену, если бы не имел союзников. Борис измерил владения султана на глобусе. И точно – куда цесарю!

Неужто пойдем на турок? Аврашка Лопухин – спальник, однолеток – заржал:

– Гы-ы-ы! Царь с женой будет воевать. Гы-ы-ы! В постели.

– С какой еще женой?

– Со своей, башка тухлая!

– Женится? Не может быть!

– Угадай, кого сосватали? – пристал Аврашка и похвастал: – Евдокию, мою сестру!

– На кой ему!

Еще немного – и подрались бы спальники. Залилась труба, позвала на позицию.

Аврашка Лопухин среди комнатных царских отроков самый неповоротливый, а многое вызнает раньше всех. Кличка ему от царя – «Мешок». Бывал Аврашка мешком с овсом, с салом, с кишками пороссячьими и кое с чем похуже.

Борис негодовал, злился, воображая Аврашкину сестру. Отворотясь не налюбуйешься!

Царю не исполнилось семнадцати, когда его обвенчали с Евдокией. Спальники приставили лестницу к церковному окну, лазали по очереди. Евдокия рядом с Петром – крошечная, нарумяненное личико будто неживое. Похоже, куклу дали царю поиграть. А он сейчас отшвырнет ее, скинет золотом шитую ризу, оставит митрополита, попов, растолкает всех...

От старых людей Борис слышал, как, бывало, женились цари. На версту растягивался свадебный поезд. А тут в церковку загородного дворца вместились лишь родня жениха и невесты. Рядом поле, пасутся, звякая бубенцами, коровы, пахнет молоком.

– Красавица! – доносилось до Бориса во дворце. – Приголубит царя. Теперь-то остепенится.

У Бориса в памяти – кукла, закутанная в шелка, в бархаты, в платы.

На пиру, со взрослыми, спальникам не место. Наталья Кирилловна угощала их отдельно. Аврашка, давясь пирогом с дичиной, сообщал: царевна Софья нарочно уехала на богомолье, чтобы не быть на свадьбе. Жди ноне беды. Голицыны, все трое, заступились за Софью. Санька Прозоровский, придвинув к себе жбан с медом, пророчил – потешное войско распустят. На что оно царю, коли он женатый! Хлебнули сладкого вина, загалдели, стали швыряться корками, костями.

Аврашка подливал Борису, подмигивал соседям. Борис понимал, что его решили напоить, но не противился. Все равно уж... Тоска легла на душу. Старший Хилков вон радуется, говорит, побросаю в речку фузею, ремень несносный. Пушай тонут!

– Осел ты! – крикнул вдруг Борис, расхрабрившись. – Царь самого тебя утопит.

А ведь и ему, Борису, опостылела фузея. Редко удавалось в нужный срок зарядить, снять багинет, вложить в ножны, выстрелить и вставить острый багинет обратно в ствол. Намучаешься.

Аврашка обнял, пододвинул кубок... Вино согревает, туманит, – Голицыных за столом уже с полдюжины. Смешно... Младший Хилков лепит из мякиша человечка, выудил сливу из рассола – приделал башку. Смешно...

– Бросайте фузеи, дураки! – шепчет Борис. – Бросайте! И ладно, я один с царем буду...

Обхватил кубок, осушил до дна, чтобы еще веселее стало. Полез в жбан – заесть мальвазию сливами, ощутил чьи-то пальцы. Сцепились, опрокинули жбан. Борису что-то кричали, – разобрать он не мог, голоса слились в одно пчелиное гуденье. Как был – со сливами в горсти, в праздничной бархатной ферязи до пят, – съехал на пол.

Очнулся на рассвете. Что-то копошилось под ферязью, обернувшейся вокруг ног, клевало то в колено, то в ляжку. Мышонок!

И верно – Мышелов...

## 2

Дворов столь богатых, как куракинский, в Москве мало. А на Мясницкой улице такой один.

У других иконы на воротах раздетые, покоробились, а тут божья мать в серебряной ризе. Тын высокий, дубовый. Палаты каменные, что снег, – каждый год подновляют побелку. По углам – башни: на одной витязь с железным копьем, на другой орел, на третьей солнце. Четвертую великим ветром снесло.

Дым над боярской усадьбой из полусотни труб. Мыльня, портомойня, коровник, курятник, стойло для отборных лошадей донской породы, сарай для возков и саней, сиречь по-новому каретный, – город целый шумит. Позади палат, на поляне, среди яблонь – помост для скоморохов, возведенный еще при покойных родителей Бориса. Особенно мать – урожденная Одоевская – жаловала всякого, кто на гусях играет, или огонь ест, либо по канату ходит.

Мать Бориса умерла через три недели после родов. Отец в его воспоминаниях – лихой всадник с чертами лица неясными. Верховую езду князь Иван любил до помрачения. Приучил Михаила, старшего сына, посадил в седло и Бориса. Шестилетний седок хныкал, цеплялся за

гриву, валился на грудь стремянному. Однажды тот не изловчился поймать – Борис ударился оземь. Думали, не выживет.

Вскоре после того князь Иван Григорьевич уехал на воеводство в Смоленск и оттуда не вернулся.

Бабка Ульяна ничего не велела менять после князя. Зеркало в светлице так и висит неприкрытое, как водится у поляков. В углу пузатится глобус в три обхвата, под стать тому, что во дворцах. Комнатная девка каждую неделю трет дресвой его медный полуобруч, трет чернильницу, медную же, в виде почивающего кентавра.

Родительница матери Бориса, бабка Ульяна Одоевская, переселилась в куракинский дом, дабы не оставить детей в сиротстве. Села в кресло князя, забежала острыми глазками по столбцам цифири, по реестрам прихода и расхода. Оказалось, боярыня ведет счета, правит домом, вотчинами, яко муж мудрейший. На слово никому не верит.

Старушка махонькая, а за версту летит ее пронзительное:

– Ох, спущу я с вас жир!

Дворня, тягловые мужики, старосты – все трепещут перед бабкой. Чуть что – кнут, батога, отсидка в холодной избе, за конюшнями. Невольно Борис щупал себя – не жирен ли. Боялся гнева бабки, боялся и ласки. Рванет она к себе, впившись ногтями, взлохматит голову или стукнет слегка по загривку – угадай, серчает или жалеет.

Бориса отдала на службу сама.

– Тебя к царю за пазуху. Куда же еще?

При этом сжимала рот скорбно. И на службе не чаяла успехов от хворого.

Нежданно притопал домой фузелер в кургузом немецком кафтане. Штаны чуть ниже колен, чулки, башмаки с пряжками, все нерусское. Никогда не бывало ни Куракина, ни Одоевского в подобном виде.

Аграфена – кормилица Бориса – запричитала, грела княжеские ручки в своих, окропила мозоли слезами.

– Батюшка! Милый, сердешный...

Бабка цыкнула, прекратила стенания. Так, значит, надо. Может, отскочат болезни, сгинут вместе с лишним жиром. Царю не укажешь. В его воле выбирать потеху, какую похочет.

Уединившись с Борисом, выпрашивала новости. Недослушав лепет внука, принималась судить и рядить. Царь должен быть один. Кого чтить – Петра, Ивана или Софью? Ошибешься – не дай бог!

После женитьбы Петра бабка ополчилась на Лопухиных. Ябедники, горлодеры, пустобрехи. Вся их знатность – на площади, среди таких же бессовестных.

Была она сильно не в духе, – встречала на Москве-реке на куракинской пристани струги с мукой, и один едва дотащился: кормщик зазевался на перекате, налетел на камень. Днище пробито, мука попорчена.

– Народилось их, Лопухиных, как цыплят. Тьма тем. Все во дворец хлынут. Лопухинское царство настанет. Царя совсем с толку собьют. Подсунули ему Евдокию-дуру, ныне всей оравой навалятся.

Борис не спорил. Известно, фамилия не весьма значительная, шляхетство среднее.

– Положим, – поправилась бабка, – Лопухиным не властвовать. Мелковаты. А великие где? Нарышкины, Голицыны грызутся – шерсть летит. Стрельцы сабли точат. А чего добились?.. Отвратило, отвратило царя от старых фамилий.

– Отвратило, – согласился Борис.

– Кто Петру Алексеичу разумное слово скажет? – продолжала бабка, распаяясь. – Лефорт, что ли, пьяница? Ты видел ли Лефорта? У него будто в саду вино бьет фонтаном. Блудница голая полощется, завлекает царя.

В компании с Лефортом спальник еще не бывал. Лишь два года спустя царь обрадовал, позвал с собой к швейцарцу.

Немецкая слобода в воскресный день тиха, улицы пустыньны. Дремлют вороны в теплых шапках-гнездах. Кирка глухо, словно шепотом, отбивает часы над крутыми крышами.

Гости ворвались в слободу бурей, кучера нарочно орали на лошадей, чтобы расшевелить басурманское гнездовье.

Лефорт, чисто выбритый, отмывшийся после потешных марсовых действий, бледный от пудры, стоял у калитки, кланялся всем одинаково, не шибко утруждая поясицу. Только перед царем изволил согнуться чуть пониже.

За столом поместились без разбора, – проныра Меншиков и тут к государю под бок. Спихнулся, однако, пересел подале. Внимание Бориса отвлекли диковинные кувшины с цветами, сосуды с винами, солонки из стекла и серебра. Сосед подался к Борису, молвил в ухо:

– Монсеха...

Спальник поднял глаза и тотчас зажмурил – от искрометного, неопишемого. Светляки-самоцветы на шее, в волосах. Грудь почти вся наружу. Села рядом с Петром, напротив Бориса, заиграла лицом, вишневого налитостью губ.

Царь режет ей мясо, говорит что-то. Она отвела черную прядь, кивнула, смеется. Хоть бы один взгляд ее перехватить, обратить на себя. Нет, никого не замечает, кроме царского величества.

Пожаловали еще женские особы. У каждой грудь, как у Анны Монс, – прикрыта лишь наполовину. Неужто все блудницы? Анна всех лучше. А ведь отец, сказывают, вином торгует. Куда до нее Евдокии-кукле!

Борис сдерживал себя и все-таки глядел, ревниво глядел на Анну Монс, на женское великолепие, достойное токмо царя. Тяжелел сердцем, пил вино французское, венгерскую мальвазию, молдавскую романею, немецкий шнапс, пил и не пьянел, пораженный новизной напитков, блюд, одежд, запахов, музыкой клавесин, часами, из коих показывались бородачи в шлемах и нагие нимфы – сиречь лесные девы. Пуще же всего был поражен спальник недостижимой красотой Анны Монс.

Не сразу коснулся слуха голос Лефорта, – швейцарец хвалил молодого принца за умение пить.

– Это про тебя, – бросил Бутурлин, в батальях король польский.

Куракин сделал политес – произнес по-немецки спасибо и пожелал хозяину здоровья. Тиммерман нашел, что принц прекрасно усвоил произношение, отчего последовало дальнейшее приятство. Царь крикнул, кинув спальнику грушу:

– На! Молодец, Мышелов!

– Ми-и-ше-лов? – нежно пропела Анна Монс и кошечкой потерлась о царское плечо.

На другой день, проспавшись, хлебнув рассола, Борис сказал бабке Ульяне:

– Девица изрядная.

– Ведьма она, сказывают. Околдовала царя.

– Амур, – сказал Борис и вздохнул завистливо.

– Чегой-то?

Как объяснить бабке? Любовь – не то. Любовь – она больше в книгах божественных. Отроки, объятые зубчатым пламенем, горели не ради женского пола, а ради христианской веры. Для грудей, едва укрытых, скорее применимо иноземное – амур. Для принца, для принцессы – тоже. И Лефортиха, звеня клавесинами, взывала: «Амур, амур...»

Бабка Ульяна посуровела, почуяв табачную горечь, исходившую от внука, и вдруг лукаво подмигнула:

– Ты принес бы щепотку, а? Умру и не попробую, что за табак.

Между тем в государстве настали перемены. Петр начал править самолично. Царь Иван – болезненный, убогий умом – безропотно заканчивал свой век в дальних покоях дворца, под благовест соборный, под бормотанье знахарей. Софья попыталась оспорить порфиру у Петра, снова разожгла забияк-стрельцов, но силы своей не соразмерила. Головы бунтовщиков скатились с плахи. Оставшиеся стрельцы рассеяны по городам, по командам. Софья с непомерной своей гордыней – в заточении, в стенах монастырской кельи.

Потрясения эти не так растревожили бабку Ульяну, как весть, доставленная Борисом:

– На турка пойдем войной.

– Тьфу! – озлилась бабка. – Пустое несешь. На турка... С Крымом и то не совладали...

Сомнения бередили и Бориса, однако его будто черт дергал за язык. Турка побить надо непременно. Он нам Дон закрыл, нам в море надо выйти. Неудача крымских походов – нам наука. Найдется полководец поискуснее Голицына, любимца Софьи. Соберем новое войско,

иноземными хитростями заарканим турка.

Борис выложил бабке то, что царь Петр твердил потешным. Она чуть не кинулась на внука.

– Лефорт мутит, сукин сын. Море, вишь... Что, у нас рыбы мало?

Бабка долго не могла успокоиться. На что нам море? За воду кровь отдавать? Немцам нашей крови не жалко. Сколько людей потеряем зазря! И так пашню пахать некому. Шатость, леность, мужики к казакам бегут. Еще турка воевать... Поди-ка, съест волка наш теленочек!

– И ты воин, – сказала бабка, помолчав, сокрушенно. – Тебя только не хватало...

Вечером объявила внуку свою волю. Довольно с него службы. Пускай скажется немощным, негодным для потешек. Если в самом деле толкнут немцы Петра против турка, забава обернется гибелью.

– Я подсоблю тебе. Съезжу завтра в Кремль, у царского крыльца постою часок-другой. Может, увижу кого... Уж к пасхе всяко скинешь это бесстыдство кургузое.

Усмехнулась, царапнула ногтем по рукаву кафтана. Борис не двигался, смотрел в пол.

Случалось, фузелер Куракин сам подумывал избавиться от экзерциций, уйти от странного наваждения, которым оковал его Петр. А тут... Бабка отшатнулась – так упрямо, зло выдалил Борис, скрипнув зубами:

– Не скину.

Видя упорство внука, бабка не смирилась нимало. Коли нельзя увести его от царских пороховых забав уговорами, следует испытать иное средство. Поразмыслив, бабка объявила Борису, что ему пора жениться.

Спешить ему нет нужды. В день свадьбы Петра он обещал себе жениться в том же возрасте, через четыре года. Лета еще не вышли. Ум направлен на другое – велено сдать экзамент на прапорщика. А тут, как нарочно, напала болезнь, вскипает на теле волдырями. Спасибо лекарю – сажает на горячий пар, пускает кровь. Кажись, полегчало.

У бабки расписаны не только полтины оброка с каждого двора, десятины, меры зерна.

– Мне, Бориска, годить недосуг, – сказала она, оторвавшись от приходной книги. – Я после рождества умру.

– Не умрешь, поди, – вымолвил внук, холодея. Слово у бабки не расходилось с делом.

– Умру, – отрезала бабка. – До свадьбы твоей, верно, не доживу, а сговорить уж позабочусь.

Раскаленная печь в светелке будто погасла. Запахло тяжело, чадно – похоронными свечами. Бабкин голос отдалился:

– Лицом она не уродина... Деревни у них...

Бабка перед Борисом – в открытом гробу, а губами шевелит почему-то...

– Лопухинские земли не меряны...

Фузелер слышал и не понимал, пока громом не ударило в уши: Ксения! Ксения Лопухина! Неужто сестра царицы?

– А кто же? Одна у них Ксения.

При чем же тогда земли? Хоть бы вовсе их не было. Свояк царя! Такое не посещало голову Бориса. Свояк царя! И вообразить не смел столь высокое расположение фортуны.

Тогда, стоя на утлой, трещавшей лестнице, приплюснув нос к окошку церкви, Борис никого не успел разглядеть, кроме Петра и Евдокии-куклы. Не уродина Ксения – и то ладно. Вестимо – не Анна Монс. Что ж, такая краса, как Анна Монс, и царю не досталась в супруги.

Свояк царя! Он, Мышелов...

Уверился в своей удаче окончательно лишь в день обручения.

Обряд правила бабка. В присутствии гостей надела кольца: Борису – железное, в знак мужской силы, Ксении – золотое, в знак нежности и непорочности. Так, сказала бабка, заповедано Димитрием Солунским.

Лишь на мгновение приподняла бабка покрывало невесты. Вопрошающие девчоночьи глаза зыркнули на Бориса, и больше ничего живого не проступило из облака накидок, лент, кружев, жемчуга.

Не заметил, как исчезла невеста. До нее ли тут! Бориса распирала гордость. Лучшие фамилии празднуют заключение его родства с царем – трое Голицыных пожаловали, двое Одоевских, Петр Долгоруков, Василий Салтыков, Петр Прозоровский... Рассаживались за столом по старшинству. Впоследствии Борис перечислит их всех в своих записках – кто за кем сидел, за кем ехал в санях. Не забудет ни одного.

Сладость невестиных духов держалась в палате краткое время, – перебивал запах свежей краски. Живописец вывел накануне на потолке столовой солнце и планеты, бегущие вокруг оного. Борис задирает голову, приглашая гостей сделать то же, – вот, мол, сколь потрачено золота!

Угощались ветчиной, осетриной из промерзших бочек, пили водку, брагу, квасы ягодные, лакомились сладкими заедками – пастилой, орехами в меду. Речи пошли хмельные, дерзкие. Старшие порицали царя. Потехи затеял – хоть плачь. Изволь давать ему людей для военных забав, с пашни, с огорода! Тысячные полки набирает, для потехи... А какая оттого прибыль боярству? Никогда столько обид не терпели, разве при Грозном...

Молодые, блюдя приличие, молчат. У Бориса в душе смятение. Пока слушает, готов поддакивать. Сам начал бывать на всепьянейших соборах. Сам видел, как плясал, пел похабные песни Матвей Нарышкин – шутейный патриарх. Как ронял с башки жестяную митру с образом Бахуса, как звенел облачением, униженным флягами и бубенцами. И все же, стоит ли он сострадания?

«Муж глупый, старый и пьяный», – напишет о нем Борис, не скрывая презрения.

Здесь же, под косыми взглядами седобородых, фузелер Куракин словно на кадке, дышащей паром в голое седалище. Старики шуряются, пытаются – каково служить нынешнему царю? Толкуют, есть ли расчет тянуть лямку. Прежде боярину – и должность боярская, всяческое кормление и, само собой, почет. Прапорщиком станешь? Эка! Велико ли оно, прапорщицкое жалованье? А полковник, чай, иноземец.

Аврашка Лопухин, тот сказался немощным, от экзерциций стараниями сестры отчислен. Умный пример Борису. На царя не уповай, о своем доме, о семье имей радение.

Аврашка и без того жирен, боров сопливый. Немощен! Лениью называется та немощь. Борис от злости наливался водкой. Чирьи разболелись пуще. Утром стонал, натягивая на себя военное, чистил Аврашку, старцев, женитьбу.

Вскоре после рождества бабки Ульяны не стало. Умерла спокойно, словно подвела урочную черту, завершила счета, занесла в реестр все рубли, все десятины, меры зерна.

Свадьбу Борис сыграл полгода спустя, в июле, и тем не менее была она омрачена сиротством. Не тот порядок, как при бабке, не то угощенье. То пересол, то недосол. Ксения лишь к концу пиршества открыла лицо. Борис пил и не пьянел – робел перед брачной ночью.

Очутившись наедине с женой, в спальне, вспомнил полнотелую Лукешку – портомойку, которую ему указала бабка для экзерциции амурной. Придя в отчаянность, схватил Ксению и кинул на кровать – точно так, как обходился с той, на сеновале. Рвал бархат, шелк, полотно, прорываясь к женщине, слепо натякался на застежки, бранился, изнемогая от неподатливости бесконечных, непроходимых одежд.

Воистину мужем и женой они, измученные метаниями, жарой, сделались на рассвете. Ксения, пряча лицо в ладошки, прошептала:

– Рожать скоро?

– Завтра, – бросил Борис, засмеявшись. Потом успокоил, видя, как жену заколотил плач.

С брачного ложа – в полк, на потеху, в точности как царь. Офицерский экзамент предстоит отвечать не словами, а делом – в баталии.

Осень подарила москвичам зрелище небывалое – через весь город прошествовали потешные войска. Полк Преображенский в зеленых мундирах, полк Семеновский в синих, отряды налётов и нахалов, полки Бутырский, Лефортовский, а впереди не воевода в латах и в шлеме и не царь, а кривобокий царский шут, ковылявший в ботфортах и в огромной шляпе с перьями. Рать двигалась к Симонову монастырю и дальше, на поле близ деревни Кожухово, где возвышалась крепость короля польского.

Королем был все тот же Бутурлин, а победить его надлежало Федору Ромодановскому, шутейно возведенному в градус короля Пleshпурхского.



«Любил пить непрестанно и других поить и ругать и дураков при себе имел и ссоривал и приводил в драку и с того себе имел забаву» – так напишет Куракин о князе Ромодановском, состоявшем на соборах в ранге кесаря, а по службе – главой зловещего Преображенского приказа.

Кожуховское сражение затянулось, – мешали дожди и именины Лефорта. К тому же поначалу не соблюдались правила игры – бомбардир Преображенского полка Петр Алексеев гневался и приказал польского короля, уже побежденного, вернуть в крепость и войскам занять прежние позиции. Наконец стрелецкие полки короля, роты московских дьяков и подьячих были смяты и сам король, со связанными за спиной руками, был доставлен к царю-бомбардиру – праздновать завершение презнатной потехи.

Царь в бою отличился, взял в плен стрелецкого полковника, но повысить себя в чине не захотел, пожелал остаться и впредь бомбардиром.

Воинский экзамент на кожуховском поле сдали тысячи, и в их числе Борис Куракин. Одно огорчительно ему – он и Петр в разных полках.

За потехой, как и ожидалось, последовал поход нешуточный. В январе 1695 года, в ясный морозный день, глашатай объявил с дворцового крыльца в Кремле всей Москве, притихшей под шапками снега, всему народу – его царское величество решил идти войной на крымцев.

## РИМСКИЙ ОРЕШЕК

### 1

После обеда, как обычно, Леопольд удалился в свой китайский кабинет.

Озаренные скупой тремя свечами, поднятыми охотницей Дианой, струились перламутром гнутые ножки клавесин, белели листки нотной бумаги, раскиданные по письменному столу, по ковру. На портьерах золотились усеянные шипами драконы, пагоды, выгнутые мостики, лодки. Погрузившись в кресло, император полчаса дремал, а затем, выпив чашку крепкого кофе, принялся за работу.

Император пишет музыку.

Теперь горит люстра, и любопытные купидоны, свесившись с ее обруча, пытаются понять, что означают крючковатые каракули, которые глава Римской империи быстро, нетерпеливо наносит нетвердой старческой рукой.

Музыка для Леопольда отнюдь не прихоть. Если бы не безвременная смерть старшего брата, ближайшего наследника престола, он с юности отдался бы искусству. Так, по крайней мере, утверждает император, и так – то всерьез, то с усмешкой – говорят в Вене.

Стекло звенят струны клавесина, – то Леопольд, отбросив перо, проигрывает написанную фразу. Благоклонно следит за ним Маргарита-Тереза, первая его супруга, – жгуче красивая на подобострастном портрете.

На самом деле испанская принцесса была анемичная, тощая, безгрудая, и улыбка редко появлялась на ее поджатых губах. Всю дорогу из Мадрида ее несли в портшезе, – Маргарита-Тереза не переносила резких толчков, в экипаже неизбежных.

Молодой Леопольд в ожидании невесты трудился как балетмейстер и композитор. Задуманный к бракосочетанию спектакль «Храм вечности» должен был затмить пышностью театральные роскошества Версаля.

Когда на площади Хофбурга распахнулся исполинский глобус и в глубине его обрисовался железный строй конных рыцарей, неправдоподобно живых, случилось необычайное: Маргарита-Тереза закричала «оле!», как принято на бое быков, и захлопала восковыми, почти прозрачными ладошками. Рыцари же оказались живыми в действительности. Сам Леопольд выехал из глобуса на белом коне, во главе пятнадцати предков – Габсбургов.

Император был одет в доспехи великана, седло приподнято.

Толпа бесновалась от восторга. Надвинулась война с Турцией. Многим чудилось – в образе могучего рыцаря явилось воплощение Георгия Победоносца. Его конь растопчет

неверных, его стремя будут целовать освобожденные от султанского ига народы.

Брови принцессы дрогнули, когда из панциря – точно проклюнувшийся из яйца цыпленок – вышел низкорослый человек неопределенного возраста. Серая, нездоровая кожа обтягивала худое лицо. Отвислая нижняя губа при разговоре грузно колыхалась.

Лавры стратега, победителя сему Габсбургу не достались. Зато премьеры венского театра приносили неизменный триумф. Леопольд приглашал режиссеров из Италии. На сцену выводили слонов, декорации менялись в течение спектакля пятьдесят раз. Людовик Четырнадцатый – давний противник, блеск его двора вызывает постоянную зависть.

Кровопролитие на Низких землях, из-за бельгийских и голландских городов, длится по сю пору, более ожесточенное, чем на венгерской равнине и в предгорьях Боснии. Казна тощает. Император болезненно переживает безденежье. Разрушенный турками загородный дворец Шенбрунн все еще не восстановлен, а в Хофбурге неуютно, сыро. Оскорбляют слух вульгарно резкие трубы караульного полка, пробивают стены, стекла, плотную драпировку.

Леопольд снимает пальцы с клавиш, брезгливо морщится. Надо терпеть эту какофонию, было бы жестоко лишать простолюдинов излюбленного зрелища – смены караулов. Исписанные листки – дополнение к «Золотому яблоку», опере, не сходившей с афиш много лет, удержавшейся на сцене и в дни чумы. Давно пора возобновить постановку.

В дверь постучали. Клавесины взорвались рассерженным аккордом, Леопольд обернулся.

Граф Кинский ведает внешними сношениями империи. Если он прервал музицирование Леопольда, значит, дело отлагательства не терпит.

Удрученный не только запутанностью вопросов государственных, но и состоянием своих чешских имений, Кинский витал мрачной тенью посреди лихорадочной фривольности венского двора.

– Послушай! – позвал Леопольд, гася в себе досаду. – Как по-твоему, а?

Кинский застыл, внимая звукам. Он знал – император не обратится сразу от своей забавы к делу. А Леопольду доставляло удовольствие дразнить понурого гофрата, к тому же тугого на ухо.

– А это? Видишь ли, музыка Чести мне всегда казалась немного манерной. А тебе?

– Совершенно верно, ваше величество, – ответил граф, переминаясь. – Есть письмо от Плейера...

– Увертюра, мой друг, слаба. Она, – Леопольд повертел в воздухе костлявыми пальцами, – жидковата. Я хочу усилить лейтмотив, вот так...

– Письмо от Плейера, – повторил граф со скучной настойчивостью, когда Леопольд устал барабанить по клавишам. – В сущности, оно подтверждает прежние известия. Московиты вознамерились завладеть Азовом. Одна часть сил движется в направлении Крыма, но это маневр отвлекающий.

– У меня троится в глазах, как только я смотрю на Москву.

Шутка не новая, императору известно, что царь в России ныне один, но Кинский счел долгом вежливости засмеяться.

– Хорошо, хорошо... Что же требуется от нас? Ты знаешь мое мнение – плохой союзник обходится часто дороже, чем враг.

– Плейер сообщает, что царь Петр вооружил и обучил значительное число солдат по-европейски.

– Ах, мой друг! Я охотно бы предоставил турок царю.

Пальцы императора рассеянно постукивают по крышке клавесин. Беседа ему неинтересна.

Гофрат понимает – Леопольду нужен мир с султаном, мир на востоке, чтобы поставить на колени французов. Турки теперь на достаточном расстоянии от Вены. От возвращенных провинций мало радости – венгры встречают в штыки и венских наместников. Гофрат тоже не стремится, расширяя империю, множить смутьянов. Оживленные гавани на западе, на Северном море куда привлекательнее, там бросают якорь корабли из заокеанских стран, сгружают тростниковый сахар, виргинский табак, серебро, алмазы, пряности.

Но как выйти из войны с турками, не нарушив долга перед союзниками, хотя бы внешне? С Польшей уладить можно, она готова на уступки. С Москвой труднее.

Еще недавно имперский посол Курц упрекал московитов в бездействии. Теперь русские

армии в пути.

– Москва нам пишет...

Лишь уголок послания выдвигает гофрат из сафьянового бювара, – Леопольд читать не станет. Но выразить монаршую волю он должен.

Москва просит согласованных с нею действий против турок и помощи умелыми людьми – инженерами, искусными в фортификации, в артиллерии. Русский союзник обращает внимание императора на то, что в Боснии турки получают оружие из Франции и, по всей видимости, весной нанесут удар.

– Это неприятно, ваше величество. У русских, следовательно, и там есть глаза.

В ответ Леопольд с размаху, фортиссимо пересчитал клавиши.

О, если бы император и в политике был так же решителен, как за клавесинами! Опять изворачивайся на собственный страх, а потом подставляй шею для нагоняя, буде твой демарш окажется неуютен!

– Папа направляет в Россию иезуита. Он здесь, внизу, и если ваше величество желает...

Раскат еще более громкий заставил гофрата умолкнуть.

– Он назовет себя в Москве доминиканцем. Кстати, ваше величество, вот повод для контрпретензии. Мы недовольны гонениями на иезуитов, требуем для них полной свободы.

– Да, да, будем сердиться. Это полезно. Что еще? Не говори мне, что поп ждет денег.

– Именно так. Папа убеждает нас помочь католической общине в Москве.

– Мы и так их содержим, – и Леопольд захлопнул крышку инструмента. – Им мало?

Зато миссия в Москве – источник ценных сведений для империи. Гофрат возразил лишь мысленно, счел за лучшее дать его величеству выговориться.

Обиды неуместны, особенно теперь. Невнимание к московской миссии огорчит папу. Коснись отдельного мира с турками, кто, как не папа, может повлиять на Польшу, отрезвить самых воинственных. Ведь паны смотрят ему в рот. Россия будет в одиночестве, что значительно облегчит задачу.

Все это разъяснять императору неловко, Кинский и без того прослыл педантом. «Пражский аптекарь, – говорят о нем. – Он положит на весы ваш последний вздох».

– Кто он такой, твой иезуит? Австриец? Не венгр, я надеюсь?

– Нет, – ответил гофрат, чуть заколебавшись. – Его немецкий превосходит, так же как и польский, итальянский. Его зовут Элиас Броджио.

– Мужлан какой-нибудь?

– Напротив, отлично воспитан. Я спросил, как его звали до поступления в братство, он очень деликатно переменял тему разговора. В Риме у него несомненно есть крупные покровители.

Леопольд потянулся к нотам.

– Ти-ра-а-а-а, ти-ра-ра-ра, – просипел он, отбивая ногой такт. – А что, москвиты воюют в звериных шкурах? Это же страшно тяжело.

– У нас будет подробная информация, – ответил гофрат невозмутимо.

Элиас Броджио тем временем, сидя в нише вестибюля, читал книгу. Лицо молодого белокурого патера выражало смиренную, ученическую прилежность. Кинский, подошедший неслышно, поразился – иезуит изучал чертеж, некое сцепление колес, трубок и винтов.

– Царь обожает механику, – сказал Броджио, пружинисто вскочив.

Он вытянул руки по швам, и книга, окропленная золотым тиснением, блестела вычурно-нарядно на фоне тусклой, пропылившейся сутаны.

– Идемте. Все, что нужно, вы получите от меня.

Но Броджио не двинулся. Остановился и тот, ощутив странную неловкость. Почему-то никак не удается взять тон старшего с этим мальчишкой.

– Его величество не может вас принять.

Каков монашек – подавай ему объяснения! Конечно, ему досадно. Он мечтал предстать перед императором. Свидание с монархом воодушевляет человека, посылаемого с секретным поручением.

– Вам не повезло. Его величество занят. Императорское время дорого, вы понимаете.

Кинский улыбался, пытаясь явить отеческое добродушие, и вдруг смешался – такой

пронизывающей, ледяной иронией обдал его папский доверенный.

Тогда Кинский, вдруг ощутив удивительную свободу, взял локоть иезуита, притянул к себе и шепнул:

– Император пишет музыку.

## 2

Ночи под Азовом суматошные, рваные; каленые ядра прошивают бархат ночи, зажигают пожары. То полыхнет в городе постройка от меткого русского выстрела, то русский шанец или фашинное укрытие обратятся в костер. Тростник горит медленно, вонюче. Рады бы крепить позиции деревом, да где его взять на голом месте, на соленой, иссохшей земле. Счастье, если Дон пригонит ладью разбитую, плот, бревно.

Днем горло будто горячей петлей стянуто – таковы дни под Азовом. Ярится жестокое, чужое солнце.

Над мухаммеданскими вышками, над каланчами, с коих палят турецкие пушки, над дымами и жаркой мглой, поднимающейся с Дона, возникает в синеве небесной другой Азов – создание дьявола, дразнящего православных. Порой мнится – Азов подлинный столь же недосыгаем, как и тот, воспаривший высокомерно.

Пушек на каланчах насажено, как гнезд вороньих на березе, что стоит, сладко звеня листвою, в Китай-городе, возле новых Бориса Куракина палат. Пахнуло бы оттуда родным ветерком, остудило шею!

Слюна прошибает, как вспомнит прапорщик домашние разносолы. Пропитание под Азовом худое. Воры-подрядчики в Воронеже недодали солонины, рыбы, а соль утаили почти всю. Да и везти провиант в лагерь далеко – склад и пристань в пятнадцати верстах, дорога в опасности от крымцев. Сама степь рождает проклятых, рождает и прячет неведомо где. А ближе подойти судам невозможно – турецкие пушкарники не подпускают. Им все видно со своих насестов.

Томит под Азовом неутолимая жажда. Дон близко – так ведь не течет он прямо в твой котелок. Опять ядрами с каланчи водовозов разогнало, бочки порушило. Федька Губастов чуть не тронулся умом – услышал плескание воды в земле. Долбил лопатой, пока не упал, задохнувшись.

– К морю бы нам, князь-боярин.

– Напьешься разве, – отмахнулся прапорщик. – Морскую не пьют, стошнит враз.

– Вона!

Федьку, самого расторопного из куракинских холопей, сданных в войско, Борис держит при себе, слугой и спальником. Ложится холоп впритык к пологу палатки, загораживает телом вход.

На ночь Федька втаскивает в палатку офицерское копьё, именуемое протазан, узорчатое, с клинком и топориком на конце. Полотняное жильё низкое, поставить громоздкое оружие нельзя. Конец древка высовывается наружу, и однажды прапорщик был разбужен раскатистой шотландской бранью. То споткнулся сам генерал Гордон, возвращавшийся от царя.

– Бока обтираешь, Мышелов, – сказал потом Петр. – Утащат тебя турки.

Бориса по ночам лихорадит. Но лучше не заикаться о немощах.

К особе царской прапорщик не приблизился. Напротив, оттеснен другими. Почти неразлучен царь с Алексашкой Меншиковым. Делит с ним палатку, ест из одного котелка. Допоздна слышится смех оттуда – умеет Алексашка на царскую шутку ответить своей прибауткой, изловчится и гнев унять, а когда его величество страдает трясовицей, судорогами – стиснуть ему ноги, утишить.

Примазался же пирожник!

«...Такой сильный фаворит, что разве в римских историях находят», – напишет Куракин сокрушенно.

Велик ли толк, что ты свояк его величества? Дороже бы стоило породниться цветом мундира. Почто выпало ходить в синих, в семеновцах!

Федька вздумал было утешать князя-боярина. Как заладит с утра:

– Княгиня сейчас кушать изволит... Княгиня попугая учит... Княгиня посуду считает...

– Помолчи, – отмахивался прапорщик.

За тридевять земель, в новых палатах, сочащихся смолой, еще не обжитых ни сверчком, ни тараканом, похаживает молодая супруга, телом девчонка, а голосом боярыня, покрикивает на дворовых. Кого и по щекам отвозит, и батогов велит дать. За двор, за хозяйство страха у прапорщика нет. И тоски нет по прохладному, еще не вызревшему телу.

Прощался он с Ксенией неласково. Пускай невольню, а причинила афронт – полгода спала с мужем и не забеременела.

– Годи, князь-боярин, – чесал языком Федька, – возьмем Азов, приведу тебе турчанку.

– Отвяжись, – хмурился прапорщик.

– Тебе пожирней, верно, – не унимался Федька. – Ладно, мне постную тогда...

К турчанке Бориса не влечет. Черная, вся в волосах и злющая поди. Подобна тем женам летучим, когтистым, которых Александр Македонский выкуривал из камышей.

Генерал Гордон, непрестанно вымерявший позиции своими длинными, негнушимися, будто окостеневшими ногами, заметил смутного духом прапорщика. Придержал шаг, загудел оглушающе:

– Гипохондриа.

Борис не понял.

– Ваша болезнь гипохондриа, или меланхолия. Вечер идить ко мне.

Борис спускался в ложбину, к шатру Гордона, гадая – зачем позвал начальствующий.

«Идить ко мне, идить ко мне», – стучало в мозгу. Зовет вроде милостиво, дурного сей визит не знаменует.

Шатер генеральский просторен. Патрик Гордон поселился, будто навек: мерцает под железным фонарем утыканное бляшками кресло, привезенное из Москвы, кругом лавки, бочонки, ковши. Висят пучки трав пахучих, дух от них навязчивый, хмельной. Образ божьей матери, писанный не по-русски, – в полную меру плотского естества.

Хозяин налил прапорщику водки, себе зачерпнул квасу.

– Я – стоп, довольно. Я говорил Питеру – мусульманин умный, возбранил спиритус.

Снял с полки банку, откупорил. И там трава.

– Это сильная медицина. Берить.

Положил на ладонь Борису сплетение былинки, опущенных бледной белизной задохнувшегося цветения. Пояснил со строгостью приказа – делать чай, употреблять три раза в день, по глотку.

Прапорщик сунул зелье в карман, поблагодарил. Глаза его блуждали, круглясь от любопытства. Манила и смущала дебелия, румяная богородица.

– Цвет гвоздичный, цвет клевер, – возглашает хозяин.

Раскрыл на коленях тетрадь, набитую травами, сплюснутыми, высохшими.

– От растений есть экстраординарная польза и профит.

И где нарвал столько! Степь выгорела, лишь в низинках сырых спасалась зелень.

Вот растение, хорошее на стол. Имя будет аспарагус. Дикий он невкусен, жёсток. Надлежит облагородить его, вырастить с прилежанием.

– Я, когда раненый, я не хочу доктор. Я сам для себя доктор.

За спиной у Бориса прошуршало, вошел, откинув занавес, секретарь генерала Плейер. Учтиво поклонившись гостю, затараторил по-немецки, невнятно, нараспев. Прапорщик с неприязнью смотрел на сутулого ярыжку, на острые, шевелящиеся усики-крючки. Ввалился австрияк, помешал беседе. Аудиенция, верно, окончена. А жаль!

– Я не могу встречать, – отрезал Гордон по-русски. – Нет время встречать. Будет встречать господин прапорщик.

Борис напрягся.

– Это один монах, – услышал он. – Один монах святого Доминика.

Монах едет из Рима, был в Вене у цесарского министра, в обеих столицах известен и весьма рекомендован. Католиков здесь, в войске, число значительное и нужда в духовных пастырях большая. Позволение его царского величества испрошено, – сомнений у прапорщика быть не должно.

– Попы все ко мне, все ко мне, – и Гордон крикнул нерадостно.

Кроме него, понятно, не к кому, – он у католиков глава общины, сказать по-русски – церковный староста.

– Выступайт завтра рано...

Под богородицей, на карте ветвится Дон, распаясь на рукава, копьём врезается в сушу Азовское море, ширится Черное. На тоненьком перешейке повис Крым. Прапорщику надо приковать внимание к квадрату, очерченному в речной синеве, выше расположения осаждающих, – к пристани. Сюда прибудет монах и сопровождающие. Встретить, доставить в лагерь, оберегая от возможного наскока татар.

– Берить солдат половину роты. Семеновские солдаты добрые, половина хватит.

«Не то, что мои», – послышалось еще Борису. Патрику Гордону, стратегу опытнейшему, царь доверил полки стрелецкие, худшую часть воинства.

– Куриоз, – промолвил генерал, задумавшись. – Куриоз... Я начал жизнь на река Дон... У нас в Шотландии есть река Дон, возле Эбердин. Маленький, стекает с гора.

Странно, среди русских живет давно, служить начал при Алексее Михайловиче, а нашу речь до совершенства не усвоил.

– Река маленький, земля маленький, – Гордон печально усмехнулся.

Земля Шотландии открылась Борису впервые. Стоит она под властью королей английских, однако не по своей воле. Жители гор бедны, невежественны, а между рыцарями единения не было и нет. Гистория не подарила шотландцам такого правителя, как царь Петр.

Колокольню гудит бас Гордона, наполняет шатер будто грозovým ветром. Россия погибнет, погибнет, если не оценит монаршей мудрости Петра Алексеевича.

Прапорщика вдруг ожгло. Ишь, заладили иностранцы хвалить нашего царя! Еще бы, слетелись, как мухи на сладкое. Вот и Гордон... Сколь изведаль хлеб, а наши, видать, сытнее.

От выпитого бес противоречия выиграл. Прапорщик отвел глаза. В золоченой раме величаво шествовала женская особа в черном, шла к своей смерти. Свирепый палач ждал ее, опершись на рукоять топора.

– Кто сия? – спросил прапорщик, читая на лике приговоренной надменную покорность.

Так он узнал историю Марии Стюарт, несчастной шотландской королевы.

Возвращался от Гордона в сумерки. Трещали кузнечики, прожужжала шальная пуля. В траншеентах скрытно теплились костерки. Громыхали, исчезали в апрошах бочки с порохом – Тиммерман опять готовит подкоп. Где-то щелкала плеть, исторгая звериные вопли, – должно, учат стрельца, подравшегося с семеновцем.

Дабы прояснить мозг, отогнать гипохондрию, Борис велел Губастову сварить лекарство немедля.

Холоп принес котелок прямо с огня. Желтая жидкость булькала, бормотала, из глубины словно рвалась наружу колдовская тайна. Прапорщик глотнул странную горечь. Взгляд от декохта не отвел, не мог отвести.

Эх, лечись – не лечись!.. Может, завтра татары изрубят на куски... Из-за монаха...

### 3

– Счастлив вельми, – произнес монах. – Виборна мне честь.

Не чаял, возмечтать не смел, что ему предоставят столь внушительный эскорт, к тому же во главе с его светлостью князем. Смиранный странник, закинутый на чужбину, ценит любезность стократно.

– Татары шалют, господин...

Может, их иначе величают – доминикан? Отец? Смешно, лета не те. Преподобие? До преподобного тем паче не дорос.

– Броджио, – сказал монах. – Элиас Броджио, слуга бога.

В седло словно впаян. Как вскочил, так и слился с конем воедино. Одевание доминиканца, выгоревшее, порывшее, всосало желтую степную пыль и блестит на солнце, словно кольчуга.

Кони идут шагом. Сзади тянутся семеновцы. Гнетут фузеи, кафтаны, немилосердная жара. Федька Губастов снял рубаху, накрутил на голову.

– Ку-ра-кин, – вымолвил Броджио. – Сие вельможное имя в числе старших.

– Мы от корня владетелей литовских, – обрадовался прапорщик.

– Истинно, – и доминикан учтиво наклонил голову. – Об вас, ясновельможный пан, я слышал в Москве хвалу. Просвещенный князь Куракин. О, вельми рад!

Сие, безусловно, политес, сиречь приятная ложь, как водится у них...

– Об вас и я наслышан, – ответил Борис, дабы не оказаться в долгу. – Генерал Гордон кланяется вам.

Монах кашлянул слегка или усмехнулся. Помолчали. Прапорщику чудятся на краю степи, в дрожащем мареве дикие всадники, молнии кровожадных сабель. Монах испуга не выказывает, задумчиво жуёт, поднося ко рту ломоть вяленого мяса.

– А ну, песню, ребята! – крикнул прапорщик, обернувшись.

Федька отозвался первый:

– Грянем, князь-боярин.

Начали три-четыре голоса, но поддержки не получили. Песня выдохлась.

Доминикан охнул, хватил себя по челюсти. Растирая укушенное место, пожаловался: насекомые в России его невзлюбили, кусают, яко тигры.

– Мухи не сожрут! – крикнул прапорщик. – Стрела шибче жалит.

Брови монаха, белые на загорелой коже, поднялись.

– Стрелы? – протянул он презрительно. – Ваши неприятели не мают порох? Это совершенно варвары.

Борис кольнуло. Привстал на стременах, приложил козырьком ладонь. «Пугануть его», – шепнул неожиданно бес озорства.

– Татары, кажись...

Рядом блеснуло, Броджио подбросил пистолет с длинным стволом, изузоренный тонкой насечкой. Откуда взялось увесистое оружие? Ведь признака не проглядывало на тонкой, плотно обтянутой фигуре.

– Татарин скорее достанет стрелой или саблей, чем пулей, – сказал Борис отчетливо. Нам, мол, лучше знать, каков наш противник.

Потом уже не в шутку, а озабоченно впился в мутную даль. Накличешь беду, она и шась к тебе...

Доминикану хоть бы что – пистоль так же мгновенно исчез, как возник. Аккуратно, усердно сражаясь с оводами, монах сообщил, что везет в дар царю астролябию, инструмент для измерения поверхности земли, выделки новейшей, изделие превосходного венского мастера. Нахваливая инструмент, поглядывал на спутника вопросительно.

– Мне будет радость доказать царю ришпект. Ваш просвещенный государь...

Прапорщик глухо поддакивал. Кто с инструментом, кто с чаркой, а то просто с шуткой – все обгоняют его, князя Куракина, стремясь к царю.

Монах между тем уподобил царя Прометею, несущему животворный огонь. Вызволить народ из невежества, из варварства, возвеличить свою державу, расширить пределы христианского мира – нет благороднее призвания.

«Выходит, и мы варвары, – думал прапорщик. – Тем же миром и нас мажет. И мы не лучше крымцев». Борис усвоил из гистории: варвары суть те, кои лишь разрушают, проливают кровь безвинно. Великолепие Рима обратили в прах варвары. А мы что сделали худого?

Борис мрачнел, отъединялся. Броджио, заметив это, заговорил о другом. Надолго ли столь жестокая жара? Он не успел остыть в Вене после италского пекла, как очутился в пекле донском. Богу угодно испытать его силы. Сколь предпочтительно было бы сейчас сидеть в Вене или в Варшаве, дышать прохладой и возобновить прерванное сочинение! Впрочем, превратности пути и наблюдения в чужих странах обогащают, и время не следует считать потерянным.

– Я трактую предмет, достойный более зрелого ума, – говорит монах, потупившись. – Могущество, ясновельможный князь, могущество, коего столькие добиваются. Вы скажете, сей предмет разобрал в книге Никколо Макиавелли...

Князь ничего не сказал, так как солгать постыдился.

– Возможно, сие дело на ваш язык не переложено. Предмет у Макиавелли есть

могущество мирское. Он был учитель принца Медичи.

Сзади, сквозь тучу оводов, доносилось:

– Монах, а морда бритая...

– Немцы хитрые. Настригут шерсти с себя – вот и одежду справили.

Пехоту замыкают повозки, тарыхтят, скрипят под грузом бочек с рыбой, с огурцами солеными, мешков с мукой, крупой. Стоит над обозом столб пыли, упершийся в небо.

– Предмет моего трактата есть иной. Влада Исуса Крестуса, влада церкви.

Бориса не так захватил предмет сочинения, как то, что Броджио сочинитель. Дома, в спальне, среди образов морщит желтый лоб Иоанн Златоуст – старец древний, согбенный над рукописаньем. Иного писателя словес книжных прапорщик не ждал встретить.

Ободренный вниманием князя, Броджио поведал цель трактата. Это есть уния, сиречь объединение церквей. Христианский мир расколот. Сие врагов Христа радует, а людей крещеных печалит. Султан ликует, его нечестивая власть вряд ли будет сокрушена, пока греческая церковь и римская не придут к согласию. Русский царь в нынешней войне не одинок, император сочувствует ему, однако гораздо выгоднее получить союзника единоверного.

Вмешался голос солдата, голос тонкий, натужный, отчаянный:

Ой, не белы-ы снеги-и-и-и...

Прапорщик вздрогнул, будто в лицо брызнуло снегом. Монах спросил:

– Сии солдаты кто есть? Стрельцы?

Невольню слетело с губ прапорщика хвостовство: нет, не стрельцы, солдаты хорошие, отборные, Семеновского полка.

Уже очертились в жаркой мгле минареты Азова и ненавистные каланчи. То и дело взлетало облачко выстрела над Доном, над лагерем, еще недоступным глазу, слитым со степью.

Палатку для Броджио поставили рядом с шатром Гордона. Вскоре услышал прапорщик, что доминикан царю представлен и что подарком – редкостной венской астролябией – его величество доволен.

Службу свою монах исполнял не лениво, вставал на заре, день-деньской носился по лагерю, навещая католиков, – с книгой священной под мышкой, со святыми дарами. А то бродил задумчиво, перебирая крупные, синие – размером со сливу – бусины на шнурке.

Всякий раз, завидев князя, являл учтивость, задерживался для разговора.

Царь поражает доминикана безмерно: сам стреляет из мортир, сам обходит позиции, не упускает малейшего изъяна. Когда спит монарх – неизвестно. Увы, верных слуг у царя мало!

– Варвары, – слышится Борису, и восторги Броджио он оставляет без отклика.

Ночное время прибывает, а сон короче. Ночь, густая, коварная, тысячи смертей таящая, не позволяет покоя. Из траншеента пахнет золой, человеческим потом, гороховой похлебкой, позванивают голоса, придавленные необъятной темнотой, голоса фузелеров-семеновцев, голоса Руси, взбудораженной царем, устремившейся добывать себе море.

Рассказывал прапорщику ночной траншемент о неизбывной мужицкой беде, о хлебе из мякины с лебедой, о том, как пожаром выжигает поля засуха, как отнимает урожай саранча.

Случалось, прапорщика прошибала жалость, а подчас и страшили его солдатские речи.

Однажды он узнал голос Федьки Губастова – острый, насмешливый, хлестнувший прапорщика наотмашь. Каков холоп! Так-то он платит господину за милости!

– Петр Алексеич бояр прищемил. То-то ощерились не него, пузатая порода...

Князь невольно потрогал свой живот, отошавший от скудости, от лихорадок. Ох, Федька, просишь ты батогов! А между тем другой голос – хриплый, едкий – сетовал на засилье иноземцев. И опять вмешался Федька:

– Тебя, что ли, царь возьмет вместо немца? Твоя грамота – аз, буки, веди...

– Ехали медведи, – прогундосил кто-то со смешком и сплюнул.

Ну, обнаглел Федька... Права была бабка Ульяна: прежде царь был как бог на небеси для мужичья, а ныне у всех на виду. И каждый смеет судить поступки государя.

– Бояр мало прищемил. Поболе бы...

Тут князь не стерпел. Спрыгнул в траншемент, запнулся об чью-то ногу, едва не упал,



отчего озлился еще пуще, – и давай тыкать кулаками в рожи, в спины, в плечи, куда попало. Миг – и опустел траншемент. Борис один, прислонясь к стенке, переводит дух.

Утро осветило синий подтек под Федькиным глазом. Прапорщик обрадовался:

– Ходи теперь меченый, стервец! Ты что молол насчет пузатых?

Федька хмыкнул:

– Пузатые в Москве, князь-боярин.

Выпялился, смотрит князю в живот, скалит зубы. Обломай поди такого!

– Дождешься ты батогов, – посулил прапорщик.

Пока грозил, видел себя на своем дворе, в Китай-городе, где он, князь Куракин, всевластен. Где один бог выше его.

– Дождешься, дождешься, – повторил прапорщик, но уже не столь уверенно, так как вернулся под Азов, на позиции своего полка. Федька тут не дворовый, а солдат, человек государев, семеновец. А сверху на тебя смотрят старшие офицеры и начальствующие лица, в числе коих купчик, дебошан Лефорт. И пирожник Меншиков, первый государев друг. Не ровен час, спросят тебя, за что всыпал семеновцу?

Весь день пил князь-боярин лекарственный Гордонов отвар, кружку за кружкой, – топил гипохондрию. Сетовал на бессилие перед холопом, небывалое в куракинском роду.

Беда, коль холоп перестанет бояться господина! Как образумить?

Вскоре в лагере стали скликать добровольцев – штурмовать турецкие каланчи, и Федька вызвался одним из первых. Подкрались, заложили у железных ворот башни петарду, взорвали, ринулись в пролом – и, ура, взяла русская сила! Полетели турки с каменной каланчи, со всех ее ярусов, оставив победителям пятнадцать пушек, бочки с порохом. Башня опоясалась огнем, трофейные орудия стали бить по другой вышке и обратили ее гарнизон в бегство.

Великий бомбардир Питер пожаловал добровольцам по десять рублей каждому. Федька один рубль просверлил шилом, повесил на цепочку рядом с нательным крестом.

Броджио с великим прилежанием исполнял поручение Гордона – наводил порядок в его гербариях. Монах не сведущ в ботанике, но дело требует лишь аккуратности. Многие растения засунуты наспех, не закреплены, а названия не везде выведены четко.

– Как вы сказали? – рявкнул шотландец. – Кюммель?

Монах вздрогнул. Поглощенный работой, он читал надписи вслух, забыв о присутствии генерала.

– Кюммель, – удивленно произнес папский доверенный.

– Ты слышал, Отто?

Плейер, ссутулившийся за конторкой – верный, тихий, незаметный Плейер, – молча кивнул. Броджио выпрямился, ожидая объяснений.

– Вы такой же австриец, как я. Да, да, бог не лишил меня слуха.

Веточка тмина сломалась в пальцах монаха. Гордон выхватил гербарий.

– Дайте сюда! Вы мне тут все испортите.

– Мой дед происходил из...

– Мне наплевать на вашего деда. Отвечайте мне, почему вы меня обманывали?

Монах уже овладел собой. Прикрыв веки, он шевелил губами, как бы отрешаясь от всего земного. Верующему католику надлежит умолкнуть, присоединиться к молитве.

– Хватит! – крикнул Гордон, наливаясь яростью. – Хватит ломать комедию! Вы – доминиканец?.. Прямо из монастырской кельи, не так ли? Да вы забыли, как она выглядит, келья. Хватит, хватит! Вы воображаете, что я буду прикрывать вашу ложь? Черта с два! Я сегодня же скажу царю.

Броджио перестал шептать.

– Мне отлично известно, – сказал он резко, – что вы воспитанник нашего братства. Святая церковь не простит вам...

– Я прежде всего шотландец, – оборвал Гордон.

Шатер сотрясался от небывалого ветра. Сухо постукивали, соприкасаясь, две татарские стрелы, застрявшие в трехслойном складчатом своде.

– Вы поняли меня? Я не грехом, а добродетелью сочту объявить царю правду. Я бесконечно ему обязан. Царь открыл ворота для изгнанников. Я застрелю, сам, своей рукой застрелю шотландца, который изменит царю, пусть этот негодяй окажется одного со мною клана. Вы поняли? Не грозите мне, не смейте грозить!

На этом Гордон закончил разговор с Броджио. В тот же вечер в саманной, притулившейся за косогором избушке, где квартировал великий бомбардир, судили и рядили, как поступить с иезуитом.

Спора нет, терпеть притворщика нельзя. Однако выдворить надо политично, не обидеть цесаря и папу.

– Так и напишем: прогнали за вранье, – сказал Петр, покусывая ус. – Коль иезуит, то, стало быть, лазутчик.

Лефорт оторвался от созерцания ногтей, не утративших и здесь превосходной чистоты и блеска.

– Пройдоха внушал мне подозрения с первого дня. Папа неразборчив в средствах.

Гордон посмотрел на язвительного кальвиниста с неодобрением.

– Не берусь возводить вину на особу его святейшества, – сказал он отдельно.

Пили мальвазию – остуженную, из кувшина, врытого в землю. Разливал, ставил на стол серебряные кубки Меншиков. При собрании он обычно помалкивал, стеснялся громогласного, злого на язык Гордона. А тут осмелел:

– Астролябию обратно не отдавай, мин херц. Жалко ведь.

Царь засмеялся, толкнул Алексашку, отчего тот отлетел в угол. Шутливый совет пришелся кстати, облегчил тяжесть, давившую всех. Армия задышалась, истекала кровью, упершись в ненавистные рыжие стены Азова.

Решили иезуита из лагеря выслать. Через пять дней отправятся порожные струги в Воронеж, за припасами, – пускай едет, попутный ветер ему в зад. Дать ему провожатого, чтобы не свернул самовольно с пути. Чего доброго, проскользнет на гетманщину, вяжется в тамошние распри.

Лефорт рассказал к случаю, как проучили иезуитов в Испании. Надлежала к ним прибыть посылка из Рима – ящик со слитками золота, в бумагах обозначенными как шоколад. Испанская таможня, однако, проверила. Золото задержали и положили шоколаду – нате, ешьте на здоровье.

Не избежал бы кары Броджио, кабы не приключилась в ту ночь беда. Утек к туркам голландец Янсен, продался басурманам, пренебрег, мерзавец, царской дружбой. Теперь жди пакостей! И точно, негодяй указал азовцам и направление удара, и час подходящий – послеполуденный, время отдыха.

Броджио при сих заботах был забыт.

Нападение турок и тяжелый бой описаны Куракиным в дневнике подробно, ибо для него происшествие окончилось счастливо.

Избрав для взлома позицию, занятую стрельцами – вояками наименее стойкими, – враги «вырубили шанцы аж до самого обозу и артиллерию тягостную заклепали, а девять пушек полковых повезли в город. И на выручку того посланы были полки от генерала Гордона стрелецкие, в том же числе и нашего Семеновского половину полка, в которых ротах и я со знаменем белым был, от первой роты своего регимента, на которой вылазке в бою, аж до самого вечера, то у меня в руках знамя пробили с города два раза из пушки, и мне кафтан под левую пазуху прострелили и рубашку, только что мало тела не захватили. И на той вылазке Семеновский полк первое слово зажил, что добрые солдаты».

И сам прапорщик, удержавший знамя – двуглавого орла, шитого серебром на белом полотнище, – был удостоен царской похвалы.

– Цепок наш Мышелов, – смеялся Петр, наливая Борису чарку.

А поручик на себя дивился, ведь, кажись, не он, а другой кто-то, могучий, бесстрашный, исполненный ярости, устремился в гущу схватки со знаменем в левой руке, с палашом в правой. Отсек ухо рябому полуголому янычару, повернулся, сбил занесенную палицу, затем погнался за отступавшими, колол в спины, размахивал прапором, проваливался в траншементы и выскакивал, прыгал через мертвых.

Осушив чарку, прапорщик Куракин, впервые отличившийся на марсовом поле, посмел выложить царю наболевшее.

– Чужестранцев поубавить бы надо. Войско серчает, вор Якушка чуть не погубил нас.

– Стрельцы на турка серчали бы шибче, – ввязался Меншиков, вынырнув из табачной мглы, затопившей царскую квартиру.

– Не токмо стрельцы, – уронил упрямо Борис, не глядя на настырного пирожника.

– Тебя, что ли, в инженеры возьму? – спросил Петр в упор. – Или тебя? – прибавил, поворотясь к Алексашке.

Царю все едино – князь или пирожник... Борису стало не по себе.

– Попытаюсь, мин херц, – фыркнул тот.

– Твоя милость, – и Куракин смерил взглядом Меншикова, – еще и букваря не касалась перстами.

Хитрец будто недослышал. Чтобы не досаждать царю мелкой сварой, великодушно поддержал Куракина:

– Иноземцев, и правда, многовато. Кто дары приносит злонамеренно? Забыл я твою поговорку, мин херц. Князь подскажет.

Князь молчал, растерявшись. Меншиков возгласил с торжеством, подмигнув царю:

– Данайцы, херц мой сердешный. Бойся данайцев! Какой они земли – немецкой, что ли?

Алексашка ухмылялся дурашливо, тараторил, отвращал от царя приступ недуга, злой трясовицы.

– Якушку со дна моря достану, – громыхнул великий бомбардир. – Собакам брошу.

– Не жрут собаки падаль, херцхен. Так какого они роду-племени, данайцы?

– Греческого, – отмахнулся Петр, повеселев.

На обратном пути в полк попался Борису офицер-семеновец, крикнул что-то и заспешил дальше, прижимая локтем некую черную ветошь.

Меншиков принял скатку, развернул духовное облачение католическое, тяжелое от крови, продырявленное на груди и на животе.

– Тощий, а кровищи-то, – сказал офицер.

Подобрали сутану у развороченных шанцев. Зашли в палатку иезуита – пусто. Не иначе, турок польстился, содрал одежду с убитого, ощупал, не зашито ли золото. Вон и подкладка распорота.

Во мнении католиков, состоящих в войске, Броджио воссиял яко угодник божий, павший смертью мученика. Объявились свидетели. Иезуит – утверждали они – стрелял из пистолета, а истратив заряды, не убоился и рукопашной. Одному неверному разбил башку крестом.

Верующие выпросили себе облачение рыцаря церкви, повесили в походной часовне.

#### 4

Минарет обрублен ядром, словно саблей. Саманные домишки развалились. Камышовые их остовы навели тоску на Броджио скелетной своей обнаженностью. Немногие строения уцелели в каменном кольце крепости Казы-Кермен, взятой войсками Мазепы.

Четверо суток почти без передышки палили пушки гетмана столь метко, что янычарам редко удавалось отворять амбразуры и стрелять ответно. Дорогу штурмующим проделал взрыв искусно заложенной мины. От нее взлетел на воздух пороховой погреб и пошел лютовать по городку пожар.

Другие две крепостцы, сторожившие на Днепре границу Крымского ханства, сдались без боя. Обращены в руины гнезда супостатов, испокон века терзавших набегами Южную Русь.

Похвальная царская грамота сполна воздает должное полководческому таланту Мазепы. Гетман весел, милостив. Однако владыка Малороссии не сразу допустил к себе приезжего иезуита. Велел кормить и поить, приставил для услуг стрельца. Верзила со старинным тяжеленным копьём чуть ли не безотлучно околачивается возле палатки.

Стало быть, пан гетман приглядывается к гостю. Что ж, и он не теряет времени, благо никто не запрещает бродить по городку, наблюдать.

Не секрет для Броджио: гетман принимал кое-кого с правого, польского, берега Днепра и, вероятно, не всегда сообщал об этих визитах в Москву.

Имеются сведения, что ставку гетмана навещает красивая титулованная дама...

Посланец, пригласивший Броджио на высокую аудиенцию, пришел поздно вечером – нежнолицый, бледный юноша из хора. Едко дымили костры под мелким дождем. Чесночным духом несло из котлов. Юноша почти бежал, ведя монаха задворками, по рытвинам.

В доме казы-керменского бея, ставшем гетманской резиденцией, все на польский лад. Мерцают развешанные в изобилии сабли, чеканные блюда с гордыми латниками, с гербами. Унизанные бисером короткие курточки слуг – по варшавской моде. Быстрые поклоны, четкий стук каблуков, – в России не умеют так муштровать челядь.

Броджио увидел человека невысокого роста, стоявшего спиной к нему перед живописным полотном. Гетман обернулся. Блеснул золотой крест, крученный пояс с блестками пересекал струйку пуговиц, ниспадавшую по длинной свитке. Острые клычки седеющих усов, маленький, недоразвитый, будто вдавленный подбородок. Странные существа – женщины! Чем может привлечь эта заурядная внешность?

– Я хочу знать ваше мнение. – И в Элиаса вонзились цепкие черные глаза. – Вот, вытащили из подвала... Здешний бей не побоялся гнева аллаха, хранил искусство, запретное для мусульманина. Хранил тайком, грабитель. Верно, надеялся продать панам через какого-нибудь ловкого торгаша. Что вы скажете, патер Броджио?

Венера, возникшая из раковины, слегка наклонила голову, словно прислушиваясь. Монах для приличия потупился.

– Вы сведущи во многих областях, патер Броджио. Вы долго жили в Италии.

Броджио смутился. Он почему-то чувствует себя столь же бесстыдно оголенным перед гетманом, как и языческая богиня. Рухнули все слова, заготовленные для встречи.

– Впрочем, прежде всего меня интересует здоровье моего друга, царского величества.

Да, гетман не нуждается в объяснениях. Он знает, кто пришел к нему и откуда.

– Его величество здоров, – поспешил ответить Элиас. – К великому сожалению, злая ложь, распространяемая врагами нашего братства, проникла и в Московию. Мне предстояло изгнание, когда внезапно...

Провидение предоставило случай сразиться с неверными, пролить кровь за богоугодное дело, а затем позволило бежать из турецкого плена. Добрые люди приютили скитальца, и теперь, исцеленный и окрепший, он – на пути в Рим, к престолу святейшего. Пусть ясновельможный простит. Слишком силен был соблазн посетить знатного властителя Украины.

Все это Броджио выложил не переводя дыхания, так как Мазепа слушал нетерпеливо.

– Итак, падре, как вам нравится картина?

Элиасу запомнился подлинник «Рождения Венеры», хранящийся во Флоренции. Очевидно, налицо копия, хотя и выполненная весьма недурно.

– Благодарение богу, турки так далеко не протянули лапы. Здешний бей – старый вояка, грабил, должно быть, венецианцев, далматинцев. Мы посмотрим, падре, чего стоит вообще добыча разбойника.

Мазепа ударил в гонг. Засуетились слуги, внося в комнату картины, грубо содранные с рам, расправляли полотна на полу, прижимали ножкой стула, кресла, подсвечником. Реяли в лазоревом сиянии ангелы, атели кардинальские мантии, клубились темные леса, брели в Вифлеем волхвы, яростный Геркулес поражал дубиной Гидру.

Шедевры искусства, безупречная польская речь гетмана – какое вторжение цивилизации в дикую степь!

– Насколько я способен определить, ваша светлость, тут есть и подлинные творения. Некоторые достойны украсить ваш дворец в Батурине.

– Помилуйте, падре, – поморщился Мазепа. – От них воняет воровским логовом. Картины поступают в казну гетманства. Я не из корысти бросаю в пекло моих казаков.

«Ты просто рисуешься, высокородный пан, – подумал Броджио. – Запах военной добычи никому еще не претил».

– Ваша светлость! – воскликнул он с негодованием. – Мысль о корысти была бы

кошунственна. Благослови бог ваших храбрых казаков!

Коренастый, обритый наголо парубок, разложивший последний сверток полотен, двинулся вперевалку к двери. Броджио подгонял его, упершись взглядом в широкий затылок. Наконец-то убрался!

– Ваша война священна, пан гетман, и христианский мир ждет от вас многого. И не только тех побед, кои достигаются оружием.

Пора, пока нет посторонних ушей, коснуться важного. Иезуит заговорил о союзе церкви, о великом духовном авантаже этого начинания, поощряемого самим папой. Мазепа слушал, не отрываясь от созерцания пейзажа, простертого у его ног. Среди тосканских холмов, усеянных серебристыми хохолками олив, желтел, сверкал, вскидывал искры фейерверка несуществующий замок – весь на плечах согбенных, насупленных кариаатид.

– Вы имели оказию, – сказал гетман с докукой, – обратиться к царскому величеству. Что он вам ответил?

Элиас вздохнул.

– Он обещал посоветоваться с архиепископом Кокуя и еще... Язуы, если я правильно помню. Надо полагать, изволил шутить.

– Конечно. Война, падре, война. Она поглощает все внимание царя. Что же вам угодно от меня?

– Ваша светлость – вторая особа после царя, – произнес иезуит, собравшись с духом. Лесть грубая, но для лучшего ознакомления с собеседником бывает полезна.

– Я подданный моего государя.

Свечи оплывали, капля воска обозначалась на щеке мадонны, другая – на бедре Геракла. Кажется, разговор окончен. Пожелание счастливого пути – вот все, что остается услышать от непроницаемого казацкого вождя. Он повторяет одно и то же, но ворота держит открытыми.

Мазепа похаживал среди картин.

– Согласились бы вы, – раздалось вдруг, – взять на себя небольшой труд? Для коллекции нужен реестр. Все равно в Киев трогаться сейчас опасно – крымцы шалят.

Вот благотворный поворот событий! Броджио согласился до неприличия поспешно.

Неделю спустя он сообщил Риму, что имеет доступ в личные апартаменты Мазепы. Вновь и вновь прошупывает почву для сближения, но до сих пор не почерпнул определенных надежд. Гетман скрытен и осторожен.

## 5

Среди лиц, окружавших гетмана, одно было томительно знакомо. Молодой человек по-своему красив и выделяется из числа адъютантов Мазепы изяществом и изысканными манерами. Говорит по-польски с большей свободой, чем по-украински. Дерзко очерченный рот и назойливые глаза напоминают фавна из мифологической сцены, жаждущего всех жизненных утех. Но нет же, не на полотне художника встречал Броджио этого холеного панича! В Варшаве? В Праге?

Крови он, несомненно, славянской, о чем заявляют его скулы – весьма приметные, когда панич чем-нибудь недоволен...

– Казимеж Свентковский к услугам вашего преподобия, – представился он иезуиту, непринужденно шаркнув ножкой.

И вдруг...

Года четыре назад это было. Князь Дульский с супругой приехал в Варшаву из имения определить сына в иезуитскую коллегию, где Броджио преподавал риторику. Он видел их мельком. О князе был немало наслышан впоследствии. Дульский даже среди взбалмошных польских магнатов слыл полусумасшедшим: у себя во дворце на Подолии он расставил вместо мебели седла, деревянных лошадок, разостлал попоны. Непомерная страсть к лошадям соединялась с набожностью – князь строил церкви, созывал на обед толпы нищих, но давал им длинные ложки, что обязывало их кормить друг друга, укрепляло любовь к ближнему.

Итак, княгиня Анна... Открытие несомненно важное, оно вкладывает в руки власть. Улучив удобный момент, иезуит остановил адъютанта.

– Тысяча извинений, вельможный пан...

Не угодно ли ему взглянуть на произведение итальянского мастера? Гетман возложил трудную задачу. Неловко, опрометчиво полагаться только на собственный вкус.

На лице «фавна» изобразилось любопытство. Броджио слегка сжал упругий локоть, повел адъютанта к картинам.

– Как поживает ваш сын? – произнес иезуит, плотно закрыв дверь. – Он у нас недурно успевал в науках.

– Сын?

– Ваш сын, княгиня, – сказал Броджио сокрушенно и с укором.

Притворщица смешалась лишь на мгновение.

– Так вы из варшавской коллегии? Вот неожиданная встреча, досточтимый аббат!

– О боже! – простонал иезуит. – Спаси заблудшую душу! Неужели вы не отдаете себе отчета, княгиня, насколько безрассудно ваше поведение?

– Почему? – и плечи под щегольским, туго стянутым в талии кунтушом чуть поднялись. – Мой муж два месяца назад умер. Я вправе распоряжаться собой, дорогой аббат. Кого мне бояться?

– Гнева всевышнего, княгиня, – сказал Броджио не совсем уверенно. Новость о смерти князя обескуражила его.

– Фу, перестаньте!

Дульская откровенно по-женски зажала ладонями уши. Элиас стоял, ошеломленный метаморфозой. Куда делась выправка расторопного адъютанта? Светская прелестница, покинувшая звонкий, топочущий, озорной маскарад, чтобы перевести дух...

– Негодный! Не смотрите на меня, как сыч!

Потом голос стал суше, строже – княгиня вернулась в свою мужскую роль. Для пана аббата прямая выгода – молчать. Он не встречал в Казы-Кермене Анну Дульскую. Между прочим, ему не пристало насаждать добродетель...

– Я не осуждаю вас, аббат. Вы выполняли свой долг, исповедуя служанку, не так ли? Но общество, аббат, общество... Оно скорее простит мне, слабой женщине.

Элиас только что предвкушал победу, ощущал ее почти физически: вот жертва натягивает сеть, беспомощно бьется... И тем острее боль неудачи.

– Распушенность вашего общества известна, – сказал иезуит с обидой.

Быть по сему, он не видел Дульскую. И не увидит. Для чего нужна ему любовница Мазепы, его прихоть, одна из многих?

– Ну-ну, не надо ссориться... Поймите, аббат! Что мне остается? Снова обвенчаться с каким-нибудь маньяком или ничтожеством?

Ого, коронный гетман Дульский для нее – ничтожество! Броджио постепенно освобождался от досады, затемнившей рассудок.

– Время великих людей прошло, – процедил он, бродя взглядом по картинам.

– Я верю в Яна, – услышал Элиас. Его обступили апостолы, витязи, Геракл занес палицу над Гидрой, святой Георгий вонзил копьё в дракона.

Дульская понизила голос до шепота. Мазепа, ее Ян, должен вернуться в Варшаву. Там безлюдье, он даровитее любого из панов, которые рвутся к короне. Жаль, невыразимо жаль, что он не удержался при дворе в молодости. Но еще не поздно...

– О, чрезвычайно трогательно, – улыбнулся Броджио. – Вельможная пани возлагает на своего избранника королевскую мантию. Я преклоняюсь...

В отместку он посмеется над провинциалкой, теряющей рассудок от страсти.

– Перестаньте, падре! – оборвала она. – Яну не место здесь, при царе, вот о чем речь. Это ужасный край. Проще взять город, чем подчинить собственных полковников. Каждый невежественный казак, добившийся чинов, воображает себя королем... Ян должен быть в Варшаве, должен, должен. Ян – славное имя в Польше. Это не случайно, это указание свыше...

– Осмелюсь заметить, имя не редкое в Польше.

Она продолжала, как бы не уловив иронии. Что может дать Мазепе царь? Стоит султану двинуть крупные силы, как от России полетит пух. Петр – мальчишка... Царь не может даже сделать Мазепу князем, это зависит только от императора. А княжеский титул – большое

подспорье...

Броджио забавлялся.

– Не сомневаюсь, вы серьезный противник за карточным столом... Но сфера политики...

– Я урожденная Вишневецкая, – раздался ответ. – Никто не служил короне польской более преданно, чем мы.

Охота издеваться у Броджио иссякла. Он вбирал значение сказанного, глядя на Дульскую, глядя на полотна, раскинутые за ее спиной, – просторы равнин, плодоносящих садов, громады замков в оправе вековых деревьев.

За окном, в полусожженном Казы-Кермене, выла собака. Горький степной ветер, настоянный на полыни, заносил чье-то пьяное бормотанье, чью-то ругань. А здесь, в зарницах свечей, в дымной мгле лежала целая страна, сотворенная живописцами, страна, преисполненная богатства, роскоши и словно павшая к ногам. Дорогие доспехи, королевский горностаи, киноварь кардинальских облачений – все свалено вперемешку. Хоть топчи, колоти каблуками... Земное великолепие, коего он, Элиас Броджио, сын священника из южнотирольского захолустья, должен добиваться хитростью, цепляясь за тех, кому приготовлено все ко дню появления на свет.

Э, милостивый гетман, Вишневецкая тебе не игрушка! Не служанка, которую ты можешь подсунуть гостю... Иезуит отвернулся, в нем клокотал злорадный смех.

– Ян говорил мне о вас. Соединение церковей – это счастье, милый аббат.

Еще бы, греческая вера мешает ненаглядному Яну! Отлично, княгиня, заключим союз.

– Торопить гетмана не следует, ваша светлость. Мягкость и терпение! Вы женщина, так будьте женщиной и в этом предприятии.

Довольный собой, он обретал тон старшего, тон наставника.

Мысленно он входил во дворец Вишневецких, в парадные двери, радушно распахнутые. Знатнейшая фамилия Польши, необозримые земли, разделенные ныне границей двух государств. Михал Вишневецкий – великий гетман в Литве, Константин – воевода бельзский, Януш, кажется, в Кракове... Конечно же, им всем непереносимо русское подданство казацкого левобережья. Все они играют крупно – в карты и в политике. Если Анна – истинная Вишневецкая...

Оставшись один, он не смог приняться за работу. Забывшись, рисовал в тетради короны, геральдических львов, единорогов, грифов. Над картинами, в накалах свечного сияния, парили вельможи церкви, граф Кинский, император. Они благодарны ему – Элиасу Броджио – за успешное завершение деликатной миссии.

Неразумно, однако, исчислять урожай, не дождавшись всходов. Элиас лишний раз убедился в этом на следующий день, когда Мазепа сказал ему доверительно, с жирным смешком:

– Прилипла баба, спасенья нет. Скорей бы убралась!

## 6

В сентябре жара сменилась холодом, осаждающих колотило градом, заливало дождями, траншементы превратились в каналы. Время, отпущенное природой для военных действий, на исходе.

Утром три пушечных выстрела подняли солдат – злых, голодных, отощавших. Разрушение, однако, оказалось меньшим, чем ожидали, – подвела поспешность в расчетах.

Солдаты, хватаясь за траву, упираясь прикладами, влезли по откосу предстенного вала, заняли болверк – обнесенное шанцами артиллерийское гнездо. Мало кто из них уцелел. Турки сбрасывали смельчаков с вала, липкого от крови.

Подняли полки снова, но уже иссякла вера в успех у всего воинства, от начальствующих до фузелера. В сумерках грянул отбой последний, отбой всей кампании – до будущей весны.

Поручик Куракин, сгорбившись под холодными струями дождя, проверял наличность своей роты.

– Что же будет-то, государь? – шептал он. – Перетонем тут, как кроты.

Обломки повозок, шанцевые плетни, доски – все, что могло пригодиться врагу, сложили в

костры. Намокшее дерево горело плохо, ветер нес дым вослед уходившим, свистел злорадно. Дон разлился, вода захлестывала повозки, портила съестное, порох. Обсушиться негде. Поручика трепал озноб. Шаггал в полудреме, не чуя под собой онемевших ног.

Крепился тридцать дней, в Старом Осколе слег. Странице дневника потом поведал:

«Велел принести воды самой холодной со льдом ушат, а сам лег на постелю и велел себя поливать в таком самом жару, аж покаместь пришел в беспамятство и заснул. И заснув, пробудился от великого холода и озяб и потом велел себя положить к печи и окутать. И пришел в великий пот и спал чуть не целые сутки. И по тому сну пробудясь, пришел в великую тощоту и слабость, а жару и ознобу или как лихорадки и огневой больше не послышал в себе, только в великой слабости был, так что не мог ходить дни с четыре, и потом имел великой опетит до яденья».

Домой прибыл лишь в декабре.

Снега в Москве навалило много. Узкая, подобно апрошу, тропа в сугробах, привела от резных ворот к крыльцу. Жена встретила в сенях, подставила Борису жесткие губы, закашлялась. Кутаясь в пуховый платок, поспешила в тепло. Вчера пшеницу принимала от курских деревень, зазябла.

Разделить ложе с мужем отказалась. Вишь, паление у нее в горле и головная боль.

Утром явился к праздничному пирогу Аврашка. Раздобрел, сидючи дома.

– Прозоровский саблю крымскую привез, – сообщил, ухмыляясь. – В изумрудах вся.

– Мы не за тем ходили, – отрезал Борис.

– А за чем?

Пирог держал обеими руками, сыпал начинку в рот.

– За стыдом, за чем же еще, – вставила Ксения. – Обожди, Аврам, они еще покажут султану... С новым крестом...

Поручик рывком повернулся к жене.

– Ты будто не понял? Царь веру переменить собрался.

– Это чья сорока натрещала?

– Уж не сорока...

Аврашка подмигнул:

– Сороку царицей звать.

Вон оно что! У царя, стало быть, в собственной опочивальне враг, не токмо в Азове... Права была бабка Ульяна – от Лопухиных одно смущенье умов.

Денщик Федька, бравый семеновец, тоже приуныл дома. Морда расцарапана, голос пресекался, – княгиня за малую провинность ногтями терзает, а то и в темную отправит. Князь-боярин от домашних дел отстранился, тоскует.

Жалобу излил Борис в дневнике:

«Имел гипохондрию и меланхолию. Так был в доме своем, что никогда радощен не хаживал и всегда плакал... Также и в затылке мозг мне теснило и великую во всем слабость и тощоту придавало, так был, что чуть жив ходил и до еды опетиту нимало не имел».

Доктор-грек метал кровь из мизинца левой руки, отчего наступало на небольшой срок облегчение. Тогда князь-боярин садился в сани, до горла под шкуру медвежьей, и Федька вез его в Немецкую слободу, к Гордону.

Строение Гордона выделялось высокой двускатной крышей и толстенной, на шотландский манер, трубой. Во всю ширину горницы разверзла кирпичный свой зев печь, рекомая камин, пожирающая не дрова – целые бревна. Хозяина – постоянно бодрого духом – Борис заставал за разбором гербариев, за чтением либо в оружейной палате, где генерал и сын его Теодор, окончивший ученье в Данциге, забавлялись экзерцисом на шпагах.

– Его величество смотрел наш дуэль, – ликовал Гордон. – Он вельми доволен.

Борис спешил узнать, не одолжит ли генерал премудрое сочинение Макиавелли. Пускай по-немецки тиснуто, усилился бы разобрать. Нет, драгоценная книга была, да в походе, в коробе утонула.

– Пойди к Гваскони, – посоветовал Гордон. – Если не имеет сей коммерсант у себя, пусть



сделает ордер.

Гваскони, купцы из Флоренции, с давних пор торгуют в Москве шелками, бархатом, водами душистыми, всякой принадлежностью для женских особ.

– Однако, – предупредил Гордон, – тиснуто будет, я чаю, по-итальянски. Изволь той идиом выучить.

– Я выучу, – обещал Борис.

Царь небось писание Макиавелли читал. Неужто нет? Гордон уверенно ответить не мог. Вряд ли его величество взял себе за наставника Пуффендорфа.

Имя Борису знакомо, царь толковал спальникам учение одного немецкого философа. Особливо упирал на то, что обязанность потентата – стараться для пользы государства и просвещения.

– Пуффендорф указывает фундамент общий, – пояснил Гордон. – Итальянец более практик. Яко шпагой учим владеть, так Макиавелли учит потентата быть хитрый политик. Для потентат может быть враг шляхтич, может быть плебей, сиречь простой человек. Какой способ есть удовольствовать высокого и низкого? Также насчет альянсов: как заключить, как обрести выгода...

Генерал предложил Борису сочинения немца, но поручик отказался. Одно на уме – достать книгу, самим царем не читанную, достать, чего бы ни стоило.

– Его величество Петр, – говорил Гордон, – есть потентат, от всех прочих отличный.

Тут опять выиграл в душе поручика бес противоречия. Милостями осыпан, вот и хвалишь! Но с языка не обронил, слушал.

– Редкое царя качество, – рассуждал Гордон, – состоит в том, что не терпит он ни лести, ни хвастовства. И разумеет, сколь важно ученье себе и людям, всему отечеству.

– То-то Меншиков у него ученый, – вырвалось у Бориса. – Ему грамота – что быку иконостас.

Гордон, усмехнувшись, взял Алексашку под защиту. Науки ему чужды – это точно. Зато царь в нем находит опору для своего юного и мужественного духа.

– От нас, от стариков, какое веселье для его величества? Никакое веселье.

«И от меня тоже мало радости, – подумал Борис. – Гипохондрия и меланхолия».

– Царское величество драгоценный имеет дар, – продолжал Гордон. – Феномен, который из потентатов токмо у него, сиречь гумор и сатира.

Видя недоуменное на лице поручика выражение, пояснил. Генералы находились в смущении, как объявить неудачу под Азовом? Питер же единым махом отмел сомнения: невзятие Азова, ясно и кратко! Так и в Москву написал, так сказал во всеуслышание. Бесстрашный гумор у царя Питера! Не то что иные потентаты европейские, прячут порухи свои, замазывают речениями красными, если что не удалось.

Борис внимал вполуха, так жадно возмечтал о знаменитой книге. Вдруг да через него первого, через Мышелова, причастится царь итальянской премудрости!

В лавке Гваскони пестро, утешительно глазам и обонянию. Еще не ступишь на порог, а сладость товаров галантных обдает, яко волной, топит, нос распирает. Над облаками сорочек, кружев, шитья бисерного, стекла переливчатого – распятие. Из поставца стенного глядит богородица, вся в лентах, чернобровая, без младенца, – верно, незрелых лет, до непорочного зачатия.

Хозяин – мужичок с локоток, седой живчик. Бородка двух колеров, седая с чернотой, обстрижена клинышком. Улыбка сахарная.

– Но, синьоре! – воскликнул, сложив ладони, когда поручик высказал свою нужду.

Увы, нет книги Макиавелли! О, великий Макиавелли! Он – Гваскони – последний осел, не позаботился привезти книгу. «Принчипе» – так озаглавлена книга, то есть «Принц». Угодно ли господину потерпеть три недели, – книгу пришлют из Флоренции, прекрасное издание из превосходной типографии. Стоить будет сиятельному клиенту...

Наморщив лоб, Гваскони сказал цену, вздохнул, сбавил, хотя Борис уже согласился. Хорошо, недели даром не утекут, язык философа времени потребует еще больше. Гваскони встрепенулся. О, эччеленца желает изучить итальянский?

Раз десять Борис был наименован «эччеленца», раз двадцать «комендаторе», много раз

«принчипе» – постижение итальянского началось незамедлительно. Домой вернулся, усадив рядом с собой в санки учителя – младшего сына Гваскони, глазастого, нежнолицего отрока Чезаре.

С того дня учитель и доктор-грек занимали князя-боярина по очереди – два часа уроков, час леченья. От уроков ли, от медицины ли – болезнь ослабила хватку.

Книгу прислали лишь два месяца спустя, в февральскую предвесеннюю оттепель.

– Вам, эччеленца, салюти из Италии, – услышал Борис. – Много салюти от падре Броджио.

– Броджио?! Откуда? Он же убитый...

– Уччизо? О, но, эччеленца, нет, нон э уччизо! Прошу, я имею леттера... письмо...

Купец нырнул под прилавок. Брызнули на пол остатки сургучной печати. Гваскони кое-как, с помощью приказчиков, перевел. Падре Броджио доводит до сведения милого друга счастливое свое избавление из турецкого плена.

## 7

Лишь второе сидение под Азовом принесло успех.

В лето 1696-е Борис Куракин возвратился в царствующий град Москву победителем.

Неугомонный дебошан Лефорт созвал большой бал. Саней сотни полторы принеслось по первопутку. Палили пушки, сообщая приглашенным – особенно военным чинам – настроение батальное. Стольник Григорий Долгоруков, захмелев, начал стрелять из татарского лука, норовил попасть в пузатого медного Бахуса, скалившего зубы в углу столовой. Младший Голицын при каждом залпе кричал «ура» и подкидывал кубок с недопитым вином, обрызгивая соседей немилосердно. Заросли на стеклах, возвращенные морозом, трепало точно ветром. Женские особы пугались, роняли веера.

Купчики шведские повздорили с датскими, один, вскочив на стол, лягнул противника в грудь, скинул посуду и яства.

Борис хотел подойти к царю, спешил, локтями проталкивался к нему. Да где там, прицепилась к Петру чародейка Монсиха. Потом искал царя, обтираясь о бархаты, о юбки, обручами распузыранные, царапаясь о бисер, об нашивки. В палате танцевальной взыграла музыка, сам адмирал, в расстегнутом лазоревом кафтане, щелкал каблуками, звал охотников. В дверях Борис едва не столкнулся с царем, устремился вдогонку – и тут, волчком под ноги, старший Гваскони, седой карлик.

– Принчипе, принчипе...

Царь обернулся – какой еще тут принц? А Гваскони повис на рукаве Бориса, затараторил:

– Салюти, нуове салюти, симпатия грандиссима... великий симпатия, принчипе, светлость... От Броджио, падре Броджио, салюти, салюти...

– Грацие, грацие, – благодарил Борис, пытаясь высвободиться. Глядь, черные царские кудри над ним.

– Ты что? По-итальянски можешь? Мне сказывали. Это он тебя учит?

– Но, но, комендаторе, нет, – кланялся Гваскони. – Чезаре учит. Мио фильо, сын... О, принчипе Куракин великий студиозо!..

Откланялся и шмыг – нет его.

– Иезуит твой, – вспомнил Петр, усмехнувшись, – обратно к нам тропу ищет, мученик святой.

Как спасся из плена – царю ведомо. Было извещение от гетмана.

– Петр Алексеич, челом бью тебе...

От выпитого Бориса пошатывало. Оплошал, обратился по старинке.

Петр нахмурился.

– Чего тебе, Мышелов?

– Азов взяли, а я все поручик... Мой Федька, холоп, и то унтер-офицер, а я...

«Зачем это я про Федьку? Не так надо было...»

– А я вот бомбардир, – отрезал царь. – Старше меня жаждешь быть? Не дорос еще, Мышелов.

Толпа оттеснила Бориса, сбитого с толку. Он ругал себя. Ведь собирался обличать неправды, жестокие поборы, заступиться за всех жителей российских, за шляхту и за мужиков. А что вышло? Свою жалобу наперед выставил.

Прижался к стене, страдал, жмурился. Мельтешили кафтаны, жилетки – лазоревые, малиновые, цвета кирпича, цвета сливы, цвета канарейки. Лесной буйный шум налетал от юбок. Скрипачи-французы, багровые от вина, ослабели, музыка замирала.

Монсиха-чародейка махала веером, обдувала царя, лопотала что-то. Подскочила, врезала между ними тощее плечо плоская, вертлявая девица, словно доска в серебряной ткани.

– Лизхен, – сказал царь, – вон кавалер для тебя! Расшевели его! С тобой и мертвый запляшет.

И к Борису:

– Тоску наводишь, Мышелов. В Италию такой поедешь... скажут, что за чурбан торчит!

Подтолкнул Лизхен, развел ей руки, обнял Бориса ее руками.

Девица впилась, словно клещ. Борис покорился. Урок танца давался мучительно, поручик обливался потом. То и дело ощущал он под своим башмаком упругость узкого, униженного бисером носка Лизхен.

Так рассеялся, заглох в умопомрачительном вертепе Лефорта, дебошана, завлекателя, рождавшийся в душе поручика бунт.

На святках боярские двory обежал слух – будет посылка русских людей за границу, для образования. Отправят всех стольников, одних в Голландию, других в Италию.

Он – Борис Иванов сын Куракин – едет в республику Венецкую. Не на день, не на два, не на месяц дом оставляет – на время долгое, для прохождения наук навичных, сиречь морских.

## 8

В Посольском приказе плавят сургуч, льют на толстую шершавую бумагу паспортов, способную выдержать все невзгоды в пути. Вжимают печать с орлом российским. Дымно, чадно в бревенчатых стенах, почернела от гари конопатка, усищами вылезшая из пазов.

Стольники, вызванные в приказ, сбились табунком, будто ненастьем застигнутые. Переминаются, шепчутся – дьяк читает им царский указ.

– Владеть судном как в бою, так и в простом шествии и знать все снасти и инструменты, к тому подлежащие. Сколько возможно искать того, чтобы быть в море во время бою, а кому и не случится, искати того, как в тое время поступить.

Ехать и жить за границей своим коштом. Каждому взять с собой ученика, хотя бы из холопов. Стало быть, самому сдать экзамент на морского офицера и воспитать себе помощника.

Сашка Прозоровский, прозванный в потешном полку Курицей, ехидничает, издавая при этом как бы кудахтанье:

– Врубят нам науку, с пулей в нутро всадят... Спасибо батюшке государю!

Аврашка Лопухин ворчит:

– Взбрело же царю холопей учить. Погоди, пороть нас будут, ученые...

На это Борис не возразил. Представился Федька Губастов. Ходит по палубе, покрикивает. На Федькиной башке шляпа – ладья адмиральская, с бантом.

– Прыток больно, пес! – проговорил Борис. Аврашка отпрянул: шурин едва не задел его, погрозив кулаком адмиралу Федьке, противному выскочке.

А Федька мысли не допустил, что князь-боярин обойдется без него. Под Азовом одной похлебкой живились, сотни верст отшагали вместе, неужели теперь врозь? Слышать, в паспорт господский и мужика вписывают.

– Ты полоумный нешто? – ворчал Борис. – Случись, Фрол занедужит... Княгине рожать скоро. Иль я нанимать должен грамотного, на базаре покупать? Вишь, в Италию ему... А тут дом упадет.

– Ничего, не лыковый, – фыркнул Федька.

«Полно, – думал он, – тебе-то я нужнее!»

Борис дотемна не отпускал Чезаре, а потом чуть ли не до полуночи зубрил нараспев,

раскачиваясь на стуле либо шаркая по светлице. Жена причитала, пророчила:

– Утопнешь! Тигры сожрут!

Федька, гремя ключами, отпирал сундуки, выволакивал разную одежду князю-боярину в дорогу. Сваливал в кучу зимнее и летнее. Борис поднял соболью шубу, поглядел – не трачена ли.

– Запарисься, – сказал Федор. – Там отродясь не мерзли. Страна жаркая.

– Ты почему знаешь?

Италия будто на ладони у Федора – так уяснительно обсказал про нее Дженнаро, Гваскониев кучер.

Пронзительные глаза Дженнаро, тонкогласные песни зачаровали всех баб на куракинской поварне. Облепят итальянца, послушают, пустят слезу, нальют щей с мясом. Любуются, как уплетает русскую еду. Уши пляшут. Должно, харч у купца слабый.

Понять мудреную речь Дженнаро можно лишь наполовину, зато ужимки его, причмокивания, игра пальцев, бровей живописуют прелести итальянские картинно – щедрость солнца, изобилие плодов, высоту храмов, красу невесты Симонетты. А примется расхваливать свой родной город – удержу нет.

Однако точить лясы хозяин не велит, и кучер не дожидался конца урока. Губастов, лихо подгоняя буланых, отвозил домой закутанного, тщедушного Чезаре. И тропкой, мимо амбаров, сушилен, скорняжных мастерских – к приятелю. В каморке кучера, озаренный свечами, реет святой Дженнаро – щеки рдеют, как от горячих щей. А город пригож вышел из печатни, богато увенчал гору над морем, а море синее-пресинее.

– Венеция – куда-а ей, – услышал Борис от холопа. – Против Наполя – тьфу!

Не уедет князь-боярин один. Мало ли что брюзжит, на деле он покладист.

А Борис решил твердо. Тут он с Лопухиным заодно. Оба отказались взять в учение мужиков. Коли знатные фамилии сами себя не уберегут – кто позаботится?

Но указ не переиначишь, ученика – хочешь не хочешь – бери! Борису дали на попечение юношу из мелких шляхтичей, Иова Глушкова.

Поутру ввалился с морозом раскормленный увалень, робкий, оглушенный разудалой Москвой, звонами сорока сороков церквей, воплями зазывал калашного ряда, рыбного, бакалейного, ситного, конским топотом, кабацкой руганью, лязгом кузниц, переключкой топоров. Кто-то сорвал с олуха деревенского шапку.

Согбенный дядька освободил его от мехов, от платков, потом нанес полные сени узлов, чемоданов, бочонков, обледенелых телячьих ног, бутылей с квасом.

– Эка, на Маланьину свадьбу! – посмеивался Борис.

– Для твоей милости тож. Мамка наказывала...

– Мамка, мамка!.. Тут не то что двоим, всей Италии до пасхи не съесть.

Губастов все же не верил, что его оставят. До последнего часа не верил.

Глушков и князь-боярин сели, по обычаю, на пол. Дитина вдоль половицы вытянул ноги, спохватился, пересел, памятуя советы старших. Дурная примета. Поднялись, пошли к саням. Зря Федька припас котомку. Дорога ему близкая, до заставы.

Проводил взглядом ямщицкий возок, взбивший снежную пыль. Вертаючись, остановил буланых у кружала. Бросил целовальнику медяки. На, утешь, толсторожий! Обозначился во мгле, ровно из щели тараканьей вылез, лохматый бражник. Вскорости расплылась его ряшка, как на самоваре, губы растянуло с аршин. Раздался еще шире, зачал двоиться.

– Куды я денусь? – спрашивал Федька незнакомца. – Княгиня лютует, страсть. А я чем виноват? Я князю-боярину верно служил, а он вот... Уйду я от них, уйду...

Ведь знает Федька – болтать напившись не след. Прорвало, нейдется излить обиду.

– Царь и холопам дозволил... Для царя хоть какое званье, мозги бы варили... У княгини мне какая планида? Забьет, а то продаст, как скотину...

Так и говорил дотемна. Слушатели менялись. Один, заворочав белками, рывкнул:

– Ты чего мелешь про царя?

Сунуть бы на чарку, откупиться, да нечем. Крикнет «слово и дело», спутавши аллилуйю с анафемой, оправдываясь потом у Ромодановского в пытошной каморе. Федька оторопел. А тот махнул рукой, пробормотал невнятное, захрапел, раскидав по столу длинные, словно у попа,

волосищи. А Федька все говорил. Тот, кудлатый, скатился наземь. Появился злой, скуластый раскольник, тыкал в Федьку двумя сложенными перстами – вот, мол, как наши отцы и деды крестились. А тремя-то, щепотью, только табак хватать. Федька спорил, негодовал, жаловался – так и просидел допоздна.

Э, все едино! Прощай, княгиня, прощай куракинский двор! Назад пути нет. Дверь кабака подалась, выпустила Федьку на широкий божий свет. Куда идти? Сторон четыре, выбирай любую!

Буланые, признав фореитора, заржали. Федьку осенило. С ними-то как же быть? Нет, коней не брошу.

Кары, однако, не избегнуть. В ворота ужом не проскользнешь. Охнули ворота, охнули на весь Китай-город, заверещал замок, попрекая Федьку. Залились лаем собаки.

Винный дух Федькин и за ночь не выветрился. Княгиня начисляла его провинности злорадно – попался мужнин фаворит! Загулял, пьяный напился, разбудил всех, коней застудил небось. Уморил коней, разбойник. Выговаривала тихо, с вожделением, с каждым словом добавляла Федьке синяк либо кровавую царапину. На том не успокоилась, заперла на три дня в каталажку.

Малость отъевшись после жестокого поста, Федька в намерении своем окреп.

В воскресенье отвез он княгиню к обедне, затерялся в толпе и след его простыл.

Теперь надумал, куда направить стопы. Перво-наперво, живеи из Китай-города. Боярский слуга в окрестности примелькался, поймают – закуют в железа.

Мерял Москву до вечерни. Иван Великий за Федькиной спиной укоротился, едва мерцал за снежными холмами крыш, когда беглец достиг Немецкой слободы.

Привратник улыбнулся Федору, отодвинул засов. Здесь его искать не станут. Гваскони оборотист, беглых жалуе. Еще бы, барыш легкий! Ладно, пускай за спасибо наймет, пускай мочалкой из теста кормит – лишь бы спрятал на неделю-другую. А там посмотрим...

Не прогнали итальянцы. Дженнаро достал из поставца флягу заветную из Наполя. Слушая друга, подмигивал ангелу-хранителю.

– Он Дженнаро и я Дженнаро...

Дескать, свои люди. А что Федор иноверец, значения не имеет. Святой не придирается к пустякам. Он бедняка не даст в обиду.

Звонарь на башне тонкогласно, нежно отбил часы. Шабаш, значит. Идти к хозяину вечером не стоит. Устал, от зари дотемна шныряет повсюду, наблюдает за выделкой кож, мехов, за шитьем зимней меховой одежды. О, хозяин, падроне, умеет добывать сольди. Его палаццо во Флоренции...

Дженнаро вскинул руки, нарисовал в воздухе удивления достойный дворец.

Святой напоольский если не помог, то не напортил. Гваскони пощупал мышцы Федора, кивнул. Беглеца приняли. И его звонарь ранним утром будил, вторым выкликнул на страду. Федор чистил меха, дух таежный, звериный, беспокойный тек в его грудь.

Поваренок Маурицио учинил Федору метаморфозу, перемену лица. Бороду снял, выстриг на верхней губе усы, власы подрезал. Искусно орудуя кисточкой, удлинил нос, прочертил морщины – стал Федор вдруг старше лет на десять. Коль нагрянет нарочный княгини, не узнает холопа. А для верности, лучше всего ему, в присутствии посетителей, притворяться немым.

– Мычать, что ли? – вопрошал Федька.

– У-у-у-у-у-у!.. – ответил Дженнаро.

Вон как! В Италии и коровы мычат не как у нас.

Предлагали Федьке и называться по-новому. Клаудио? Альберто? Франческо? Выбирай! Нет, этого не надо... Тогда Теодоро. Тот же Федор, только на итальянский лад.

Теодоро к ремеслу оказался способен. Приглянулся он старшему скорняку Пьетро, тестю хозяина, научился кроить шубейки – те самые, которые среди франтих московских вящую получили известность. Старый фасон тяжел, неуклюж, в исконных охабнях только в санях хорошо, а по лавкам толкаться, товары заморские приглядывать, с приказчиками торговаться несподручно. Гваскониевы шубейки короче, поясницу слегка обжимают. Можно ворот отстегнуть, откинуть, чтобы ожерелье для всей Москвы зажглось.

Начал Теодоро добавлять в мочалку из теста, рекомую спагетти, каплю масла.

Итальянского масла, из олив-ягод.

– Оставайся, – говорил Дженнаро. – Зачем бегать? Куда бегать?

И правда же – чем плохое убежище? Околоточные у Гваскони на откупе, на его сольди водку хлещут. Спрятан ты тут, спрятан глубоко, – твердит себе Федька. Радуйся! Дальше видно будет, загадывать нечего.

Хозяин хвалит. Закройщик Теодоро отличился, придумал башлык к шубейке. Пади вьюга-непогода – франтиха накроется, тепло ей.

На исходе зимы объяла Гваскониев двор суматоха, хозяин велит перебрать меха, кожи, лучший товар отделить. Дорогой мех – на подвески, поплоче – в мешки, да неплотно. Чтобы дышать меху было вольготно. Запахло снадобьем, коим уничтожается ползучая тварь.

Причину от Теодоро не таили – хозяин решил удалиться на покой. Седьмой десяток хозяину, следующую зиму в России ему не выдюжить. Московское свое хозяйство поручит старшему сыну, а сам – восвосяи, во Флоренцию. Но не зря же ломать этакие версты! Целый поезд тронется со двора, повозок десять. Часть груза хозяин распродаст дорогой, завезет товару в венский свой магазин, в венецианский, барыш всяко набухнет.

Будет поезду роздых и в польской Украине, в богатом имении Вишневецких. Дженнаро облизывается. Высокородные паны не скупые, закормят жареной гусятиной, свининой с капустой, напоят медом.

Заезжать к Вишневецким надобность особая, никто, кроме хозяина, о ней не знает. В его спальне, в запертом ларце, лежит письмо.

«Досточтимый и дражайший господин! Да будет Вам благословение всевышнего и успех в благих начинаниях! Я нахожусь в имении Вишневецких возле Житомира и пользуюсь великодушным гостеприимством и сердечным расположением, каковые распространятся и на Вас, если Вы сочтете возможным сюда пожаловать. Сей вояж не отнимет у Вас много хлопот и времени, однако представляет для Вас интерес».

Для Гваскони, умеющего читать и недосказанное в посланиях Элиаса Броджио, ясно – иезуит свой интерес блюдет. И не совет содержится в письме, а распоряжение. Гваскони для чего-то нужен путешествующему падре.

Весна пришла рано, обсушила землю быстро, открыла путь купеческому каравану. Кожи скатаны, сложены; меха в коробах, на подвесках. Сладостно цветет черемуха, томит мастера Теодоро.

Сажают и его в телегу. Хозяин не просит – понуждает вроде. Дает пистолю в руки.

– Бандити... Ты пум, пум!

Вот как оно обернулось! Князь-боярин не взял в Италию, а купец силком тащит. Расчет понятный: в дороге все бывает, без охраны нельзя. Хозяин уж набрал защитников с дюжину – итальянцы, австрийцы. Ему, Федору, азовскому ратнику, быть старшим. Бумагу проездную купец достанет, ему подьячие, чернильные души, любую сварганят. Козлу рогатому паспорт выправят.

Убеждал и Дженнаро. Ну, как хозяин осерчает, выдаст беглого? Оставит – тоже не житье. Соскучишься без Дженнаро. Эмилиано – скорняк главный – тоже уедет, другому мастеру, может, не потрафишь...

Ехать аль не ехать? Видится Федьке, как он в Италии падает в ноги князю-боярину. То-то остолбенеет! В цепи закует? Так нету же там у него цепей.

– Слушай! – тербит Дженнаро. – Сан Дженнаро сказал: сара буоно – хорошо будет. Тебе денаро, деньги...

Федор прикидывал и так и этак, решил лишь накануне отъезда.

– Ответь ангелу своему. Поеду я, судьба мне... Пушай хранит нас с тобой.

## 9

Откуда он взялся – град Венеция? Какой шуки хотеньем из моря вынырнул?

Похоже, не человечье изделие сей град, а жителей пучины. По улице ни пешему пройти, ни конному проехать – одна вода. Земли почти не видно. Строения торчат прямо из воды, на крыльцо волны набегают. Чудно и страшно.

Ладьи со стольниками, со скарбом плывут меж двух стен, меж двух рядов каменного великолепия. Небось в каждом дворце – за столбами точеными, за хитрой, словно кружево, резьбой – граф либо принц.

Остановились у здания, накрывшего всю флотилию широкой сумрачной тенью. Стоит дворец многооконный, в три света, опустил в воду толстые опоры, распахнул ворота. Лодочник, орудовавший длинным веслом, прокричал что-то.

– Ламбьянка, – послышалось Борису.

У входа – стражи с кинжалами, темноликие, дюжие молодцы. Солдат Глушков оторопел, вцепился в рукав Бориса.

– Обгорели они, что ли?

Не видал мавров, деревенщина...

Более часа выгружались суда. Смотритель Ламбьянки, слушая толмача, в отчаянии призывал мадонну. Кавалеры из Московии как один требуют комнаты верхние, под самым потолком, подальше от воды. Близость воды кавалерам непривычна.

Слуги сволокли в подвал припасы, недоеденные в пути, – бочки с солониной, салом, мороженой рыбой, икрой. Запахло ярославскими солеными рыжиками, подмосковными огурцами с чесноком, укропом, листом дуба и смородины, рязанским моченым яблоком.

Ламбьянка вся в бликах канала, подернутого рябью, вся в ответном сверкании зеркал, паникадил, картин в золоченых рамах, наборного, из досочек фигурных сложенного, скользкого, как лед, пола.

В зеркалах саженной высоты отражались юноши, отощавшие, обросшие в дороге. Мягкие кафтаны, ввалившиеся щеки, глаза, воспаленные от недосыпа, вбирающие неведомое. Каждый прижимал к себе сундучок либо сумку с драгоценным, домашним – то иконы, деньги, ложка золотая, подаренная на зубок при рождении, отчий перстень.

Всюду сонмы божеств языческих – писаных и литых. Хохочут, глядя на московитов, фавны, злорадствует, стоя с трезубцем, Посейдон, резвятся девы водяные и лесные.

– Гыы!.. – ржет Аврашка Лопухин. – Баба голая...

– Дурак, – бросил Борис. – Не баба, а нимфа.

Хилковы, все трое, расшалились, скользят по паркету. Младший упал. А Борис запрокинул голову, притих.

Много городов было на пути, а такой, как Венеция, не снился, и в хоромы таких не бывал.

Дивились и венециане, глядя на приезжих. Русские показывались редко, а компанией столь многочисленной пожаловали впервые. Станные они, московиты. Блеск зеркал притушили полотенцами, а священные изображения, привезенные с собой, озарили светильниками. По-итальянски не знают, грустят на чужбине. Вечерами поют хором, протяжно и печально.

Борис и его подопечный поселились вместе, в комнате, выходящей стрельчатым окном на протоку. В тот же день уведомились, что протока зовется Каналь Гранде, а гостиница, приютившая их, – «Леоне Бьянко», сиречь «Белый Лев». Большое пройдет время, Борис, владея итальянским совершенно, все же напишет – «стали на Ламбьянке», ибо не померкнет в памяти пора ученья.

Не забудет Борис, как по утрам, в общей трапезной, принаравливались наматывать на вилку спагетти – нити нескончаемой итальянской лапши. А с канала уже неслись крики гондольеров, припутавших свои ладьи к пестрым причальным кольям, – дескать, готовы, ожидаем синьоров.

Гондолы везли стольников по Каналь Гранде к морю, пересекали тень Кампанилы – высочайшей звонницы венецейской. У набережной Скъявони – сиречь Рабов – толпились многопушечные фрегаты, загораживали собой палаццо дожа – белую глыбу, выточенную будто из слоновой кости. Высаживались стольники на берегу морском, у навигацкой школы, далее которой лишь корабли, колыхаемые волной, да острова на безграничном просторе.

Сенат Светлейшей республики – союзницы царя Петра – дал московитам наставников первостатейных.

Борис, Аврашка Лопухин, трое Хилковых, а всего семнадцать человек – у Мартиновича,

громкогласного, черноусого богатыря. Здание школы сотрясается, когда он, танцуя с указкой, рисует в воздухе движение планет вокруг солнца. Астроном, математик, строитель кораблей, навигатор, храбрый воин, отличившийся в баталиях с турками, – таков Мартинович. Борис первый кричит ему по-сербски:

– Добар дан!

Далматинец русским своим питомцам предан сердечно и причины не скрывает. Из народов славянских одна лишь Русь свободна от власти басурман...

Дует ветер греко-леванте, сиречь восточный, гонит воду из лагуны в город. Волны отбрасывают живой узор в залу, где стольники пишут диктант. Мартинович, переводя с итальянского, читает морские правила.

«Никакой корабль, будучи в строю, неповинен носа выставлять наперед того, на котором резиденцию имеет начальнейшей начальник».

Греко-леванте крепчает, вода вот-вот хлынет на пьядца Сан-Марко, к собору, к дворцу дожа. Мартинович ко всем своевольствам моря привычен, голос ровен.

«На корабле всегда надобно иметь кошку, потому что если мыши что съедят, а кошки не было, то доправят на капитана».

Поднялось непонятное для учителя веселье. Аврашка Лопухин тотчас нарисовал кота в кафтане и башмаках, сидящего на мачте, и попытался придать животному черты Куракина. Пошел по рукам пресмешной Мышелов.

В конце урока допускается задавать учителю вопросы. И тут опять позабавил компанию Аврашка:

– А курву на корабль можно взять?

Ответ, записанный стольниками, гласит:

«Курву отнюдь на корабле не держать, а вольно начальному господину держать свою жену».

Из школы рукой подать до кораблей. Вон они – тартаны, фелуки, галеры! Кольшутся, машут вымпелами, ждут к себе московских кавалеров. Прогулки по владениям Посейдона не миновать. А он владыка несговорчивый. Учен ты или нет – поблажки не даст...

Борису век бы не встречаться с морским величеством. На канале, в доме, и то неудобно – как ни ярится огонь в камине, а сырость не побеждает. На ремне плесень зеленеет. В ученье Борис прилежен, царскому указу послушен, но нет у него влечения к корабельной службе, тем паче в обстоятельствах войны. А Мартинович предрекает столкновение с флотом турецким.

О том же твердит и Петр Толстой, старший среди стольников. Баталий морских не избежать. Лучше десять сидений азовских перенести, чем одно столкновение флотов над коварной пучиной.

Толстой в ученье усерднее всех. Поехал в Венецию с большой охотой, несмотря на свои сорок с лишним лет. Стольниками признан как командир и по всем делам ходатай. Преуспел в итальянском не хуже Бориса, вхож к правителям Венеции, приносит из дворца дожа новости.

Весной событие небывалое поразило стольников – Петр Алексеевич из Москвы выехал, делает визиты potentатам немецким. Русские цари доселе пределов государства не покидали.

– Посольство снаряжено большое, более двухсот человек, – рассказывал Толстой. – Первый великий посол Лефорт.

– И туда пролез! – рассердился Куракин. – Он же букв наших не знает.

– Наш государь, – продолжал Толстой, – совершает путь инкогнито.

Кроме Бориса да еще двух-трех человек, никто этого слова не знал. Боярин объяснил. Петр Алексеевич объявляет свой титул лишь владельческим лицам, для прочих он – Петр Михайлов, московский шляхтич. Едет в числе молодых волонтеров, сиречь добровольцев, изучающих строение кораблей и фортеций.

Борису обидно за царя. Пристало ли ему прятаться? Аврашка, тот фыркнул.

– Кому потешки, кому слезки...

– Не твоего ума дело, – огрызнулся Борис.

На душе у Бориса беспокойно. Верно, и впрямь придется воевать на море. Дозволит ли фортуна воротиться домой? Посольство ищет новых союзников против султана, цесарь, вишь, не надежен...



Вскоре Толстой сообщил: царь был в Кенигсберге, с курфюрстом Бранденбургским вступил в тесную дружбу. И венециане этому рады.

Солдат Глушков, деревенщина, от страха бледнел, как только Борис заговаривал о войне.

– Умру я, Борис Иванович. Сразу умру.

Первое время деревенщина почти не казал носа из Ламбьянки. В школу навтичную не ходил, получать познания солдатам и дворовым надлежало от стольников. Борис терял терпение, пытаясь вдолбить хоть малую долю наук в тупую башку. Солдат жег лампаду перед образом Николая Чудотворца, масла и молитв не жалел, вымаливал избавление от чужбины, от книг, от гибели морской.

На Венецию взирал из окна робко. Позиция зело авантажная – слева виден мост Риальто, крутой каменный взгорбок, на коем, яко поклажа на спине верблюда, нахлобучены лавки со всяким галантным товаром. Направо повернешь голову – там пескерия, то есть рыбный рынок, развал морской живности: пучеглазой, хвостатой, зубастой, многолапчатой. Поутру рынок посещают кавалеры и дамы, прошедшие ночь в бodegaх винных и остериях. Зрелище тварей премерзких вкупе с прохладой действовать должно освежительно.

И вдруг обнаглел деревенщина, начал отлучаться из Ламбьянки.

– Солдата вашего, – сказал Борису Мартинович, – встречали в Редуте. Играет безрассудно, садится за стол с кем попало.

Чего ждать иного? Пуста ведь башка!

Едва раскроет книгу – сказывается больным. А в игорный дом бегать, так он здоров.

Как с ним сладить? Отлупил бы, да ведь повезло дураку, что уродился шляхтичем.

– Напишу в Москву, – пригрозил Борис.

Указ государев строг – не хочешь учиться, расставайся с имуществом. Остепенился, уродушка, понял, что с ним не шутят.

Борис пытал фортуна в Редуте, поставил золотой, просадил. На том зарекся. К искусству карточному приобщал его Мартинович, не выигрыша ради, а политеса. Если случится быть позванным в палаццо и знатные господа предложат сразиться в карты, чем отговоришься?

Несравненно более тревожили венецианки, стремившиеся учинить с московскими синьорами знакомство. С наступлением темноты обольстительницы зажигали на гондолах своих фонари, и ничто – ни ставни, ни одеяло, натянутое на голову, – не спасало от женского зова. Зажмуришься – все равно пляшут, колыхаются красные огни. Теревит душу цитра, жалуется на жестокость возлюбленной. И гондольеры стонут – амор, амор! И волна, пущенная веслом, целует мшистую стену Ламбьянки и тоже ладит – амор, амор!..

Петр Толстой упреждает: с теми дамами аморы дороги, а еще обернуться могут ворогом, одарят телесной гнилью.

Аврашка Лопухин ухмыляется:

– Моя Жанетта здоровая.

Мозоли в ушах от его Жанетты. Уж как любезна французенка! Всегда у ней сладости, плоды, вино во фляжине оплетенной, большущей. Постель лавандой надушена. Прежде чем допустить кавалера к себе, ставит на пол шайку с водой теплой, велит помыться, оглядывает голого – нет ли изъяна.

– Хворь не отмоешь, – говорит Борис. – Съедят тебя черви заживо.

У Аврашки кошелек толстый, кортиджанка его одного улаживает. С Ламбьянки он съехал, нанял квартиру у торговца зеленью, возле арсенала. Жанетта ночует у него. Никто тому не препятствует.

«Все те курвы, – записал Борис с удивлением, – имеют в канцелярии записные книги имен своих и могут вольно то дело делать».

Амором это дело Борис называть не может.

В Москве, поди-ка, снег лежит, а здесь весна. Тянет куда-то прочь из Ламбьянки. Все восемь дверей на балкон открыты. Поют гондольеры, не остаются в долгу и гардемарины. Слушай, Венеция, как русская душа тоскует! Петр Толстой запекает:

Вниз по Волге-реке,  
С Нижня го-ор-ода-а...

Голос у боярина дьяконский. Жиденько, по-козлиному блеет Прозоровский. А у Бориса не ладится – то чересчур высоко возьмет, то сипит. Толстой рассердился: кто не умеет, пускай помалкивает.

Однако Бориса на балкон тянуло. Диковинного звучания песни привлекали не только кортиджанок, но и благородную публику. Подплывали в золоченых гондолах, кутаясь в просторные мантии, знатнейшие лица Венеции. Однажды, говорят, изволил задержаться сам его высочество дож. Слушают пение нарядные дамы и чичисбео, сиречь на всякое женское хотенье готовые галанты. Борис раскрывает рот, будто поет, – неловко же торчать немым, когда на тебя наводит подозрную трубу красивая синьора, играет веером, начерченными бровями, плечом атласным.

Обещает амор небывалый, амор несказанный, амор в чертоге золоченом, сказочном.

## 10

– Я околдован русскими песнями, – сказал Элиас Броджио. – Поразительное, трагическое звучание.

Иезуит узнал о прибытии стольников и поспешил отыскать старого знакомого. Дела задержат его в Венеции на две-три недели, а затем церковь снова вручит ему посох скитальца. Бог ведает, когда удастся довершить заветный манускрипт, главный труд жизни – трактат о могуществе. То, что здесь оказался русский друг, весьма кстати, беседа с просвещенным человеком помогает оттачивать мысль.

– В ваших песнях, принчипе, – рассуждал Броджио, – я улавливаю предчувствие. Да, именно предчувствие громадных испытаний, к коим устремляется Московия. Царь Петр молод, но у него железная рука, рука великого воина.

Броджио считает – грядущее для России, для многих стран преисполнено кровавых битв.

– В том и ваша судьба, принчипе. Для дворянина нет занятия более подходящего, чем война. Макиавелли утверждает...

«Почто же так? – думает Борис. – Выходит, лишь простолюдину подобает наслаждаться миром, а дворянину сие постыдно? Ему, значит, судьба воевать, а из-за чего – не важно, лишь бы драться».

Сочинение Макиавелли Борис осилил, и воинственный дух флорентинца огорчает его. Мудрый ведь автор, а толкает проливать кровь.

– Мы ведем речь о могуществе светском, – напоминает Броджио. – Потентаты земные, увы, суть жертвы страстей. Некоторые мнят себя превыше церкви, как, например, здешние властители.

Венецию иезуит порицает строго. Грешный город, утопающий в разврате. Его святейшество папа справедливо гневается – здесь бесстыдно пренебрегают его распоряжениями. Чины духовные и те заражены дьявольским самомнением.

– Знаете, как тут говорят? Мы прежде всего венецианцы, а потом христиане. Чудовищно!

Могущество церкви, высокое и непререкаемое, – оно одно дарует благо.

Броджио водил Бориса к себе, в обитель иезуитов, именуемую коллегиум. В четырехугольном дворике пел фонтан, застыли остролистые полуденные растения, укрытые от греко-леванта. А в келье тесно, голо, страдающий Иисус глядит, свесив голову, со стены, тронутый влажными пятнами.

А на что плеть-пятихвостка? Иезуит снял с крючка, дал Борису пощупать стальные когти, прикрепленные к волосьям бечевкам. Этакая до крови приласкает.

– Отличное средство, – сказал Броджио смиренно, – истреблять в себе гордыню.

Себя хлбыщет? Иезуит задрал сутану. Тонкие царапины, будто кошачьей лапы след. Монах жалеючи бьет. Все же плеть внушала уважение к хозяину кельи.

– В годы юности, мой принц, я истязал себя сим орудием ежедневно.

А каково стоять на коленях, на холодном каменном полу! Стоять полчаса, в то время как твои сверстники корят тебя за леность, за недостаток смирения! И ты обязан сносить унижение безропотно, выполнять без жалоб самую грязную, изнурительную работу.

– Обет послушания у нас, в братстве Иисуса, самый главный. Из чего слагается могущество церкви? Из повиновения многих.

«Положим, ты и себя не забываешь, – подумал Борис. – Монах – он тоже плоть человеческая».

Снял книгу с полки, вздохнул – латынь не про него писана. На обороте корешка листок наклеен, на нем препротивный идол каменный, клыкастый. Подножие его точит муравей, идол рушится.

– Эклибрис, – сказал Броджио и пояснил: – Сие есть знак владельца книги.

«Дельно, – подумал Борис. – Меченое добро сохранней. Будет и у меня эклибрис».

Толстой, заметив кумпанство с Броджио, счел нужным вмешаться:

– Не очень доверяйся, Мышелов. Народец двуличный. Назовут братом, да по башке ухватом...

Пустое! Что дурного может он причинить, ученый монах? Броджио – гость желанный. Борис, ожидая его, готовится спрашивать, а когда и спорить.

– Мыслимо ли, чтобы каждый потентат крови жаждал? Наш государь, к примеру...

– Государь столь просвещенный достоин лишь похвалы, – ответил иезуит осторожно.

– А иные? – настаивал Борис. – Они ж помазанники. Искра от бога запала же. Который потентат умный, он с лучшими фамилиями в совете. Ныне вот христианские государи обратились против неверных. Худо разве?

Броджио усмехнулся. Союз держав против султана доживает свой век.

– Увы, мой принц! Честолюбие, алчность, зависть гасят божью искру.

Не угодно ли узнать принцу, как влияет на судьбу государства, на жизнь подданных хотя бы вождение к женщине? Ян Собесский ни за что не вступил бы в лигу с императором, если бы не его супруга, королева Марыся. Ян воспитывался в Париже, был мушкетером у Людовика. Но Марыся... Француженка, урожденная маркиза Даркиен, невлюбила Людовика. А Собесский был ее рабом.

Известно ли принцу, что Марыся с позором изгнана из Варшавы? Она и ее сын Александр не постеснялись снять кольцо с руки Собесского, лежавшего в гробу. Ограбили мертвого.

– Я видел Марысю, она удивительно хороша собой. Но что делает с людьми жадность? Худшие пороки, мой принц, свивают гнездо там, где не хватает благочестия.

И снова твердит Броджио: лишь единая, всемирная церковь спасет душу, принесет благополучие всякой державе. Иезуит называет, негодуя, имена венценосцев, восставших против авторитета папы. Они умирали бездетными, их земли достались врагам.

Иной раз Борису страшно становится за царя Петра – так честит Броджио строптивых властителей.

– Наш не бездетен, – напомнил Борис однажды.

А что папа, неужто без греха? Все равно не обойтись без Броджио. Кто расскажет занятнее о делах во всем свете, прошедших и нынешних?

Об отъезде царя за границу Борис наслышан от Толстого, однако иезуит всегда что-нибудь добавит.

– Правда ли, – спрашивает Борис, – что в Риге царя едва не застрелили?

– Ваш царь кипучая натура, – улыбнулся Броджио. – Сорок лет назад Ригу осаждал его отец. Царь Петр, быть может, забыл об этом, но шведы помнят. Конечно, они могли бы принять гостей любезнее, допустить на контрэскарпы. Часовые не виноваты, они выполняли приказ. Нелепый случай... Можно подумать, королю Карлу Московия опасна...

Борису тревожно – худо началось путешествие. Не приключилось бы с царем беды в чужом краю.

– Пустяки, – успокоил Броджио. – Немецкие государи принимают радушно. В Курляндии торжество, говорят, было невиданное. Герцог закидал царя подарками. Один презент отослан в Москву. Угадайте, мой принц! Топор для палача, топор из лучшей стали... Любопытно, – и Броджио поглядел на Бориса испытующе, – чьи покатятся головы...

Борис потупился, взгляд иезуита стал неприятен.

У себя в коллегии, в келье, обращенной окном к лагуне, Броджио садился за писанье.

В Риме и Вене становилось ведомо: князь Куракин умен, способен к языкам, царю предан

весьма. Несомненно, займет видное положение в государстве.

Сыновья знатнейших русских семей удостоены отзыва подробнейшего. Двору папскому, двору цесарскому надобно знать, кто они – будущие государственные мужи.

На исходе мая посещения Броджио прекратились. Уехал и не сказал – куда.

– Я посох в руке владыки. Всего-навсего посох, мой милостивый принц.

Стало скучнее на Ламбьянке.

Многие стольники съехали, поселились у горожан. Аврашка спрашивает:

– Тебе неужто не обрыдло? Толстой проповеди долбит. Что мы ему – ребята малые?

Платит Аврашка два дуката в день, значит, тридцать алтын за камору и за еду. Против Ламбьянки дороже, так ведь хозяйка ему порты моет.

– Рикушка мигом спроворит, – твердит Лопухин.

Много всякого народа толчется на Ламбьянке – разносчики орехов, марципанов, менялы, предсказатели. Брадобрей Рико сделался самым нужным. Стрижет, бреет, чистит ногти и всех в городе знает.

– Принчипе будет жить в палаццо Рота, – возликовал Рико. – О, прекрасный палаццо!

Синьора Рота как раз просила его подыскать постояльца, кавалера учтивого, из хорошей фамилии, так как она сама рода доброго. Кого попало к себе не возьмет.

– Принчипе ей понравится, – уверял Рико. – Принчипе комара не обидит.

По правилам, Рикушке не следовало знать, что перед ним принчипе, то есть князь. Титулы объявлять за границей не велено. Перемудрили приказные. Броджио вон давно всех величает. Спрятали щи в горшке! Нет уж, скрывать свой титул Борис не станет.

День еще не кончился – Рико примчался с письмом. Синьора Марчелла Рота приглашает сиятельного принчипе завтра к шести часам пополудни в кондитерскую Мантовано, пить шоколату. Стало быть, пояснил цирюльник, желает наперед познакомиться.

Аудиенция подобного рода для Бориса внове. Как ее пьют, шоколату? Как надобно одеться? В кондитерские не захаживал, не тратился – на Ламбьянке и дом и стол.

Полукафтаник новый еще не готов, портной, негодник, обузил, теперь переделывает.

Военачальник Коллеони смерил презрительно москвитя, вылезшего из гондолы. Бронза монумента позеленела, голуби сотворили из кондотьера насест, запачкали высокомерно искривленный рот. Борис оглаживал себя, озираясь. Да вот оно, кондитерское заведение! Через всю площадь несет сладким.

Вошел и поперхнулся – духовитый, пряный пар обволокло его густо, точно на банной полке. Тонули в благоухании шелка и самоцветы, кафтанишки кавалеров – модные, до пояса. И пироги на прилавке, горы конфет, цветы в посудинах стеклянных – красных, зеленых, синих.

Шагнул к слуге, чтобы спросить, где сидит синьора Рота, когда послышалось:

– Принчипе, принчипе!

Двинулся, как слепой, задевая за стулья, толкая слуг с подносами.

– Принчипе!

Синьора в рыжей накидке, тощая, мосластая. Прикрывшись веером, кажет верхние зубы. Рядом с ней махонькая старушка. Согнута дугой, а глаза – светлячки.

– При-инчипе, при-инчипе, – раздается из уст синьоры и словно со всех сторон. О чем она? Насилу понял: предлагает место, спрашивает, какую шоколату любят московские бояре, чистую или подсахаренную?

Сказал, что бояре вовсе ее не пьют. Дотронулся до чашки с мутным кипятком, обжегся, начал дуть. Брызнуло на скатерть.

Нравится ли принчипе шоколата? Не скучает ли в Венеции? Весна неудачная, холодная. Впрочем, москвиты не зябнут, они голые бросаются в снег, не так ли? Старушка ласково кивает. А синьора Рота, не дождавшись ответа от Бориса, воскликнула:

– Голые! О, мадонна!

И любопытна же! Здравствуют ли у принчипе родители, есть ли братья и сестры? Только жену забыла. На верхней губе синьоры шевелятся черные волоски, редкие, колкие.

– Ты слышишь, Эльвира? Принчипе сирота. Бедный принчипе, о, бедный!

– Бедный, – вторит старушка.

Мосластая опять зачастила. Где у принчипе палаццо, где земля, что растет? Борис звука не успел произнести – она за него говорит. Палаццо дивное-предивное, иного и быть не может у принчипе. Разве не так? Вот апельсинов нет, апельсины от холода гибнут. В Московии почти всегда снег, не так ли?

Дался ей снег...

За столом уже четверо, откуда ни возьмись – еще женская особа. На лице, белом от пудры, мушка. Волосы все кверху зачесаны, острой маковкой.

– Слушайте, слушайте! – возглашает мосластая. – Принчипе Куракин рассказывает о Московии. У него там палаццо, огромный, богатейший палаццо.

Борис усмехнулся. Чем не дворец! Бревенчатый, пакля из пазов лохматится. Только низ выложен кирпичом. Потолок в столовой палате так и высвечивает пустой, – никак не соберется принчипе нанять живописца, чтобы изобразил ходы небесных светил, как в отчих хоромах. А уж богатство... Деревни обезлюдели, поля чертополохом зарастают.

Все это выложить – слов не сыскать, да и ни к чему. Никого тут не касается, как распорядилась бабка Ульяна, какой имела резон обделить младшего внука.

– У нас нет таких палаццо, как у вас, – сказал Борис.

Наконец перешли к делу. Синьора готова уступить ему комнату. Принчипе скромненько, непохож на нынешних дерзких, невоздержанных молодых людей.

Тут Борис узнал: покойный муж синьоры тридцать лет служил у герцога Пармского и получил от него дворянство, но на другой же день умер. Нужная бумага, составленная по всей форме, увы, не имеет подписи. Поэтому она, синьора Рота, не вправе украсить свой дом гербом, но он у нее в сердце.

Обе подруги согласно подтвердили:

– В сердце, в сердце. Принчипе не пожалееет. О, он нашел мать, несчастный сирота!

Перебрались в воскресенье. Не хотелось Борису, ох как не хотелось брать с собой Глушкова. Вмешался Толстой, напомнил царский указ. Солдату жить одному, без присмотра, без персоны старшей никоим образом нельзя.

Гондола ткнулась носом в лестницу старого облупившегося здания. Одно название – палаццо. Ступени выедены, ставни серые, выцвели. Служанка отперла постояльцам камору – узкую, вроде траншементы. В окно доносился собачий визг с пустыря Сан-Поло, где по праздникам травят псами быков.

## 11

Гваскониюв караван переправился через Днепр, затарахтел по владениям Речи Посполитой. Хозяина укачивало. Очнется на ухабе, клянет тряску, дорожную пыль, приказывает взбить подушки да повыше. Федька и Дженнаро умаялись, понукаемые хворым, всегда недовольным стариком.

Оба спят при нем, спят по очереди в длинном, точно гроб, возке. Наполетанец, ложась, упрасивает своего святого тезку:

– Оборони, сан Дженнаро, от разбойников, позаботься, сан Дженнаро, чтобы наши лошади не заболели, чтобы ничего не поломалось, чтобы мы не провалились в яму или в реку...

Хозяину причитания надоедали. Укладывая под подушкой пистолю, ворчал:

– Нападут разбойники – будите!

Дженнаро ужасался – накличет ведь! Безбожник, насмешник, как все флорентинцы... И опять призывал небесного патрона, шепотом:

– Прости, сан Дженнаро, синьора Гваскони! Усмири его неразумный язык!

Голова Гваскони скатывается к окну. В возке душно, старик хватает воздух ртом, храпит, чавкает. Когда Дженнаро спит, Федор сидит рядом с постелью хозяина, сжимает коленями мушкет. За окном плывут, ныряют холмы, перелески, хаты. Влетают – чудится осололевшему Федору – прямо в рот хозяину.

Сторона чужая, а все знакомо. Везде человек рождается либо мужиком, либо господином. Мужиком чаще, вот что худо. А хоромы здесь позатейливее, чем на Руси. Стекла цветные, медь

фигурная. Пан, который побогаче, обносит именье свое крепостной стеной, держит войско.

Однако такой двор, как на Воьлыни у Вишневецких, путникам еще не попадался.

Фортеция поздоровее азовской, смотрит враждебно. Федор все выше задирает голову. Дорога возносится над речкой, над дубравами, над скалистыми удожьями, а стена громадится, тычет самопалами. Страж в высоком шлеме, усатый как таракан, забежал, замахал, волоча шпагу непомерной длины. Сверху дали сигнал флагом – подымай, дескать, бревно, впусти гостей!

Пал под колеса цепной мост. Проезжая во двор, Федор смерил толщину стены. Азовские турки позавидовали бы...

Скорее бы поесть да на боковую. Поди-ка, сбежится панство, начнет шупать да дергать товар. Коней распрячь не успеем, как раскидают поклажу, потом подбирай! Едва ли до заката управимся.

Гваскони вылез, не устоял на затекших ногах, поймал руками ствол дерева. Разлапистое, дивное дерево, – Федор не заметил, откуда взялся молодой, узкогрудый католицкий поп в тесной рясе. Обнял купца, как старого друга. Что-то шевельнулось в памяти. Федор глядел, пока не убедился: он, воистину он, иезуит проклятый!

По нем панихиду пропели, а потом оказалось – жив! Побывал в плену у мухаммедан, исхитрился спастись. Дошлие они, иезуиты.

Вон и четки торчат из кармана. Беседует, бывало, с князем-боярином, тербит свои бусы...

А товар куда девать? Дворец словно вымер, хоть бы одна дверь звякнула!

Ну, дивные дела! Тут поп вместо пана. Пузан в лазурном камзоле, с чешуей серебряной на плечах, перед иезуитом чуть не стелется. Должно, управитель али ключник.

Странно все... Покупать не идут, но и отпустить гостей не намерены.

Старика с почетом поместили в палатах. Федору и Дженнаро пузан указал топчаны в казарме, остальные работники наряжены с лошадьми на пастбище. Казарма большая, на целый полк. Да где он? Федор, унтер-офицер азовский, прикинул – половины рейтар нет в наличии.

Война, что ли, людей вымела?

Нет, рейтары говорят, не война, а сейм. Сейм – значит собрание панов. В Варшаве короля выбирают. Князь Михал взял бы больше конников, да нельзя, Семен Палий нагрывает.

Про Палия Федор слышал. Сильно пошаливает атаман, нагнал на панов озноб.

Повара, девки комнатные, кои попригляднее, тоже в Варшаве. И скрипачей двадцать человек.

– Не пойму я вашего князя, – усмехается Федор. – Этакой поезд потянул, а супруга тут одна. Около нее вон иезуит вьется.

Дрозд черный, он везде клюет. Федор видел его с красивой госпожой. Гуляли по парку, спустились к реке.

Насмешил Федор рейтар. Не жена вовсе, а мать князя. По виду не скажешь, это верно. Двух мужей похоронила. Окрестные паны наперебой сватаются. Одного она арапником огрела, до того привязался. Ночевал у стен замка.

Здесь, поди, и с монахом балуется, думает Федор. Да какой он монах, без монастыря!

Еще не ведает азовский унтер, что за надобность свела в Белой Кринице иезуита, княгиню Дульскую и купца Гваскони.

Из Венеции иезуит направился сперва в Рим, где получил напутствие от кардинала Сагрипанти. Оттуда, в настроении отменнейшем, двинулся на север, сбежал от итальянской жары, чрезмерной для нежной кожи.

Сагрипанти, влиятельнейшее лицо в Риме, протектор Восточной Европы, маркиз Джузеппе Сагрипанти согласился с планом Броджио.

В Варшаве, пребывающей в горячке выборов, братство Иисуса имеет достаточно глаз и ушей. А Мазепа нужен при любых обстоятельствах. Честолюбие его и полководческий дар обещают многое. Гетман себе на уме, карты свои не раскрыл, но Броджио заверил кардинала: Дульская накинута поводок на малоросса. Переписку с княгиней он не прекращает, а это знак

добрый.

Важно, чтобы поводок не порвался. Дульская нуждается в совете, в поддержке – ведь терпеть старого повесу нелегко для пылкой любовницы.

Направляясь к Белой Кринице, Броджио навестил несколько замков. Уния местами привилась, вельможи вовлекают крестьян ревностно. Что ж, содействовать благому делу не грех и плетью. Уния – вот вернейшее средство подчинить Россию императору и папе.

Вообще, все складывается пока недурно. Даже этот русский, куракинский денщик, лезет в руки. Выскочил из экипажа, как пробка из бутылки. Подарил же сюрприз старик Гваскони. Возможно, надо будет вернуть князю беглого слугу – для вящей дружбы.

– Морда у холопа смышленная, – сказала про него Дульская.

– Мой Куракин, – бросил иезуит небрежно, – этого не оценил. Уменье выбирать подчиненных приходит с годами.

Они вышли из калитки парка и чуть не столкнулись с москвитом. Он учтиво поклонился. Карие глаза Дульской задержались на ладной фигуре холопа. Иезуит сделал вид, как и прежде, что не узнал азовца.

Тропа, огибая парк, вздымалась на крепостной холм. Из плотной зелени вырос, плавая на солнце, золоченый верх костела.

– Уповаю на то, – усмехнулся Элиас, – что новая Марина не заставит нас краснеть.

Иезуит помахивал веткой клена, ласкал себя лапчатыми листьями, довольный шуткой. Событие давнее, но памятное – здесь, в Белой Кринице, в домовом храме Григорий Отрепьев обручился с Мариной Мнишек.

– Плохое сравнение, – отозвалась Дульская сухо.

– Почему же?

Ему нравится дразнить ее. Не все ей тешиться комплиментами лощеных поклонников.

– Отрепьев был жалким проходимцем, – слышит он. – Януш – настоящий мужчина.

– Вам лучше знать.

– Разве мужчины горланят сейчас в Варшаве? Школяры, молокососы. – Дульская побледнела от ярости. – Слепые котята... Виват принцу Конти! Виват курфюрсту Августу! Сколько кандидатов – десять, может, уже двадцать? Да не все ли равно! Перессорились, передрались, кланяемся иностранцам. Научите, проше пана, жить в согласии! Скажите, Элиас, почему так трудно вдолбить в мозги главное: Польше нужны солдаты и хлеб. Кто же, скажите, кто, кроме Мазепы, отнимет у москалей левый берег? Наши предки возрадутся на небесах, когда Януш перетопит москалей в Днепре.

– Вы великолепны, княгиня.

Правый уголок его губ дергается. Он подражает Сагрипанти, его иронической гримасе.

– Какова же награда герою? Безусловно, трон, милостивая пани. Сейм единодушно, при оглушительных возгласах...

Дульская зажала уши.

– Виват королю Яну! – пропел иезуит. – Виват королеве Анне! Надеюсь, вы позовете меня на свадьбу?

– Перестаньте!

«Вам неприятно, княгиня, – думает Броджио. – Ничтожный слуга церкви потрошит вашу душу...»

– Я же прав, ваша светлость. Не могу допустить, чтобы вы поднесли столь завидному жениху тыкву.

Положим, Дульская не заманит к алтарю прожженного волокиту. Но пусть она пылает, пусть верит. Охлаждать ее не следует. Броджио заговорил мягче.

Мазепа своенравен. Он постоянно должен чувствовать внимание к своей особе. Нужна щедрость. Сразу после выборов, чем бы они ни окончились, послать Мазепе дар, крупный дар. И не из Ходорова, личного имения княгини, а отсюда, из Белой Криницы, от имени Вишневецких. Надо укрепить доверие гетмана к Польше, некогда ущемленное.

– Кроме щедрости, – прибавил иезуит, – необходимо терпение.

– Не беспокойтесь, пане, – повеселела Дульская. – Я в детстве носилась на степных жеребцах.

Обедают вдвоем, в угловой башне. В окно из парка летит птичий гам. Повару-французу Броджио заказал мясо по-бургундски. Оно тушилось семь часов в красном вине, с дюжиной трав, и удалось на славу. Скрипачи, исполняя желание Броджио, играют марши. Снизу глухо пробиваются хмельные выкрики придворных шляхтичей.

– Свора дармоедов, – морщится Дульская. – Вы спасаете меня от них, мой друг.

Шляхтичи забавляют Элиаса. Все как один притворяются влюбленными в княгиню и разыгрывают ревность. Проходя мимо римского посланца, хватаются за шпаги, топорчат усы.

– Чуть-чуть бы еще гвоздики, – говорит он, жуя мясо. – Самую малость.

Видел бы его покойный отец, простой провинциальный священник, огрубевший, омужившийся в своем захолустном приходе!

Разве он смел мечтать о кардинальской мантии! Элиас смеет, алая ткань, пахнувшая благовониями, столь восхитительная на ощупь, кажется доступной под сводами дворца Вишневецких. Если Дульская поднимется к трону... А почему бы нет? Чем она хуже королевы Марыси – дочери французского капитана гвардии, варшавской придворной камеристки, которая сменила дюжину мужей и любовников, пока не подцепила Яна Собесского? Польская корона побывала на многих головах.

Носить ее, впрочем, хлопотно. Михал – дед нынешнего Михала – получил в Варшаве дворец без мебели, без посуды приличной, так разорена была казна. Король вынужден был есть в частных домах. Зато корона позволила ему жениться на Элеоноре, сестре императора Леопольда.

Чьей голове сиять нынче? В любом случае дом Вишневецких – солидная опора для игры, которую затеяла Дульская.

– Спутать нам карты, – рассуждает Броджио, – может лишь одна персона, царь Петр. Понятно, если его не ухлопают бояре и стрельцы. Достаточно ли ловок гетман в конспирации? Царь ведь скор на расправу.

– Не бойтесь. Даже Орлик, генеральный писарь, не знает, что на уме у Януша.

– Даже вы, княгиня, – дразнит Элиас.

Все же есть граница, которую он, худородный Элиас Броджио, переступать не должен и не смеет. Не смеет – вот что особенно досадно. Прах побери, он же привык как будто смотреть на сверкающие гербы, не жмурясь! В Хофбурге, при дворе всесильного императора, и то было проще. Почему? Быть может, сила женской красоты, недоступной красоты смущает его, вызывает странную тревогу?

Кому она позволит властвовать над собой – Ходоровская-Вишневецкая? Во всяком случае, не ему...

На исходе июня, в знойный полдень шлейф пыли навис над шляхом, ведущим к Белой Кринице. Гарнизон кинулся к пушкам – вдруг гайдамаки! Картечь не понадобилась – фортеция салютовала парадно, распознав своих. Двор наполнился громом копыт.

Вслед за передовым отрядом, запряженная шестеркой, ворвалась карета, облицованная разлапистыми коваными гербами. Князь Михал, чернявый, быстрый, с пластырем на лбу – отпечатком сеймовских раздоров – вбежал по лестнице, упал перед матерью на одно колено и прижался губами к ее платью.

Конники во дворе оглашали новость – на троне король Август.

## 12

Принчипе Куракин и кавалер Глушков – новые постояльцы в палаццо Рота – живут в одной комнате, а видятся редко.

Глушков склонности своей порочной не переломил, нет-нет да и сбежит в Редуту, игорный вертеп, просаживать отцовские деньги. Ученье в башку не идет, одно беспутство. Мартинович сетует: на что такой недотепа нужен на корабле?

Кавалеры день и ночь на судах. Лето – пора страдная. Изволь увериться на ощупь, каковы они – тартаны, фелуки, галеры, буртью! Что за снасть на них, как на них плавать?

Как-то раз позвала синьора Рота высокочтимого принчипе в свои покои – откусать. Спросила, доволен ли он жильем, стряпней. Вкусна ли русская похлебка, министроне с



капустой, заказанная московитом.

Борис благодарил. Повариха искусна, еда хорошая. Служанка, подметающая камору, прилежна. И вдруг запнулся на полуслове, онемел.

– Франческа, моя племянница, – сказала синьора.

Странная совершилась перемена. Гостиная наполнилась иным дыханием, вся посветлела. Между тем лишь нитка жемчуга блестела на вошедшей, на ее белой, тонкой шее.

Синьорина присела в легком поклоне. Борис забыл законы политеса, не сдвинулся с места.

– Садись, Франческа, – приказала синьора. – Спроси принчипе, Франческа, не мешает ли ему твоя музыка. Ты, наверно, бренчишь слишком громко.

Не раз доносилось до Бориса звучание струн откуда-то из недр старого дома, не поймешь, сверху или снизу. Струны лопотали беззаботно и нежно. «Нет, что за помеха, – ответил он мысленно. – Напротив, весьма приятная музыка». Вымолвить не смог, слова итальянские иссякли.

Молчала и Франческа, смотрела на московита глазами широко открытыми. Обоих поразила немота. Зато тараторила синьора, упоенная собственной речистостью.

– Принчипе споеет нам что-нибудь русское. Пожалуйста, принчипе!

– Я петь не умею, – выдал Борис.

Жевал, не сознавая, чем его потчуют, не чувствуя вкуса. Ничего не видя, кроме глаз Франчески, таивших что-то.

Пройдет время, Борис Куракин открыто признается потомкам:

«Так был инаморат, что тот амор из сердца не вышел и никогда не выйдет».

Вначале же было лишь смятение. Сто раз спрашивал себя – почему так смотрела на него Франческа. Слушал Мартиновича, вязал морские узлы, крепил паруса, корил Глушкова за небрежение, а гостиной в доме Рота не покидал. Видел и себя – бессловесного, присохшего к стулу.

Бывало, ведь грезил – подарит ему амор знатная красавица, из тех, что подплывали к Ламбьянке в разукрашенных гондолах слушать русское пение. Уведет в невиданную роскошь, усладит необычайно.

Тогда Аврашка позавидовал бы. Не лез бы со своей Жанеттой. Подумаешь, – шайка с теплой водой!

Те принцессы в гондолах, под бархатными навесами, проплыли мимо, пересмеиваясь со своими галантами. Амор оказался под одной с Борисом крышей. Близко и вместе с тем далеко, на краю света. Знает ли Франческа, какое причинила страданье? Борис ловит слухом цитру, лопочущую где-то, и беззаботность сих звуков для него жестока.

На площади Сан-Марко, у Часовой башни, у прокураций – сиречь приказов венецейских – сидят писцы, сочиняют грамоты какие хочешь. Противно открывать душу алчному пройдохе, покупать слова для Франчески, да надобно смириться, у самого ни уменья не хватит, ни смелости.

«Где то время, когда я беспечно гулял по лугам, упоенный зрелищем цветущей природы! Ныне иная красота, иное совершенство пленяют меня. Отчего я не могу потушить пламя, сжигающее меня, отчего не могу уйти, забыться в глубине лесов или на берегу моря, под ропот его волн? Отчего не в состоянии презирать ту, которая презирает меня?»

Точно ли презирает? Пускай, так оно чувствительнее.

«Все же я хочу вложить письмо в руки той, которая уже держит мое сердце. Пусть перо выскажет вам то, что язык вымолвить не в силах. О, синьорина, лучи прелести вашей вызвали смертельную бледность на лице слуги вашего...»

Не чересчур ли это – слуга? Ладно, ведь ради политеса!

«...ожидающего решения своей участи! Умираю от недуга сердечного, но взираю с надеждой на красоту, убивающую меня, ибо только она способна возратить меня к жизни. О синьорина! Может ли красота, столь совершенная, как ваша, быть безжалостной?»

Дома Борис переписал послание, внизу пышно раскудрявил – «принчипе Борис Куракин».

Царь Петр тоже воспылил амором к иноземке. Вот и ему – принчипе – подобная же судьба.

Служанка божилась – она вложила цидулку прямо в руку синьорине. Хозяйка не заметила.

Что сказала Франческа? Ничего. Дни, недели целые длится неизвестность. Близится сентябрь, конец экзерсисов в гавани. Как идти в плаванье, надолго идти, не имея ответа?

Второе письмо Борис составил своими словами, по-русски, затем перевел.

«Почто не отвечаешь? Нет в тебе жалости. Лучше мне на дне морском окончить жизнь, чем терпеть такое. Поддай весть, хоть какую».

Мартинovich уже готовит свою фелуку к походу. Месяц, а то и два скитаться по волнам...

Прежде на кухню за прибавкой посылал Глушкова, и обжора бегал охотно. Теперь спускался с миской сам. Как бы ненароком плутал по дому. Крался как вор. Наконец счастливый случай выпал. В полутемном закоулке, пропахшем плесенью, толкнул дверь и оторопел – в резкой яркости, будто из солнца возникшая, стояла на балконе Франческа, клала корм в птичью клетку.

Франческа обернулась и негромко вскрикнула. Борис, снова во власти ее глаз, пробормотал:

– Почему не отвечаешь?

Только эти слова, которыми начал письмо, и нашлись. А глаза ширились, и солнца уже не стало, и клетки, прибитой к столбу, и домов на той стороне канала – все исчезло, кроме глаз Франчески.

Шагнул к синьорине, неловко прижал к себе. Увидел на своей груди ее руку, ослабевшую, разжатую. Зерна для птицы сыпались на пол.

Борис больше не допытывался, почему не отвечала.

Встречались сперва на чердаке, где висели военные мундиры герцогства Пармского. Лазоревые, синие, с серебряным шитьем, с золотым, всех градусов, кои добывал себе отец Франчески. Мундиры взмахивали рукавами, уступали дорогу, смыкались, как живые.

Открылись Борису лестницы, неведомые прежде, мебелью загороженные входы, боковые балконцы над безымянной протокой, над разошедшейся, отгулявшей свой век ладьей.

Устав от поцелуев, Франческа рассказывала Борису городские новости. В палаццо Вендрамин был семейный праздник, опять бросали в Каналь Гранде дорогие подсвечники и блюда.

– Девать некуда?

– Смешной ты. Они же нарочно. Ночью послали слуг. Не бойся, ничего не пропало.

Бориса выпытывала, какова Московия, как там одеваются, как свадьбы справляют, много ли снега и льда. Удивилась, узнав, что по Москве-реке каждую зиму ездят хоть на тройке. Каналы Венеции замерзают в сто лет один раз, да и то, говорят, некрепко.

Ничем не был омрачен amor, когда от синьоры Рота явилась служанка звать милостивого принчипе наверх. Все же первая догадка Бориса тревожная: выследили, подсмотрели... Ноги вязли в ворсистом ковре гостиной. Поклонился сдержанно.

Синьора повела речь о погоде, затем о дороговизне на рынке, о тяжелых заботах вдовьих – дом содержать. Борис крушил зубами неподатливый корж из миндаля с апельсиновыми корками. Не прибавки ли она домогается за жилье?

– Злополучный Чезаре! – и она обратилась к портрету мужа. – Ты лежишь в земле, а твои враги торжествуют.

Чезаре, бравый воин, стоит не шелохнувшись у белого строения, пожираемого огнем. Панцирь выпячен спереди и заострен, точно судовой киль. Бородку вздернул с гонором.

– Смерть герцога удар для нас, принчипе, страшный удар. В Парме все переменялось...

Есть, однако, и друзья. Благородные люди, жаждущие восстановить справедливость. После того, что перенес Чезаре на службе, – лишения, раны... Дворянский диплом пропал не случайно, его спрятали с умыслом, и друзья, верные отважные друзья, питают надежду...

Синьора Рота говорила прерывисто, губа, усеянная колючками, прыгала.

– Молодой герцог слаболовен, принчипе. Он кукла, принчипе, он Пульчинелло, знаете, которого дергают за веревки...

Борису обидно за Чезаре, дядю Франчески. Сам не больно взыскан наградой. Два лета под Азовом бился, а велик ли за то рипшпект? Застрял в поручиках...

– Принчи-пе, принчи-ипе, – выпевает синьора.

Все зависит от секретаря герцога. На него-то и рассчитывают друзья Чезаре. Секретарь

обещал отдать им диплом. Но ведь ныне все требуют денег. Что стоит секретарю взять бумагу из архива? У титулованного синьора совести не больше, чем у мясника Джулио, который всегда норовит обвесить.

– Принчипе не представляет, как испортились нравы. Стыда теперь нет, люди забыли, что это такое...

Секретарю надо заплатить пятьсот золотых. Гнусный грабитель, не имеющий сострадания к беззащитной вдове! Синьора Рота потеряла сон, она в отчаянии. Принчипе должен поверить, она никогда не стала бы просить его...

– Я сказала себе – принчипе великодушен...

Бориса кинуло в жар. Пятьсот золотых... Грабеж, подлинно грабеж... Открыл было рот, чтобы признаться, – половины и то не наскрести сразу. С деревень доход худой.

Нет, не повернулся язык. Деньги надо достать, надо... Хоть банкиру кланяйся, а надо, ради Франчески. Все время, пока шла беседа, ощущал Борис ее незримое присутствие. Ее глаза, ждавшие согласия.

Не позволила она отказать.

Благодарностей синьоры Борис не дослушал. Встал, стряхнул с колен крошки жесткого, приторного пирога.

С Франческой свиделся в тот же вечер. Борис пришел озабоченный, и она заметила, спросила его о причине. Должно быть, ничего не знает... Чистое неведение читалось в ее глазах. И тем лучше. Не ее забота – пятьсот золотых. Подумает, жалко ему...

Истошно голосила пичуга, клетку качал ветер, обдувавший балкон. Борис заговорил о близкой разлуке. На той неделе идти в море.

### 13

Броджио писал:

«Гетман, большой любитель пения, получит уместный подарок – хор певчих. Князь Михал полностью на стороне унии».

Скорее бы закончить донесение и лечь. Михал невоспитан, он безобразно обжирается гусятиной, бигосом и навязывает свои варварские вкусы другим. Изволь поглощать сало, да еще благодарить солдафона.

Проклиная изжогу, Броджио вынул из кармана четки. Развязал шнурок, униженный бусами из слоновой кости величиной с крупный грецкий орех. Отделил одну, вдавил ноготь в узкую, едва приметную щель, раскрыл бусину и затиснул туго скатанную бумажку.

Наутро иезуит отыскал в парке Гваскони. Старик имел обыкновение коротать дни на тюфяке, под зеленым навесом.

– Скучаете? Пора на родину, дорогой синьор! Мир здешним пенатам.

Купец приподнялся на локте:

– И вы с нами?

– Нет, я пока в другую сторону.

– Отвратительная погода, – протянул старик. – Товар киснет. Мой товар задыхается.

– Вишневецкий завтра же кликнет клич, – сказал Броджио покровительственно. – Я уговорю его. Покупатели облепят вас, как муравьи.

Он протянул кулак, флорентинец подставил ладонь, и костяное яичко исчезло где-то на рыхлом теле Гваскони под мятым полосатым халатом с пятнами от варенья.

Караван тронулся в начале июля. Федор раздувал ноздри – хорошо пахло скошенной травой, по-родному пахло. Гваскони ехал раздраженный. Меха тоскуют по живой плоти, для носки они, не для тряски. Три недели стояли в Белой Кринице, а выручили мелочь. Паны, напуганные гайдамаками, боятся нос высунуть из усадеб.

Карпаты пришлось одолевать под дождем, в тумане. Потоки рассвирепели. Два возка опрокинулись, вывалили меха в воду. Любимая кобылка Федора Птаха сломала ногу на порожистой переправе – прикончили бедняжку.

Храни итальян, святой Дженнаро! А с ними и православного заодно...

Федор смотрит, чтобы порох в бочонках, взятый в путь, не отсырел, самопалы не ржавели.

Велит возчикам лесовать, бить дичину – сноровки ради военной и для пропитания. Однажды вломились в графское угодье, отстреливались от караульщиков, едва ноги унесли.

За горами разведрилось. Землю цесарскую Федор увидел, напоенную солнцем, всю в кудрявых садах, в ребристых кошмах виноградников. Ягоды наливались, день ото дня тяжелели. Иная гроздь, говорит Дженнаро, бутылка вина сулит. Вот богатство! И точно, строение каменное, доброе, голоты-убожества меньше.

Колеса закружились бойко, колея суха, и товар на каждой стоянке убывает. Гваскони то и дело пересчитывают деньги. В это время к нему не суйся. Секрет замка, хранящего казну, ему одному ведом. Сундук денежный только вместе с возком утащишь, намертво привинчен к доскам.

Купцу какие еще радости! На Карпатах старик простыл, выворачивает нутро кашель.

В Вене торговлю не открывали, тут у хозяина магазин и верный приказчик. Сгрузили часть товара, ночевали и айда дальше! В дыму тысячи труб, под тарахтенье повозки дрожат, скачут высокие крыши венские, золотые верха костелов, дворца цесарского, мельтешат лотки, лавки, заведения кабацкие, где уже льется в глотки молодое вино. Обидно, не довелось погулять по цесарской столице! Дженнаро говорит, тоска обуяла хозяина. Точит его мысль, что не доедет до Флоренции, не дождется его ложе в семейном мавзолео, сиречь усыпальнице.

– О сан Дженнаро, что за мавзолео! – восклицает наполитанец.

Коли верить ему, нет на свете здания краше.

В городе Зальцбурге старика вынесли – впал в беспамятство. Лекаря принял за разбойника, молот чепуху, шарил под подушкой. Пистолю Дженнаро убрал. Камора в остерии просторная, самая лучшая, за окном река Зальцах и холм, а на нем неборимой мощи фортеция, владение здешнего архиепископа. А старику мнится, – он в плену у злодеев, лишен имущества. Мечется, брыкается, клянет какого-то Эразмо.

– Зять его, – объяснил Дженнаро. – Муж Gabrielly, младшей дочери.

Заветный сундук открепили, торчит, мерцает разводами железными в углу, у изголовья кровати. Себе постелили рядом с больным – наказал быть при нем.

Хозяйские вещи Федор выгреб дочиста, все углы обшарил в повозке. Может, станция тут для старика последний. Неведомо откуда выпал, покатился по половику рыжий камешек. Азовец поднял. Камешек не простой, с дыркой, будто с ожерелья. Обточен гладко, как бы тлеет внутри.

Где-то ведь попадались на глаза такие камешки...

Вспомнил и поднес кругляш к глазам. Нет, не камень, а кость. Крашенная кость. Еще под Азовом беседует, бывало, иезуит с князем-боярином, перебирает четки. Дрозд черный, надоедливый...

От иезуита костяшка перешла зачем-то к старику. Однажды Федор раздевал хозяина, мокрого от пота, коснулся чего-то круглого, зашитого в исподнем. Гваскони заругался вдруг, выхватил подштанники. Потом, должно быть, переложил куда-то кругляш. Берег секретно, с великим опасением.

О хитростях иезуитов Губастов слышан. Недаром государь Петр Алексеич их не жалует. И справедливо. Рейтары говорили, чернорясника у Вишневецких не зря кормят. Не для молитвы уединяются с ним, запирают двери. Князь Михал говорит: точите сабли, москалей будем рубить! Нам, говорит, султан поможет. Насолили пану москалей. Выгонит рейтар на экзерсис сечь лозу, кричит – лупи москалей!

Верно, костяшка-то с начинкой.

Федор один в повозке, заведенной в каретный сарай. Оглядел находку. Тонким волоском чернела черта, смыкание двух половинок. Трудился долго, пока не открылся ларчик, не отдал схороненное.

Что-то помешало развернуть бумажный комоч, притаившийся внутри. Холодея от испуга, замкнул тайник. Почудилось: чей-то голос прорычал страшное «слово и дело», рывкнул в самое ухо.

Уголь, ярый уголь в руке Федора. Выбросить, затоптать, кинуть в реку...

Очнулся, сунул кругляш за пазуху. Преображенский приказ, обдавший жаром застенка, отпрянул. Однако страх не прошел. Весь день Губастов раздумывал, как быть, – ведь перед собой не слукавишь. А ну как и вправду касается государевых дел!

Хватится ведь хозяин. Ладно, шапка на воре сама не вспыхнет.

Тяжко, томительно носить столь высокий секрет, таить от всех, даже от друга Дженнаро. Скребет азовца любопытство. Дженнаро, поди, сумел бы прочитать... Но Федор решил твердо донести посылку иезуитскую до Венеции. Не с пустыми руками, с важной ношей явится он к князю-боярину.

Поладить бы с ним, да и домой вместе...

Неделю спустя купца похоронили. Одежду его Дженнаро раздал бедным, чтобы молились за усопшего.

– Мизерикордиа, – сетовал приказчик. – Не обрел бедняга покоя в своем мавзолее. О мадонна, какой мавзолее стоит напрасно!

Исполняя волю хозяина, Дженнаро повел караван дальше, в Венецию.

## 14

Борис взошел на фелуку как бы в облаке своего упоительного амора.

Нес с собой жар горячего тела Франческа. Дух ее постели, райской прелести дух. До вчерашней ночи он только над губами Франческа был властен. Алеет, цветом пылает алое пятно на постели.

– Пропала девушка, – шепнула Франческа и прижалась к нему с плачем.

Потом, со слезами на щеках, уснула. Утром Борис услышал от нее:

– У тебя есть жена, я знаю. Тетя сказала мне. Ты не любишь ее, правда?

– Правда, – ответил Борис.

– Конечно. Как же ты можешь ее любить, если ты со мной. Правда ведь?

– Правда, – повторил Борис.

Еще и еще заставляла твердить, обнимая его, – хотела увериться.

Она уже не Франческа для него, а Фрина. Иногда другое срывается с губ – Фрося.

– Похожа я на русскую? У вас какие девушки?

Узнав, что они носят платки, заставила Бориса повязать точно так же. Он неуклюже исполнил. В платке она и впрямь своя, скулы обозначились яснее. Здешние не скуласты.

– Фрося, Фрося, – шептал Борис и, схватив платок за концы, притягивал ее к себе.

Мартинovich окликнул Бориса, вырвал его из небывалой той ночи. Изволь сообщить, почему явился один, без Глушкова. Борис объяснил – солдат подвернул ногу, лежит. Может, с умыслом то учинил, стоерос. Потом капитан погнал на мачту ставить паруса.

Снова и снова Борис уходит в ту ночь.

Есть жена, ну и что с того? У царя Петра тоже есть. Супруга в Москве, в бревенчатых палатах, под потолком пустым, рисовалась смутно. Было недавно известие с почтой, что родила сына, нарекла, по своему усмотрению, Александром. Мужскому естеству новость была приятна, другого он ничего не испытал. Род куракинский всяко не угаснет, растут дети старшего брата.

В конце, после дел хозяйственных, сообщалось: пропал Федька Губастов. То ли в бега подался, то ли пьяный напился, проводив господина своего, и замерз.

Письмо с требованием денег в Москве, верно, получено. Супруга, поди, недовольна. А представить ее не мог. Мнились злые черты незнакомой женской особы.

Паруса громыхнули пушечно. Берег качнулся, отплыл.

Мартинovich ликует, хлопает по спине матросов. Засиделся капитан на суше. Фелуке своей признается влюбленно:

– Девочка моя, лепотица!

Ну уж и красотка! Борта низкие, нос и корма задрались кверху. Фелука словно прогнулась, отягощенная пушками. Мачты – три соломинки под громадной тучей, навалившейся с леванта.

Борису на судне тесно, ступить некуда. Еще кот, одичавший без людей, носится как

бешеный, кидается под ноги. Мерещатся бури, неприятели. Султанские корабли, верно, близко. Притаились за чертой горизонта, где грозное небо смыкается с потемневшей осенней волной.

А за кормой уже скрылась Кампанале – самая высокая звонница Венеции, – и только ангел блестит искоркой, улетает к западу. Там ждет Франческа, тянет смуглые руки, до плеч в родимых пятнышках.

– Смотри, сколько! Значит, я счастливая.

Может, по ее воле развеяло тучу. Морское чело посветлело. Гольфу Венецкую, сиречь залив, пересекли спокойно. Берег поднялся над морем стеною гор, вытянул навстречу мыс, приплюснутый обширной фортецией, низкими круглыми башнями, будто каменный кулак.

Борис весьма о сем месте наслышан: то Дубровник, или, как венециане говорят, Рагуза. И здесь, сказывал Мартинович, нет короля, а правят лучшие фамилии, как в Венеции. Прежде город подчинялся Светлейшей республике, а ныне кое в чем послушен цесарю. Однако обижать себя не дает, имеет большое богатство и силу от морской торговли. Хвалил Мартинович уменье дубровницких мореходов, признанное повсюду.

В порту полно кораблей, тесно от связок кожи, сложенных у причалов, от желваков железного литья. Дома против Венеции меньше, роскоши мало. Разница и в одежде. Венеция обдаёт шорохом черных плащей, а тут носят чаще серое, белое, красное, есть рубахи вроде русских, кушаком подпоясанные, а поверх – одеяние нараспашку, наподобие летника.

– Добре дошли! – слышит Борис – Поздрав!

Мартиновичу шагу ступить не дают, обнимают, зовут в гости.

Подошли еще фелуки со стольниками. Мигом разнеслось, что люди в кафтанах немецкого покроя – из Москвы. К пристаням сбежался народ. Борис цеплялся за кушак Мартиновича, толпа сжимала их.

– Эти люди, – сказал учитель, – русских не видели. Вы первые у нас.

В таверну чуть не внесли, усадили обоих рядом, во главе стола. Рослый гудошник раздувал пузырь волынки, касаясь башкой шершавых камней свода. Хозяин таверны, видом грозный, усатый, с кинжалом длинным, опустил, гроыхнув, ведерную бутылку вина. Среди закусок – толстенная рыбина, каких Борису еще не случалось отведать. Мартиновичу доверили делить. Управился ловко, один скелет оставил на блюде, ничуть не нарушенный.

Глядь, вносят еще одну, подвигают к Борису. Сменяются, показывают, с чего начать.

– По хребту режь, – поясняет Мартинович.

Про хозяина, обряженного словно для войны, сказал, что он с Черной горы. Там спят, не снимая оружия. Зато никто это племя не покорил – ни султан, ни дож, ни цесарь.

– У здравлье! – рычит черногорец. Наклонился, стиснул Бориса пудовой ручищей.

Всем он тут мил. Оттого, что учится морскому делу. Что ловчится есть рыбу по-здешнему. А наперво тем, что русский.

Первую чарку выпил молчком, после второй заговорил, а с третьей разошелся. Ничего о себе не скрыл. Тотчас из таверны на улицу скакнула весть – Мартинович привел не простого русского. Князь, свойственник царя Петра, офицер, отличившийся под Азовом.

– Ай, неосторожность! – пожурил Мартинович. – Нас не выпустят до утра.

Борис счет потерял, со сколькими пил, крича «здравлье». Давно так хмелен не был. Молотил кулаком по рыбьему скелету, угрожал султану.

– К весне изготавимся... Царь для того и послал меня... Зажмем басурман, запищат, как мыши. С двух сторон зажем – с Ядрана и от нас. Царь мне говорит, передай нашим братьям-христианам, недолго им терпеть...

Что еще врал, кто в постель уложил, не запомнил. На другой день опять пируваньё. В табачном дыму забелела, блином расплывалась рожа Аврашки Лопухина. Слушал Бориса, ухмылялся. Где-то промелькнул старший Голицын.

Вот она какова, морская служба! Не страшна ничуть, одна приятность.

После, вспоминая коварство морского бога, Куракин писал:

«За противностью ветров, отъехав от Рагузы за тридцать верст, стояли двенадцать дней и пришли до такой трудности, что чуть было не стало что есть».

Мартинович силой заставляет сжевать сухарь, глотать похлебку без мяса, крепко посоленную, – соль, говорит, морское страданье растворяет. Какое там! Посейдон поганый

словно рукавицу тебя выворачивает. Полчаса постоит Борис в рубке у капитана – валится замертво.

А предстоит пройти еще не одну сотню верст водяными горами. Мартинович прочертил курс на карте вдоль всей Адриатики.

«Проехали в Бар-град, где мощи Чудотворца Николая, и имели в том проезде великий страх и так были в страхе, аж не потонули».

Город весь в трещинах от недавнего землетрясения, а показался раем Борису. Не верилось, что жив. Щедро раздавал милостыню убогим, облепившим ступени храма. Притом завидовал им, даже безногому прокаженному. Любая хворь краше мучений, причиняемых морем.

Храм древен, красные кирпичи словно спеклись. У входа, по бокам, тельцы каменные рогатые. Лестница, истертая паломниками, спускается в подземелье, в медовое полыханье свечей. Теплится, тает мрамор гробницы.

Нахлынуло родное, детское.

До чего далеко Москва! Терема ее и заборы, смола душистая на срубках, вороньи гнезда на березах. Дымы труб ее – столбами к прохладному небу.

Будто сон наяву приснился: вытянулась, отпрянув от Ильинских ворот, от зубчатой стены Китай-города, улица, где протекало детство Бориса, горластая Покровка. Донесся скрип саней, въезжающих в ворота Малороссийского подворья, замаячили бараньи шапки, красные кушаки с кистями. Народ толчется у съестных рядов, отгородивших подворье от улицы, покупает сало с чесноком, коржи, соленые арбузы.

Ударили колокола церкви Косьмы и Дамьяна, ближайшей к палатам Куракиных, вторит им церковь Покрова, слышатся звоны и Николая Чудотворца, самые дальние, от пределов света, знакомого маленькому Борису.

На пустыре, что у дома Артамона Матвеева, он лепит болвана из снега...

Дрожат языки свечей, плещут летучее сияние на гробницу. Шаркают по каменным плитам постолы паломников. А дивные видения не покидают Бориса. Явственно раздается голос кормилицы:

– На море на окияне, на острове Буяне...

Борис рассадил палец, играючи с ребятами, кровь бежит шибко. Он плачет, боится крови. Кормилица силы не имеет остановить кровь, заговор от кого-то переняла и читает нараспев, чтобы утешить мальчика:

– Стоит бел-горюч камень...

«Горюч камень, горюч камень», – шепчет Борис вместо молитвы, подобающей в святом месте. По щеке ползет слеза. Суждено ли свидеться с родимой стороной? Доведется ли пересечь злое море?

## 15

Борис терпел капризы Посейдона и на обратном пути, когда Гвасконию караван, оставивший в земле цесарской своего хозяина, достиг Венеции.

Настала очередь Федора узреть улицы, наполненные водой, и богатейшие палаццо, равных коим Европа не создавала. Но где там! До прогулок разве? До ночи спины не разогнуть – считай и пересчитывай проклятые меха. Дженнаро корпит в конторе, сдает казну, писанину денежную, а Губастов во дворе и на складе отбывает службу. Вокруг хлопочут челядинцы, чистят меха, развешивают. Мало мороки Федору, изволь наблюдать, чтобы не стащили чего. А тебя то и дело сверлят глаза Эразмо. Мячиком катается толстяк, везде хочет поспеть, сыплет упреки, наставления, брань, да все бестолково как-то.

– Эразмо глуп, – говорит Дженнаро. – Он ничего не смыслит в мехах. Старик выдал свою дочь за дворянина, вот в чем суть.

Однако Габриела, купеческая дочь, веревки вьет из муженька. При ней он тих и робок. Резкого слова не услышишь – только щиплется, щиплется, как баба, бегая за Федором и Дженнаро из комнаты в комнату. Они одни из числа слуг допущены в покои – передвигать Фавна, пятипудового мраморного лешего, столы, стулья, поставцы, натирать пол, добавить

краски на ставни, выгоревшие за лето. Габриела, ленивая, вялая будто тесто, вечно требует перемен в доме.

Губастов нетерпеливо ждал воскресенья. Дженнаро обещал разузнать в городе, где проживают синьоры из Москвы.

– Опять будешь холоп, раб, – пожимал плечами наполитанец. – Что тебе здесь не живется? Эразмо нам доверяет. Погоди, женим тебя.

– Я и тут не господин, – отвечал Федор. – Нет, не уговаривай. Крот, слепое животное, а все же свою нору знает.

Дженнаро ног не пожалел, выполнил просьбу друга. От «Леоне Бьянко», получив напутствие у зрителя, кинулся в палаццо Рота. Кухарка синьоры сказала, что принчипе Куракин в плавании, а другой московский кавалер домой приходит поздно. Вечерами сидит в Редуте, играет в карты.

«Стало быть, ночью постучу к нему», – решил Федор.

Дженнаро в смятении призывал святого тезку. Помоги человеку, ослабевшему умом! Ведь неизвестно, возьмет ли его москвит. Что за блажь связываться с игроком! Он задолжал всем окрестным лавочникам, этот беспутный кавалер.

Федор соглашался. Верно, нельзя положиться на такого. И все-таки пошел, не мог не пойти. Истомился по своим.

В ту же ночь разбудил палаццо Рота, барабана в дверь колотушкой – железным кулачком на цепочке. Глушков спустился недовольный.

– Батюшка, – произнес Федор, – боярин милостивый, не гони...

Колени подкашивались, но повалиться наземь не позволил себе азовский унтер-офицер.

Недоросль обалдело тарачился. Он был пьян. Карты не шли, упорно не шли, а отыграться вот как нужно было. Почта доставила неприятное письмо из дома. Родитель, извещенный Петром Толстым о разгульном поведении сына, разгневался нешуточно. Счет Глушкова у венецианского банкира Кармино, доселе исправно пополнявшийся, закрыт. Мольбы не помогут. Письмо давало понять ясно: пользоваться дольше отцовской уступчивостью нельзя.

Свеча, плясавшая в нетвердой руке Глушкова, светила скупо, и он не сразу вспомнил куракинского кучера.

– Ты... ты откуда свалился?

Федор слушал, не улавливая смысла, просто слушал чистую русскую речь, вбирал родные звуки.

– Беглый я...

Слово страшное, запретное. Лукавого помянуть во сто крат легче. Ни разу еще не решался Федька вымолвить такое про себя, хотя в караване купецком всем было ведомо – беглый. Однако, как иначе сказать о себе самую изначальную суть?

Туман в голове недоросля таял медленно. Верно ведь, сбежал кучер. Князь говорил...

– Дьявол ты, а не кучер, – произнес Глушков, и зубы его вдруг мелко застучали...

Из Москвы махнул аж досюда... Может ли такое быть? Губы прищельца шевелились, но разумел Глушков не все. Оторопь, однако, прошла. Нет, не призрак, живой кучер куракинский.

– Какой купец? Мелешь ты...

– Помер он, Гваскони...

От волнения Федор объяснял сбивчиво. А Глушков, добиваясь ясности, распалился:

– На кой ляд ты мне! Кормить тебя? Вот прибудет твой князь...

Тут новая догадка забрезжила в уме недоросля.

– А ты не убил его, купца?

– Ой, мать честная! – вскрикнул Губастов. Сказанного испугались оба.

Глушков повернулся, ступени под ним застонали.

– Идем, ладно уж...

Заснул Федор в ту ночь счастливый, даром что уложил его недоросль на голый пол, у двери.

– Стеречь меня будешь, прощельга, – бросил он, заваливаясь на кровать.

Так, растянувшись за порогом спальни, оберегали его дома дворовые молодцы. И отца с матерью, и деда с бабкой. Именье лесное, в чащобах, гуляющие люди нет-нет да и пошаливают.



Сейчас для Глушкова кредитор либо лабазник, заполнивший не один лист долгами москвиты, – хуже разбойников. Он один тут против этой оравы алчной. Авось пригодится холоп... Отец принимать беглых не гнушался и сына учил – не опасайся, мол. Станут ли искать приبلудного мужика, бог весть. Зато он за хлеб, за кров спасительный гору своротит.

Ну, как поглотит Куракина пучина! Тогда, считай, достался тебе слуга в полное твое владение. Купец помер, стало быть, искать некому.

Далее утруждать мозг недоросль не стал, хмель взял свое, сморил.

Утром выпросил Губастова досконально. Потом ушел и до позднего часа отсутствовал. Федор купил хлеба и горгонзолы – пахучего сыра итальянского – на свои собственные гроши.

И в следующие дни он о пропитании радел сам, – Глушков редко оставлял холопу шей на доньшке горшка. Кухарка синьоры Рота стряпала на одного, расходуя шкуди, оставленные Куракиным. От Глушкова Федор не имел ничего, кроме попреков и зуботычин. Однако дворянин не гнал от себя, держал за чем-то.

На шестой день, незадолго до сумерек, Глушков послал Федора купить мази для чищения пуговиц. Идти велел на набережную лагуны, к церкви Мадонны дель Орто, стало быть, на край города. В ближних лавках мазь-де плохая, блеска надлежащего не учиняет.

Чудилось Федору, будто кто-то за ним в круговерти переулков и протоков крадется.

До лавки не дошел, искал ее на берегу, на юру безлюдном. Из-за угла выбежали трое. Федор и обернуться не успел.

Скрутили руки, в рот ветошь затолкали. Сволокли в ладью. Один приставил кинжал к груди.

Раньше темноты с места не трогались. Федор гадал, за что такое насилие, куда везти хотят, прислушивался к разговорам. Лица незнакомые. Говорят между собой не по-здешнему, сильно шепелявят. Поминается в их речи, для Федора малопонятной, офицер какой-то и остров Лидо. На солдат не похожи, медвежеваты, проворства воинского нет. По одежде судить – гондольеры.

Один высек огонь, чтобы раскурить трубку, осветил черную щетину на щеках, шапчонку, блином облегающую темя. Безрукавка на плече прохудилась, вязаная рубаха под ней обвислая, дырявая.

Отдалившись от берега, повернули вправо. В глубокой темени, где лежало море, слабо звездилась огоньки – то ли земля там, то ли корабли.

Работали веслами двое, третий, усевшись позади, тыкал кинжалом в спину пленника. Гребцы вскоре притомились, начали клясть тяжелую ладью и погоду. Волна была невысокая, но суматошная, била в нос, обдавала брызгами.

– Бродяга голоштаный! – услышал азовец. – Двигайся, чертов огрызок!

Суют ему весла, освобождают от веревок. Он замотал головой, замычал, – кляп, дескать, выньте. Послушались.

Так-то лучше...

Огни между тем придвинулись. Нет, не корабли там, остров там должен быть. Точно ведь, Сан-Микеле, остров мертвых, мелькнувший как-то раз днем в просвете между домами. Венециане увозят на Сан-Микеле своих покойников, и, кроме могил да странных деревьев, торчащих острыми жгутами, ничего на нем, сказывают, нет.

Азовец греб исправно, на брань и понуканья не отвечал, мерял расстояние до острова. Вот уже с полверсты до него. Сдается, очертились во мгле кипресси – те зловещие деревья, растущие лишь на кладбищах.

Вода студеная, венециане давно не купаются. И помыслить не могут небось, что можно кинуться в море, ноябрь ведь начался, месяц по-ихнему зимний.

Ладья повернула вправо. Курс теперь на Лидо, сообщает азовец. Туда и везут... Сан-Микеле, земля мертвых, поплыл назад. Коли прыгать, то немедленно...

Помогла азовцу решиться посылка иезуитская, бусина с лестовки, зашитая в ладанку. Представилось, раздевают его, находят тайное послание. Скажут – перехватил... Ладанка сделалась тяжела нестерпимо, тянет и тянет в воду. Не пощадят, твердит про себя азовец. Сжался весь, нарисовав себе зрелище лютой казни. Мышцы напряглись. Ладья, взлетев на волну, сама подтолкнула; Федор легко перемахнул через борт, врезался в воду, усиливаясь

нырнуть поглубже.

Глухо донеслись крики, удары весел, – враги яростно молотили лагуну. Федор на миг высунулся, набрал воздуха, нырнул снова.

Берега острова мертвых местами вязкие, азовец из сил выбился, ища ногами опоры. Потом брел, натываясь на плиты, на кресты, на шершавые, колючие чипрессы, – мерещился ему свет в чем-то оконце, пропадал в ветвях и опять проглядывал. Как припал к двери, кто впустил, беглец не запомнил.

Утром, еще веки не разлиплись, достиг слуха хруст, будто кто-то ходит по снегу. Должно быть, снилась зима. В горенке, спиной к нему, сидит старик, мастерит что-то, роняет стружку.

Федор тотчас забылся. Когда открыл глаза, в горнице пахло съестным. Старик не приснился. Худой, костлявый, в балахоне, подпоясанном веревкой, он помешивал варево на железной печке, раскалившейся докрасна.

Есть не хотелось, но хозяин принудил, сел на постель и кормил с ложки. Слушал беглеца рассеянно, будто наперед о нем извещен.

– Тебя нет, сын. Не бойся, сюда не придут. Ты утонул. Пропала их добыча.

Ни имени спасенного, ни племени знать не пожелал.

– Вон там, – он показал на окно, – много имен. Пишут имена, титулы, думают, что бог запомнит. Есть два имени, сын. Сытый и голодный.

Мраморный небожитель засматривает в сторожку. Из могил, из белого множества ангелов и мадонн взметнулись вороньими крыльями чипрессы. Под окном, на верстаке, тоже ангелы, изделие хозяина. Те, на богатых могилах, надменны, а эти, вырезанные ножом, словно детишки резвые. Кто с дудочкой, кто с колокольцем, кто с ягненком под мышкой.

– Падре говорит: ты, Джулиано, безбожник. Нет, я в бога верю. Мой бог – доброта. Сейчас злое время, сын. Доброму человеку худо.

Занятно говорит старик...

Азовец прожил неделю у Джулиано и не скучал, внимая ему. Трудясь за верстаком, старик рассуждал без умолку. Ангелочки одевались краской, сохли. Покупали их у старого еретика гребцы с погребальных гондол. Деньгами расплачивались скупно, зато обильно новостями.

– Твои господа вернулись, – услышал Федор. – Избиты все бурей, отошали... Ты погоди, я не хочу, чтобы ты опять попал к негодяям.

Ехал Федор в город, лежа на дне лады, на месте гроба. Ветер теребил навес, украшенный серебряным шитьем, раскачивал кисти.

Являться в палатцу Рота азовец остерегся, вылез у Ламбьянки. Рассудил за лучшее бить челом боярину Толстому, старшему среди стольников.

Ловок холоп. Ловок озорник, коли можно верить сей невероятной истории. Боярин кричит, грозит кулаком Федьке, – мол, чур не врать. Однако костяшка с начинкой секретной – не выдумка.

– На, читай!

Смеясь и досадуя, схватил Федьку за волосы, прижал носом к листку. Вода в бусину не проникла, послание иезуита Броджио обнажилось ясно.

– Молчишь, утопленник?

Федька вытягивал шею, дерзко тянулся к столу, когда Толстой расправлял тугой комок. Писано не буквами, цифирью.

– Разумеешь, кто ты есть? – ликовал боярин. – Ты есть заново рожденный. Погиб и воскрес, яко птица Феникс. Слыхал про нее?

– Слыхал, – ответил Федька.

– Ишь ты! – подивился Толстой. – Выпей, Феникс!

Налил две чарки из четырехгранной бутылки зеленого стекла, полуведерной. И заедку пожаловал – огурец соленый. Федька давно косился на кадушку, дух чеснока и укропа щекотал ноздри невыносимо.

Щелкнул ключ в замке, из ларца извлечена тетрадь в кожаном переплете с застежками, как у книг церковных. То заветный журнал Толстого, дневные записки путешествия за границу.

Боярин заносит туда все, внимания достойное: состояние крепостей и войск, нравы и свойства разных народов, а также чрезвычайные возмущения природы. Например, град величиной с яйцо курицы, павший на Венецию в июле.

Того же июля в девятый день Толстой ездил на остров Лидо, о котором слава в городе шла худая. На плоском берегу острова стена высоты изрядной укрывает казармы. Ворота замкнуты крепко, и караул против обычного тройной. Над зданиями не то что флага – голого флагштока не видно.

В журнал легли строки:

«Из того двора людей никого не выпускают ни в Венецию, ни для каких нужд. В Венеции тайно крадут убогих людей и на тот двор продают, и за кого не будет заступника, тот до кончины своей с того двора свободы себе не получит».

Отыскав запись, Толстой вставил:

«Солдат бывает по 400 человек».

За какой же надобностью их держат? Азовец и об этом выпросил старика. Людей ворованных, канувших безвестно, употребляют для предприятий самых опасных. Оплакивать сих солдат некому. Вскорости Светлейшая республика намерена строить ограду в лагуне, против наводнений. Будут класть в воду великие глыбы тесаного камня, добываемого в Далмации. Немалое число тех солдат при этом непременно сгинет.

– И ты сгинул бы, Феникс. Мыслишь, Глушков продал тебя?

– Угу, – кивнул азовец, дожевывая огурец. Не след порочить дворянина, но душой кривить незачем.

– Положим, забота не твоя, – отрезал боярин. – Вот завтра придет твой князь...

Захлопнул журнал, отвалился от стола. Скрипнуло кресло под дородным телом.

– Поговори мне, Феникс, еще – как убег... Постой, подушки взбей сперва.

Толстой уснул, не дослушав рассказа.

## 16

Борис, прибывший утром, глядел на своего денщика тупо. Ночь провел с Франческой.

– Воля твоя, Борис, – донеслось до него. – А чем докажешь? Ну, вытряс мошну в Редуте...

Руки Франчески, в счастливых родинках до плеч, не отпускали. Какой воли ждет Толстой?

Ничего не мог взять в толк Борис, пока не увидел цифирное письмо. Ожили шанцы и траншементы под Азовом, забелели стаи палаток. И черная сутана Броджио, быстрый бег четок в юрких пальцах.

Стало быть, холоп не казни, а похвалы достоин. К нему ведь шел, к господину своему, с важной находкой. Мало того, вырвался от похитителей. Он, Борис, волен разыскивать виноватых. Однако Толстой на себя готов принять эту заботу.

Что ж, спасибо ему...

Ровная, мелкая цифирь колет Бориса. Но, может, не нас касается сокрытое в ней? К примеру, поляков... Сперва прочитать надо.

– Я пробовал, – сказал Толстой. – У меня отмычки годной нет.

Решили просить Мартиновича. Если он, ученейший человек, математик, не расколется сей орешек, так кто же!

– Болтать не станет. Сербиянин весьма прилежит сердцем к нашему государю.

– Весьма, – подтвердил Борис.

Сербиянин бился недолго, подобных задач имел от Светлейшей республики предовольно. Цифирь прочел по-латыни, а потом перевел на итальянский.

«Гетман, большой любитель пения, получит уместный подарок – хор певчих»...

Обхаживают Мазепу польские вельможи. Толстой о том давно наслышан. Самого черта братом назовут, лишь бы заполучить утраченные на левом берегу поместья. А гетман недавно одержал знатную викторию над крымцами, и царь ему верит, хотя доносов на гетмана, обвиняющих его в сношениях с поляками, накопилось, поди-ка, с пуд. Так ведь клевета за каждым по пятам рыщет.

Дорого то, что к тайнописи иезуитской теперь имеется ключ. Если Броджио не хватится, не всполошит своих начальников, то ключ сей способен будет отпереть не один орешек. Мысля так, Толстой вложил цидулу с переводом в пакет для отсылки в Москву. Склеил еще пакет, для собственной реляции о делах венецейских.

Кстати, и гонец под рукой.

– Твой уютный послужит нам, – сказал боярин Борису. – Не бойся, верну!

Борис не перечил. Жил в райском саду амора.

От розыска людей, покусившихся на чужого холопа, Толстой воздержался. Прятал Губастова у себя в камере. Дал бумагу на проезд за своей подписью. Сановник во дворце дожа, блюдя дружбу республики с Московией, вдавил в сургуч печать с крылатым львом.

Федор Губастов сгинул, исчез в пучине моря. Из Ламбьянки под защитой темноты вышел Иван Соломенцев, слуга вельможи, едущий по его приказанию.

Для Бориса день проходил в ожидании ночи с Франческой. Синьоры Рота уже не стеснялись, а та словно не замечала греховных свиданий. Лишь ночь была светла. За столом в навигацкой школе одолевал сон, волосы Франчески вплетались в смутную вязь синусов, косинусов, тангенсов, рассыпались по морским картам. И в чертежах судов, в плавности линий виделась Франческа. И на бушприте корабля возникала Франческа, ее руки, откиннутые назад, ее груди, открытые ветру.

Иногда, за пределами лучезарной ночи, растянувшейся на месяцы, обнаруживал Борис солдата Глушкова, корпевшего над книгой, листал его тетрадь, что-то исправлял. Играть недорослю стало не на что. К тому же Толстой имел с ним разговор келейный, строгий, должно полагать, припугнул.

Не чует земли под ногами, не чует суеты окружающей Борис, избранник амора.

## 17

С Франческой не соскучишься. Притомится в игре аморной, снимет с гвоздя цитру, начнет вызванивать музыку – то плясовую, то жалобную, от коей рыдания подступают к горлу. Иной раз собьется, наморщит переносицу, поправит себя:

– Нет, тут форте...

Форте, аллегро, адажио – слова знакомые, однако пальцы Франчески, исторгающие звуки, сообщают им значение особое, неизведанное.

Однажды раскрыла малую книжицу – с ладонь величиной – и стала читать вирши. Красиво, но понятно не все. Поэта, именем Петрарка, писал, оказывается, по-тоскански. Франческа сама не знала некоторых слов.

Ведет меня Амор,  
стремит Желанье,  
Зовет Привычка,  
погоняет Младость,  
И, сердцу обещая мир и сладость,  
Протягивает руку  
Упованье.

Борис слышал до сих пор вирши духовные, вирши хвалебные – на взятие Азова, – а такие не попадались. Сии именуется сонеты, по четырнадцать строк, ни одной меньше, ни одной больше. Почему?

– Потому что сонеты, – ответила Франческа.

Вроде заговора, подумал Борис. Число содержит тайну. Подлинно заговор, имеющий цель приворожить сердце. Борис чувствует, как звучит в нем сонет.

– Амор был или нет? – спросил он вдруг.

– Амор?

– Ну да, бог Амор?

– Смешной ты.

– Попы его не признают. Все же странно...

– Что странно?

– Ну как же... Амора нет, а дела аморные есть. Петрарку, может, сожгли, а они все равно есть.

– С чего ты взял! – смеялась Франческа. – Вовсе его не сожгли.

– Вот видишь. Древние люди верили же в Амора.

– Верили.

– Наверно, и нам надо верить, – решил Борис.

Яснее выразить мысль он не мог. Рядом мерцали, благоухали плечи Франчески. Язычок светильника дрожал, тени одевали ее и раздевали.

Где-то за пределами царства Амора неслось время. Отшумел карнавал, раскидав по мостам, улочкам смятые машкеры, ленты, оторванные пуговицы. Лагуна вздувалась, поднимая гондолы к окнам, ветер осыпал Венецию первой снежной порошей.

Настал год 1698-й. Не за горами конец ученья, конец житья за границей, а следовательно, и разлука.

– Увези меня во дворец к царю! – говорит Франческа. – Там красивые дамы? Красивее меня?

– Глупая. Нужна ты ему...

От Толстого слышно: царь в Голландии, строит корабли, как простой работник. Квартует в домишке кузнеца, ходит в красной рубахе, в войлочной шляпе. Бражничает с матросами в таверне. С ним постоянно его любимец, сын московского конюха, приближенный к особе царской паче всех родовитых.

Алексашка Меншиков, кто же еще!

– Российский флот откуда возьмется? – продолжал Толстой. – У венециан корабли не займешь. А если супротив султана в одиночку стоять, тогда как?

– Мириться надо! – крикнул Аврашка.

– Ты султана спроси, – обернулся Борис. – Увидит, что мы одни, – захочет ли?

– Судишь верно, – одобрил Толстой. – Наперво Азов обратно требует.

Лопухин не унялся:

– Пропади он, Азов!

– Ты Азов не трожь, – обозлился Борис. – Ты, что ли, там сидел, таракан запечный?

Класс навигацкой школы огласился криками. Жирная Аврашкина рожа лоснилась нестерпимо. Борис замахнулся. Толстой обхватил его сзади.

В тот день Борис, прежде чем вернуться в палаццо Рота, кружил по городу, унимая смятение. Подставил горсть струе фонтана, по-весеннему теплой, обрызгал горевшее лицо.

На мосту Риальто, оседланном лавками, окликали прохожих звездочеты, гнусавили в медные трубы:

– Стойте, синьор! Стойте, прелестная синьора! Посоветуйтесь со звездами!

Сухонький старичок в колпаке пронзил Бориса взглядом, спросил, в какой день, какого месяца и года достойный комендаторе родился. Труба, приставленная к уху Бориса, засипела:

– Рожденный под Близнецами характер имеет деликатный, незлобивый, отличается состраданием к ближнему и щедростью.

Старец подал гороскоп – ломкий, серый листок, шершавый от глубокой печати, потом предложил таблицы – комендаторе сам вычислит свое будущее, Борис, словно околдованный, послушался.

Вспоминая колючие глаза чернокнижника, ежился. Не уронить ли в канал бесовские письма?

Что же будет?

До сей поры звезды указывали Борису лишь место корабля в море, позволяли прочертить курс. Ныне он ждет от небесных путеводителей большего. Знакомыми действиями математики вычисляет углы схождения и разлета планет, бег Солнца, пересекающего за год все двенадцать созвездий зодиакального круга. Волнуясь, стольник записывает мерцающий, из великой дали идущий язык богов.

«В сем году бежит доброе управление Юпитера и Солнца. Рожденный будет возвышен до

чину гораздо высшего».

Ни ему, ни Франческе не предрекают боги опасностей, не видят помех любви.

Гадает Борис и на царя, с коим связан родством глубочайшим, – знак Близнецов, похоже, над обоими. Доброе управление звезд должно распространяться и на Петра Алексеевича. И точно, боги благоволят ему.

Руки Франчески тянутся к Борису, замыкают его в волшебном кольце. Родимые пятнышки – будто отражения небесных фигур, заглядевшихся на женскую красоту. Можно ли, блаженствуя в храме Амора, не верить богам!

## 18

Великое посольство двигалось к Вене. По большакам, обсохшим к лету, через польдеры Низких земель, истоптанных недавней войной, через Лейпциг, Дрезден. Поезд растянулся на версты. Ни одна немецкая рощица, звенящая свежей листвой, не накрывала его тенью из конца в конец.

Обгоняя послов, неслись донесения Гофмана, австрийского резидента в Лондоне.

«Здесь двор, кажется, утомлен причудами царя», – отмечал аккуратный служака, ревнитель этикета.

Царь встает в четыре часа утра. Только адмирал Кармартен, известный воин, дуэлянт и бражник, не устает сопровождать царя, любопытство коего беспредельно. Чтобы поговорить с его величеством, надо искать его у машин Монетного двора, у приборов Гринвичской обсерватории, спускаться в трюм или лезть на мачту.

Придворный художник Кнеллер намучился – царь прибежал позировать в потертом кафтане, вымазавшийся в смоле. Не сидел на месте и десяти минут.

Уже отпечатаны, разошлись по столицам гравюры с портрета. Добросовестный Гофман прислал одну в Хофбург и пояснил: сходство, по вине буйной модели, приблизительное.

– Картина вызывает толки, – сказал Кинский, стараясь поймать блуждающий взгляд императора.

Леопольд, недовольный, невыспавшийся, держал гравюру, почти прикасаясь тяжелой, отвислой губой. Левая рука его искала пуговицу расстегнутого халата.

– Кнеллер... Кнеллер... Это он написал Баварского курфюрста?

– Он, ваше величество, – ответил Кинский, обязанный все помнить.

– Старый пройдоха! Чего ради так пошло льстить царю варваров!

Юный царь, у окна, распахнутого в морскую даль, приторно красив. Снежное облако горностающая обвеивает серебро доспехов. Море беспокойно, ветер клонит паруса высокобортных, многопушечных фрегатов.

– Обратите внимание, – настаивал Кинский. – Подобных кораблей в Московии нет.

– У меня здесь тоже нет. Чем мы порадуем царя? Дунайской баркой, граф. Баркой, на которой словаки привозят мясо.

Кинский не настроен шутить. Ему душно в тесном гусарском доломане. Кабинет жарко натоплен, – благодатный май не согревает Леопольда.

– Как видите, – продолжал министр, – воинственный пыл царя не угас. Он твердо намерен приобрести себе море.

– Прекрасный аппетит, граф. На здоровье, пусть приобретает.

– Орден Иисуса тоже просит не ссориться с царем. Иначе не будет шансов учредить миссию в Москве. Кстати, для нее есть подходящий человек, Броджио, очень полезный для нас...

Ноги в узких сапогах затекли, Кинский страдальчески переминается. Хрустят обрывки нотной бумаги, устилающей ковер. Боже, сколько нужно терпения! Император вот уже полгода мусолит свою кантату, это ему важнее, чем предстоящий визит царя.

– Скажите, что я болен, – твердит Леопольд.

Царь варваров, Голиаф – иначе он не называет Петра. Чем ближе московское посольство, тем чаще белки монарших глаз окрашиваются желчью. «Не заболел бы в самом деле», – думает Кинский.

Каждый день «пражский аптекарь» доказывает простую истину. Отталкивать царя неразумно. Если Московия обращает к Леопольду последнюю надежду, то ведь и Римская империя нуждается в русских. Война за испанское наследство оттянет войска на запад. Султан не постыдится обмануть гяуров, подпишет мир, а потом возьмет да и ударит. Кто помешает ему, кто из союзников? Один Петр не хочет складывать оружие.

11 июня Кинский доложил императору: посольство покинуло пределы Чехии. В корчме возле Зноймо только обедали, ночевать не остались, под утро прибыли в Австрию. Торопятся в Вену чрезвычайно.

– Я пошлю к ним барона Барати.

– Венгра? Э, хоть самого дьявола, – простонал Леопольд. – Завидую моим потомкам. Все сваливается на меня, на меня... Постой, мы ведь не ждали московитов так скоро! Пусть потерпят...

Царь томился в пыльном городишке Штокерау, убивал время, сражаясь с Меншиковым в кегли. Оба в рубахах, в башмаках на толстой подошве, – по виду гуляки-мастеровые. Шары, пущенные со злостью, грохотали пушечно.

Когда же цесарь допустит к себе?

Бравый, коренастый Барати прискакал через два дня с переводчиком и секретарем. Искать московитов не пришлось – послы сняли бюргерский дом на площади, против костела. У крыльца полыхали клинки алебард, трубы, позументы на длинных кафтанах.

Стражи, спохватившись, трубили что есть мочи. Шумно отозвались куры на заднем дворе, под окном Лефорта. Первый великий посол вышел к цесарским людям в неглиже, обминая на себе короткий ординарный камзолишко. Кружевной воротник приладить не успел. Куры еще не унялись, отчего высокие стороны должны были помолчать.

Барати развернул инструкции.

– Высокочтимых господ послов, – перевел Адам Стилла, – покорно просят пожаловать пятнадцатого июня в Ланген Церсдорф на подхожий стан.

Лефорт недовольно засопел. Стилла пояснил от себя:

– Это в двух милях от Вены.

Еще задержка! Лефорт надвигался животом на низенького, кривоногого Барати, слепил скромного кавалериста фейерверком перстней, с которыми никогда не расставался.

«Въезд посольства в Вену назначен на шестнадцатое – смущенно прочел Барати. – Комиссар шествия выедет навстречу от городских ворот на расстояние пистолетного выстрела».

Лефорт потел от жары, от досады, слушая бесконечные подробности церемониала. Мотнул головой переводчику, – дескать, хватит, не тяни волюнку! Стилла отстранился, оглядел свои ногти, поморщился, начал бархатной подушечкой наводить глянец.

Волонтер Петр Михайлов сидел в соседней комнате, дразнил, сбрасывал с колен резвую ручную мартышку.

– Мизер, – выдохнул, входя, Лефорт. – Мизер, какого я не чаял у император.

Не готовы, просят три дня сроку. А на что? Прием убогий, будто в захудалом графстве. Соглашаться ли? В другом месте первый посол знал бы, как ответить. К императору царь питает уважение особое. Превыше всех королей сей потентат, – то заучено с детских лет. Однако прилично ли отрядить комиссара одного, без свиты?

– Спуску не давай, либер Франц! – отрезал Петр. – Мы в Москве нешто так привечаем!

Лефорт вернулся к цесарцам, повременив полчаса нарочно. Цедил немецкие фразы наставительно:

– Фигура комиссара, опасаемся, будет неотличима от любого проезжего. Следовало бы к нему в придачу двоих или троих дворян...

Адам Стилла потряхивал кудрями, распираемый смехом. Bravo! Щелчок заносчивому Хофбургу!

– Мундиры гарнизонных улан, которых вы намерены направить следом за комиссаром, слишком тусклы. Броня кирасир более отчетлива на фоне городских стен.

Настал вожделенный час для Лефорта, сановного дебошана, тончайшего ценителя дворцовых политесов, парадных воинских артикулов и всяческих онеров.

Барати, краснея, поднимался на цыпочки. Хофбург уступить не велел.

Царь выслушал расстроенного Лефорта спокойно. Сказал, щекоча мартышку:

– Что ж, у них свой устав. Высказал им? Добро. А то заважничают.

– Баронишка болтайт, кирасир нет, кирасир на Венгрия, – жаловался первый посол.

Петр отмахнулся:

– Ладно, пора кормиться. Кишки подводит.

За столом Барати, жуя фазана, тарашил глаза на двух молодых господ, одетых не по-дворянски. Обвязали платками шеи, словно сельские бурши, громко чавкают. Неужели один из них – царь?

Адам Стилла сел рядом с Меншиковым, заговорил по-русски. Вокруг стола носились, взапуски с мартышкой, шуты, визжали, боролись. Попугай первого посла разражался бранью. Если бы Барати и секретарь знали русский, все равно не разобрали бы ни слова из секретной беседы.

Вечером Алексашка докладывал:

– Стилле я сто золотых дал. Ох, загребуший! Кирасир воистину нет, мин херц. Венгерцы шалят.

– Надоели вы с кирасирами. Еще что?

– Цесарь авденцию тебе дать не хотел. Я, мол, не обязан, коли он ин... инког...

– Инкогнито, чучело!

– Во-во! Едва умаслили. И то, чтобы о делах ни-ни... Гутен морген и прощай. Для дел у него набольший – граф...

– Кинский?

– Кажись, он, херц мой. Ох, неспроста цесарь брыкается! Согласился втихомолку с султаном, стыд чувствует.

Петр потемнел, щека задергалась.

– Кони тут шибко дороги, – затараторил Алексашка, чтобы отвлечь друга. – Сторговал я двух вороных. Угадай, почему?

Старший волонтер доверил ему казну. Писать Алексашка не умеет и не хочет, все расходы удерживает в памяти.

Огорчения только начинались.

У Дуная, перед самой столицей цесарской задержка. Переправа была занята. Наплавные мосты хлюпали, черные от нестройно топочущей пехоты. Великие послы въехали в Вену голодные, злые. Сидели в каретах прямые, как палки, голов ни на что не оборачивали.

Иностранные дипломаты, носясь по залам Хофбурга, ловили Кинского. Гадали, добьется ли аудиенции настойчивый царь? Дворец полнился слухами. Император занемог. Император потерял аппетит – вчера отверг суфле из щуки, любимое свое блюдо.

Припертый к угловому дивану китайской гостиной, Кинский умоляюще поднял руки.

– Ничего неизвестно, господа.

Дверь императорского кабинета закрылась за ним надолго.

Проекты статей договора с султаном, планы войны с Бурбонами – все сейчас отложено. Взгляд Леопольда нерешительно бродит по чертежу Фавориты – загородного дворца, недавно отстроенного после турецкого разорения.

– Вот здесь, – повторял Кинский. – У пятого окна, ваше величество...

Император и царь войдут в галерею с двух концов, ровно в пять часов тридцать минут пополудни. Царь обещал шагать не очень быстро.

– Не ручайтесь за Голиафа. Он выкинет нам сюрприз.

– Отсчитать четыре окна сумеет, ваше величество.

Кинский изучил Фавориту досконально, прежде чем поставил пером крестик на галерее, смотрящей девятью окнами в сад. О чем думает Леопольд? Два человека, двигаясь с одинаковой скоростью, неминуемо сойдутся у пятого окна.

– Хорошо, – вздохнул император. – Вы отдаете меня на растерзание москвиту. Бог вам судья.

Царь варваров не стеснялся же принимать короля Вильгельма полуодетым. Бесцеремонно выталкивал из комнаты придворных курфюрста Бранденбургского. Кинский сам рассказывал



об этом Леопольду.

– Вас, ваше величество, царь чтит беспредельно.

Он все же робел, «пражский аптекарь», рассчитавший все наперед. Робел, поднимаясь по парадной лестнице Фавориты, глядя на хилые подагрические ноги Леопольда, одолевавшие ступени медленно и нехотя.

В саду буянил ветер, по галерее пробегал, зажигая рамы портретов, подвески люстр, солнечный огонь. В пляшущем свете возник великан в темном камзоле. Шляпа его сдвинулась набок. Спутников он оставил позади, гул его широких шагов быстро приближался.

Кинского пронзил ужас. Царь забыл условие или пренебрег им. Император не успеет дойти до пятого окна.

Отчаянный москвит, чего доброго, припрет Леопольда к стене, захочет услышать из его уст, как далеко зашли переговоры с султаном. Не утерпит, станет просить императора продолжать войну. Не нужно этого, не нужно...

Впоследствии Кинский так вспоминал тот миг растерянности:

– Мирные предложения султана были получены. Мы еще не решили, как быть. Ознакомить с ними москвитов немедленно или сначала послать ответ в Стамбул и поставить царя перед свершившимся фактом. И вот, вообразите, нависла этакая громадина над нами... Что мог император сказать Петру? И чего мог ожидать я, кроме гнева на мою бедную голову!

Леопольд дошел лишь до третьего окна. Петр с разбегу остановился и сдернул шляпу.

Голиаф заговорил. Для Кинского, владевшего чешским и польским, его речь была понятна, но звучала грубо.

– Мы прибыли, дабы изъявить превосходнейшее почтение нашему брату, величайшему государю в христианском мире...

Кинский заметил, что царь запнулся, стесняясь назвать императора братом.

– Кроме сего, желательно нам подтвердить союз, заключенный против общего неприятеля.

Лефорт переводил. Выпученные глаза Леопольда метнулись к Кинскому. Царь стоял подавшись вперед, губы его шевелились. «Что еще он нам приготовил?» – подумал граф, стараясь унять сердцебиение.

Кажется, обошлось... Кинский поймал начало учливой тирады, царь благодарит за гостеприимство. Монархи отошли в нишу окна, в тень. С ними один Лефорт.

Леопольд предложил гостю сесть, надеть шляпу. Тот долго упирался, потом неловко рухнул в кресло, заерзал и снял шляпу. Император тотчас снял свою.

– Москвит трогательно вежлив, – прошептал Кинскому обергофмейстер Дидрихштейн.

– Царь несомненно извлек пользу из заграничного путешествия, – ответил министр.

Монархи разошлись через четверть часа, исчерпав все предписанные этикетом любезности. На другой день свитские вельможи утоляли любопытство дипломатов.

«Он не кажется здесь вовсе таким, – сообщил о царе посол Испании, – каким его описывали при других дворах, но гораздо более цивилизованным, разумным, с хорошими манерами и скромным».

Мало кто видел Петра, когда он, после свидания с цесарем, спустился по боковой лестнице в сад. За молодыми деревьями блестел пруд, ветер высекал мелкую, резвую волну. Вода, словно магнит, притянула Петра, он кинулся туда, прыгнул в лодку. Его раздирал странный, мучительный смех.

Погнал лодку, изо всей мочи отталкиваясь веслами. Делал круг за кругом. Темная листва померанцев, мрамор скульптур завертелись бешеной каруселью. Нужно было до боли утомить мышцы, отдать воде, ветру свою досаду.

Вечером Фаворита вспыхнула огнями, грянул костюмированный бал в честь посольства Московии. Петр силился быть веселым, его куртка голландского матроса мелькала среди танцующих. Довольный Леопольд поднял бокал за здоровье молодого друга из Ост-Фрисландии. Между тем гонец с письмом цесаря к султану уже находился в пути. И Кинский вскоре, на совещании в Хофбурге, признал: созвать мирную конференцию император согласен. Пока ясна лишь основа для мира, а именно принцип *uti possidetis*, то есть каждый удовлетворяется тем, что он в ходе кампании получил.

– Нам дивно сие слышать, – сказал Петр. – Цесарь утвердился на сей основе без ведома союзников, наши нужды уважить не изволил.

Царь не тратил времени на комплименты, мстил за муки лицемерия, испытанные в Вене.

– Сей принцип, – отвечал Кинский, – не сегодня придуман. На нем покоятся многие договоры просвещенных государств.

– Взятые нами позиции зело неавантажны, – возмущался Петр. – Ведомо ли то цесарю? Гоже ли плевать в колодец?

– Плевать? – оторопел Кинский, собрав морщины на высоком припудренном лбу.

– Русский афоризм, – пояснил Лефорт, отгесненный на роль переводчика. – Колодец означает полезность, майн герр граф. В настоящем случае полезность союзника, каковую неосмотрительностью легко нарушить.

– Ах, афоризм!

Вольность, чуждая языку имперского дипломата. А главное, он не любит вопросов в упор, не привык давать прямые ответы. Это не в обычаях двора Леопольда.

– Мы просим цесаря рассудить по совести... Мы на его цесарскую дружбу надеялись. Тратились на военные припасы, на армию.

Московит наивен. Неужели он считает, что его бестактные упреки способны переубедить императора?

– Покамест турки в Керчи, руки у нас связаны... И помощь от нас цесарю плохая.

Сухо прощаясь, Кинский заверяет – мнение царя будет доложено. Он ловит себя на том, что великан, расшатавший уже третье кресло в гостиной, кое в чем прав. Да, неожиданное нападение турок вероятно. Да, если венгры восстанут, это будет для султана весьма кстати. Московит словно перехватывает его, «пражского аптекаря», разновесы.

Иногда гофрату хочется признать вслух – поле зрения Леопольда сужено страхом. Угроза с запада, возросшее могущество Бурбонов заслонили все остальное.

Кинскому поручено отказать московитам, отказать деликатно, не сделав союзников врагами.

– Цесарь сожалеет, но от изложенного вам принципа отступить не может, – сказал он. – Вы выскажете свои претензии султану на мирной конференции. Постарайтесь убедить его. Цесарь всем сердцем желает доблестной Московии успеха.

С тем и отбыло посольство из Вены.

## 19

Борис Куракин воротился в Москву в феврале 1699 года. Аттестацию привез из школы зело похвальную.

Россия поразила его малолюдством, немеренными просторами, бесстыжей неприбранностью. Бревенчатой хлипкостью, запахами бани и стойла. Москва же захлестнула таким гиканьем и визгом саней, таким гомоном обжорных и суконных рядов, что мнилось – в Белокаменной бунт.

Те же маковки сорока сороков, та же громадность Кремля, а люди другие. Вроде проворнее стали и моложе... Ведь оставил Москву бородатую, долгополую. С каких же пор тут европейская мода? Высунулся из возка, спросил прохожего.

– Да ты отколь? Бороду отняли, скоро и крест отнимут. Погоди вот...

Сказал и исчез в толпе.

За сугробами, за старыми березами встал полузабытый дом, вколосся в вечернюю хмарь остриями двух башен. Родным сердцу был скрип ворот, такой же, как в хоробах детства, и причитания кормилицы, выскочившей встречать. Борис не разобрал, смеется она или плачет.

– Кончается, – бормотала она, уткнувшись ему в грудь. – Кончается княгинюшка наша.

Астры ошиблись, предрекши благополучие в семье. Ксения едва узнала мужа. В ее спальне толклись старухи – кто пользовал болящую молитвой, а кто снадобьем знахарским. Доктора-немца княгиня к себе не допустила.

Три дня спустя княгиня преставилась.

«Задавила мокрота» – так проставлена причина смерти в куракинском дневнике.

Слез потеря не вызвала. В могилу Чудова монастыря легла чужая женщина, не жившая в сердце Бориса.

Дома не сиделось. Донимала теснота, нависал потолок, по-прежнему голый, – так и не собрались позвать живописца, чтобы изобразил ход небесных светил. Борис перечитывал Петрарковы сонеты – ту малую книжицу Франческа ему подарила, напивав страницы своим дыханием.

Ведет меня Амор,  
стремит Желанье...

В лад с виршами подпрыгивал на коленях сын Александр. Продолжатель куракинской фамилии уродился крепеньким живчиком. Сонеты его смешили.

По пятам за князем-боярином ходил Губастов, услужливый, виноватый. Толстой сдержал слово – азовца Посольский приказ препроводил к господину, просил простить ему побег. Грамотный, смысленный холоп хранил ключи, надзирал за конюшней, за всеми работами. Помогал управителю, старому беспоместному дворянину Порфирию.

Лысый череп Порфирия, скверный дух изо рта, привычка сморкаться на пол мерзили Борису. Он послал шляхтича в амбары, а реестры денежные, хлебные поручил Федору.

Доходы с вотчин падали. Где уж тут нанимать живописца! Деревни нищают.

– Мизерикордия! – вздыхал Губастов.

И колокола московские, вызванивая вокруг суматошно, причитали:

– Беда грядет, беда...

Попы молились о здравии царя, а втихомолку кляли как злодея, отступника от веры. По задворкам вился шепоток: околдовали государя за границей.

Петра редко видят милостивым, слышит Борис. Наезды царя в Москву подобны грозе. Начал с того, что самолично рубил головы стрельцам – пригодился курляндский подарок. Давно сняты с кольев, с колес кровавые култышки, но застенки Преображенского приказа не пустуют, по всей столице и иным городам вылавливают смутьянов, хулителей царя, сочинителей подметных писем. Ромодановскому, князю-кесарю всепьянейшего собора, не до веселья, с живота спал, истребляя «семя Милославских», семя боярской злобы.

– Правда ли, – спрашивал Борис Толстого, – что царицы у нас нет?

Толстой обитал недалеко, тоже в Китай-городе, на спуске к Москве-реке, в доме кирпичном, среди сада, подстриженного манером французским.

– Евдокия в Суздале. Вопила, силком затолкали в карету.

– Постригли?

– Пока еще нет. Упорствует.

– Обломают, – сказал Борис. – Царство Лопухиных рухнуло. Государь, поди, женится на Монсихе.

– Наверяд, Борисушка. Соблазн ведь.

А жаль, думает стольник. Взял бы иностранку, показал пример...

– Во дворце переполох, – рассказывает боярин. – Старцев и стариц царь разогнал. И поделом. Облепили царевича. Ищет ему учителя просвещенного. Цесарь хотел забрать Алексея к себе. Воспитаю, говорит, как родного сына. Государь отказал.

Беседовать с Толстым Борис навывался часто. Боярин привез из Венеции короба книг. Одну, именуемую «Метаморфозы», автора Овидия, начал переводить.

Борис глянул в нее – увы, не про него печатано, латынь! На картинке Диана, купающаяся в источнике, естество ее не прикрыто, поросль камышей прозрачна. Злосчастный Актеон, застигнувший ее нагой, превращен за это в оленя.

– Знаю, – кивнул Борис. – Он от собственных собак погибнет, разорван. Я все думаю, куда они подевались, боги? Удалились от нас?

– Умерли, – ответил Толстой. – Как всякая смертная тварь.

Видя недоверие Бориса, посмеялся. Греки и римляне воздвигали людям достойнейшим капища, воздавали им почести. С того и пошли мифы – хвала героям искусная.

От кого сие толкование? Борису оно внове.

– Наперво от Петра Алексеевича, – ответствовал Толстой. – Резоны государя я разделяю.

Звякнул в медное колокольце, вызвал слугу. Хлоп, одетый венецианом, во все черное, и обутый в туфли с бантами, принес флягу с анисовой водкой и сушеные фрукты.

В печи трещали дрова, на стене, обитой атласом, зажегся то один цветок, то другой. Цветы исчезали и рождались.

– Гляди-ка, – сказал Борис. – Государь всех богов корчует. Ни древних, ни наших не щадит. Я мыслю, ожесточился он очень, казнивши стрельцов.

– Крут Алексеич, крут, – сказал боярин, поглаживая нагую Диану. – А иначе нас с места не спихнешь. Мы не Англия... У них король до чего перед купчишками изгиляется – тьфу! Свою любимую гвардию распустил, лишь бы парламенту угодить.

Борис согласен. Одно название – король. Все же крутость царя чрезмерна.

Лопухиным пора поубавить спесь. Но зачем же всем знатным фамилиям чинит униженье? Сам резал бороды, сам на пиру у Лефортова укорачивал кафтаны, бархатные ферязи. Мало того, еще шуту своему дал ножницы – на, мол, стриги бояр как овец. Это же, из Европы смотреть, вроде публичной казни!

Жаль Борису и древних богов. Незримой нитью связаны боги с Франческой. Отречься от них, значит изменить и ей.

– Было время, боги на земле жили, – сказал Борис, любуясь телом Дианы, расцветшим среди камышей. – Омерзели им, верно, наши непотребства. И за что попы взъелись на древних богов? На мудрость их, на красоту Афродиты?

Хотел помянуть и Амора, но устыдился. Знает ли Толстой про Франческу? Поди-ка, знает...

– Да ты философ! – удивился боярин. – В добрый час, Борисушка! Дай бог и нам Платона!

– Не философ я, – отмахнулся князь. – Латынь не разумею, так куда мне! Петр Андреич, златой век истинно был или нет, как мыслишь?

– Свидетельства имеются, – ответил Толстой осторожно. – Отрицать не можем.

– Вот-вот! – восторженно воскликнул Борис. – Они тогда и правили, боги. Семя их не иссохло же. Ирои древние суть дети богов, правда же? А от ироев пошли фамилии самые старые. Петр Андреич, может, еще и настанет златой век? А? Я считаю, то не токмо от потентатов зависит.

– От кого же?

– От лучших фамилий, – сказал Борис истово. – Без них потентат, хотя и разумный, немочен завести порядок, чтобы все по правде вершилось. Коли лучшие фамилии согласятся...

– То-то и есть! Коли согласятся... Ты философ, философ, – ласково кивал Толстой. – Государь как отлупит тебя, философа...

Царская дубинка грозила явственно.

Венецианские аттестации, печати с крылатым львом для царя, вишь, недостаточны. Извольте, господа стольники, учившиеся полтора года, показать, годитесь ли вы для флота! Экзамент предстоит строгий.

Некоторые, боясь немилости, боясь службы, попрятались по именьям. Аврашка Лопухин засел в своих московских палатах, сказался больным, носа никуда не высунет. Борису внушали надежду астры.

Будь что будет...

Дом поручил Губастову, младенца Александра – кормилице. Съехал со двора, не оглянувшись. Лошади проваливались в талый снег. Дорога голубела мартовскими лужами.

Экзамент царю сдал в Воронеже, на верфи. На стапеле, под благовест топоров, падала, извивалась стружка, будто серпантин на пьестца Сан-Марко. Видела бы Франческа своего кавалера, волосатого сквернословя, лезущего с кулаками на вора-интенданта, на подрядчика-прощельгу, на недотепу, сломавшего пилу!

«При том свидетельстве наук, – записал Куракин в дневнике, – некоторое счастье я себе видел от его величества и от всех не так стал быть прием, как прежде того».

Летом Борис провел свой корабль донским путем к Азову. Однако идти в атаку ему не довелось.

Послы России, Польши, Венеции, цесарской земли, встретившиеся в сербском городе Карловац с дипломатами турецкими, подписали перемирие. На юго-востоке Европы война

прекратилась.

А Петру перемирия мало, нужен прочный мир с султаном. Полная нужна безопасность в южных пределах.

8 августа 1700 года русское посольство, отбывшее в Константинополь на корабле «Крепость», известило царя: с Портой заключен мир на тридцать лет.

На другой день Петр двинул армию в поход. Полки шагали из Москвы на северо-запад, волоча за собой обоз из десяти тысяч телег.

То, что знали лишь Петр и ближние люди, совещающиеся на пути из Вены с потентатом Польши и Саксонии Августом, предстало въяве.

Навичная служба Куракина в Азове завершилась. Снова в инфантерии, в полку Семеновском, в прежнем градусе поручика. Что сулят астры? Перед тем как сняться, вопрошал их, да, верно, от волнения напутал в расчетах – отвечали светила невнятно, будто смущенные дерзостью царя Петра. Шутка ли – решил добывать море у короны швейцарской!

## 20

Москва, год 1705-й.

Плотно сдвинуты рогатки на улицах, нет хода ни конному, ни пешему. Час поздний, запретный.

Чу, вызванивает часы басовитый колокол Ивана Великого! Свалился с крыши снежный нарост, подмытый февральской оттепелью. С чего-то залились собаки на боярской псарне...

Сон Белокаменной крепок.

Не разбудит ее и сорочий грай трещоток. Ночные погони привычны. Людей, непослушных указу, лихих полунощников, болтается повсюду много.

Через Китай-город, от пристаней, вмерзших в лед, пробрались двое. Застава заметила. Один, ловкий, как дьявол, ускользнул. Другого прижали к стене у Иверских ворот, помяли и отвели в Преображенский приказ.

Гуляющий дерзил, хорохорился, пока палач прикручивал его к дыбе, ноги – к нижнему бревну, руки, связанные сзади, – к верхнему.

– Зовут Зовуткой. Где был, там след простыл.

– Да ты прибауточник, – усмехнулся дьяк Фалалеев. – Давай, распотешь нас.

Дьяк успел поседеть на живодерной своей службе. Ломал всяких людишек: непокорных стрельцов, лукавых юродивых, сеявших смуту, злоязычных кликуш, делателей фальшивой монеты. Этот смиритса скоро. Огрызается, а сам дрожит от страха.

Вялой мясистой рукой подал знак палачу. Бродяга захлебнулся криком.

Савка он, Савка, сын Харитонов, родом из-под Рязани, помещика Логинова крестьянин. Бежал из деревни, дабы спастись от набора в армию.

– Нехорошо, голубь. Вон какой богатырь! Царское войско без тебя воюет.

Молодой, смешливый секретарь фыркает. Нечего сказать, богатырь! Кашей, ребра выпирают...

Савка скрипнул зубами:

– Царское? Где он, царь? Нет царя.

– Нет? – изумился дьяк. – Господи, вот беда! Кто же сказал тебе? Товарищ твой поди...

Что Савка появился в Москве не один, дьяк осведомлен. Караульщики гнали двоих. Тот вывернулся. Уже совсем настигли, дубиной достали разок. А дубины у караульщиков увесистые. Ума не приложить, куда делся...

– Никого не было со мной, никого, – скулит Савка. – О-ох, господи! Никого, вот те крест! О-о-ой!

Покачиваясь на коротких ногах, разминаясь, палач отошел к стене, снял кнут, передумал, повесил обратно. Пошептал что-то про себя, будто молитву сотворил. Выбрал, погладил рукоятку. Опять зашептал, нацелился из-под густых лешачьих бровей, вытянул Савку по спине.

– О-ой, черт безглазый!

Секретарь в ожидании дела развлекался, разукрашивал свое посланье, удлинял и закручивал лапы заглавных букв.

Спина пытаемого искривлена. Палач плещет на него холодной воды из ковша, выводит из обморока. Дыба ослаблена. Дьяк схватил упряма за волосы, наматал прядь на пальцы:

– С кем шел, сучий сын?

Савка издал звуки еле слышные, мешавшиеся с сопеньем и клокотаньем; палач, притомившись,пил воду.

– С Феок... с Феоктистом...

– Ну-ка, погромче! Голосок-то больно чахлый. Застудил, что ли?

В Павловском посаде, у кабака встретил его Савка. Странник, божий человек, праведный. Был, говорит, во Владимире, в монастыре лампадником. Прошлым великим постом спустился в подвал взять масла для лампад, и вдруг из-за бочки взвилось облако и возник архистратиг Михаил с огненным мечом. Велел бросить дом, жену и детей, спасти душу в скитаниях.

«Тот Феоктист сказывал – послан он в Москву от царицы Евдокии с наказом».

Названо, записано имя сосланный царской супруги. С этой минуты дело приобретает особую, грозную значительность. Савку не скоро снимут с дыбы.

Что за наказ? Кому?

Лампадник и намеком не выдал, чего домогается Евдокия. Сказал только, живет она в монастыре вольно, в келье царское платье носит не по уставу, ездит по окрестным храмам, принимает подношения – ягоды, грибы и прочие гостинцы.

«И от многих имеет респект, яко особа высочайшая».

Секретарю надлежит класть пытошную речь на бумагу в точности, но чересчур велика охота вставить иностранное слово, – не напрасно ведь учился полтора года в Славяно-греко-латинской академии.

Палач отдыхает, Савка, косясь на него, пересказывает слова Феоктиста, странника благочестивого, не скрывая злорадства.

Указ ей нипочем. Я, говорит, подотрусь указом. Опасаться ей некого, царя Петра в России нет. На престоле Антихрист ныне. Царь у шведов сидит, пленный. В темнице сидит, в Стекольном.

– Стокгольм же, – выдохнул писец, рьяный и прегордый собой грамотей. Ох, сколько невежества мужичьего остается на бумаге на веки вечные!

– Хорош твой лампадник! – басит дьяк. – Он-то небось ликует. Беду-то со своей башки отвел, тебя, недоумка, подбросил. Смекаешь? Ну с какой стати ты увязался за ним, за поганцем?

В Москве, сказывал Феоктист, есть боярский двор, где странникам всегда рады. Накормят досыта, одарят, спать уложат на перине, не на сололке. Искать там беглого-перехожего не станут, боярин милостивый, роду знатнейшего, перечить ему никто не смеет.

– Ишь ты, на перинку потянуло! Имечко нам нужно, милый. Имечко боярина.

Палач встал на нижнее бревно, подпрыгнул. Савкины ноги вытянулись, весь он стал нечеловечески длинным – стонущая струна в зыбком полумраке застенка. Родовитый боярин, богатый, добрый, а больше ничего не сказал Феоктист, не сказал, пес паскудный.

Дьяку видится лицо Авраама Лопухина, то злое, то нарочито смиренное, будто подернутое маслом. Многие бояре царя так не чтут, как его. Кого похочет обвинить – обвинят, кого со службы прогнать – прогонят. Верно, у него, у родного брата Евдокии, приютился лампадник, если жив. Скрытен боярин, осторожен, ждет своего часа, чтобы отомстить за сестру, отлученную от царского ложа и от порфиры. И за отца – тоже опального, удаленного в Тотьму. Известно, друзей царя Петра среди Лопухиных не найдется. Дьяк Фалалеев, преданный слуга государства, охотно нарушил бы сон важного барина. Без всяких политесов перешерстил бы его подопечных. Нельзя! Дом Авраама, обнесенный толстой бревенчатой стеной, стоит в Китай-городе, словно крепость. Вряд ли кто решится его штурмовать.

Есть в Белокаменной еще люди, близкие царице. Недавно вернулся с войны князь Борис Куракин, шурина Авраама. Царевичу Алексею князь приходится дядей. Хотя княгиня Ксения умерла и Куракин женат на другой, узы с лопухинским семейством не оборвались.

Как знать, может, и Куракин готов принять нарочного от Евдокии...

Однако и к нему ломиться ночью не след. Вообще теребить князей-бояр по чину лишь Ромодановскому, главе Преображенского приказа. Добывать лампадника – его забота.

Рассудив так, Фалалеев дал Савке малую передышку, а затем велел палачу зажечь веник и поласкать Савку всего, без поспешности.

Второй раз и третий повторил Савка сказанное. Фалалеев от инструкции не отступит. Показания сличаются, и если кто «речи переменит, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет».

Савку растягивали, Савку лупили, огнем жгли, никаких поблажек не дал ревностный дьяк.

Приговор над Савкой гласил: понеже он, слыша клевету и хулу на царскую особу, вору Феоктисту доверился, «слово и дело» не заявил, бить его, Савку, кнутом и определить на государевы работы.

Куда закинула его судьба – добывать ли руду, строить корабли, лес пилить или воздвигать дома в устье Невы, где поднимается город Санкт-Петербург? Листы розыскного дела этого не сообщают.

А Феоктиста в ту ночь так и не нашли.

## 21

Борис Куракин вернулся домой пешим строем, под знаменами Семеновского полка.

Стяги сии ныне плещут победно.

Пять лет нового века, пять лет войны за плечами офицера. Все это время Солнце, Меркурий и Юпитер заботу о нем не прекращали. Сохранили в первом бою под Нарвой, где, как он записал потом с горечью, «несчастье великое было, шведский король всех отбил, артиллерию и обоз все взял».

Не дали астры утонуть в Ладожском озере, под Шлиссельбургом, когда доставлял лестницы для штурма. Озеро бушевало, лестницы тяжелые, громоздкие. «И в тех переездах с берега на берег в лодке видел некоторый немалый страх».

Уцелел и при взятии Ниеншанца, как ни ярилась смерть вокруг, – ведь Куракин, вооружив солдат лопатами, ставил первые шанцы, вплотную к городу, тем раздражив шведов донельзя.

«Стрельба была великая, и многих побивали, инженера того, который с нами был послан для той работы, перед светом убили».

И во второй нарвской баталии, счастливой, сберегли божественные астры любимца своего, устремившегося на штурм с передовым отрядом.

«И в ту пору видел некоторое немалое к себе счастье, хотя и при смертном часу был, и от его величества некоторый амор видел, также и от губернатора».

Перо запнулось, не назвало имя сего последнего – Алексашки Меншикова. Обласканного царем свыше всякой меры, губернатора завоеванной Ингерманландии... Он же, князь Куракин, дослужился за пять жестоких лет до градуса майора. И то, говорят, роскошно. Ведь сам царь – звездный брат – покамест полковник.

Никому не догнать пирожника...

Шагая из-под Нарвы, Борис сменил стоптанные вдрызг сапоги на лапти, а оные на валенки. Выступали осенью, а достигли Белокаменной в декабре. Слякоть, мокрота, студёные ветры, морозы вредили слабому здоровью князя. Астры – низкий им поклон – радели неизменно. Довели страждущего, раздираемого мучительным кашлем, до родимых палат.

Кормилица Харитина жалела Бориса навзрыд: бледен, спал с лица, извелся. Где куракинский пригожий румянец? С упреком помянула княгиню Марью, ей бы встретить мужа, а она опять в отлучке.

– Умчалась, слова не обронила. А князенька в холодную постель ложись...

Быть бы Франческе хозяйкой... Увы! Сам царь не посмел обвенчаться с иноземкой.

Не токмо постель – весь дом без амора холоден. Утешайся тем, что жена у тебя из фамилии Урусовых, доброй фамилии, древней. Что грамотна, даже весьма грамотна – счета блюдет строго, всех приказчиков, всех старост держит в страхе.

Радуйся тому, что при ней нашлись деньги на живописца. Однако ход небесных светил заказать не пожелала. На потолке столовой палаты реют ангелы. Борис, находясь прошлой зимой на побывке, огорчился:

– Не часовня же!

- Эка умный! У меня митрополит кушает.
- Обедню не поет все же, – возразил Борис.
- Мало ли что. Я у него пустошь сторговала.

А то и ответом не удостоит, только подожмет губы. Ссориться Борису неохота.

Тощая, шастает длинными ногами... Рук не разгибает, топырит острые локти. Слуги пробегают пугливо, будто лед хрупкий в покоях вместо пола. Княгиня не кричит, не бранится. Бьет молча, метко – резнет плеткой по щеке и глаза не заденет. Досталось за что-то и Харитине.

- Старуху-то не трогала бы, – сказал Борис, заметив у той шрам.

Вскинула локти, вышла. Борис догнал, двинул между лопаток. Потом отделился от супруги, заперся в башне, в шестигранной своей светелке.

Устроился там и сейчас. Спит на походной кровати, как царь Петр, звездный брат. В головах глобус, истертый перстами, в ногах сундук с книгами. Снова со страниц сонетов Петрарковых дыхание Франчески.

Детям в светелке отрадно. Приходят тихие, в рот воды набравши, – мать громкого смеха, шумных игр не терпит. Трехлетняя Катеринка – от новой жены – наворачивает на себя майорскую накидку отца, катается по ковру. Беленькая, круглолицая, уродилась неведомо в кого. Александра заворожила шпага отца, нейметса вытащить из ножен, потрогать.

Какой он породы – куракинской или лопухинской? «Выпуклый лоб – мой, – решил Борис. – А карие глаза от Ксении».

Уж девять лет сыну. Читает бойко, до всего любопытен. Обкусанным ногтем тычет, крутя земную сферу, в разные страны и столицы.

- Которая страна, – спрашивает отец, – в недавних годах отыскана?
- Америка. Вон она!
- А где великаны живут, в три сажени ростом? Мураши с теленка? Жены летучие?

Смеется. «Александрию» – про тезку своего – не читал. Не сказок хочет от отца – покажи ему воинские артикулы! Борис заказал сыну семеновский кафтанчик, для экзерсиса приставил Федора.

- Война еще долго будет?
- Глупый ты... Долго, без тебя не кончится.
- Ты правду скажи!

Конца воистину не видно. Две войны раздирают, топчут Европу.

На западе схватились короли старые, соперники исконные – Людовик и Леопольд. У цесаря союзники – голландцы, англичане, пруссаки – сила необозримая, насаждает на французов и испанцев на суше и на море. Баталии окончательной пока нет.

И на востоке европейском гистория еще не решила – быть или не быть империи Свейской, захватившей земли прибалтийские, бранденбургские, проникшей ныне мечом своим в Польшу. Быть или не быть России державой могучей, удержит ли она выходы к морю, пробитые у Нарвы, в устье Невы, или напрасны были труды и потери и великие пережитые страхи?

Северные потентаты молодые, начальствуют в войсках сами. Давно ли Карл забавлялся во дворце тем, что рубил саблей свиней и баранов, лил кровь скотскую на ковры, на полы наборные? А саксонец Август, сгибающий, подобно Петру Алексеевичу, пальцами подкову, отличался в Мадриде на бое быков, яко ловкий убивец. Венценосцы отчаянные, упорные ведут сию войну.

Положим, Август, лихой в потехах, стратегом оказался слабым. Битый шведами постоянно, упал духом, кажет противнику зад. Того гляди, и саксонскую корону бросит к ногам Карла. Польскую уже потерял. В Варшаве шведы посадили на престол Станислава Лещинского, многие паны уже изъявили ему послушание.

Карла виктории русские куража не лишили, вести о взятии его крепостей принимает, как говорят, со смехом – мол, отлично, пускай подержат, потом все равно возвратят!

Да мало ли что говорят... Борис исправно посылает Губастова за «Ведомостями» – купец в суконном ряду продает листки, напечатанные славянскими литерами, по денежке за штуку. Сколь можно судить, кампания в Польше протекает в столкновениях мелких, движение полков рисует арабески непонятные. Постигнуть намерения царя невозможно.

Астры – свидетели небесные! Доступен ли вашему взору исход войны?



Ответа ясного Борис от них не получил. Гибели ни ему, ни царскому величеству звезды не предрекают.

И то хорошо.

## 22

Рано утром, до рассвета, Федор Губастов выпустил порезвиться жеребенка Арапку – голенастого, шаловливого своего любимца. Улица еще спала. Арапка валялся, вскидывая копытца, тихонько ржал. Внезапно Федор заметил на снегу, в ложбине, неестественную черную тень. Она задвигалась, обрела руки, поползла, оставляя за собой темный след.

Бориса накануне пользовал медикус, уложил его, испотевшего на банном полке, в постель и сделал кровопускание. Князь погрузился в забытье столь глубокое, что очнулся лишь около полудня.

В спальне маячил человек, солнечный луч то зажигал копну русых волос, то высвечивал руку с какой-то бумагой.

– Я, князь-боярин...

Майор брезгливо замотал головой – Губастов совал ему грязную, мятую бумажонку. Шибало потом и еще чем-то. Вроде кровь на ней...

– Убери! Фу, мерзость!..

В тот же миг сон слетел, цидула смутно взывала к нему вереницей цифр, пропадавших в бурых пятнах.

– Откуда?!

– Так я ж говорю, князь-боярин...

Цидулу нес незнакомый человек, должно быть юрод, богомолец, потому как под полущубком был обмотан железной цепью с крестами. Кто-то саданул его по голове, верно, караульщик. Трещотки чуть ли не всю ночь заливались.

– Где он?

– Помер, князь-боярин. Ноги мне обхватил и отдал душу...

Губастов наклонился, чтобы уразуметь предсмертное бормотанье. Юрод поминал царицу и письмо, доверенное ему. Кем? Можно полагать, царицей же. Достать письмо юрод сам не мог, слепо тянулся рукой к поясу. Азовец смекнул, отодрал кармашек, пришитый к штанам. Потом сволок мертвеца в проулок, где зияет заброшенный колодец.

– Грешно этак, словно собаку... Да как иначе-то, князь-боярин?

Догадался азовец снять и цепь с крестами – сбруя приметная. Найдут царицына нарочного не скоро и вряд ли опознают. Мало ли убогих людишек в нагольных овчинах!

– Может, нашли уж, – отозвался Борис, спуская ноги с постели.

Выследили, вытащили из колодца. Начали дознаваться, кто бросил его...

– Ох, Федька! Вот пожалует в гости Ромодановский! Ох, Федька, Федька!

Клянется, что спроворил, не промешкав и минуты, без шума, ото всех скрытно. Погоня уже утихла, улица была пустая, нигде не скрипнуло. Хорошо, если так...

Отвозил бы князь-боярин холопа, сбыл досаду, да не за что. Другого ведь ничего не придумаешь. Оставлять юрода у ворот не следовало.

Нет, не глупо поступил азовец.

Пить с утра непривычно, но Борис хлебнул, прогнал холодок беспокойства. О чем пишет тут Евдокия – неважно. Главное, пишет тайно, цифрами. Коли обнаружится это, скажут, что он имеет с ней согласие. Чем тогда отговоришься?

Вина усугубится тем, что цифирь – от него... Однажды, года четыре назад, развлекая царевича, показал ему, как можно подставлять числа вместо букв. Аз – четыре, буки – пять, веди – шесть, и далее по порядку... Вот она, потешка, перешедшая от сына к матери и обернувшаяся отнюдь не весело!

«Братья мои!» – так обращалась Евдокия. Не только к нему – Борису, ко всем близким. Верно, в мыслях имела наперво Лопухина, но легкого пути для гонца своего не предвидела.

Борис дочитывал письмо в светелке. Венецианские зеркала, пристальные, голые – князь-боярин пресекал попытки кормилицы завесить их, – следили со стен, засматривали в

россыпь цифр, как сообщники.

«Слышала я, что царь хочет женить Алексея»...

Ах, вот оно что! Кровь поглотила некоторые слова. Похоже, далее следовало – «на немке». Без сомнения так, ибо Евдокия просит разведать, а коли подтвердится сей слух, то, елико возможно, препятствовать.

С чего ей вообразилось? Разумом тронулась никак в Суздале! Какая еще женитьба!

Положим, дела такие с маху не вершат... Ну и что же? Пускай на немке! В Европе любая фамилия potentатов, которую ни возьми, восприняла чужеземную кровь. Немка или итальянка, гречанка – не в том суть...

В зеркалах, за спиной Куракина, размноженного десятикратно, металась в узкой келье низложенная царица, круглилось, морозно белело лицо Авраама Лопухина, ломкой тростинкой вытянулся Алексей. Они обступили вдруг, вопрошали – как он, Куракин, князь, дядька наследника, поступит с цифирной грамотой, которая жжет его, словно раскаленный уголь?

Вспомнилось давнишнее:

– Батюшка меня одной левой подкидывает. К потолку аж...

Сказал невесело, с горечью, поразившей Куракина. Большие, чуть навывкате глаза смотрели внутрь себя. Лет восемь тогда было царевичу. Он жил под началом у матери. Отец появлялся как гость из другого, далекого мира.

Вскоре начали поговаривать – царевич-де немцев не любит. И что ж мудреного – пустомеля Нейгебауэр, приставленный к нему, глупый, взбалмошный, надоевший всем интриган и сплетник, не мог внушить ни уважения, ни интереса к наукам.

«Одной левой подкидывает...»

Только зависть слышалась Куракину. Без ласковости сыновней, без восторга перед отцом. Мечтание о силе, могуществе – оно свойственно человеку, как утверждает иезуит Броджо.

Последний раз дядя свиделся с племянником в покоренной Нарве. Война отменила для Алексея ученье в Дрездене. Бледен был, скучен, несловоохотлив. Мундир солдата бомбардирской роты болтался свободно, а казалось – душил. Победа не радовала царевича. Жаловался на отца – строг больно, велит быть при войске, в Москву не отпускает.

Что ему мило дома – неизвестно. Молебствия, церковное пение, книги – но не те, которые Петр Алексеевич считает нужными для управления государством. Гюйсен, новый наставник, рассказывает: царевич уже шесть раз прочел Библию по-русски и по-немецки, а к наукам военным, чисельным равнодушен.

Гюйсен – немец толковый, подлинно ученый, не то что тот, прежний... Слышно, уедет скоро с царским поручением за границу, и тогда не получит Алексей иных советов, кроме как от поповской братии. А она царевича к отцу не подвинет, напротив, пуще ожесточит.

Как же быть?

Жжет цидула, жжет нестерпимо... Жаль, Петр Алексеевич в Польше... Отдать бы ему и при том повиниться – сам, мол, вручил Евдокии средство сноситься с Москвой...

– Ох, Мышелов, съедят тебя крысы! – слышалось вдруг. Явственно ощутил Борис присутствие звездного брата. А позади него возник Алексашка Меншиков. И хотя Петр Алексеевич слушает покаянную речь милостиво, на сердце у Бориса тяжело. Фаворит, обдав его насмешливым взглядом, подтянулся и шепчет на ухо царю. Что-то обидное для князя Куракина...

И поделом ему, Куракину... Выходит, он ябедник мелкий, достойный лишь презрения, ябедник, пожинаяющий ненависть не только Евдокии, но многих старых фамилий и наследника престола. И ради чего? Добро бы важная причина – измена или иной злокозненный убыток короне... Женить Алексея царь не спешит. Придет пора – подберет невесту, вмешаться никому не позволит.

Лишь бы боги сохранили век царю...

Нет, пользы ябеда не принесет. Пуще настроит царя против старого боярства. Алексашка будет ликовать и злорадствовать... Знатные семьи и без того обижены...

Борис кликнул Губастова, велел помешать дрова в печке и кинул бумагу в огонь – движением нарочно небрежным. Пускай горит проклятая грамота! Оба – холоп и

князь-боярин – смотрели, как пламя скрючило листок и обратило в пепел.

– Понять ничего нельзя было, – сказал Борис как бы про себя.

Внезапно, в накалах света от печки, вспыхнула на лице Губастова несносная усмешка Алексашки, нахального фаворита.

– Не топчись тут! – крикнул князь-боярин. – Ступай!

Покая он не обрел, оставшись один. Не ровен час, станет известно от Евдокии, от Алексея или от кого другого: тайнописи обучил Куракин. К нему с цифирным посланием шел нарочный из Суздаля. И он сие непотребно скрыл.

Что тогда?

Ответы Борис складывал целый день. Кормилица клала на голову князеньке тряпки, смоченные в холодной воде. Ожили, впились в виски давние его враги – гипохондрия и меланхолия.

## 23

В марте дни выдались солнечные, хвори душевные и телесные поутихли, и Борису вздумалось пойти в новый театр, открытый царским повелением на Красной площади.

Свежесрубленная комедийная хоромина запахом своим напоминала Борису воронежскую верфь. Разных званий люди сгрудились у входа, орали на подслеповатого ярыжку, бравшего плату. Князь переждал; дабы не обтираться в толпе, прочел прибитое к стене уведомление.

Театрум обещал невиданное – не комедию, не трагедию, а пиесу ироническую, в честь одержанных побед.

Рядом с Борисом на скамью грохнулся пузатый купчина. Отодвинуться было некуда. Купчина сопел, чесался, ерзал, не замечая майора-семеновца.

Когда занавес раздернули, бородач перекрестился. Должно быть, принял персону в золотом венце, восседавшую на престоле, за богородицу. Не видел невежда доселе ничего, кроме действий из Священного писания.

Виктория правой рукой подняла свиток, тряхнула раза три – карта развертывалась туго. Заголубело море, вскипевшее мелкими, острыми волнами, протянулась ломаная черта берега. Под песнь торжественную обернулись к публике Эстляндия и Лифляндия – земли, отвоеванные у Похитительницы, понимай – у короны свейской.

Воины топтались, стукались копыями. Борис досадовал, видя, как нестройно они двинулись за Викторией к престолу Ревности. Стадо, а не войско! Поклонившись Ревности, воительница положила ей на колени свиток, затем увенчала венком лавров, сняв оный с себя. И все запели, воздев очи к небу:

Даждь крепость и силу,  
Даждь и многоденствие и ко всякому делу  
Поспех благополучный.  
Даждь во брани всегда победу,  
Даждь здравие, державе крепость,  
Тишину безбедну.

На этом представление кончилось. Сосредоточенно вонзаясь в толпу, двигался к выходу щуплый, гибкий человек в черном. Плащ иноземного покроя, подбитый мехом, был туго запахнут, дабы не мешал движениям. Борис узнал Элиаса Броджио и остановил его.

– О, дорогой принц!

Борис о приезде иезуита был извещен. Наглядевшись на лицедеев, удивление изобразил чрезвычайное. Подался было, чтобы обнять Броджио, но сдержал себя – тот ведь теперь особа знатная.

– Рад, сердечно рад, – заговорил иезуит. – Это драгоценный подарок – застать вас в Москве... Вы заслуженный офицер, я слышал? Поздравляю, мой принц!

– Монаршей милостью майор, – произнес Куракин, слегка приосанившись.

– Ваш монарх умеет ценить преданность.

– Равно как и ваш, падре, – ответил Борис, радуясь собственной находчивости.

Он знал давно: иезуиты в Москву допущены. Решено сделать приятное цесарю. Элиас Броджио прислан как прокуратор миссии и как посол императора. Еще под Нарвой, в присутствии Куракина, решалось – следует ли открывать двери заведомому лазутчику. Царь сомнения отменил. Коли цесарь назначил Броджио, изъявлять протест неудобно. И чем он хуже любого другого? Напротив, удобен особенно, так как уже известно, с кем он в России имеет знакомство и какой цифирью ведет корреспонденцию.

– Я не жалуясь, мой принц, – сказал иезуит. – Я счастлив расположением двух монархов. Хотя наши потентаты ведут каждый свою войну, дружба между ними, хвала вседержителю, оттого не умалилась.

Броджио, мелко семеня, по-гусиному выставляя вперед голову, осторожно обходил лужи. Тяжелая ткань плаща отливала на солнце то зеленым, то синим и словно пригибала к земле сутуловатую фигуру цесарского дипломата.

– Прискорбна, – сказал Борис, – неудача короля Августа. Я чаю, император весьма огорчен.

– Скандал, – вскинул руки Броджио. – Чудовищное надругательство над Польшей. Кто выбрал Станислава? Шведский генерал. Кто провозгласил королем? Один архиепископ Познанский. А между тем, по польским законам, мой дорогой принц, необходимо благословение двух владык церковных – Гнезненского и Куявского. Нет, нет, милый принц, император не признаёт и не согласится признать Лещинского.

– А папа? – спросил Борис.

– Его святейшество, – ответил Броджио истово, – столь же отрицательно относится к беззаконию. Кто такой Станислав? Что он сделал для Польши? Говорят, он понравился Карлу изящными манерами и послушанием. Послушанием, мой юный принц! Смазливый Пульчинелло, которого Карл дергает за веревочку... Могу вам сообщить, принц, – наши отцы повсюду расположены к Августу. Будем надеяться, он еще вернется в Варшаву.

– Не везет ему, – вздохнул Борис. – Кабы император подсобил, иное было б дело...

– Поверьте, мой принц, только война на западе мешает ему обратить оружие против Карла. Посудите сами, желаем ли мы видеть торжество лютеран?

Положим, церковь дорога, а выгода дороже, подумал Куракин, но вслух поддакнул. Все, конечно, так, католическое величество не может сочувствовать шведам.

Новым своим градусом Броджио упоен и речи держит, будто на аудиенции в высоких сферах. Что ж, сбивать его с насеста не след.

– Моя голова, – сказал Борис, – дела политические плохо вмещает. Армия от сего далека. Вон как закрутилось! Мало в Европе свар из-за тронов разных – еще Ракоци корону себе примеряет. Императору, я чаю, великое огорчение.

– Наглый изменник! – возмутился иезуит. – Император слишком занят, а то давно прихлопнул бы его. Уверяю вас, мой принц, царю надо остерегаться венгерского авантюриста. Его окружают французы, с ним шепчутся шведы...

– И шведы? – подивился Борис.

– Есть точные сведения, мой принц.

Сочтя дальнейшие расспросы излишними, Куракин, помолчав, произнес рассеянно:

– Слыхал я, Ракоци тигра держит при себе, ручного.

Броджио продолжал кипеть:

– Он сам хуже тигра... Подлый хищник, предатель... Виселица, отлучение от церкви, вот что им будет, всей шайке. Ох, мой принц, не знаю, кого рождает война изобильнее, героев или изменников?

Красную площадь грело солнце, выпаривало талые воды.

Свежо, весенне лучится многоцветный убор Василия Блаженного. На Лобном месте, на каменном раскате кострами пылают медные пушки. А внизу – до чего пронырливы купцы, алтынные души – врезаны лавки, норы подземные, с товаром скобяным, одежным, сбруйным. За храмом, ближе к реке – опять торговля, голосистое людское множество, перестук колес. Река еще не тронулась, на синем льду – горы мусора, нарощие за зиму.

Пробившись мимо рыбного ряда, мучного, мясного, отыскивали книжный. Тут закоулок

тихий. От премудростей, затиснутых в кожу, печатных и писанных, пахнет бумажным тленом. Согбенный книжник в очках раскрыл перед майором-семеновцем «Поверенные воинские приемы, како неприятельские крепости силою брать» – труд обширный, с чертежами и картинками. Борис велел показать изделия немецких печатников и набрел на «Введение в историю европейскую» – сочинение, высоко ценимое царем Петром. Куракину давно желалось приобрести эту книгу в собственность.

Очкастый запросил десять рублей. Сошлись на пяти. Иезуит купил карту Азии и пояснил Борису – орден Иисуса, утвердившись в Москве, готовится сделать новый шаг, в Китай.

– И вы, принц, не с пустыми руками... Что у вас? Пуффендорф? Нет, нет, не прикоснись, – и он отдернул пальцы, будто обжегся. – Мерзкое писание, мой принц. Гнусная хула на нашу церковь.

Борис ответил, что сие на совести лютеранина, суждения же Пуффендорфа о потентатах гораздо умнее Макиавеллиевых.

– Почему, мой принц?

– Флорентинец о чем печется? О прибытке единственно для монарха. Пуффендорф же что ставит потентату в заслугу? Радение о пользе общей, о пользе для отечества. О том же и цесарское величество непрестанно твердит. За свое кровное воюем, падре. Мы испанского наследства не ищем.

Вот уж это напрасно... Эх, слово не воробей, с лёта не воротишь!

У рва, прорытого под сенью Кремля, у коновязи, цесарского посланника дожидалась пароконная повозка – скромная, обтянутая полосатой холстиной, ничем не украшенная.

Чернявый мальчик-слуга распахнул дверцу возка, скалился на майора белозубо, с любопытством. Прокуратор миссии медлил.

– Царю трудно, – сказал он. – Ходит слух, царь недоволен сыном. Это правда?

Острый, упорный взгляд сверлил Бориса.

– Царевич не рожден для баталий, – ответил он, подумав. – Сие отцу огорчительно.

– Ваш племянник более прилежит сердцем к матери. И к недовольным вельможам. Между Москвой и Суздалем, я слышал, ведутся тайные сношения. Сие печально втройне. Жаль, царское величество не доверил сына императору.

Возок удалился, проваливаясь в рытвины, а майор стоял, пригвожденный к месту. Занозой впились слова Броджио насчет недовольных вельмож, тайных сношений.

Фу ты, проклятый чернорясник, точно подсмотрел!..

Борис после того долго убеждал себя: нет же, не может он ничего знать. Глаза по всей Москве надобно иметь, чтобы заприметить случившееся той ночью...

Ох, горькая Фортуна! Неужто всегда будет стучаться к нему юродивый с царицыным письмом, грозный покойник, лежащий на дне колодца!

Падре в этот вечер сидел у себя в Немецкой слободе, в комнате, предоставленной ему генералом Розе – ревностным другом ордена. За отбытием генерала в Польшу покои, обитые коврами, пустовали. Военачальник был скуп, дрова кончались, и Броджио, занятый писаньем, часто вскакивал, разминал члены, стараясь согреться.

«Князь Куракин отличился в сражениях, и царь, весьма к нему расположенный, открывает перед сим боярином знатнейшего рода поприще обширное. Как мне сообщили, для него намечено поручение дипломатическое. Напоминаю, что князь недурно владеет итальянским и немецким языками, что он получил образование...»

Перо споткнулось. Венский двор не любит напоминаний. Однако смотря от кого... Теперь он, Броджио, вправе повысить голос, докладывая Хоффбургу.

«...в Венеции, – закончил иезуит. – Князь со мной осторожен, но из беседы с ним и с другими москвитями явствует, как велик здесь интерес к венгерским мятежникам».

Инструкция, врученная Элиасу Броджио, обязывает его строжайше – намерения царя в отношении Ракоци разведывать и сблизению их всячески препятствовать. Дело сложное, почетное, первостепенной важности для империи... Если он, Броджио, преуспее, крылья удачи вознесут его.

Броджио забывает об экзерсисе, не чувствует холода, он захвачен зрелищем желаемого. На нем жаркий бархат кардинальской мантии. Связи его с польской знатью обеспечили ему в Варшаве пост первосвященника. Он запросто вхож к Вишневецким; к Мазепе, который стал гетманом коронным и, быть может, добивается престола... Чертоги, униженные гербами, не рожают зависти, – у него, Броджио, увидевшего свет в захолустанном приходе, среди пастухов и лесорубов, есть собственный замок. Где-нибудь на берегу Вислы или в Татрах...

Послание свое Элиас отправил через два дня с купцом-австрийцем.

В следующем письме, в мае, императорский посол сообщил: выезжает в Главную квартиру русской армии, где он будет просить у царя разрешение на поездку в Карлсбад для поправки здоровья. Несомненно, вояж сей предрешен. Да поможет всевышний обнаружить сокровище!

## 24

Майор Куракин и денщик Губастов двинулись в дорогу в первый день июня, когда река Москва, смыв груды непотребного да прихватив где забор, где баньку, вошла в берега.

Вдогонку гоготали гуси, выпущенные на пустыри, бежали псы, задыхаясь от лая. Вился, вплетаясь в колеса, горький дымок от костров, в садах палили сухую листву. Москва пахла унавоженной, перевернутой заступом землей, можжевельным венником, кислыми овчинами, кинутыми на солнце выжариваться.

В Преображенском, перед дворцом, кроваво рдели тюльпаны, высаженные еще для Петра-отрока. Довелось ли ему с тех пор хоть раз полюбоваться дивным их цветением!

Так же вот и он, Куракин – звездный брат царя, не имеет истинного дома, близкого сердцу, согретого амором...

Погода выдалась ясная, возок в грязи не вязнет, так зато молотит по сухому тракту немилосердно. До костей донимает тряска. Подушек взяли дюжину, все равно не хватает. Губастов упарился, поправляя постель князю-боярину.

– Болезнь вашего сиятельства для нас как нельзя кстати, – сказал Шафиров.

Слова эти можно было бы счесть за дерзость, если бы секретарь тайных дел при канцлере Головкине говорил от себя, не от царского имени.

Маячит, расплывается в полумраке возка толстяк Шафиров, белеет его умный большой лоб, черные иудейские глаза смотрят проникновенно и грустно.

– Главное старание ныне – искать себе альянсов, а от Карла союзников отвращать.

Шафиров роду простого, купеческого – бог ведает как, из какой трущобы польской прибился он к царю. А пренебречь наставлениями секретаря тайных дел не изволь.

– В целой Европе нет потентата, даже из мелких владык германских, для нас безразличного.

Две войны, наша и испанская, затронули все державы до единой. Нам повезло, что Людовик – приятель шведа и турка – поглощен борьбой с цесарем. Надобно уметь из чужой ссоры себе извлечь выгоду. Посему интерес государственный повелевает нам безотлагательно завязать сношения с князем Ракоци, возмутившимся против австрийской короны. Появился новый потентат, владеющий ныне, почитай, всей Трансильванией. Дружбы с ним многие державы ищут.

Встреча с ним, само собою, имеет быть под строжайшим секретом. Где и каким образом она учинится, Шафиров указать не мог.

– В сей юдоли земной, – молвил он скорбно, – все быстротечно.

Инструкцию подробную надлежит получить в Вильно, в Главной квартире, от его величества.

Прав Шафиров – оттуда виднее...

Дорога дальняя, у Бориса времени предовольно вопрошать будущее. Возникает Броджио, цесарский соглядатай. Как пить дать привяжется... Пороги Главной квартиры обивают вельможи польские, литовские, алеаты самые ненадежные. Да и кто надежен?

– У дипломата, – сказал Шафиров, – одна опора есть неизменная – совесть его.

Грустный взгляд секретаря тайных дел остановился при этом на Борисе, словно выжидая.

А он нелепо смутился.

Вдруг беда ждет его в Вильно... Вдруг в царских руках донос из Москвы...

Юроду, без сомнения, наказано было нести письмо к Лопухину либо, при тесных обстоятельствах, к Куракину. Авраам, поди, узнал о том от царицы, выпустил ядовитый язык...

Дремота слетает с Бориса, как только предстает он – воевода запечный, сосуд злости.

Не раз и не два рисовал позиции планет по таблицам, взятым в путешествие. Итог один – наущением Венеры затеваются тайные козни против рожденного. Некие придворные ему вредят. Все же порушить карьеру злочинцы не в силах. Спасает рожденного доброе влияние Солнца.

Надолго ли?

Губастов, видя гипохондрию и меланхолию, напавшие на князя-боярина, заводил песню либо бранился потешно, свистя кнутищем.

– Эй, скелеты, сучье отродье! Эх, сгинь, пропади, утопни и воскресни!

Исправно называл денщик все примечательное, возникавшее впереди, – возвышенность, переправу, крепость, город. Майор, уместив тетрадь на коленях, вел дневные записки. Перо макал в чернильницу, приколоченную к стенке, – бронзовую, работы венецейской, в виде зева разинутого кабаньего.

Полоцк застал в военной лихорадке. Возок расталкивал ватаги рекрутов. Борис, подавшись из оконца, крикнул:

– Отколь пригнали?

За Полоцком началась Литва, зашумели темные леса. Федор развлекал болящего князя-боярина загадками.

– Дона. Угадай, что означает.

– Чучело! – ворчал майор. – Я глупостей не отгадчик.

– Хлеб по-литовски, хлеб. А друски?

– Пошел ты!

– Соль, князь-боярин.

Несмотря на хворь, ожило и в Борисе любопытство ко всему невиданному, и в тетради столбиком вырос словарь. Вода – ундо, как поживаешь – капту рейсен... А Вильно, оказывается, – Мезтан.

На крутом подъеме к Остробрамским воротам, прорубленным в толстой городской стене, Куракина трепала лихорадка нетерпения. Замок Гедимины с башней, венчающей холм, виделся как бы в тумане дрожащем. Вороны на деревьях, нависших над синей дугой Вилии, каркали угрозу. Знает Петр Алексеевич, все знает насчет царицыного письма, насчет юродивого...

Дымы армейских кухонь лизали башню Гедимины. Отчаянно бил в уши, торопил Бориса зов горниста. На площади у костела кипение красок... Синяя, красная, черная... до того густо, буйно мельтешили на солнце военные, стянутые к Главной квартире.

Вилия из берегов выплеснется – столько набилось в нее солдатни. Орут на все предместье, взбаламутили воду дожелта. Солнце играет на спинах, натруженных ремнями, высветило синяки от офицерских тумачков.

Борис глядит из окна с завистью. Всем река доступна, кроме него.

Не хворь держит взаперти. Лето принесло во всех членах облегчение.

– Непохож ты на больного, – сказал царь. – Разъелся, пузо растишь.

С выездом велел обождать. Есть слух: Ракоци вступил в некое согласие с Карлом. Надобно проверить.

– Броджи нашептал, поди, – заметил Борис.

– Ты не груби ему! Когти не выпускай зря, Мышелов! Ты слаб и недужен.

Иезуит, посол цесарский, должен убедиться – Куракин, опытный офицер, нужный на войне, едет в Карлсбад единственно для лечения.

Из сострадания к хворому царь не вызвал его к себе, изволил прийти сам. Шаггал по горнице пригнувшись, помахиная треуголкой. Цветы, бессмертники, под Остробрамской божьей матерью, писанной на фаянсе, трепетали.

- Племянника своего видел?
- Томится царевич, – ответил Борис, напрягшись. – Ровно болезнь точит.
- От попов, от матери болезнь. Женить скоро будем, а он в небесах парит.
- Уже невесту присмотрел, Петр Алексеевич?
- Что толку. Лучшие невесты при европейских дворах пока не для нас...
- Стер пот со лба. Жарко. Борис принес пива.
- Утопленник твой где?

Азовец не заробел, выскочил из-за перегородки резво, вытянулся по-военному. Парик вороньей черноты, отвислые усы. Бойко назвался – унтер-офицер Федор Огарков. При этом не удержался, фыркнул.

- Был Губастов, да кончился, батюшка государь. Со святыми упокой, господи!
- Петр засмеялся.

- Хорош. И за русского не признать. Чистый волох.
- У нас кровь татарская, государь. Из-под Касимова мы.
- Взят из деревни, – пояснил Борис. – Стоерос грубый, не то что Губастов.

Тут не стало унтера. Куда делась выправка? Обмяк, скособочился, нелепо затоптался на месте. Руки будто плети... Петр захохотал.

- Ну, комедиант! Пройдись-ка!

Потом, обратясь к Борису:

- Обманул он иезуита?
- Кажись, обманул, Петр Алексеич.

Короткий визит звездного брата приободрил Бориса. Страхи больше не точили. Должно, сокрыта его вина, сокрыта, погребена на дне колодца. Не встанет царицын гонец...

Долго ли еще сидеть в Вильно? Река голубеет, манит нестерпимо. Летят в окно комья земли, – то прискакал во весь опор курьер с театра войны. Борису слышно, как скрипят грозные ворота замка Слушко – царской резиденции.

Толстые, щербатые башни старой твердыни высятся рядом, за тополями, роняющими летний пух. Малость подальше, в том же предместье Антокол, квартирует генералитет, – во дворце Сапеги, ушедшего к шведам. Вечерами там наяривают разные менюэты и краковяки. Польские союзники закатывают балы, веселятся неведомо с чего.

Веселье-то вроде некстати...

Вести из армии худые. Знакомые офицеры заходят выпить чарку, рассказывают: в Курляндии виктория попорчена. Шереметев, столкнувшийся под Мур-мызой с Левенгауптом, не устоял, разбит жестоко. Под Клецком три полка казаков напоролись на крупные силы шведов, полегли почти полностью. Мазепа послал, не разведав толком. Лютеране озверели, раненых наших сваливают в груды, как падаль, и добивают. Двоих-троих разом, на сколько штык достанет. Сражения решительного все нет, театрум военный ширится непомерно, непонятно. Шведы в Варшаве пестуют королишку своего – Станислава. Шведы в Саксонии; Август, вояка блистательный, полинял, сник, штаны марает с испугу. Оплотом армии нашей служила крепость Гродно, ан теперь и там шведы. Ладно, что полки оттуда выведены. А то попали бы в капкан.

И куда же брошены те полки? Двигаются в направлении Волыни, Киева. Для чего – взять в толк трудно. Идут лесами, болотами. Карл погнался следом, да, слышно, завяз в трущобах. И то добро...

А поляки? Воюет панство или только отплясывает? Партия Августа саблями машет лихо. Михал Вишневецкий перед царем похваляется – я-де через месяц возьму Варшаву. А ведь недавно кричал виват шведам. Оттого и перебежал к нам, что не терпит Лещинского. А был бы другой кто на троне...

Уходят офицеры, Борис вопрошает карту, раскатанную на столе. Федор убирает чарки, блюдо с остатками окорока.

Известия наиновейшие часто приносит Броджио.

- Поражаюсь, мой принц! Поражаюсь твердости духа его величества.



Едва перешагнет порог, возглашает похвалы царю.

– Поистине Александр нашего века. Не ведает уныния, подобно великому македону. Огорчения осаждают его. Из Москвы пишут: фаворитка, неблагодарная дрянь, наставляет ему рога. Да, мой принц. С графом Кейзерлингом, прусским посланником.

Все-то он знает, иезуит. Все пороги метет сутаной.

– Сегодня у его величества праздник. Крестил наконец своего любимца. Пора, девятый год арапчонку. Закормил мальчика конфетами. Я чуть не задохнулся в тесноте – Пятницкая церковь лопалась, такая набилась толпа. Мне там и сообщили насчет фаворитки. Некоторые злорадствуют. Женскому полу, – и Броджио сощурился, – сие событие подает надежды.

Борис слушает вполуха. Не идут из ума шведы, гряда раненых, штыки, погружаемые, словно вилы в сено.

Болтая, иезуит набрасывал портрет принца, положив на колено тетрадь из толстых, хрустких листов.

– Чуть-чуть вправо, прошу вас... У вас характерный профиль. Линия носа... Порода, мой принц, порода...

Художественным своим даром Элиас гордился и в послании к начальству не преминул сообщить:

«Я стал известен при дворе царя и за то, что умею рисовать».

Нос принца, знатной породы нос, мягкий, нежных очертаний, дается с трудом, но гость умолкает лишь на краткое время.

– Удивительно, как стойко перенес его величество несчастье в Курляндии. Оробевших перед Карлом утешает.

Денщик подает блюда, предписанные больному, – гречневую кашу с молоком, разварную курицу. Пусть извинит досточтимый падре, разносолов не водится. И порядок неважный – новый денщик политесы не усвоил, дик еще мужичина.

Азовец свою роль исполняет. То соль просыплет, то заденет посла кувшином.

– Чурбан безглазый! – восклицает князь-боярин. – Прешь, будто ты в малиннике, не в доме...

– Потеря хорошего слуги, – произносит иезуит сочувственно, – бывает невосполнима.

– Ваша правда, падре!

– Внешность вашего денщика, – говорит Броджио, вяло помешивая кашу, – не соответствует русскому типу. Вероятно, имеется примесь иноземной крови.

– Справедливо, – кивает Борис. – Его мать согрешила с татаринном. Что уставишься, образина! Исчезни! Навонял тут, хватит... Простите, падре, ведь полпуда дегтя на сапоги выливает.

После обеда Броджио повез больного на прогулку. Поднялись на холм, в каменное средоточие города.

Из разоренной лавки выбежала, юркнула в яму жирная крыса. В Гостином дворе торговля захирела. Подворье русских купцов, обжитое еще при Грозном, запустело. Шведы хозяйничали тут месяц, а убыток причинили большой.

Выехали к ратуше. Ворочая белками, задергался цыган, прикованный к столбу, крикнул невнятно. Очнулись гуси, разомлевшие от жары. Броджио продолжал:

– Польские паны воевали между собой не меньше, чем с чужими войсками. Увы, царю не повезло с алеатами!

– Пуффендорф утверждает, – вставил Борис, – поляки могут получить большую пользу от России. Достичь бы нам крепкого согласия...

– Согласие, мой принц! Макиавелли указывает – сие благо принадлежит чаще простому народу, чем вельможам. А польские магнаты... Впрочем, понять их можно, Польша между двух огней. Карл утратит приверженцев, когда победа царя станет несомненной. Когда против шведов выступит еще один потентат.

С чего бы ни начал доверенный цесаря, сводит к этому. Досказать Борис не дал:

– Император не рассчитался с французами.

Ответил без пристрастия, политично. Броджио возразил с живостью:

– Не помеха. Лютеране опрокинули Августа. Не забывайте, Габсбурги всегда почитали

Саксонию за часть империи. Опасность у границ Австрии.

Имя Ракоци на сей раз произнесено не было, но Борис словно услышал его. Решил промолчать. Дипломату, учил Шафиров, подобает говорить мало, а внимать прилежно.

– По мере моих слабых сил, – разглагольствовал цесарец, поглаживая себя по узкой груди, – я способствую союзу царя с императором. Иосиф более склонен к России, чем покойный Леопольд.

Объединение двух мощных властителей заставит Карла подписать мир, отдать москвитам занятое ими балтийское побережье. Далее император с русской помощью завершает спор с Францией. Долгожданный мир озарит Европу. Что скажет на это принц?

В суждениях принцу нужна осмотрительность. Он круглит любопытные глаза, кивает. Прожект соблазнителен. Европа истерзана. Марс пресыщен, пора бы ему на отдых.

– Его царское величество, – ликует Броджио, – обещал сии доводы принять во внимание.

– Ему решать, падре, – говорит Борис устало. Пожалуй, довольно променада для хворого.

Из недр сутаны возникла коробочка с порошком, ускоряющим пульс. Борис понюхал, Броджио помог выбраться из возка. Денщик, деревенщина, не сразу выбежал встречать господина.

– Ты и впрямь разлеился, – кинул Борис, входя в горницу.

Ух, пристал чернорясник! Борис выпил пива. Отменное в Литве пиво.

Голос Броджио, рисующего союз potentатов, замирение в Европе, не утих. Мыслимое ли дело? Точно ли склонен к нам новый император? Тогда с князем Ракоци как же быть? А кончать кровопролитие надо. Снова видится Борису груда раненых. Ширится груда, растет горой, до небес – среди полей, заросших злым чертополохом.

– Вы простужены, мой друг?

От толчков кареты, мчавшейся во весь опор, и от едкого, опалившего горло аромата Броджио закашлялся. На крапиве, что ли, настаивает духи ясновельможная!

Постарела, сказал он себе, привыкая к полумраку. И чем-то расстроена. Крепкие духи – признак неблагополучия.

– Я бесконечно благодарен, – заговорил он, отдышавшись.

– Трудности пути...

Дульская приехала из Белой Криницы, о чем известила письмом через привратника иезуитской коллегии.

– Что нам делать, падре? Михала я ударила хлыстом, да простит меня бог...

– Господь с вами, княгиня! Хлыст – не ваше оружие.

Должно быть, она вылила на себя ведро удушающего зелья. Раскидала подушки, не изволила потесниться. Броджио примостился на краешке сиденья, недовольно сжал губы.

– Мне стыдно за Вишневецких... Какие-то вшивые деревни...

О, как хочется отлупить ее по щекам, оборвать истерику! Вшивые деревни... Скажите! Урон отнюдь не мелкий понесли владения Вишневецких от грабителей лютеран.

– Пеняйте на Карла, – заговорил Броджио, обретая голос и апломб. – Король ни на грош не смыслит в политике. Удивительное умение создавать себе врагов. Спокойно, спокойно, княгиня! Или прикажите остановить, я выйду.

– Дальше, дальше!

– А Лещинский, княгиня, Лещинский на троне – тоже, по-вашему, пустяки? Ваши сыновья рассуждают иначе, и я их понимаю. Неслыханное оскорбление для польской нации, небывалое в истории...

– Что? И вы тоже?..

Дульская отпрянула в угол, потянув за собой подушку, словно для защиты. Потом пальцы разжались, княгиня попыталась улыбнуться.

– Извините, падре, я забыла... Вы ведь персона высокая, эмиссар Вены.

– Посол императора, – уточнил Броджио.

– Это не дает вам право издеваться надо мной, – вдруг вспыхнула княгиня.

– Боже меня сохрани! Я по-прежнему ваш друг. Между прочим, царь любит общество

красивых женщин. На балах во дворце Сапеги не хватает вашей светлости.

– Кажется, я в самом деле велю остановить, если...

– Что – если?

– Если не услышу подлинного Элиаса Броджио... Ну, прекратите же насмешки, падре!

Он наслаждался эффектом и ответил не сразу. Новая ситуация требует новых решений – вот и все. Нельзя ни в коем случае отвращать Вишневецких от Петра. Сейчас невыгодно. Не считает же пани, что драгуны князя Михала способны определить исход войны.

– Нет... Но союз с русскими...

Карета катилась мягко по лесному проселку. Ветви царапали крышу. Броджио убеждал, успокаивал. Союз временный, как и всякие союзы. Вишневецкие, действующие против Карла, – отличное прикрытие для Мазепы. Ведь дружба гетмана с ними, с ясновельможной княгиней не секрет для Москвы. Хор певчих – подарок заметный... Рано, слишком рано раскрывать карты. Княгиня побуждает Мазепу перейти в лагерь Лещинского? Напрасно. Станислав – пешка, расчет на него – расчет близорукий.

– Хорошо, хорошо, – Дульская кусала губы. – Что, по-вашему, должна я рекомендовать Мазепе?

– Осторожность, княгиня, осторожность.

– О, этому его не учить! Его казаки исправно топчут на Воляни хлеба Потоцких.

– Надеюсь, не ваши, княгиня.

– Он поклялся мне не трогать Белую Криницу. Хотя – кто поручится за орду оголтелых холопов.

– Все же они послушно пошли на тот свет... Несчастливая битва под Клецком... Странная битва... Неужели он намеренно поставил полки под удар? Хотел бы я знать...

– Дьявол разберет, что творится в башке у Яна. Не требуйте от меня слишком многого, падре. Спросите у него сами. Вас пугают дебри Белоруссии?

– Нисколько, – ответил Броджио сухо. – Я предпочитаю сноситься с гетманом через вас. Особенно теперь, в нынешнем моем ранге.

Он вынул из суганы плоский футляр, нащупал ногтем защелку.

– К сожалению, мне не все известно, падре. История с Вольским была неожиданностью.

Шляхтич Вольский, посланный Лещинским с целью склонить Мазепу в пользу шведов, едва не испустил дух в застенке, и гетман сообщил о нем в Москву, о чем иезуит слышал в Главной квартире.

– Поэтому я почти уверен – Мазепа не нарочно погубил два полка. Хитрец умеет жить, сохраняя доверие царя. Ценное умение, княгиня. Смотрите!

На ладони Броджио лежал золотой крест, усеянный острыми алмазными точками. В карету, из лесных прогалин, влетало солнце, крест загорался и гас.

– Я должна вас поздравить? – улыбнулась Дульская. – Чье-то высокое благословение господину послу?

– Вам, княгиня, – и Броджио опустил крест в вырез платья. – Вам, от кардинала Сагрипанти. В знак благодарности за ваши труды для церкви.

– Зачем это? Ничтожные труды, ничтожные... – И Дульская крепко, истово прижала подарок к груди. Золото рдело на дряблой коже.

«Ей ведь скоро шестьдесят, – подумал Броджио. – Ради чего она ведет игру с Мазепой?»

– Я все возвращаюсь к военной неудаче гетмана, – размышлял иезуит вслух, любуясь крестом. – Что могло ослабить зоркость испытанного вояки? У него пылкое сердце, княгиня, несмотря на почтенный возраст. Говорят, есть одно юное создание...

– Не стесняйтесь, падре, – засмеялась Дульская жестко. – Да, есть. Юное и распутное создание...

– Вас трогает эта шалость гетмана?

– О, пресвятая мать, нет! Смешно придавать значение всем проказам Януша. Мотря, или Оксана, или Параска... Я их не считала. Досадно, что сплетники точат об него языки. Кто-то перехватил цидулку...

– «Целую уста коралловы, ручки беленьки и все членки тельца твоего беленького, моя любезная кохана Мотроненько», – произнес нараспев Броджио.

Амурная цидулка Мазепы навязла ему в ушах, так как во дворце Сапеги ее часто повторяли, издеваясь над старым ловеласом. Лицо Дульской оставалось непроницаемо-спокойным. Какая самоуверенность! Все еще воображает, что гетман поведет ее под венец.

– Браво, княгиня! Вы правы, девчонка не стоит вашего мизинца. Слава богу, она не поссорила вас с казаком. Кстати, распря его с Кочубеем тоже весьма нежелательна, весьма... Как раз теперь гетману надо объединять полковников, копить военную мощь.

– Нас с Янушем, мой друг, связывает не минутная прихоть.

– Да, да... Довольно об этом... Достаточно ли ясен вам, княгиня, мой замысел?

Ему самому не терпелось дать себе волю, высказать план, составленный на вилле Сагрипанти. Кардинал согласился с доводами Броджио – уж коли война затянулась, пусть москвит и швед дерутся до взаимного изнурения. Затем, в подходящий момент выступит Мазепа, поддержанный как украинской, так и польской знатью, выступит с тем, чтобы Малороссия и Польша образовали одно государство католиков и униатов, подведомственное Святейшему престолу.

Иезуит говорил, и перед ним неотступно переливался пурпур кардинальской мантии, нисходящей на его плечи. Пускай льется кровь на полях сражений, он, Элиас Броджио, выйдет победителем.

## МЕТАМОРФОЗЫ

### 1

«Объявляем через сие кому о том ведать надлежит, что мы объявителя сего майора нашего от гвардии князя Бориса Куракина отпустили в Карлсбад ради лечения».

Куракину читалось многое сверх строк путевой грамоты, подписанной Петром 28 июля 1705 года.

Письменной инструкции Борис не получил, а слушал устную, в холодной тиши задымленной оружейной мастерской. Царь очень скоро облюбовал ее, поселившись в Слушковском замке, и отводил душу за починкой ружья или пистолета.

– Насчет альянса Ракоци с Карлом слух ложный, – сказал Петр, отложив напильник. – Интересы к тому ни с которой стороны не вижу. На что Карлу враждовать с цесарем?

Борис примостился на верстаке неудобно, ноги до пола не доставали, да еще покалывало чем-то зад.

– И нам бы не накликать свару с цесарем, – отозвался он, морщась. – Ракоци, поди, подмоги запросит.

Петр сидел напротив, в рубахе с расстегнутым воротом, в холщовых засаленных штанах, вытирал руки об колени. Тут его заветное владение – инструмент, тиски, пляска синих огоньков в горне, горькое дыхание железа, покорившегося мастеру.

– За спрос не платят. Ты солдат не выложишь из кармана. Сохраняй в обхождении приятность.

– Я-то не выложу...

Нащупал под собой окаянную стружку, смахнул.

– Ракоци – рыцарь достойный... Справедливо, Петр Алексеич, дружба нам дорога с каждым потентатом.

Не то ведь хотел сказать, не то...

– Дозволь спросить... Почто идем к венграм, для войны либо для мира?

Сказал, да не то.

Горн, затухая, вспыхивал. В пальцах Петра, жадных до дела, поворачивался затвор пистолета, загорался, жалил глаза майору.

– Последних солдат кладем, государь. Который год война... Поля не паханы, война разула, раздела...

Советовать он царю не смеет. Однако имеет сомнение. Союз с потентатом малым полезен, а все же с большим выгодней. Иезуит вон похваляется: устроит альянс царского величества с императором. Можно ли уповать на такого союзника?

– Цесарь в испуге от венгров, – промолвил царь, оборвав дерзостно-пылкое излияние. – Оттого и подъезжает к нам.

Встал, раздул огонь в горне. Заскорузлая кожа мехов издавала жалобу. К черному своду мастерской поднялось зарево, оружие окуналось в кровь, – мушкеты, прислоненные к стене, клинки на полу охапками, как дрова.

– Ты навигацию учил? Применяй к дипломатии! У справного корабля снасть на любой ветер в готовности.

При всем том курс корабля российского – к миру. К миру наивозможно скорейшему. Уступи Карл кусок побережья, добытый нашей кровью, – сей же миг отбой сыграем войскам. Нет, уши затыкает, упрямец.

– Ни версты, ни пяди нам не простит. Матвеев в Гааге схлопотал посредника, пытал короля... Мир, говорит, подпишу токмо в Москве.

Этого Борис не знал. Офицеры, собиравшиеся у него за чаркой, сведений о тайных демаршах при европейских дворах не имели.

– Мир нам никто не подарит, Мышелов!

Опустил длань на плечо майора, сжал. Явственно ощутилось, как потекла, заструилась по всем членам сила звездного брата.

– Ты в Карлсбаде не бражничай смотри! Лечение исполняй, от лекарей не бегай, чтоб сомненья не было...

Рано или поздно явится верный человек – с бумагами для доступа к трансильванскому владыке. Ныне почти все венгры под его державой. Люди из многих столиц околачиваются вокруг Ракоци. Одни с открытым титулом, другие приватно. Он – Куракин – имя и званье свое из ума выкинет. Откроет токмо князю, из уст в уста.

– С ним способнее всего по-немецки... Французского языка ведь нет у тебя.

– Малость, государь.

– А итальянский твой? Вяжешь еще?

– Не запнусь, верно...

– Унтер тоже по-итальянски умеет? Башковитый унтер. Почто квасил на дворе у себя? Отдал бы учиться. Молодец ведь. Как он цидулу иезуитскую сберег!

– Сберег, да что толку, государь? Лепятся иезуиты к Мазепе, лепятся, а ты ему веришь.

Сказал и испугался.

– И ты... И ты славного воина позоришь? – спросил Петр в упор и ухватил Бориса за волосы.

– Не позорю я...

Звездный брат подтолкнул к стене, стиснул крепче пук волос.

– Ты, что ли, днепровские крепости брал? Ты? Поносите верного рыцаря. Зависть боярская...

– Мне почто завидовать, – отчаянность небывалая понесла Бориса. – Я свою службу справляю. А он...

– Ну, что еще?

– Он королю польскому руку лизал и ушел неохотой. Европейская шляхта продажная, – неужто не видишь? У них в обычае суверена менять.

Высказал-таки накипевшее.

– Зато вы хороши, старые фамилии, – и Петр рванул Бориса к себе, отчего тот едва не упал на колени. – Службы на грош, а спеси...

Не отпустил вихор, мотал Бориса, словно куклу. Стиснул большее пук волос, двинул об стену затылком.

Стена словно рассыпается, камни сомкнутся сейчас, похоронят заживо.

О Петре ведомо – одного только Меншикова мог он, отколотивши, пожалеть.

Повозка царского посла выкатилась из Медницких ворот, подгоняемая ветром и косым дождем. Трогаться с места в ненастье – примета добрая.

В тот же день офицеры-католики – поляк и австриец – привели к Броджио своих невест. Обе чуть ли не на голову выше мужчин, длинноногие, стройные шведки, дочери чиновников, застигнутые войной в Курляндии. Следовали за женихами в обозе. Царь не одобрял фронтовые браки, а тут смилостивился.

В письме к ближайшему начальнику, отцу-провинциалу в Прагу, Элиас объяснил:

«Шведки желали, чтобы брак был совершен не католическим священнослужителем, и сам светлейший царь разрешил спор. „Подите, – сказал он, – позовите к нам отца Илью, иезуита, нашего полевого маршала, пусть он обвенчает“».

О поездке Куракина в Карлсбад Иоанн Миллер – провинциал – упрежден давно. Не одна пара зорких глаз встретит его и проверит, исправно ли князь принимает ванны и пьет воду. Буде отлучится куда – проследят, зорко проследят братья по ордену.

Портрет Куракина, присланный отцу-провинциалу, должен облегчить задачу. С оригинала, подаренного принцу, Броджио позаботился снять копию.

Отец Иоанн, однако, стар, рассеян. Забывает обо всем, когда разбирает свою коллекцию, перекладывает, чистит старинные подсвечники.

Броджио дал себе слово не выпускать Куракина из вида. Однако не лететь же за ним в Чехию!

В царской ставке без него, полевого маршала, не обходятся. Титул звучный, спасибо царскому величеству! Вдруг гуртом повалили женихи и невесты. Француз и немка, датчанин и литовская шляхтянка – все, как назло, разных вер.

И все нетерпеливы, небось житья не давали ксендзам. Один выход – к иезуиту. Да чтобы не где-нибудь венчаться, а во дворце, при царской особе.

Вереница свадеб растянулась на неделю. Судя по письму отца Миллера, Броджио так и не увидел в этом царскую хитрость.

А затем, не успев Броджио и заикнуться об отъезде, объявилось новое препятствие.

В коллегии, у отца-эконома опять записка от Дульской, присланная с Анджеем, верзилой-кучером, поседевшим на службе у Вишневецких. «Умоляю, сегодня в шесть!» Почерк, изломанный торопливостью или страхом.

Что-то случилось...

На этот раз карета – постоянное место конфиденциальных встреч – колесила по глухим проселкам особенно долго. Вместе с боем копыт, с гулом иссохшей земли в уши императорского доверенного колотилась ругань, которую он не привык слышать из уст женщины.

– Предатель... Окаянный предатель...

– Кто? Ради бога!

Лицо Дульской маячило в полумраке смертельно-белым пятном, чужое лицо.

– Мерзавка в его постели... Паскудная шлюха...

Новый взрыв непристойностей заставил Броджио молитвенно сложить ладони.

– Слуга божий краснеет, княгиня.

– Убежала из дома, убежала тайком, как блудливая кошка... Он выманил ее...

– Гетман?

– Нет, нет, – белое пятно металось, волосы рассыпались. – Я не назову... Проклятое имя...

Пусть отсохнет язык, если я когда-нибудь...

Помолчать, приказал себе Броджио.

– Он пожалеет... О, он пожалеет... Кровью заплачет, не слезами, кровью, – и Дульская приподнялась, пальцы хватили воздух, искали горло изменника. – На эшафоте, на эшафоте! – выкрикнула она.

Спятила баба. Элиас выжидал, крепился. Сохранить ясность мысли, не поддаться безумию!

– Я виновата сама... Спуталась с врагом нашего рода... Да, да, – и Дульская рухнула на подушки. – Я гнусная тварь. Я погибну, но и он...

Что же все-таки произошло? Девчонка у Мазепы... Экая новость! Не первая победа ловеласа. И Броджио заговорил. Он не узнаёт ясновельможную княгиню. Да, не узнаёт. Терять рассудок из-за пустяка...

– Вы ничего не поняли, – оборвала Дульская. – Негодяй женится.

– Фантазия, княгиня! Мазепа и Мотря... Это смешно. Сколько у него таких пассий? Считайте, десятки... У нее есть отец, княгиня. Он уже вырвал ее из лап развратника, отхлестал, я уверен... Отхлестал и запер в чулан.

– Ошибаетесь, – Дульская злобно торжествовала. – Кочубей бражничает с Мазепой. Старый болван доволен, я слышала. Высокая честь... Куда выше! Породиться с...

– Слухи, княгиня...

– Я не прощу, клянусь вам... Я пойду к царю, сегодня же... Я расскажу все... Кладите и меня на плаху, ваше величество! – произнесла она со спокойной решимостью.

– Превосходно, княгиня! Повернем сию же минуту.

Гримаса иронии, резкий излом губ кардинала Сагрипанти, действующий так убийственно.

Однако есть ли у нее хоть одна строчка, одна буква, написанная гетманом, избличавшая его? Он достаточно хитер, чтобы не выбалтывать тайны. Москва засыпана доносами на Мазепу.

– Не воображайте, что царь вам поверит. Речь, продиктованная ревностью...

– При чем тут моя ревность? Во-первых, о наших отношениях никто не знает.

– Вы так считаете? Я знаю, княгиня. Этого довольно. Скрывать я не стану.

Княгиня ничего не добудет, кроме позора. Постыдная связь, ложный донос... Княгиня запачкает свой славный герб. Мало того, ее накажет церковь, обманутая в своих надеждах. Княгиня хочет расстроить благочестивое начинание, срубить под корень дерево, обещающее добрые плоды... Если ей не дорога собственная честь, пусть подумает о христианском долге, о детях.

Броджио ощутил облегчение – наконец-то он нащупал, кажется, твердую почву.

– И о детях, княгиня. Ваша горячность повредит вашим сыновьям. А между тем...

Теперь – от угрозы к дружескому участию. Губить Мазепу не расчетливо. Выгоднее использовать его, поманив чинами, доходами, сделать слугой Вишневецких. А потом откинуть прочь, как ветошь... Он, Броджио, до сих пор не перечил княгине, не лишал ее иллюзий, но ведь нелепо прочить корону Мазепе. Паны ни за что не выберут казака. Казак будет воевать, будет расчищать дорогу к трону. Для кого? Для человека истинно достойного.

– Неужели вы не видите, княгиня, – заключил Броджио победно, – корона ждет Вишневецкого. Вашего сына Михала. Его войска в союзе с казаками...

Увлечшись, иезуит набросал финальную сцену войны: Карл и Петр, обескровленные, бессильные, сошли с поля. Королем избран Михал Вишневецкий, королем Польши и Украины, всей Украины. Россия теряет и левый берег Днепра.

Четверка бежала резво, экипаж трясло, фляжки и баночки на полке сопровождали речь иезуита одобряющим звоном.

– Я истерзала вас, мой друг, – услышал он. – Я сумасшедшая. Враки, конечно, враки... Януш не посмеет жениться.

Она опустила зеркало в черепаховой оправе, и Броджио поразился перемене – она смущенно улыбалась, посвежевшая и словно отдохнувшая после тяжелого сна.

Дьявол! Взять бы посудину с туалетной водой, вон ту, самую пузатую, да выплеснуть в рожу...

Гадай теперь, чего ждать от ее сиятельства! Вдруг Мотря, сопливая девчонка, делается все-таки гетманшей... Тысячу раз прав Сагрипанти – труднее всего предвидеть опасность, исходящую от женщины.

Единственно, чего добился Броджио от княгини, это обещания ничего не предпринимать без его ведома, что бы ни приключилось.

### 3

Майор от гвардии Куракин с денщиком ехали в Карлсбад не прятко, с оглядкой, – театрум войны прямого проезда не дозволил. Заслышав пальбу, сворачивали в сторонку. К

позициям воинским не приближались – где свои, там на подступе и чужие могут быть. А война такова, что не распознаешь – по мундиру вроде друг, а душой врагу предан.

Приехали на воды под осень, уже первые желтые листья пали с круч в белопенную стремнину Теплы. Вспухшая от дождей река колотилась о скалы. Почитай, весь городок, умытый потоками с небес, оглашался трубным ее зовом.

Борис толкнул хлипкую дверцу почтового возка, вышел, глянул вниз. Река отмывала желтые камни бешено. Ступить – убьет. Как же пользоваться целебной водой? Вскоре недоумение разрешилось. Клокотало не только в реке. Сила воды трясла толстую трубу, торчавшую стоймя из ямы: «Четыреугольный пустой столб шириною в пол-аршина, через который бьет та вода вверх сажени на две».

Любопытство подтолкнуло приезжих. Вода хлестала из прорези наверху в желоб. «И от того жолоба другие жолоба в те дома, где бани имеют или чуланы, в которых сидят и потеют».

Первая же запись в дневнике, сделанная в Карлсбаде, посвящена сему феномену – фонтану по имени Шпрудель. Поразило Бориса и свойство воды – фигурки, положенные в нее, через восемь дней покрываются твердым слоем, как бы каменеют.

Жилье искали недолго. Дома пригожие, чистые, у каждой хозяйки для приезжего и постель, и стол. Борису приглянулась пухлая, туго стянутая корсетом чешка.

– Проси-им, проси-им, – тянула она нежно, сыпала из-под ресниц веселые искорки. От ее рук, оголенных до плеч, пахло сдобой.

Добротная дубовая лестница не скрипнула. Свободны два покоя – большой для пана и рядом малый покойчик для лакея. Борис потрогал кровать под пестрым навесом – мягкая. Его радовало, что речь хозяйки почти понятна. Что имя у нее для слуха приятно – Власта.

Дороге конец, война далеко, отрезана стеной гор, зеленеющих за окном.

Власта сказала, шпагу пан может снять. Тут леченье, тут шпаг не носят.

Ресницы ее, чудилось, прикасались к Борису. Пан из Москвы? Русских у нее в пансионе еще не было. Будет ли пан кушать фазана со сладким перцем по-мадьярски? Немцы, те перец не любят.

В столовой – обширной, в три окна – топырил в раме толстые губы Иосиф Второй, новый император. На рыхлом лице усталое недовольство. «Не стар, – подумал Борис, – а кровь жидкая».

Одoleвая фазана, Борис насчитал два десятка постояльцев за длинным столом, с пальмой посередине. Господа разных наций жуют и галдят бойко, хоть и хворые. Сосед – толстый белобровый пруссак – пристал с расспросами. Правда ли, что царь опасно болен? Верно ли, что казнил свою жену? Надеются ли русские победить Карла?

Последнее рассердило Бориса. Отвлекли внимание два австрийца, затеявшие ссору. Полетели кружки с пивом. Кинулись бы колоть друг друга, будь при панах оружие.

– Пивичко, – жалела Власта, подбирая осколки. – Добра пивичко.

Драчунам выговаривала: забыли, что сказал доктор Бехер? Злому медицина не впрок.

Здесь кругом слышишь – доктор Бехер, доктор Бехер... Стало быть, к нему и надо...

В докторском саду трещали поленья под котлом, змеями вились трубы, что-то шипело. Яблони от дыма пожухли. Эксперимент не ладился, знаменитый лекарь – тощий, крючконосый, веснушчатый, в линялом халате – был раздражен. Бодливо нагнув голову, быстро забурчал по-немецки. Борис уловил лишь, что исцеляет натура, а не медицина.

Щупал немилосердно, насажал на княжеском теле синяков. Спросил, не имеет ли от кого обиды, не желает ли кому погибели.

– Нет, – сказал Борис.

– Неправда! – возопил лекарь возмущенно, брызнув слюной. – Вельможи мирно не живут.

На гербах мечи и дубины, редко цветы. Почему?

Борис промолчал.

– Ненависть разрушает печень и желудок, майн терр.

– У меня скорбут, – напомнил Борис хмуро.

– Следовательно, вы подвержены меланхолии. Вон ее! Прочь! – и доктор топнул ногой.

Борис ушел от доктора потрясенный. Поистине великий эскулап! В корень смотрит... Недуги – от злобы, здоровье – от радости. Прав доктор – знатные фамилии вечно между собой в



распрах. Кому же золотой век возродить? Век, не ведающий горестей? Недаром утверждали древние – люди той поры были телом крепки, душой благородны.

С этого дня Борис – пациент доктора Бехера, пациент прилежнейший. Аккуратно ходит в заведение, куда течет по желобам вода. Выпитым порциям ведет счет в дневнике. Тянет воду из глиняного стаканчика, «как рюмка для ренского», и находит вкусной. Погружает тело в ванну, вдыхает запах соли, жар из преисподней. Во всем следует Борис рецепту, заученному наизусть:

«Печаль и скуку пресекать. Мышцы каждодневно упражнять, спать не чересчур много, сколь можно долее проводить время на свежем воздухе. Избегать соленого, копченого мяса либо вымоченного в уксусе, грубых колбас, соленой икры, очень сладкого и крепкого вина».

Пиво доктор Бехер разрешил. У Власты домашнее пиво, легкое. Пивичко...

От скуки пациент счастливо отбился. Привык гулять по утрам, казисто помахивая тростью, как все. От дождя спасался в остерии. Чашка шоколаты, да еще служанка, смуглая не по-здешнему, напоминали Венецию, год с Франческой.

Князю и в лес пойти пешком не зазорно, коли он пациент. То не ходьба, а моцион.

Дневник заполняется вечерами, без спешки. Утомленный ванной и пургованьем, сиречь очищением желудка, пациент сидит дома, бережется ветра и прохлады.

Завел еще тетрадь, для разных мыслей. Уносят они подчас далеко, до Балтийского моря. Борису видятся гавани, купецкие корабли. Прекрасная российская Венеция жить без ремесла, без торговли не может.

«От нас товаров требуют – смола, поташ, рыбий клей, сало, юфть, икра паюсная, пенька, лен, ворвань, хлеб, дерево дуб, бревна...»

Что еще? А соль, меха! Прибавил, начал соображать, что нам заказывать в заморских краях. «Вина, духи, пряности...» Однако Меркурий с Марсом не в ладах. Сверившись с картой, прикинул, как вести коммерцию в военное время, под какими флагами спокойнее.

Купцы потерпят убытки, коли не будут вовремя извещены, какие гавани открыты, каков где спрос на товары, какие цены. «Для того должно от наших купцов иметь знающих коришпондентов».

Куракин сетует, что деньги в России чеканят из привозного серебра и золота от продажи русских товаров, а надо бы «из государства ефимков червонных не выпускать», сиречь покупать за границей меньше. Возможно ли это? Борис вспоминает, что мы требуем от иностранцев, – сукна, вина, лекарства, олово, серу, краски, бумагу, ружья, медь, галантерею, конфеты, иглы, табак, карты, специи... Кое-что, по мнению Куракина, излишняя ныне роскошь. А бумагу, хорошие ткани для всякой одежды и многое другое пора делать самим.

Писанье дается туго. Мысль часто не находит слов. Нет еще в лексиконе Куракина таких выражений, как «торговый баланс», «дефицит внешней торговли». Не один вечер потрачен на записку «О торговых статьях» – первое сочинение дипломата Бориса Куракина.

#### 4

Нашел себе занятие и Федор. Взялся помогать Власте – таскает провиант с базара, орехи колет для соуса, режет яблоки для пирога, тесто месит. Допоздна в работе. Слышно, звякнет в темноте ведро у колодца, и, словно из шумящей реки, – тихий смех Власты.

– Не про тебя пряник, – бурчит Борис с невольной ревностью.

– Куснуть хорошо бы, – кручинится азовец. – Вдовушке самой охота. Каштеляна месяц как нет.

Про него все в пансионе знают – управитель графского имения, богатый, только характером крут, – потому Власта и не выходит за него. Слон серебряный на поставце, в столовой – его подарок. Власта не скрывает своего кавалера, иначе паны еще пуще будут приставать.

– А тот сивоус длинный? – спросил Борис. – Глаза мозолит тут. Тоже лаком до нее?

– Сумка желтая? Вилли, фискал. Хозяйка накостыляла бы ему, кабы смела...

– Платить жалко?

– Надо платить, кесарю кесарево... Кляузник он. Кто приехал, откуда, все ему доложи! Он и насчет тебя спрашивал, князь-боярин.

Стало быть, не только налоги выжимает.

Вскоре оказалось – к русским постояльцам у Вилли интерес особый. Толчется возле дома, вынул листок из сумки, глядит то на листок, то на господ, отправляющихся делать моцион.

Борис нарочно прошел, едва локтем не задел. Фискал попятился, будто застигнутый врасплох. Листок уже исчез в желтой сумке с гербом.

– Точно, князь-боярин, – сказал потом азовец. – Тебя высматривал. Вид показывал, будто читает. С тобой разминулся и спрятал свое крючкотворство.

– Не то, унтер, не то, – отмахнулся Борис. – Нечего там читать.

Если догадка верна, действовать надо быстро. Развязал кошель, послал Федора купить большую флягу молодого вина. Австрийцы до него охочи, стучат стаканами – мало, мало! Фискал не откажется.

– Рад будет, – кивнул азовец. – Его не выгонишь, пока не упитаешь. Жрет в три горла.

– Пьет пускай в десять, – сказал Борис.

Заманить фискала труда не составило. Расселся, придвинул к себе флягу, гусятину, капусту, фрукты – все разом загреб. Служба кормит не жирно. Повеселев, начал бранить венгров.

– Хозяйка подливает да подливает, – рассказывал азовец. – А он разошелся. Ракоци, говорит, преступник, предатель. Император ему давно петлю припас. Мадьяр всех вешать, всех! Сколько их тут, в доме? Начал считать, запутался, осоловел.

Федор притулился за занавеской, слушал. Вылез, когда фискал насосался и задремал, ткнувшись носом в тарелку. Рыться в сумке долго не пришлось. Обнаружив искомое, азовец прихватил еще несколько бумаг.

– Для отвода глаз, князь-боярин...

Борис похвалил. Азовец, подав добычу, приплясывал за спиной, гордась успехом.

– Нос как есть твой... А лоб непохож, – рассуждал унтер. – Красив ты больно...

– Мелешь ты, – прикрикнул Борис. Опровергать льстивое искусство не хотелось.

Не мог Броджио пренебречь достоверностью, при всем желании угодить. Лишь немного усилил черты, которые, по его мнению, свидетельствуют о высокой породе – мясистый нос, плавно загнутый книзу, удлиненное очертание лица.

Борис еще долго твердил себе – неспроста рисовал Иезуит. Здесь портрет ни к чему, пожалуй... Спалить его... Правда, князя Куракина обыскивать не станут. А Федьку потрясти вправе, за кражу бумаг.

– Фискал на тебя не укажет? Хватится ведь, крик подымет. Ты подумай, что мы с тобой учинили! Обокрали цесарского чиновника...

– Не страшно, князь-боярин.

На ногах не держался фискал. Власта позвала на помощь – два пана свели его с лестницы на двор. Двигался в беспамятстве, сумки не хватился, хозяйка несла ее. Положила на травку, рядом с цесарским чиновником.

– Может, очнулся уже, – тревожился Борис. – А спросят Власту – что она скажет?

– Она не боится, – уверял азовец. – У нее заступники есть, князь-боярин. Поважнее ярыжки этого.

Все равно Борису чудились беды. Как решился он пойти на дело столь рискованное? Дня три пациент доктора Бехера не находил покоя, отравлял себя напрасными волнениями.

Надвигались другие заботы.

Совершая моцион, приезжие охотно посещали гулянье за городом.

«В воскресенье все посадские того места пополудни в час собрався к ратуше и с знамены и с барабаном пошли через все место улицами в поле, где уготованы цели, во что стрелять, и все с порохом своим и с пищалями. И пришли на то место, и стреляли аж с три часа, а стреляют об заклад».

Смотрел стрельбу, смешавшись с простолюдинами, и князь Куракин. Бродил среди столов, числом более пятидесяти, для желающих играть в карты либо лакомиться сладостями, освежаться напитками. Компанию Борису составил шляхтич Тереки, прибывший в пансион на прошлой неделе. Развлекал москвитя амурными историями. Восстания венгров не касался. Живет он в Вене, приставлен к императорским конюшням, как знаток лошадей.

Выстрелы отдавались в тощем теле шляхтича так, будто расправлялась в нем некая пружина, гнала вслед пуле.

И вдруг, оглянувшись, не докончив анекдота, Тереки сказал непринужденно:

– Я выпил сегодня семнадцать стаканов. А вы, князь?

Борис, вздрогнув, выдавил:

– Не меньше вашего. Я сбился со счета.

Об этом разговоре дневник умалчивает, ибо Куракин услышал пароль и произнес отзыв.

– Знаете, я в самом деле выпил семнадцать, – засмеялся Тереки. – Осторожность? Суеверие? Как хотите...

Отчего же он медлил открыться?

– То, что вам нужно, – сказал Тереки, – я получил только сегодня.

Борис взял протянутый ему пакет и сунул за пазуху, под рубаху.

## 5

Чем он, князь Куракин, хуже других вельмож? Уезжать, так под музыку! Трубачи на башне ратуши, получив плату, играли рьяно, протяжно, пока возок не скрылся за городскими воротами.

Хлынули осенние дожди. Блестела умытая черепица чешских крыш. Набухала солома на польских хатах. Почтовый возок нырял в глинистую жижу. Брус солнечных часов на звоннице торчит мокрый, напрасно ловит хоть луч единый дневного светила. А дорога опять кружная, прямую тайный посол избрать не волен.

Пределы империи надлежало покинуть. Егери на кордоне проводили майора от гвардии Куракина, завершившего курс лечения. В Венгрию Борис заявился из Польши. Стражи князя трансильванского, рослые горцы в бараньих шапках, пытели над мудреными грамотами, составленными на нескольких языках.

Инженер Франциско Дамиани едет к себе в Италию...

В селеньях, в городах видит флаги с австрийским орлом, втопанные в грязь, яростно разорванные в клочья обрывки императорских указов. Велением Ракоци расклеено воззвание к венгерскому народу. Язык на диво непонятен. Офицер, охранявший ратушу, истыканную пулями, перевел:

– «Ко всем истинным венграм, любящим свою родину, дворянам и недворянам, носящим оружие и живущим дома...»

Томясь в ожидании у перекрестка, пропускали нескончаемый обоз с рудой. Телеги с тяжелым грузом брели медленно. Венгры не скрывали от любопытного иноземца – государство Трансильванское отливает пушки, кует клинки, собирает чеканить свою монету.

Верно, цесарь крепко досадил венграм, коли поднялись так дружно.

– Мы в империю вступили, – объяснил Борису Тереки, – не рабски, не подневольно. Габсбурги клялись уважать наши права, коренные вопросы решать, советуясь с нами. Обманули подло, распоряжаются нами, как челядью, дают поборами, законы наши ни во что не ставят, все венгерское презирают.

Кого же венгры признали главой? Каков он, Ракоци, бросивший вызов императору?

Облик витязя дополняется все новыми чертами. Сын фамилии знатнейшей, могучего сложения великан – под стать царю Петру. Родился в один год с Борисом. В родовом замке Мункач, по-тамошнему Мукачево. Строптивость унаследовал от матери. Ее девичье имя Зрини было ненавистно султану, а ныне императору. Ференцу не исполнилось семи лет, когда цесарь отдал Мункач – оплот послушников – на разоренье. Мальчика отняли у матери, обрекли на изгнание. Детство его прошло в школах иезуитов, в Австрии и в Чехии. Мог ли он смириться? Императору доносили: молодой Ракоци сочувствует Франции, к властям непочтителен. Женильба Ракоци на герцогине Гессенской была расценена как явный бунт: Гессен находился в союзе с Людовиком.

Где благородство, там подкрадывается и предательство. Сей недуг истории Борис обнаружил и в судьбе Ракоци. Страдания народа он изложил в письме к Людовику, так как от него одного чаял помощи. Отвезти послание взялся приятель капитан Лонгеваль, бельгиец,

продававший свою шпагу и шпионский навык разным правителям. Он гостил в имениях, отличался остроумием, хорошо играл на клавесинах, читал французские стихи. Доехал негодяй лишь до Вены, доставил цесарю долгожданную улику против непокорного.

Упоенно, на всякие лады, рассказывали Борису венгры о побеге Ракоци из австрийской тюрьмы в Винер-Нейштадте. Сообщницей была будто бы красавица жена надзирателя, влюбившаяся в узника без ума. Нет, уверяли другие, устроил побег прусский офицер, навещавший Ракоци. Он и подкупил стражу. Беглец перепилил решетку в окне камеры, спустился по веревочной лестнице. Послушаешь другого рассказчика – лестницу он повесил, чтобы сбить со следа. Вышел из тюрьмы, переодевшись в уланский мундир.

Так или иначе, австрийцы прозевали беглеца, он проскользнул в Польшу, где друзья дали ему приют. Имена мятежника опечатаны, сам он приговорен заочно к смерти. Между тем Венгрия волновалась, крестьяне, отважные молодые шляхтичи и горожане нападали на императорских чиновников и военных. Не хватает предводителя. Ракоци и его друг Берчени, тоже перебравшийся в Польшу, слышат зов Венгрии. Они рассчитывают на помощь Августа, но напрасно – саксонскому королю не везет в борьбе с Карлом. Никто не поддержит венгров. В первом сражении повстанцы разбиты, генерал Нигрелли кладет к ногам цесаря трофеи – пять вишнево-красных знамен, самодельные пищали, дубовые палицы. Но воины, рассеявшиеся по горам, собираются снова, отряд вырастает в полк, полки множатся, вскоре под началом у Ракоци восемь тысяч. Император посылает венгра графа Карои покарать мятежников. Регулярное войско графа разгромлено, Вена потешается над ним – эх, не справился с кучкой разбойников! Обиженный Карои бросил столицу, двор, свои войска, перешел к Ракоци и примером своим подвинул к Ракоци многих магнатов. Замки на Тиссе, на Ваге, в закарпатской Украине сделались оплотом освобожденной Венгрии. Цесарцы удерживают крепость Буду, земли к западу от Дуная, но куруцы – так именуют себя воины Ракоци – ломаются и туда, нет-нет да и прорываются к Вене.

Где же столица нового государства? Как должно обращаться к Ракоци, какой у него титул? Ответы Борис получал неопределенные. Столицы пока нет, надеются, что такой станет Буда – там собор святого Матиаша, местопребывание венгерской короны. Ехать для встречи с Ракоци лучше всего в город Агрию – он же по-мадьярски Эгер. Титула высокого, подобающего потентату, у Ракоци пока нет, – прошедшим сентябрем собрание воевод объявило его начальником конфедератов. А князем Трансильвании нарекли уста народные. Фамилия его не княжеская, графская.

Коли так, подумал Борис, я знатностью выше, подойду, протянув ему руку. А хоть бы и равен был! Не я, держава Российская изъявляет расположение...

– Беда, Федька, – шепнул Борис, раздеваясь в гостиничной каморе. – Липовые мы с тобой итальянцы.

Надо же такому случиться! Борис едва не повернул обратно за порог, спасаясь от объятий, от пылкой итальянской скороговорки. Вишь, мадонна привела земляка! Вот ведь напасть...

– Полно, князь-боярин, – успокаивал азовец. – Хозяин тебя за венецианца признал – чего же еще?

– А сам-то он?

– Из Неаполя вроде...

Тогда, может, обойдется. Федьке сказать, чтобы болтал поменьше...

Но только храп донесся до азовца из-под одеяла. Князь-боярин, умаявшись в дороге, уснул.

Оказалось, итальянец в Эгере не диковина. Венгерские короли жаловали фряжских каменщиков, ваятелей, резчиков, зодчих. Целая улица ими заселена и отстроена – Итальянская. Так же назван один из бастионов града.

Столицей служить Агрии вряд ли пристало. Крепость обширна, однако сложена грубо, презентабельного вида не имеет. Башни низки, стены после многих батальи и осад заделаны худо. Добавляют кирпич, разбирая поваленные мечети – память турецкого полона.

Посреди города, в низине, пруд. На берегах – кузницы, пробуждаются чуть свет, гремят.

Мычит, сходя к водопою, скотина, пригнанная для армии, для рабочих людей, для множества приезжих. Дипломаты, купцы, торгующие неведомо чем... Ракоци в отъезде. Слоняется у крепости надменный горбун в очках, уверяющий, будто умеет превращать свинец в золото. Сулит обогатить сим открытием венгров.

– Король Карл, – сказал Борису маркиз Дезальер, – доверился алхимику. Тот кормился в Стокгольме месяца два, представил королю бляшку величиной с луидор. Вероятно, припрятанную... По-моему, они шарлатаны...

Дезальер, лейтенант-генерал Людовика, мешает итальянские слова с французскими. Чтобы свидеться с Ракоци, сделал вояж потруднее куракинского – через Турцию. А сдается, сейчас из Версаля. Парик уложен, завит, напудрен, пахнет дворцовой цирюльней, отвислые щеки, в крупных родимых пятнах, выбриты, тонкий узор на кафтане не попорчен – уберег от назойливых эгерских гусей.

– Чем старше человек, тем больше ему следует заботиться о своей внешности, мой ученый синьор.

Ученый, блистательный, любезнейший... Генерал величает Бориса с ужимкой насмешливой и подчас лукавой.

– Здесь все притворяются, кроме меня. Слава богу, мне-то прятать нечего.

Француз под собственным именем. Следовательно, союзник венгров.

Посол его королевского величества помещен в епископском дворце, в лучшем здании Эгера. Прихотливая – но не по церковному чину – лепка расплелась по фасаду. Дезальер привел молодого инженера, чтобы сразиться в шахматы. Фигуры из слоновой кости – подарок турецкого паши, как равно и кальян на столе маркиза.

– Эта забава вышла из моды, – говорит он, расставляя фигуры. – В Париже высший свет предпочитает карты. Я не меняю своих вкусов. И монархов не меняю...

Сие, верно, в адрес Ракоци.

– Меня не удивит, если Ракоци пригреет алхимика. Даже король Карл попался на удочку... Рассчитывает на чудеса тот, у кого дела плохи, вы не находите?

Бросив быстрый вопросительный взгляд на Бориса, маркиз схватил с доски слона, помахал в воздухе. Длинноногий, с хоботом тонким, как клюв, слон нес на спине паланкин, набитый седоками в чалмах.

– Мне странно, – ответил Борис, – отчего Карл так долго кружится в Польше.

– Он забавляется войной. Зачем ему торопиться? В кредитах мы ему не откажем.

И, сделав слонем выпад, почти к носу Бориса:

– Карл сомнет московитов в любой миг. У царя командуют наемники, своего стратега у него нет. Шотландцы, немцы, датчане... Добывают соболей для своих любовниц. Русские против Карла – дети.

– Нарву он потерял все же.

Борис сказал и засомневался – стоило ли насчет Нарвы? А тот наступал на него, грозил слонем.

– Мелочь, синьор! Карл прозевал пешку... У царя неприятности, взбунтовались казаки. В Аст... Астра... В Стамбуле мне говорили... На конце хан, что же еще может быть... Астрахан, если не ошибаюсь.

Астрахань? Может, врут турки!.. Шафиров позаботился бы – заброшен посол за тридевять земель, вестей из Москвы никаких. Ну чего вцепился старик в слона, не ставит на место?

– У каждого венценосца есть свои венгры. – И Дезальер затрясся от смеха, довольный каламбуром. – Так я и доложу моему правителю. Он спросит меня: «Дезальер, это все, что вы привезли?» Я скажу: «Да, ваше величество, все».

«Уж будто бы все?» – откликнулся Борис мысленно. Строй своих фигур не нарушил, ждал, когда генерал соизволит начать кампанию.

– Астрахан, Астрахан, – выговорил тот с облегчением. – Проклятие! У меня отвалятся уши. Варварское сочетание звуков, из месяца в месяц... Астрахан, Ракоци... Я скажу королю – ваше величество, Венгрия слишком удалена от нас, прикажите передвинуть ее поближе! Ха-ха!

– Ему не хватает своих венгров? – и Борис изобразил шутливое недоумение. – Ваш король завидует Иосифу?

– Отлично сказано, синьор! Нет, боже избави, пусть император справляется!

Слона, наконец, оставил в покое. Взял две лады, шелкнул, сталкивая их, и опрокинул ферзя.

– Ракоци безумец. Что он вбил себе в голову? Соединиться с нашими войсками? От Гохштедта нас прогнали и всыпали в зад картечью. Шансов никаких. Пока Иосиф занят на западе, венгры могут дышать. Империя их раздавит, рано или поздно. Кто им поможет? Легче всего, конечно, царю...

Умолк, теребил фигуры, потупившись, но с ожиданием столь упорным, что Борис не выдержал.

– Легче, – кивнул он, чувствуя, как кровь покалывает ему щеки.

Кампании шахматной они так и не начали.

## 6

Ракоци прислал сказать инженеру Дамиани, что ждет его в крепости Сатмар. Взятая недавно куруцами, она утвердила власть восставших во всей верхней Венгрии. Начальник конфедератов задержался там, наблюдая за фортификационными работами.

Эгерский комендант дал инженеру провожатых. Земля, закаленная ночным морозцем, звенела под всадниками. Осень срывала желтый лист, набрякшие яблоки. Нежаркое солнце, заплывшее над лесистым косогором, звало людей на последнюю страду – виноградную. Лозу здесь поздно освобождают от сладкого груза, сок в сморщенных, тронутых холодом ягодах уже начинает бродить, рождая прославленное токайское.

Крепость вкоренилась в бугор над степью, над речкой Надь-Самош, – серый нарост, издырявленный, расшатанный войнами. Однако исполинские глыбы в основании стен не поколеблены. На столетия строили пращурь, заложившие град. Кто они были? Может, жители золотого века? Кладка позднейшая – иного племени, мелкого и суетного, камешки бесчисленных, поспешных заплат и подпорок.

Урон последней осады заделывают кирпичом. По живой цепочке, из рук в руки, плывут кирпичи к пролому. Каменщики по пояс голы, в поту, несмотря на прохладу.

Борис ел с куруцами у костра. На вертеле крутился, таял кусок сала, все по очереди подставляли хлеб под частую капель. Он не заметил высокого военного, соскочившего с седла. Куруцы поднялись, встал и Борис, не выпуская огрызок. Он подумал с испугом, что пальцы у него жирные, вымыть негде.

Сосед шепнул что-то и застыл, глядя на великана замороженно. Борис вытирал руку о кафтан, соображая при этом, что придворный этикет ни к чему, на людях он всего-навсего инженер и будет удостоен лишь кивка.

Ракоци, видно упрежденный, шел прямо к нему, выделявшемуся иноземным видом. Перо цапли на шапке упруго покачивается. Темные густые волосы до плеч неподвижны. Большая белая рука протянулась из-под мохнатой, до пят, бурки, перехваченной спереди крупной, змееголовой застежкой. Ракоци заговорил. Борис не понял, догадался только, что венгерский витязь обратился к нему по-латыни.

Это поразило Куракина. Златой век смотрел на него со стен, и вот он слышит язык древних... Он еще не знал, что просвещенные венгры избрали, чураясь немецкого, вторым языком латинский и общались на нем каждодневно.

– Обедать лучше у меня, – произнес Ракоци по-французски.

Борис поблагодарил и сказал, что сыт, – отведал солдатской пищи.

– В таком случае, ваша светлость, не угодно ли полюбопытствовать...

Он указывал на ворота крепости, куда Борис не решался войти самовольно.

Стремительной походкой, ростом Ракоци напомнил ему царя. Движения более сдержанны. Синие глаза задумчивы. Верно, не взрывается яростью, как царь, и не хохочет, запрокинувшись, не заражает весельем.

– Мои крестьяне из Словакии... Превращаем их в солдат.

Во дворе пахло пекарней, толпа сгрудилась у возов, в черноту барашковых шапок опускались, исчезали круглые подовые караваи. Бегал вокруг, покрикивал усердный вахмистр в

синем доломане, в шапчонке с перьями. Спотыкался о деревенские сундучки, размалеванные цветами, яростно бранил неповоротливых новобранцев.

– Простите, князь, я должен сказать им несколько слов...

Людское множество раздвинулось, мужики притихли молитвенно. Караваи, прижатые к груди, выпятились, словно панцири. Из короткой, не очень твердой славянской речи Ракоци Борис уразумел немного. Мужикам дается оружие не разбойничать, а сражаться с войсками императора. Именья дворян не трогать!

Потом Ракоци повел царского посла в арсенал, набитый оружием разных времен, оттуда к бастиону. Там гикали, стонали от натуги артиллеристы, втаскивая на позицию пушку.

– У нас шестнадцать мельниц, изготавливающих порох, – сообщил Ракоци. – Огнестрельное оружие поставляют одиннадцать городов. Это и много, и мало, князь. Мало, если иметь в виду сражения, предстоящие нам.

Борис невольно оглянулся. Э, кому здесь подслушивать!

– Иосиф желает вступить в переговоры. Среди нас есть наивные, празднуют победу. Император готов на уступки... Мираж! Габсбургам верят те, кому хочется верить. Иосиф добивается передышки в Венгрии.

Беседа продолжалась в походном шатре, разбитом под защитой крепостных стен.

– К сожалению, я не могу принять вас в Мункаче. Я давно не заглядывал туда. Наш замок опустошен дотла, австрийцы рвали скатерти, колотили посуду.

Борис не вытерпел, спросил, что стало с ручным тигром.

– Погиб, погиб, бедняга, как верный часовой. Его шкура висит где-нибудь в Вене.

Табак, которым он набивал трубку, посыпался на колени.

– Сейчас на меня глазают, как на зверя, – вспыхнул Ракоци. – Как на редкого зверя... Едут отовсюду... Вы же были в Эгере. Толпятся как в прихожей... Еще бы, любопытно – что за чудовище?

– Нельзя ли приручить, – молвил Борис в тон. Ракоци улыбнулся, складка, рассекая лоб, разгладилась. Борис почувствовал, как сблизил обоих удачная шутка.

Верзила-гайдук – под стать хозяину – налил в кубки густое красное вино. Смакуя напиток, Куракин рассказал о знакомстве с Дезальером.

– Француз пытался раскусить меня. Возможно, ему это удалось.

– Старый болтун, – бросил Ракоци. – Вот благодеяние Людовика, вместо солдат, вместо орудий... Надутое ничтожество. С места в карьер принялся меня учить. Советов – как из прохудившегося мешка. И ни один, заметьте, ни один не пригодился. Хвастунишка понятия не имеет о Венгрии, хотя околачивается у нас полгода.

Наконец помянул солдат, подумал Борис. Коснулся самого важного.

– Французы боятся, как бы мы не помирились с Иосифом. Воюйте, венгры! Разве им нужна Венгрия, отделившаяся от империи? Нет, Венгрия, как бомба под тронем Иосифа, всегда угрожающая, – вот что предпочитает Людовик. Не свобода наша нужна иностранцам – кровь наша...

– Наш царь, – сказал Борис, – не просит венгерской крови. Он желает государству венгров мира и процветания. Желает состоять с ним в дружбе.

Посол царский произносил заготовленное, отчего ему делалось тоскливо. Добрые слова все же не ядра, не багинеты...

– Да, да, – поправился Ракоци, – его величество царь не завоеватель. Союз с завоевателем не может быть равным, за помощь он требует подчинения. По этой причине мы, как вы знаете, уклонились от союза с Карлом.

– Царь это знает и весьма ценит.

Если в Польше трон окажется вакантным и назначат выборы, расположен ли владыка трансильванский занять его? Царь с радостью поддержал бы столь достойного кандидата.

Ракоци выразил признательность сухо, заметив, что корона его не прельщает. Ему достаточно Трансильвании, где искони владели землями Ракоци. Предок, говорит легенда, убил в том краю дракона.

Что же дальше? Обещать помощи военной? Обещать, множить дипломатические политесы, кои не стреляют, не одевают, не кормят? Ракоци откровенен с ним, откровенен

дружески, – отчего не ответствовать тем же?

– У царя своя война, – начал Борис. – Вся армия его поглощена борьбой с Карлом.

– Считает ли царь себя в безопасности от Иосифа? – спросил Ракоци.

Император не стерпел усиления Бурбонов. Можно ли думать, что его радуют успехи России? Северная война распространилась к югу. Достигнув мира с Францией, Иосиф направит оружие против царского величества – с Карлом заодно или с султаном.

– Царь такой вероятности не исключает, – сказал Куракин.

– Угроза турецкая существует, – Ракоци постучал трубкой по краю стола. – Мне сообщили о заявлении императора султану. Иосиф благосклонно воспримет любые враждебные действия Порты против России.

– Не первая нам приятность от венского двора, – отозвался Куракин, горько усмехнувшись.

Иосифу, добавил он про себя, надо посулить помощь против Ракоци. Лживого водить за нос не стыдно.

– Я мыслю, – сказал Борис, – его царское величество даст гарантию лишь одну – не предпринимать ничего во вред вам.

– Передайте царскому величеству, пусть и он не сомневается в моей искренней преданности.

Настанет срок, взаимные обязательства лягут на бумагу, скрепленные подписями высоких сторон. Здесь беседа покамест предварительная – из очей в очи, без записи, не заверенная ничем, кроме совести.

Угощаясь курицей, сваренной с острым перцем – Венгрия начисто отменила рецепт доктора Бехера, – Куракин сложил рядом пять косточек на край оловянной тарелочки. Для памяти по числу пунктов будущего договора. В голове уже туманилось. Пить наравне с хозяином Борис и не пытался, но пощады просить неловко. Взял обглоданную ножку, держал в кулаке, чтобы не упустить последнюю статью – о доброй корреспонденции, о присылке полезных для каждой стороны известий.

– Людовик насмешил меня, – сказал Ракоци невесело. – Мне привезли от него гобелен, громадный парижский гобелен. Где я повешу его? Король не сказал мне. Очевидно, забыл... Я не прикоснусь к этой вещи, пока у нас война. Роскошь мне противна сейчас... Прискорбно, что не все мои генералы понимают меня...

В последних словах сквозила жалоба. Ракоци подавил ее, заговорил об успехах Боттяна, одноглазого Боттяна, способнейшего из полководцев.

Позднее Ракоци выскажет то, чем не считал нужным делиться с дипломатами, даже с другом из России. Вельможи боятся немилости императора, боятся рисковать своими поместьями. «Среди них не было ни одного, – напишет Ракоци в своих мемуарах, – который не заслужил бы самого сурового наказания за неисполнение моих приказов». Когда Ракоци беседовал с Куракиным, граф Форгач, преступно проигравший битву, сидел в тюрьме. Что до Яноша Боттяна, то он не опасался за богатства, ибо не имел их. Не было и знатного происхождения у этого блистательного стратега-самородка. Ученье он начал в иезуитской коллегии, но не в классах – истопник обучал его топить печи, повар – разделявать тушу.

Однако Куракин догадывается: будущее тревожит Ракоци.

– Персоны, подобные светлейшему Ракоци, – говорил Куракин потом, в дороге, Федору, – способны вернуть золотой век, утраченный нами по невежеству и алчности.

Речь князя-боярина, воодушевленного знакомством, была туманна, азовец недоуменно хмыкал.

– Дурачина! – возмущался Борис. – В золотом веке жизнь по правде, не корысти ради... Никто в обиде не бывает. Нет ни печали, ни воздыхания, – добавил он церковное, павшее на ум.

– Как в раю, значит, – протянул азовец, дернув плечами недоверчиво.

На почтовых станциях лошадей требовали нетерпеливо. Скорее домой, проведать семью, подать царю отчет о встрече с великим венгром. Пусть видит царь честную службу князя Куракина!

Во Львове желаемая стезя переломилась. К инженеру Дамиани явился расторопный чернявый грек Корба, человек торговый, путешествующий, известный послу до сих пор лишь



понаслышке. В каморе гостиницы «Белый лебедь», что под Замковой горой, сказал приказ царя – ехать государеву послу в польский город Ярослав.

Миссия секретности глубочайшей. Снимать машкеры, итальянский псевдоним, не должно. Донесение о свидании в Сатмаре повез, зашив в исподнее, грек.

## 7

Порученье досталось Борису Куракину не простое. Где, в какой трущобе обретается сей Эльяш Манкевич, к коему надлежит сделать визит? Как отыскать, не имея проводника, избегая лишних расспросов, его фольварк, – должно быть, небогатый и малоприметный? Не заблудиться среди польских лесов и топей, не утонуть, не угодить в лапы недругов...

Счастье, что цыган в Ярославле не обманул, продал коней выносливых; с неделю скакали по полям, по лесам майор с денщиком – Манкевичей оказалось в окрестности целых пять, из них два Эльяша. Наткнулись сперва на молодого Эльяша, извинились – нужен старый. Потом искали брода. А вчера сбились с пути, в чащах почти до сумерек плутали. Река Сан – поток путеводный – то терялась, то вдруг, на излучинах, открывала свои омута, рыжие от опавшей листвы. Несла косяки бревен, израненных о камни, – ремни содранной коры корчились, кровоточили.

Измотав путников до одури, река привела к строению, которое показалось Борису избенкой на курьих ножках, жилищем лешего. Обозначились в полумраке столбы крыльца – иссохшие, скошеннные, дремотно залаял пес.

В доме запели, заныли половицы, и по их голосам угадывалось: мечутся там, разглядывают приезжих из окон, а дверь отомкнуть боятся. Тащат что-то тяжелое, верно для защиты. Потом кто-то, припав к двери, запричитал по-польски.

Федька уразумел первый. До чего приемчив к чужой речи, пройдоха! Хозяин упрашивал господ ехать восвояси, нет у него ни угощения, ни мягкого ложа.

– Вишь, тут побывал Тадеуш, – переводил денщик. – Видать, обчистил.

– Кто такой?

– Поди, разбойник.

Борис стукнул в дверь, оборвал старческие жалобы и сказал громко пану Эльяшу Манкевичу, что прибыл не лихой человек, не душегуб, а друг Анджея.

Пан не верил, переспрашивал, и пришлось кричать ему секретное. Русский приехал, русский из Москвы, офицер. Имеет выразить пану Манкевичу почтение и, пока не исполнит того, не удалится.

Впустили наконец. Борис шагнул через порог, оттолкнул двух челядинцев – один держал в кулаке толстую свечу, другой топтался, опустив секиру.

– Пан русский? – бормотал Манкевич. – Из Москвы? Пан знает Анджея?

Он дрожал, запахивая на себе дырявый халат, колени старика подгибались, вот-вот рухнет перед пришельцами, ошеломленный чудом.

Волоча ноги в тяжелых валенках, повел через сени – пустые, голые, ничем не обшитые. Из пазов лезла, змеилась в шатком свечном сиянии пакля. Слева, с холопской половины, слышался плач младенца, похожий на икоту.

Ну и худоба! Одно название – шляхетский фольварк!

Не блистает декором и горница, только что стены одеты досками. А в досках тараканьи щели. Всего художества – медное блюдо да портрет усатого воина в красном кунтуше с преогромными пуговицами – каждая с блюде. Выпяченная грудь кавалера распорота сабельным ударом по холсту. След как будто свежий. Явственно послышался Борису свист клинка.

– Фотел пану, – восклицал старик, суетясь. – Фотел, фотел... Клементина!

Пока Борис гадал, что может означать «фотел», хозяин на пару с Клементиной – плечистой, мужиковатой служанкой – сдвинул с места кресло, подобное трону, с резным гербом на спинке.

Сиденье фотела продавленное, пружина уперлась в зад. Нищета глядит из поставца без стекол, с облупившейся печи – разбойники и на изразцах вымещали злобу.

– Ваш сын много говорил мне о вас, – сказал Борис.

Ложь сия во спасение, не мог ведь он признаться, что услышал про Анджея Манкевича впервые лишь от грека во Львове.

Кто-то растер ему ноги, стянул сапоги. Потом Борис ощутил пятками грелку с углями и отдернул, обжегшись. Поднесли чарку, он отхлебнул и поперхнулся. Пахучая мятная настойка хватилась под дых.

– Проклятый Тадеуш, разрази его...

Мужицкая брань посыпалась из благородных уст. Негодяй не только грабит, но и позорит. Заставил краснеть, выродок. Как теперь принять дорогого гостя?

А гость ерзал на упрямых пружинах, поджимал ноги, оберегаясь от жгучей грелки, и не желалось ему ни жара, ни питья. Скорей бы кончилась суматоха, сгнули бы согбенные спины, седые головы слуг, лобзающих ему колени, руки, яко обожаемому владыке.

Станет ли гость кушать капусту с салом, простую деревенскую еду? Слава богу, еще осталось немного шпика. Один бочонок в погребе, в дальнем углу уцелел, не попался на глаза душегубам.

Сало на кухне пригорало, горница наполнилась гарью и вонью. Помилуй, доктор Бехер, бессилена твой рецепт для пациента, обреченного на скитания! Изжоги, кошмаров не избежать. Ладно, лишь бы счастливые подарило плоды непростое сие предприятие...

За ужином хозяин – трясущийся его лик в чаду, в свечном зареве маячил в радужном венце – полюбостествовал, как величать вельможного офицера.

– Мы с Анджеем тезки, – ответил Борис, повинувшись внезапному наитию. – Ангел у меня тот же. Кабы не война, Анджей дослужился бы до чинов высших. Царское величество весьма был доволен... Ставил труды вашего сына в пример.

И тут Борис приврал, приукрасил слышанное от грека. Андрей Манкевич, поляк, поступивший на русскую службу, состоял восемь лет в Посольском приказе. Вот и все. Однако рассудить можно – был бы он ленив и нерасторопен, не взял бы его Хилков с собой секретарем.

– Я провожал их, Андрея и князя...

Не было того, не провожал. А с Хилковым знаком хорошо, учились вместе в Венеции. Человек сложения рыхлого, грузного, двигался и соображал медленно. Зубрил науку ночами, зато помнил твердо. На Ламбьянке прозвали светлейшего увальня Квашней.

– Хворает князь, хворает благодетель, – сказал старик грустно.

– Пишет Андрей? – воскликнул Борис, изобразив удивление и радость, хотя был осведомлен от того же грека – вести до отца каким-то способом доходят.

Часто ли пишет? Здоров ли?

Просит не печалиться, здоров и арестантское свое житье переносит бодро. Шведы его не обижают, в городе он ходит, где хочет, только за ворота выйти не смеет. Хилкова, посла российского, держат строго, а ему дана льгота, как подданному Речи Посполитой, понеже король Станислав с Карлом в союзе.

Эльясх выронил вилку, смахнул слезу. Дождется ли он сына? Мальчик имеет надежду. Спрашивал, жива ли Анежка-кормилица, высоко ли вырос дуб... Сам посадил дерево, пять лет исполнилось ему тогда.

Старик умолк и заплакал робко, тихо. Борис перегнулся через стол, сжал костлявые плечи, – горемычный шляхтич, отец неведомого Андрея, сделался вдруг по-настоящему близок.

– Не нынче – завтра виктория над шведом... Свидитесь, ждате теперь недолго...

Кем же, чьим же старанием учреждена почта между Вестеросом, городом на земле свейской, и фольварком Манкевича, что под Ярославом?

Завозит письма Йожка, приказчик Григоряна, львовского коммерсанта. Торгует он коврами, получает их из владений турецких, а продает полякам, германцам, шведам. На предмет торговли заморской завел контору в Амстердаме. Оттуда и плавают суда с товаром того армянина Григоряна в Швецию.

Следственно, свобода у арестанта Андрея немалая. Волен посещать остерии, где бражничают мореходы. Нашел, кому вручить цидулу. А под флагом Генеральных Штатов сия коришпенденция в безопасности, ибо голландцы в отношении к Северной войне нейтральны, сиречь сторонние.

Почта, стало быть, верная. Дорожка проторена. Вот бы и приспособить того же Йожку... Да нет, самому надо, с протекцией от голландцев... Спору нет, известия из страны неприятельской нужны, яко хлеб насущный.

Борис не заметил, как съел тарелку бигоса. Хозяин наложил еще. От жирной еды, от настойки майор отяжелел и в перину погрузился в настроении блаженном.

Раскалил печи пан Манкевич, не пожалел дров, чтобы обогреть гостя.

Борис тонул в перине, просыпался в поту, без сил. Среди ночи вспыхнуло видение – у окна, открытого в лесную темень, колыхалась, белела в зыбком свете лампы некая ветошь, а от нее исходило протяжно, будто с рыданием:

– Гу-ул, гу-ла-ла-а!

Истошно хрюкал поросенок, почуявший волка. Ветер едва коснулся постели и заглох, хозяин затворил окно. Борис хотел еще попросить холодка – язык не послушался, голова пристала к подушке, словно к горячей смоле. Точно ли то пан Манкевич?

Утром долго плескал себе в лицо из глиняного рукомойника, страх, однако, не согнал, угнездился он где-то внутри, малым набухшим зерном. Эх, куда закинуло его, гвардии майора, князя Куракина...

Кажись, нет причины для страха, а он все же точит. Не иначе, повлияло резкое ночное пробуждение, когда пан криком отгонял волка: злодейка гипохондриа того и ждет...

Рукомойник выскальзывал, лил воду мимо ладоней – шершавый, с отбитым краем, чем-то похожий на жалкого, неухоженного Эльяша. Манкевичи все мелкопоместные, а этот в упадке крайнем. Фортуна изменила им. Тот кавалер в раме был в градусе значительном, судя по униформе, щедро обрызганной золотом.

Колдовство некое исходит от портрета. Снова, войдя в горницу, услышал Борис змеиный свист сабли. Ведь не сосчитать, сколько встречалось на театрах военных порубленного, потоптанного, горелого, – почему же эта рана, нанесенная холсту, так тревожит?

Не показывают ли боги некое знамение?

– Все Конецпольские, все от них, вся несправедливость, – жаловался Эльяш, потчuya гостей пшеничной кашей, пропахшей дымом.

Испокон веков злобятся магнаты Конецпольские на Манкевичей. Тадеуш, ирод пучеглазый, фаворит в замке. Он там над рейтарами начальник. А ведь свой же брат – шляхтич... Манкевичи, вишь, неудобны, вклинились землями в имение сиятельных вельмож, а потесниться не хотят. Тем, только тем и виноваты. Каретой ли, плугом ли, вынуждено высокое панство огибать. Так неужели же уступить пруды, рыбные пруды или пашню за Саном, самую лучшую? Притом к нему, Эльяшу Манкевичу, неприятельство особое, с тех пор как Анджей на русской службе.

– Говорят, я москалям продался... Обзывают московским лакеем.

Провожая гостя, старик советовал ехать осторожно, не доверять Конецпольским, Острогорским, не вступать в замок Сенявских, хотя знатнейший в их роду состоит в партии царя. Однако втайне он склоняется к Карлу. Под кровом бедного шляхтича не подадут французского вина, зато примут русского офицера сердечно.

Отдохнувшие кони затрусил бойко.

– Ну и пан! – дивился Федор. – Ну, житье тут! Трепещут, как зайцы... Нельзя ли им, князь-боярин, подмоги от нас? Десятка солдат хватило бы пугануть воров.

Много или мало нужно, да где они, солдаты? В какой стороне наши? Князь-боярин не стыдится признать: непонятен ему театрум войны. Сейчас в окружности нет ни наших, ни шведов, ни саксонцев.

– Одни паны дерутся, – хмыкнул денщик. – Пан на пана, король на короля. От богатства, что ли, война заводится, князь-боярин?

– Одолеем Карла, тогда и будет покой.

– Кто первый лезет? – гнул свое Федька. – Голяк, что ли? Нет, богатый на сирого.

От реки, гнавшей грузы бревен, дорога отпрянула, сбежала в ложбинку, вонзилась в кустарник. Пали сумерки. Внезапно гнедой Бориса взвился на дыбки от угрожающего шороха.

– Стой! Стой! – закричали два голоса.

Борис пригнулся, нащупал пистолю, пустил коня вскачь. Вдогонку стреляли, должно быть

с дерева, торчавшего над мелкой порослью. Кусты, озаряясь, возникали четко и словно хлестали по глазам.

Вот оно, оправдалось! Старик упреждал справедливо. И дед его, усатый витязь, коему вековая распря не дает почить в мире...

– Пистолы чтоб наготове, – распорядился Куракин.

Скорей убраться отсюда! Замешкались, привлекли к себе весьма неуместное внимание. Небось по всем замкам прошел слух – носится по воеводству какой-то русский, навещает фольварки Манкевичей непонятно зачем...

На постоялом дворе – ветхом, под шапкой соломы – спали по очереди. Сквозь трухлявую подушку вжималась в ухо надежная твердость оружия.

Дорога вела на север, леса густели, ширились топи. Дубравы стали прозрачны, трещала опавшая, схваченная морозом листва. Конские копыта вязли в глубоких колеях, проложенных артиллерией. Листопад всюду – яркой желтизны либо темный, будто опаленный пожаром, а то багровеющий грозно, кроваво. По ковру мертвых листьев шествует Марс. Так же попирает он начертанные на бумаге альянсы, обещания, клятвы в приютстве вечном.

Позади осталась Польша, ее фольварки, разоренные шведской солдатней, изможденные холопы, презрительные вельможи, их надменные палаты и лживые политесы.

Потянулись деревни каменные, опрятные – прусские, бранденбургские, голштинские.

А потом «во всем отмена сделалась и великая в пище дороговизна и народ не приимчив, гораздо только ласков к деньгам». Так написал Куракин, миновав пограничную заставу голландскую. Пока меняли лошадей, зашел в корчму, посидел малое время у огня – и на тебе, потребовали плату! Сразу видно, государство купеческое, из денег кумир сотворили.

Ветер гнал серые волны, штурмовал фортецию, построенную вдоль берега, крутил крылья мельницы. Стылая вода в каналах зябко дрожала. Ленивые, сытые цапли вышагивали по низине, от проезжающих не шарахались. Небо высылось над плоской землей холодное, неяркое, чистое.

Краем суши, сплошной улицей, обдававшей запахами рыбы, сдобного теста, свежей стружки с верфей, смолы, – улицей мира, дразнящего уюта, преусердного рукоделия, – пораженные тихим многолюдством Голландии, невиданной чистотой крылечек, стен, дорожек, стекол, заборов, деревянных башмаков, ожидающих у входа в дом, всего домашнего обзаведенья, двигались царские доверенные к цели путешествия.

## 8

«Город Амстердам стоит на море, в низких местах и во всех улицах пропущены каналы, так велики, что можно корабли водить, и по сторонам тех каналов...»

Перо Куракина запнулось. Еще нет в его языке слова «набережная». Улицы – как иначе...

Отличны амстердамские улицы шириной, замощены гладко – «в две кареты в иных местах можно ехать». Вечером светло – «каждый повинен фонарь у своего дома жечь». К тому же «плезир и гулянье людям великое».

С дотошной купецкой расчетливостью князь Куракин примириться не может, но аккуратностью голландцев, ловкостью в работе восхищен. Глядя из окна «Блаухэйса», дразнит денщика:

– Сумей-ка так править! Э, да ты враз сковырнешься!

Канал не отгорожен, экипажи катят по самой кромке, ошибся на палец – и бултых в воду. А забор не ставят, чтобы без помехи сгружать товары с судна, ведь тут в каждом доме заняты коммерцией.

«Блаухэйс», то есть «Синий дом», гостиница из лучших, на Херенграхт, сиречь канале Господ. Здесь посол Матвеев обитал на первых порах и знатнейшие русские кавалеры стояли, о чем Борис почел нужным в дневнике упомянуть.

В гостевой книге значится дворянин Лука Панов, прибывший с лакеем Федором. Имя и титул москвиты никому не надлежит знать, кроме российского посла.

По всем статьям пригож Амстердам, одно худо, что не столица. Посол Матвеев и прочие министры – в Гааге.

У посла, как у всех тут, резиденция с лица не обширная. Сложена из красного кирпича, фасад поперек в два окошка, обведенных по здешнему обычаю белой краской. Камердинер одет, как лабазник, без галунов, без кружев. Пospешая за ним, Борис поскользнулся, отвык ходить по наборным воощеным узорам.

– Завидное у вас житье, – сказал он Матвееву. – Птичьего молока спроси – нальют, верно...

Войны будто и нет на свете. Не подумаешь, что Генеральные Штаты в союзе с Англией, с цесарем против Франции.

– Воюют скупом, мизинцем, – ответил Матвеев, посмеявшись добродушно, всласть, отчего полные его щеки, выбритые до глянца, разругались.

Смеялись и вакханки с картины над камином – кружились хороводом, вскидывая голые зады. С потолка шутливо грозили купидоны, целились из игрушечных луков. Незванным чужаком торчал в углу каменный идол, топырил уши, взирал раскосыми глазами подозрительно.

– Жене взбрело купить, – молвил Матвеев мягко. – Я бы выбросил... Штука, вишь, редкая, из Мексики.

На столике сыр, ветчина, горькая можжевелевая водка – изделие купца Болса. Выпили за здоровье царского величества. Борис спросил, каковы новости из Москвы, нет ли в воинских делах определенного поворота.

– Не слышно, – ответил посол. – Новости скорей тут получишь, из курантов да из уст. Ломаешь башку, правду из вранья выдираешь... Наши-то ох ленивы писать!

– Пудовые, что ли, перья у них в приказе? – подхватил Борис. – Отошлешь пакет, расписки не дождешься. Кануло, почитай, в Лету. И супруга моя молчит, не жалуется письмами.

О Матвееве известно – женат счастливо, жена преславная в Европе красавица, принцев и графов с ума сводит. И мужу помощница – в дипломатии, в застольной беседе, в переводах с иностранных книг.

Подробно, как старшему, рассказал Борис о своих трудах. Что посоветует Андрей Артамонович? Как связаться с Манкевичем? Арестант драгоценный, сведения из неприятельского стана нужны до крайности.

– Голландское купечество, – сказал посол, – нам благоприятно. Оно радо, что мы к Балтийскому морю прорвались, теперь соседи почти... Голландцы ведь наше зерно мелют, слипы нашей ворванью смазывают. Швеция им того не даст...

Найти корабельщика, который знает арестанта, несложно. Обратиться надо к Гоутману. Купчина богатейший, судов у него – преогромный флот. Торговлю ведет именно балтийскую. Положиться можно смело, не разболтает.

– Для чего ему ссориться с нами? Хочешь, покажу, какие секреты купеческие у меня под замком? Гоутман нам четыре тысячи ружей продал, Брант – семь тысяч, Дикс – двадцать тысяч шпаг. Нейтралы ведь, тайком от шведов, стало быть... Всегда расположен к русским Витзен – бургомистр Амстердама, второе лицо в Голландии после штатгальтера. Еще в молодых годах, при Алексее Михайловиче, жил в России, путешествовал в Сибири, о чем написал в обширном сочинении.

– Теперь обо мне речь, – сказал Куракин. – Для сей оказии голландец не годится. Прикажи, Андрей Артамонович, ехать мне!

Матвеев поворачивал в пальцах осушенный стаканчик, разглядывал, словно читал нечто в стекле, рождавшем радужные блики.

– Нет, – ответил он и ласково усмехнулся. – Не прикажу, нечего тебе соваться.

Поставил стакан со стуком, прибавил:

– Куракина не отпущу.

Правда, князь Куракин терпел различные метаморфозы, но превратиться в простого матроса вряд ли сможет. Пропадет князь ни за грош. Будь он даже великий лицедей – на корабле раскусят. Нет, не княжеская это роль.

– Тогда есть у меня человек, – сказал Борис.

Смутился, ощутив что-то похожее на зависть. К холопу? Экая несуразность!

Значит, сидеть в Амстердаме, ждать Федьку. Не день, не два – поди-ка, месяцы...

Мыслимо ли пустое, праздное сидение? Во-первых, тоска заест, а во-вторых, неполитично – вызовет подозрение.

– Миленький! – обрадовался Матвеев. – Уважь, сними с меня хомут! Велено изразцы заказать для Питербурха, а мне некогда, да и нет в Гааге мастеров хороших. Воля царская, через Александра Данилыча...

Борис согласился с радостью. Для украшения российской Венеции, очага наук, художеств – хлопот не жалко.

## 9

Минхер Гоутман усадил Бориса на лавку, обитую бархатом, спросил:

– Кваску али водочки?

Если не глядеть, а только слушать бойкий окающий говорок, вообразишь себе купчину из обжорного или суконного ряда, бородатого, старозаветного, из тех, что крестятся двумя перстами.

– Накось! – молвил минхер Гоутман, зачерпнув ковшом из бочонка. – Милости прошу!

Воистину квас забористый, с имбирем – не придерешься! Откуда? Сварен здесь, в доме на Принсенграхт, сиречь канале Принцев, домоправительницей Аграфеной. Русская женка, служившая голландцу в Архангельске, в Москве. Водятся у минхера Гоутмана и пироги, и хлеб ржаной.

– Мой прадед, царство ему небесное, проложил путь в Ост-Индию, а я море Баренца перепахал. Спытай у царя Петра Алексеича, помнит ли голландянина Гутку? Это я – Гутка.

Костистое лицо минхера Гоутмана лучится, брови – две рыжие щеточки – прыгают. А позади него – иконы, сплошь во всю стену русского кабинета, оклады серебряные и золотые, венцы жемчужные, яхонтовые, изумрудные. Древние лики, потемневшие, эфиопской черноты, смотрят из отдушин осуждающе, ведь ради утех, форсу ради распластано церковное сияние, не для молитвы же...

– Моему прадеду, – сказал Борис, – море разве что во сне снилось. Излишне объяснять, сколь великую имеем нужду в корабельщиках.

– Так, – отозвался минхер Гоутман и откинул голову, смерил собеседника, сощурившись. Почуял купец, что гость переходит к делу.

– Тут при мне слуга, парень смышленный... Желательно сделать из него матроса. Сам-то я под парусом бывал, практиковал навигацию.

– Так, – сказал минхер Гоутман и откачнулся еще, тронул затылком ризу Чудотворца Николая.

– Имею намерение, – продолжал Борис, – учредить в моем поместье судоходство.

– Так, – раздалось щелчком из тонких уст минхера Гоутмана, и голова его вжалась в ризу, в сонм угодников.

– Цену за учение капитан пускай назначит, – закончил Борис и вздрогнул оттого, что минхер Гоутман быстро, пружинисто подался вперед.

– Бог с тобой, кавалер, бог с тобой! Какая цена!

– Нет уж, позволь...

– Не возьмет, ни за что не возьмет мой капитан. С русского? Нет, нет...

Однако парень ничего не умеет – не кормить же даром. Борис настаивал, минхер уступил наконец – не деньги, так подарок капитан примет.

– Вчера пришел Тайсен из Лиссабона...

Будто глобус закружился перед Борисом. Половина названий ему внове. Пондишери какой-то... Некая Баия отгрузила кофий, следовательно, место полуденное.

– До океана мы не доросли, – посетовал московит. – Поближе бы мне...

В Амстердаме стоит «Мария Гоутман», с балтийского рейса, да вот незадача – наткнулась на скалу, застрянет в доке. В будущем месяце придет «Тритон» из Швеции, капитан на нем умелый. Но взять русского побоится. Случись проверка... Борис сказал, что ученика можно зачислить на сей случай итальянцем.

– Итальянцем? Ах, так?

Любопытство мелькнуло в полуприкрытых глазах и погасло. Ты даже не спрашиваешь, минхер, откуда у мужика итальянский язык? Что ж, знак недурной...

– Некоторые моряки, господин Панофф, говорят по-гишпански.

Мол, имей в виду, народ на корабле бывалый, не вышло бы конфузии.

– Тем лучше, – кивнул Борис. – Немому ведь тошно.

Глаза минхера закрылись совсем, – похоже, внезапно задремал, привалившись к иконостасу.

– Капитан Корк может и по-русски, – слышит Борис. – И штурман кое-что может.

– Этого не нужно.

– Я тоже думаю, не нужно этого... Я рад сделать полезное, господин Панофф.

Растянул последний звук со свистом, усердно. Все понял купец.

Спустились на кухню. Четыре повара возились с тушей быка. Надели на железный брус, повесили в камине. Нигде не встречал Борис художеств на кухне, а тут, на изразцах, синим по белому – морская баталия, летящие ядра, фрегаты, корма, торчащая из пучины.

Минхер подвел гостя к туше. Коли нравится мясо, пусть выберет кусок на обед. Таков обычай.

Расстались поздно, минхер Гоутман облобызал гостя троекратно, по-русски. С потолка сеней свисал трехмачтовик – копия «Альбатроса», совершившего первый коммерческий вояж в Ост-Индию. Хозяин оказал москвиту почет – приказал зажечь на корабле огни.

От прикосновения человеческого судно ожило и раскачивалось, мигая, сигнала, пока не иссякли взаимные политесы.

## 10

Капитан Корк, маленький, щуплый, трусил по причалу вприпрыжку, по-воробыному, ведя за собой Федора. Из простуженного горла, обкрученного толстым красным платом, вылетали непонятные слова. Плат размотался, азовец едва не наступил. Нагнулся, поднял конец, побежал с капитаном вровень. Вскоре весь плат оказался у Федора, – Корк и кафтанишко, подбитый мехом, расстегнул.

С моря навалился туман, в серой мгле копошилось многорукое людское множество, дышало, таская поклажу, звонко топало по склизкому настилу, надрывалось – хэй-ох, хэй-ох! Бодая туман, выпятилось чудище заморское, подобное свинье, с рогом на носу. Федька отпрянул от чучела, Корк тоненько хохотнул, произнес что-то, нимало не заботясь, разумеет ли новичок его сиплое воркованье:

– То ли еще будет! – слышится азовцу. – То ли еще будет, чурбан неотесанный!

Если и ругался капитан Корк, мужичок с локоток, то не зло. Привычно находил тропу среди ящиков, тюков, мешков, пинал голубей, обсевших просыпанное зерно. Шлепал по заду зазевавшегося грузчика, окликал приятеля, вскинув вынутую изо рта трубку.

Из тумана выступали жгуты спущенных, подвязанных парусов, мачты, исчезавшие в непроглядной мути, валились на Федора. Жутко ему и весело.

Говорят, земля – мать родная, море – лютая мачеха. Однажды он хлебнул соленой воды. Студеное море не выпустит – камнем ухнешь на дно. Э, была не была! Доколе корпеть над париками в цирюльне у Клейста, чесать сто раз одну прядь, завивать горячими щипцами да трепетать перед старым брюзгой – вдруг пожухнут волосья или подгорят.

Видится азовцу – совещается в Польше генералитет. Война длится невыносимо, давно пора положить ей конец. Изволит ли царь дать решительное сражение? Петр Алексеич сомневается – вдруг король Карл припас большое войско в резерве. И в эту минуту дверь настезь, входит скорым шагом курьер, кладет на стол пакет с пятью печатями сургучными, секретнейший. Пленный шляхтич Манкевич из Вестероса рассказывает: нет у Карла резервной армии, выбрал подчистую и людей и хлеб, воевать ему, супостату, дальше нечем. Стало быть, сомнения прочь – всем изготавиться к баталии! А молодца, который известие раздобыл, наградить. Кто такой? И тут назовут царю его, Федьку, крестьянского сына, холопа князя Куракина. Этакий удалец и в подлом звании? На волю его, на волю, в градусе офицерском!

А нужен ли курьер? Нет – помчится к царю сам, чтобы передать величайший секрет из уст

в уста. И царь посадит его рядом с собой, спросит, как он сумел обмануть шведов, проскользнуть через ихние заставы. И он, Федька Губастов, скажет, как было.

Капитану Корку хоть бы что – в голову не взбредет ему, кого взял на судно. Тараторит, обращаясь к кораблям, к толпе, к нему – матросу Эрнесто, итальянцу. Блаженно пьян капитан Корк и нуждается в собеседнике.

– Схип, – слышит матрос.

Слово знакомое – корабль. Матрос откликается, переводит на итальянский.

– Наве, – повторяет Корк, радуясь чему-то. – Кар-рамба! Ф-феррфлюхте!

Браниться на разных языках – это капитан может. Ругань ласковая, смешит матроса. Однако, приближаясь к своему схипу, Корк трезвеет. Выхватил плат, накинул на плечи, словно хомут. Кажись, сделался выше ростом.

У «Тритона» толчея – грузят скатки сукон, бочки с соленой рыбой, ящики, мешки. Корк звука не проронил – работный хоровод задвигался быстрее. Толчок капитанской руки приказал ощутимо – не зевай, подсоби!

Руки вполне заменяют Корку зычный голос. Долговязый, исколотый оспой детина – матрос будет звать его господином боцманом – не спускает глаз с капитана, ловит его мановения, поясняет вслух, протяжно, заунывно, будто панихиду тянет. Этого лучше не сердить. Матрос нагнулся к бочке и пихнул ее на мостки к «Тритону», вдыхая горькую, пряную, обжигающую горло соль.

Над ним, на боку «Тритона», животики деревянных младенцев, цыплячи их крылышки. Стайками разлетелись по ободкам, подмигивают матросу. Из окон – будто молодки любопытные, откинувшие ставни, – уставились пушки. Фонари торчат важные, из витого железа, – короля не стыдно встречать. Снаружи корабль, точно дворец, а ступил матрос вовнутрь – накрыло мраком, некрашеными, низко прогнувшимися балками. Верно, «Тритон» не один десяток лет борется с морским владыкой. «Что ж, тем лучше, – подумал азовец. – Без меня не утонул, так неужели я принес несчастье?»

Грузы прибывали да прибывали. Людишки, согнанные в порт – нищие, пропойцы, – подтаскивали кладь ко сходням, передавали морякам. На корабль оборванцы не допущены. Семь потов спустил новый матрос, стараясь не выказать лености.

К чему его дальше приспособить, неуча? Боцман облапил за плечи, потряс, заставил раскрыть рот, помял мышцы.

– Камбюс, – раздавалось в глухой, подвывающей речи.

– Си, синьор командоре! – зачастил Эрнесто. – Камбуза? Си, си, каписко!

Чего не хватало азовцу в итальянском – добавил князь-боярин, припоминая с отвращением, как выворачивало его на фелюге, как душу вытряхивало вон из тела.

С криками, с бранью, под боцманский вой отчалил «Тритон» – ветер не опрокинул его, вдавившись в паруса. Федор на камбузе чистил диковинные плоды – твердые, белые, в ямочках. Ардапплен – так сказал их повар. Скользкие ломти велел покидать в котел вместе с солониной.

Кухарить азовцу не впервой. Повара Герарда – лысого, раскормленного толстяка – понимали немощи. Начнет стонать, гладить поясницу – значит, оставит камбузу на попечение помощника, заляжет в кобургдеке. Азовец переделал это длинное голландское слово в кубрик.

Белый овощ в котле разварился, рассыпчатая мякоть оказалась не противной на вкус, сытной. Немец Руди – первый ловкач, снующий по реям, как ящерица, называет эти плоды картофелем, чернявый Фред, столяр, живший в странах полуденных, говорит – пататы. Созревают они в земле, кормятся ими многие народы.

– Тебе нравятся? – спрашивал Фред. – Я плевался. Пататы лежат хорошо, не портятся, капитану выгодно, понял?

Фред умеет по-немецки, по-испански, с ним проще всего столковаться. Закатив глаза, восхваляет южные острова, кои за поясом экватора. Орехи там на пальмах с лошадиную голову, полные сока.

А видел ли Фред зверя с рогом на носу? Нет, на Яве не встречал. Там змеи кишмя кишат.

– Кусают?

– Карахо! – воскликнул Фред. – Я едва не помер.

Выходит, полной благодати нигде нет. Не жмет, так жалит. Какая-нибудь пакость должна



быть.

Не скажет ли Фред, что за луковицы едут к шведам в погреб. Один ящик сломан, азовец подобрал несколько штук, отнес в камбузу. Хотел в похлебку употребить для перемены. Вкусны, наверно, коли их иностранные державы требуют. Повар хохотал, держась за пузо, да повторял – тюльпен, тюльпен...

Посмеялся и Фред.

– Цветы, мой мальчик!

Высадят весной луковицы – и уродятся от них цветы, красные, желтые, всяких колеров. Бывало, трюм – так именуется по-моряцки судовой погреб – целиком набивали одними тюльпанами. Шведы их мигом раскупали. Теперь война, на цветы спрос плохой.

– Им селедка нужнее, дружок.

– Своей нет, что ли?

– Ловить некому, значит.

И точно – рыбы соленой внизу много, а ящичков с луковками с полсотни всего. Надо запомнить. Что заказывают шведы, что продает Голландия, Петру Алексеичу знать необходимо.

– Странно мне, – говорит Фред, – кто ни связывался с Карлом, разбит и сапоги ему лижет. А с москвитами не справился.

– Не справился, – кивнул азовец.

– Догнать не может, – обронил Фред, тряхнув черной гривой. – Польша большая...

Федор почувствовал, как кровь хлынула к щекам. Помолчал, унимая гнев, и все-таки произнес с обидой, с дрожью в голосе:

– Думаешь, царь боится? Никого он не боится.

– А говорят...

– Мало ли что говорят, – отрезал азовец.

Эх, мать честная, забылся! Фред глядел удивленно.

– Христианского царя лютеране не испугают, – сказал Эрнесто, ревностный католик. – Русским мечом бог покарает еретиков.

Теперь, поди-ка, обидится Фред... Но голландец сощурился, задвигал ноздрями мясистого носа!

– Ишь, проповедник!

Встал, прошагал по стружке, устилавшей пол в мастерской, снял что-то с полки. Вернулся, опустил на стол волосатый кулак.

– Ты русских видел?

– Нет.

Кулак разжался – с ладони скатился солдат, вырезанный из дерева. Обрел равновесие, встал во фронт – бравый, в синем кафтане Семеновского полка, румяный, как свекла. В треуголке, сдвинутой на затылок.

– Пленные, – донеслось до Федора. – Детей у меня нет...

При чем тут дети? Он вдруг перестал понимать Фреда. Море приподняло «Тритона», солдат пошатнулся.

– Я пожалел беднягу, – слышит азовец.

Столяр сдвинул щеки – вот до чего отошал москвит! Детей у Фреда нет, он взял игрушку себе. Эрнесто увидит русских в Вестеросе. Их опять приведут...

– Пленный за тарелку бобов чистит, скребет, пока команда в тавернах горланит, – понял ты? Карахо! Наш капитан не простака. Хозяйский грош у него в зубах. Попробуй, вынь!

А Федор думал о своем. Стало быть, ребята сами придут на корабль. Добро! Фред подтвердил то, что сулил, собирая в дорогу, князь-боярин. Но может выпасть нечаянность. В городе семеновцы. Шасть к тебе знакомый с азовских лет... Должно побережься, угольком изменить вид. И то – не выдать бы себя... Однополчане ведь, родня, если рассудить. А будет ли поляк с ними? Вдруг проштрафился, заперли его шведы... Или слег от тошноты. Тогда что? Ну, об этом рано... Догадка для другого нужна. Матросы на гулянку попрут, и надо измыслить предлог, чтобы отстать от компании.

– Мне в таверне делать нечего, – оказал азовец с некоторым прискорбием. – Я обещал

мадонне. До Амстердама ни капли...

– Ишь, святой Эрнесто! – фыркнул столяр.

Кто-то подслушал, подхватил, и прицепилась к новому камбузнику кличка – святой Эрнесто.

Ветры дули в корму, «Тритон» шел резво, поскрипывая своими стариковскими членами на мелкой, суматошной волне. Временами черта плоской земли отделяла серое небо от серой воды, иначе и неразличим предел моря.

В проливе вода, сжатая с двух сторон, ярилась. Справа, от стен фортеции, от замка, поднявшего резные острые башенки, отплыла, ринулась наперерез легкая парусная ладья. «Тритон» послушно замедлил ход. Земля датская и вода тоже – изволь каждый проезжий платить в королевскую казну!

Слева – земля неприятельская. Из россыпи домишек торчит колокольня, голые песчаные откосы моет пена.

Швеция снова открылась Федьке под Новый год. Перед носом «Тритона» выросли острова, запорошенные снегом, двоились, троились, множились. Дуло с севера, в лоб, корабль вырливал в островной неразберихе опасно. Шведский офицер трясся от стужи в тонком кафтанишке, проверяя команду по списку.

А цвет униформы тоже синий у супостатов...

На палубе расставлены солдаты, кряжистые, понурые старики. Караулят, обняв ружья, неподвижные, будто статуи. Офицер суетится, дробно стучит высокими подкованными каблучками – танцевать на них, а не воевать. Капитан и боцман бегут следом, рокочут наперебой:

– Господин барон... Господин барон...

Согревшись можжевеловой водкой, окорок, барон сошел в Стокгольме нетвердо, скользил, без нужды хватался за шпагу.

Среди столичных зданий громоздился дворец – огромный каменный короб, без проблеска жизни в окнах. Похоже, замкнут наглухо, вымерз. Почто не сиделось Карлу? Чужая земля дороже, что ли, ему, чем своя?

Сдали часть товара, снялись. «Тритон» прорезал Стокгольм, шмыгнув узким протоком, и врылся в смирную гладь озера. Азовец сдирал картофельную шелуху лихорадочно. Задел ножом палец, боли не ощутил. Скоро Вестерос, скоро, скоро...

Берег выполз хмуρο – скалы да сосны. Казалось, конца им не будет. Смутно маячила, вися в небе, звонница, самая высокая во всем королевстве, как сказал Фред. Потом из лесной прогалины выглянули постройки, обшитые досками.

Матросня истомилась, сорвиголовы не дождались позволения, вырвались, и след простыл.

– Бандиты, – сипел капитан Корк. Поймал одного беглеца за полу, оторвал клочок износившейся ткани, плюнул.

Азовец поднялся на палубу, чтобы выкинуть за борт очистки из лохани, и зазевался. Вопросил дома, крашенные одинаково, будто запекшейся кровью, молчаливые улочки, убегающие по ним деревянные мостки. Смолой веяло от свежего причала.

Может, тем же сосновым духом пахнёт виселица, сколоченная для него, злосчастного...

Два дня «Тритон» выгружался. Сдал бочки, сдал луковицы цветов, ради которых два матроса, сменяясь у печи, поддерживали у ящиков ровное тепло. Из трюма на сушу перебрались чурбаны редкостных дерев, необходимые для здешней верфи.

Морякам помогали пленные. Чудно и радостно было азовцу вбирать русскую речь, глотать ее, точно влагу в знойной степи. Командовал ватагой хромой, согнутый немощью унтер. Семеновский кафтан давно потерял свою синеву, выгорел, свисал с острых плеч, с торчащих лопаток. В чем душа теплится, а боек, подхлестывает товарищей прибаутками.

– Ай, ярославец-красавец! Для коров не здоров, а для овец – что за молодец! Ой, други из Калуги! Эй, подымай, не серчай, туляк-здоровяк!

Федьке не до смеха, свесился через перила, задыхается от проклятой своей немоты.

Наутро шведы подвели арестантов к сходням, пересчитали. Капитан поздоровался по-русски и тоже сосчитал, пропуская мимо себя на судно. Матросам отдых, Федька, хлопоча на камбузе, слышит своих братьев – голоса, шаги, свист метлы, звоны топоров в трюме, где

покосилась переборка.

Напутствуя денщика, князь-боярин сказал: «Тебе помогут». И больше ничего. Мол, хватит с тебя, а то выкинешь глупость. С этой мыслью, впившейся точно клещ, совсем неумоготу ждать неизвестного помощника.

Картофеля и мяса велено закладывать в котел наполовину меньше, чем обычно, – многие и ночевать не придут. Капитан в своей каюте с девкой.

Были они тут – девка привела его, держа под локти, как ребенка, нетвердого на ножках, сама хозяйничала в кладовой, забрала ветчины, лососины. Страшилище девка, великан девка – грудь мешком висит, рот до ушей. Капитана поставила к стенке, как доску, он лопотал что-то, находясь в блаженном опьянении. Обнаружив матроса, заморгал, будто увидел впервые, и произнес, мешая немецкий с русским:

– Тебе ходить ни хт...

Ткнул пальцем в дверь, прибавил строго, потрепав Федькины вихры:

– Абсолют ни хт.

За дверь, значит, не смей. Азовец досады не скрыл, и тогда Корк, путаясь в двух языках, объяснил – таков приказ шведского коменданта.

– Хорош, хорош, – бормотал капитан, словно утешая. Девка уволокла его, запрятав под мышкой его голову.

– Хорош, гут, – доносилось, замирая.

Вот и угодил под стражу! Азовец с ненавистью оглядел пределы камбуза – дверь одна, оконце над водой, над клетотом заблудившихся у пристани волн. Короткий день длился нескончаемо.

Настал час обеда. За едой для пленных прислали заику Сигурда, набожного, тихого трезвенника. Сигурд учил новичка своему ремеслу – вязать узлы и всякую снасть. Федор налил ему в ведро похлебки, потом вышел следом. Не повезло, попал на глаза боцману.

– Теруг!

Значит, назад – настолько азовец усвоил голландский. Состроил рожу невинную, продолжал путь, глядя прямо в оспины, реявшие в скупом свете фонаря, будто злая мошкара. Однако поток гортанной ругани пригвоздил к месту. Всерьез заперли, стало быть...

Чего еще ждать? Родилась отчаянная затея – сбежать с корабля, завтра же...

Чу, грохочет таверна, лопаются от напившейся матросни! Вообразить можно, ломают ее, растаскивают по бревнышку хрупкое строение. Чего проще – сесть бражничать, подцепить веселую девицу... Они всякую нацию понимают, матросские курвы. Пожить у нее, найти поляка. Денег на неделю-другую хватит. Исполнить дело, наняться на другое судно.

В разгоряченном уме все удавалось на диво. Захваченный своей затеей, азовец не вдруг обернулся к вошедшим.

Капитан Корк – румяный, благодушный, чем-то весьма довольный. С ним незнакомый человек. Венец черных волос, белое темя – человек словно окостенел в поклоне и не разогнулся. Одет опрятно, не по-арестантски – камзол с витыми застежками, с круглой бляхой под горлом. На ней польский орел.

– Битте, – сказал Корк.

Остальное договорил знаками. Федор придвинул табуретку, зачерпнул из котла гущи. Поляк учтиво поблагодарил и сел лишь тогда, когда Корк ушел. Пан Манкевич, дьяк Посольского приказа, ссутулился так, что стал почти горбат.

Помешивая варево, он косился на матроса, склонив голову набок. Азовец не знал, с чего начать. Поляк усмехнулся, припал к столу, принялся есть. Челюсти двигались не спеша, озабоченно. Обчистил тарелку до блеска, положил ложку аккуратно, без стука.

Федька разлепил губы, спросил – не налить ли добавки.

Он еще не офицер, обласканный царем. Его холопья обязанность – услужить этому шляхтичу.

Азовец рад и не рад. Что-то отняли у него. Опасности, созданные в мечтаниях, отступили. Пан Манкевич достает из кармана серебряную коробку, ногтем откидывает крышку, выбирает зубочистку. Вид его говорит: бояться нечего, никто нам не помешает.

– Зовут-то как?

– Майора от гвардии, князя Бориса Куракина денщик Федор.

– Куракина?

– Точно так.

Всплыли в памяти слова князя-боярина: «Услышит, что ты от меня, – поймет». Зубочистка упала на колено, скатилась на пол.

– Куракин, свойственник его величества? Чрезвычайная честь для меня.

– Почтенье от князя, – сказал азовец, следуя наказу. – И от батюшки вашего...

Теперь шляхтич изучал матроса – Федор чувствовал это, хотя видел только кустистые, сведенные брови да плешь. Белизна ее поглощала весь свет от огарка, догоравшего в фонарной клетке без стекол, неотвязно слепила.

– От батюшки?

– Точно так.

Понял пан. Не семейной ради коришпонденции прибыл нарочный от князя.

– Здоров ли он?

– Пан Эльяш, слава те господи, здоров, – доложил азовец.

– Ты был у него?

– Да, мы оба... Уж мы плутали-плутали... Ломимся, ан мимо, – пан Манкевич, да не тот...

– Фольварк цел?

Спрашивает, скупо отсчитывая слова. «Будет проверять», – упреждал князь-боярин.

– Обижается ваш батюшка на Конецпольских. Князь обещал солдат для острастки...

– Бедная Польша! – вздохнул Манкевич. – Все со всеми воюют. Ладно, лясы точить некогда! Я рад, что мою ничтожную персону вспомнили. Сам искал случая...

## 11

«Первое февраля. День был хороший гораздо, что у нас теплотою так бывает весною в апреле».

На театре показывали оперу «Гильберт д'Амстел» по пьесе ван ден Вондела, прославленного голландского сочинителя. Борис пошел налегке, меховой плащ оставил на крюке. Действо и пение понравились. Вместе с публикой бил в ладоши, видя, как отважный Герард убивает графа Флорента, мстя за свою изнасилованную жену. Граф умирал натурально, в стенаниях и корчах.

Возвращаясь домой, заметил в верхнем оконце, под коньком, в денщицкой каморке свет. Неужто Федька?.. Вбежал не чуя ног, шагнул через порог и опешил – он ли? Вынув трубку изо рта, скалил зубы незнакомый матрос – лицо обветренное, красное, обросшее кругом.

– Я, князь-боярин, я!

– У, черт кудлатый!

Обнял холопа, потом спохватился и, отстранившись:

– Что так долго?

Пришли бы раньше – угораздила нелегкая напороться на скалу в шхерах. Три дня заколачивали, конопатили. Короткий ответ казался Борису нестерпимо долгим, ждал самого важного известия, ждал, как решения Фортуны.

Победный вид азовца сообщал прежде слов – вернулся малый с удачей.

– Куришь? – проговорил Борис, сдерживая в себе клокотавшую радость. – На улицу погоню курить.

– Гони, князь-боярин.

Манкевич, яко подданный Речи Посполитой, действительно в Вестеросе не стеснен, живет приватно, только из пределов города выйти не волен. Служит он у знатных господ, приставлен учить благородных юношей. Пьет и ест в тех домах, уши не замыкает. Более того, имеет сведения от разных лиц – от других пленных и от иноземцев, пребывающих в Вестеросе.

– Про Хилкова сказывал?

– Князя содержат как в тюрьме, и здоровье у него слабое. Манкевич из своих достатков уделяет.

Перед тем как «Тритону» отплыть, Манкевич прислал через капитана Корка письмо для

князя-боярина. Капитан надежен, изъявляет желание и впредь быть полезным царскому величеству.

– Вот... Попачкал маленько... На камбузе, вишь, копать, – ронял азовец, совал что-то хрусткое, черное, как сажа.

Развертывали оба слежавшуюся, заскорюзлую обертку, сажа сыпалась кусками. Ох, губастый, где это он на камбузе ухитрился схоронить? Не спалил...

Написал Манкевич много, мелким старательным почерком приказного, с нажимом на заглавные буквы. По ним видать – вольготно арестанту, водил пером привычно, любясь парадными литерами, ранжиром в строке.

«Швецию война оглодала. Своего хлеба недостача, а привоза ныне нет, и оттого людям великая тягость».

Ночь напролет вбирал Борис избытие вестей, хлынувшее на него из обстоятельного, неторопливого донесения Манкевича и из уст Федьки, потрескавшихся от ветра, от морской соли.

«Крестьяне и горожане изъявляют охоту идти в солдаты единственно ради пропитания».

В Лифляндии – житнице Швеции – закрома уж пусты, то же и в Польше, несчастной стране, вынужденной пятый год кормить воюющих. Шведское войско живится теперь токмо Саксонией. Провианта тамошнего, говорят, хватит лишь до весны. Виктория ожидалась скорая, крушение сей надежды вызывает сомнения и ропот.

Простой люд обременен поборами, кои возрастают непрерывно, молодых мужиков в деревне не осталось, отчего беднеет и шляхта. К тому же по закону казна вправе отбирать имение у помещика, задолжавшего ей. Теперь сей закон применяется жестко, землю конфискуют без согласия владеющего.

В Стокгольме дошло до разногласия среди вельмож – составила партия, требующая заключения мира с царским величеством. Однако господствует пока противная партия, в коей находится сестра Карла Ульрика-Элеонора. Если что случится с королем, престол унаследует она.

Карл пишет принцессе с театра войны часто, беспрестанно в тех письмах хвалится – русские танцуют под его музыку, решительного сражения бояться и в назначенный час, измученные ретирадами, падут на колени. Хвастовство короля оглашается в курантах, дабы побудить народ к дальнейшим жертвам.

«А племянник госпожи Нурдквист извещает: в полку Эренсверда не досчитываются половины солдат...»

Три дня трудился Борис над отчетом о рекогносцировке и рукописание Манкевича к нему присовокупил. Съездил в Гаагу, отдал Матвееву из рук в руки.

– Человек мой просится опять на ту сторону, Андрей Артамоныч.

– Риск, мон шер. Хватит с него. Подберешь матроса...

– Справедливо, Андрей Артамоныч.

– Капитану подарком угодил?

– Благодарит покорно.

– Отлично, мон шер, – кивнул посол.

«Тритон» отплыл в апреле, заполнив трюм бочками с сельдью, – тюльпанов Вестерос не заказал.

А тюльпаны раскрывали лепестки, здороваясь с солнцем, польдеры цвели богато, разными колерами – квадрат белый, квадрат пунцовый, квадрат желтый. Полыханье красок такое, что глазам больно.

Бессменный при Куракине врач Боновент посоветовал носить очки для защиты зрения от половодья колеров, от блеска каналов, умытых окон, черепичных крыш, смоченных росой, накрахмаленных чепцов.

Темные стекла весьма пригодились наблюдать затмение, происшедшее первого мая. В дневной тетради Борис тщательно изобразил «фигуру потемнения» – краешек диска, светящийся край, не погашенный тенью.

Если судить по дневнику, кавалер из Московии проводил время беззаботно, гуляючи.

Между тем ему случалось надевать темные очки и в дурную погоду – кавалер не всегда

желал быть узанным. В Голландии и Карл имеет своих нарочных. Неприятная встреча не исключена. «Учился фехтовать», – сказано в дневнике мимоходом.

Потомок будет гадать, почему некоторые события, на вид малозначительные, изложены по-итальянски, явно с целью оградить нечто от посторонних. Например, появление в Амстердаме соотечественников – дворян со слугами.

Возможно, слуги, подобно куракинскому Федьке, отделялись от господ, направлены путем особым...

Уже привалилось к стенке амстердамского порта судно из Санктпитебурха, обманувшее бдительность сторожевиков неприятеля. На причале раздаётся русская речь. Не все матросы годятся для дела, которым занят Куракин. «Люди бездельные и пьяные, – сетует он в письме Матвееву и хвалит некоего Фанденбурга: – Токмо он своим порядочным управлением все их пакости заглаживает».

Фанденбург будет несколько лет числиться «коришпондентом» в Голландии.

Пора прощаться с Амстердамом.

Складываться начали до отъезда недели за две. Федька собирал купленное, набивал сундуки, князь-боярин заносил каждую вещь в опись.

«Княжне колпачок тафтяной».

Представил, как обрадуется девчонка, как примерять станет и так и этак, забавно пыхтя, носишком тыча в зеркало.

«Коробка шоколаты лепешечками».

Оба полезут – и сын и дочь. Поди-ка ведь не пробовали еще... Зачмокают, ручейками потечет шоколата с коричневых губ, вымажутся, разбойники.

«Японский кафтан».

Наденешь, подынешь руки – ну точно птица! А за стол в нем сесть – куда денешь рукавищи? Куплен для потехи, детей посмешить.

«Пистолы, галун на шляпу, ножик садовый, французская чернильница, чулки шелковые пестрые, чулки красные, шесть рубашек» – это все себе.

Для княгини ничего нет. Тафты да шелка в Москве не дороже. Борис сердит на жену – скупится, денег с вотчин не допросишься. Хороша и без подарков, коли так.

Один короб заняли книги – словари, труды историков, географов, архитекторов, наставления для домоводства, для лечения болезней, для садовничества. Два больших глобуса Федор обернул тряпьем, обшил рогожей каждый отдельно.

Откусил нитку, разогнул спину, протянул жалобно, тоненько:

– Огурца захотелось... Нашего огурчика...

Пнул глобус ногой, планета земная откатилась к стене, ослепшая, ушастая.

– Нашего засолу, знаешь, князь-боярин, с укропцем, с дубовым листом, с чесноком...

– Еще чего тебе? – спросил князь-боярин, облизываясь.

– Рыжичков бы, а?

– Помолчи лучше!

Целое лето ехать, а он, черт губастый, про рыжики!

– Княгиня напасла, чай, – жмурится Федька, мотает головой. – Грибков, капустки...

– Уж она угостит, – бросил князь со злостью, не стесняясь холопа. – В горло не проскочит.

Анджей Манкевич, в русском обиходе Манкиев, еще много лет посылал донесения российским резидентам в Голландии с разными курьерами.

В 1717 году тайная почта доставила ему письмо.

«Мой господин!

Я ныне уведомился через господина Фанденбурга о случившейся печали, о переселении от здешней жизни князя Андрея Яковлевича Хилкова и напоминая о Вас, как я в бытность мою в Ярославле в доме Вашем был, соболезную особливо к Вашим интересам собственным, что Вы тою смертью князя Хилкова уединены остались, того дня к Вашим авантажам объявляю свои исходные намерения и прошу Вас в добром самом надеянии взять по прошению моему сию

резолюцию и в Голландию ко мне прибыть, на что обещаюсь своим честным словом, что я Вас честно вести буду и произведу в такой градус, который сходен с интересом Вашим, а между тем Вам объявляю, что Вам из Швеции освободиться легко можно, понеже вы нации Польской, а не Российской.

Впротчем пребываю Ваш добрый друг Б о р и с К у р а к и н».

Манкевич вернулся в Москву, служил в коллегии иностранных дел, ездил к шведам в качестве дипломата, с Румянцевым, договариваться об условиях Ништадтского мира.

Еще будучи в плену, он затеял обширное сочинение о начале и развитии русской державы. Опираясь ему приходилось, главным образом, на свою необыкновенную память. По неизвестным причинам труд этот – «Ядро российской истории» – вышел в свет лишь в 1770 году и долгое время, опять же по неясным мотивам, приписывался Хилкову.

В заключительной главе читаем:

«Сей государь царь Петр Алексеевич своим неусыпным промыслом державу русскую от неприятелей оборонил, народ неученый, который всякими свободными науками прежде брезговал, в ученость привел и, одним словом сказать, всю Русь художествами и ведением просветил и будто снова переродил».

## С ЛИЦОМ ОТКРЫТЫМ

### 1

Княжич шоколатой пренебрег – сласти, мол, для малышей. Княжна заставляла есть, наскакивала, пока не притомилась. Пальчиком, измазанным шоколатой, нарисовала на зеркале рожицу.

Княгиня схватила горсть лепешечек, понюхала, высыпала обратно.

– Горелым пахнет.

Борис приподнялся с подушки.

– Забрюхатела, что ли?

– Ветром надуло... От тебя...

Скривила рот, пошла из комнаты, откидывая назад острые, сухие локти.

– Может, поп благословил, – просипел Борис вдогонку. Для крика не хватало воздуха.

Вчера, с дороги, рухнул в постель в беспамятстве. Федька раздел, укутал. Кормилица заварила травку. Поила с блюдца, приговаривая, как в давние годы: «У волка серого заболи, от Бориса отлепись!» Очнулся один – княгиня болящего и не проведала.

Кормилица, та глаз не смыкала, вскакивала с лавки, чуть застонет ее пестунчик, чуть шевельнется.

Не могла старушка утаить: около Петрова дня княгине попритчилось. Две ночи кряду не спала, корчилась. Вселился в нее будто бы нечистый. «Ой, – вопит, – скребется, ой скребется!..» Старалась вытошнить рогатого. Зашлась, помирала совсем. Причастилась святых тайн, поутихла.

– Сие феномен натуральный, – сказал Борис. – От природы, не от чего иного. Горячность мозга от раздражения нервов.

– Намедни ух лютовала! Брошу вас всех, говорит, опротивели, подлые хари! Уеду к мужу за границу, он там с паскудными девками амурничает. Чего вздумала... А я ей – дети, говорю, дети ведь, княгинюшка! Как толкнет меня – я чуть с лестницы не полетела...

Борис, как и в прошлый приезд, отстранился от супруги, живет в башне среди книг своих, среди зеркал, коих обступают голенастые, вырезанные на дереве нимфы. Мастер-венецеец сладострастно выпятил их женские выпуклости. Нимфы шаловливы, улыбаются Борису, ловят и перебрасывают друг другу отражение одинокого кавалера в японской одежде, располневшего, с лицом бледным и усталым.

От тех зеркал держится в эрмитаже Бориса искрящийся прохладный свет, как от

амстердамских грахтов.

По утрам Федор варит князю-боярину кофий. Спускается Борис к домочадцам лишь в час обеденный, за едой молчит, не желая ссоры в присутствии слуг. А княгине хоть бы что – язык без узды.

– Тебя галанские девки чем кормили? Улитками, я слыхала... Чего нос воротишь? Зато девки сладкие, поди-ка.

Молчит Борис, крепится. Князь Александр смотрит на мачеху с мольбой, глаза большие, страдающие. После обеда отец уводит его к себе, испытывает по наукам. Мальчик смышленный; учитель, обрусевший немец Гейнц, не зря хвалит.

– Некий человек купил гусей, уток и чирков. Гуси по три алтына...

– Тя-ать! – тянет сын. – Давай лучше солдат считать!

– Мизерикордия! Из птиц солдат будем делать? Офицер набрал рекрутов. Половину в пехоту...

Любимое занятие – крутить глобус. Какое хочешь государство может указать и столицу назовет.

– А есть земля, где никто не бывал?

– Есть.

– Почему никто? Скажи царю, пускай войско пошлет туда.

– Подрастешь, сам скажешь.

Нет, ждать не согласен.

– Вот прозевает... Шведы заберут же...

Как знать, может, преславный растет воин. Слава богу, княгиня не препятствует ему в ученье. По-немецки княжич говорит нескладно, зато смело, особенно на сюжет военный. Жаль, танцевать не умеет. А ведь пора, десятый год пошел.

Истошно трещат ступени, когда в светелку поднимается Авраам Лопухин – грузный, лысеющий. Увидев японский кафтан на Борисе, остолбенел и привыкнуть не может:

– Карнавал затеял, Иваныч?

– Обожди, будет карнавал!

Не в Москве, понятно, – тут не повернешься. В Санктпитебурхе, как поколотим шведа.

Аврашка нудит, держась за щеку, – проклятый зуб не дает житья.

– Бывает, и теля волка заедает...

– Петр Алексеич горазд рвать зубы, – дразнит Борис. – Съездил бы к нему.

– Благодарствую. Это ты у нас ездок. Поведай, чего наездили?

– В Карлсбаде вода живительна, а в Амстердаме от моей хвори помощи мало. В Аахене, на пути оттуда, стал на три недели, токмо зря. Вантажа от ихней воды не получил.

– Пей, не тужи! – осклабился Аврашка. – Пей воду, коли тебе за это жалованье идет!

Борис ответил бы резкостью, да прикусил язык. Кроме Лопухина присмотреть за домом некому. Родня, какая ни есть, и в Москве безвыездно.

– Сельцо с пустошью отдала... Для милого друга не жаль...

Боярин цедит слова, раскачиваясь, глаза, заплывшие жиром, колючи.

Игумен Донского монастыря не стар, молитвой не высушен... Бориса одно беспокоит – чрезмерная щедрость княгини к почтенной обители. Земли дарит, правда, из своего приданого, да от этого не легче.

– По пятам мне бегать за ней? Не слушает она все равно... Я ей не брат, не сват...

– Худо! – вздохнул Борис. – Службу я не брошу из-за нее...

– Не бросишь, – произнес Авраам. Куракину послышался в этих словах упрек.

Не ругаться же с ним, однако...

– Прости, Авраам. Взвалил я на тебя ношу, по-родственному...

– Снесу, костей не ломит... И ты не забывай родню. Навести племянника своего.

При этом Аврашка возвысил голос и поглядел испытующе. Похоже, ставит условие, требует ответной услуги.

– Оклемаюсь, схожу... До нас ли ему? У него своя кумпания.

Родня по матери царевичу ближе. Слышно, кумпания ведет себя шумно. Заводила в ней духовник наследника, Яков Игнатъев, начетчик и бражник. Алексей придумал всем клички,



подобно тому как было у государя на всепьянейшем соборе, – верно, зависть к отцовской силе не угасла. Зависть недобрая, ибо из кумпании проистекают, полнят Москву слухи, враждебные царю. Клички, слышно, дурацкие – Жибонда, Присыпка. Людей просвещенных при наследнике нет. Наставник Гюйсен, сменивший прошельгу Нейгебауэра, муж достойный, сведущий, но занимался с Алексеем недолго.

– Числа одолел ли? – спросил Борис. – Мой четыре действия практикует.

– Вот ты и проверь. Он тебе скажет. Уважает тебя... Скажет, как его Меншиков за волосы таскал. Мне там часто бывать не след.

– Отчего?

– Я ему не заступник. Какой прок ему от опального?

– Ты сам себя в опалу завел, – отозвался Борис, наливая гостю анисовой.

Выпили, помолчали.

– В Амстердаме будто остерия есть, – заговорил Лопухин, жуя огурец и брызгаясь. – Правда ли, нет ли... Девки кушанье подают голые. Пантуфли и убор на голове, а так – ни единой нитки на теле.

– Я не пользовался. Прилипнет мерзость – не отмоешь.

– Праведный ты человек, Борис.

Встал, громко рыгнул, начал прощаться. Потом, с порога:

– Сходи к царевичу, сходи! У него дело к тебе.

– Какое?

– От него узнаешь. Я не мешаюсь.

Алексею скоро семнадцать. Отпущенный из войска на время, продолжать образование, царевич живет осенью в кремлевских своих покоях.

Дворец обезлюдел: царь наезжает редко, на крыльце не толкуются, как встарь, челобитчики, разносчики пирогов и сластей. Царицына часть заколочена, скарб вывезен, само имя Евдокии под запретом. Коли поминают ее, то шепотом – прежние ее любимцы, старцы и старицы, которые нет-нет да и проскользнут во дворец на поклон к наследнику престола.

Борис поднимался по лестнице, морщась, – пахло чем-то кислым. Экое запустение! Дорожка, накинута на ступени, протерта до дыр. Где-то передвигают тяжелое, бесстыдно сквернословят.

Апартаменты царевича наверху, окнами на Ивана Великого. Собор шлет свои звоны, шлет блеск и жар золоченых маковок в комнату, обитую темной тафтой, с полудюжиной икон в красном углу. Алексей сидит на ковре по-турецки, среди развала книг, бумаг, закладок. Ветер пузырит расстегнутую рубаху.

Борис поклонился, сел рядом, велел камердинеру закрыть окно. Пожурил племянника – на дворе осень, долго ли простудиться.

Алексей, должно быть, не спал ночь, лицом бледен. Пухлые кроваво-яркие губы и воспаленные запавшие глаза вычертились резко.

– Не обессудь, князь, угостить нечем... Алчущие набежали, присосались...

Говорить силится басом и гнусавит, подражая кому-то.

– Нужды нет, ваше высочество, – ответил Борис. – Лопухин известил меня...

Царевич перебил, нетерпеливо дернувшись, и движением этим словно передразнил отца.

– Боярин сказывал, ты к немцам поедешь... Для меня... Царю, вишь, надо, чтоб я оженился... Ему, вишь, мало веселья...

Последние слова он, распалившись, выкрикнул с ненавистью, смутившей Бориса.

– Полно, батюшка, – сказал он мягко. – То не ради веселья. А я тут, как бог свят, ни при чем.

– Лопухин сказывал...

Ох, Аврашка! От тебя, значит, пошло... А не признался... Взбаламутил царевича, а сам в кусты – я, мол, не касаюсь...

– Дивлюсь, с чего взял Лопухин. С хвоста сорочьего.

Однако женитьба – предприятие неплохое. Он, Куракин, нижайший слуга его высочества, с превеликим удовольствием погулял бы на свадьбе, принес бы поздравления из глубины сердца. В Европе немало принцесс, пригожих собой и просвещенных. За честь сочтут... И

неволять царь не станет, даст выбрать, какую похочет царевич.

Говоря так, Борис положил подарок, который до сей минуты был крепко зажат под мышкой, – завернутую в бархат саблю, купленную в Амстердаме за двадцать гульденов, доброй стали, с заморскими камнями на ножнах.

Момент, однако, выбрал неудачно. Думал утешить, а огорчил еще пуще.

– Змея, – произнес Алексей, вытащив кривой клинок. – Змея кровью питается.

Погасил сиянье металла рывком, с отвращением.

– Кровью злого если – бог возрадуется... Побереги, свадебный пирог разрежешь!

Шуткой попытался перебороть напряжение, но слова летели в пустоту. Царевич шарил по ковру и, казалось, забыл о присутствии Куракина.

– Гляди, князь, – Алексей, лизнув палец, откидывал хрусткие страницы. – Константин Осьмой, владыка христианский, не велел жениться на чужих.

Борис возразил – император Константин в том не указ. Брать жен из чужих дворов давно в обычае, и союзы они благодетельны. Женился же царь Иван, дед Грозного, на греческой царевне!

– Гречанка нашей веры, – не сдавался Алексей. – Царь немку мне навяжет.

– Окрестим, батюшка, окрестим, – убеждал Борис, стараясь придать голосу ласковость. – И-их! Не вспомнишь своего Константина! Отведешь сладости амора...

Не помогло и это. Противна царевичу иноземка. В конце концов Борис уступил. Он передаст царю сказанное здесь. Попросит не спешить со свадьбой, хотя бы...

– Немки мажутся невесть чем... Тьфу! В постелю с ней... Все равно как с лягушкой...

Сирота, злополучный сирота при живых родителях... Брака страшится, бедняга, словно казни. Прискорбно – нет у наследника согласия с царем. Книги вон читает, да не те... На немецком языке, на латинском, а обрадовать отца нечем. Константин, Иоанн Златоуст – синклит церковный созвал, чтобы осудить царя... И скрытен же! Насчет Меншикова молчит, обиды растит в себе.

Выспрашивать Борис почел излишним. Ушел из дворца с болью в душе.

На соборной паперти богомольцы обступили вертлявого дьячка. Завидев майора от гвардии, он умолк, проводил офицера взглядом, задрал бородачку.

Вызов из Главной квартиры прибыл в конце ноября, прекратил надоевшее Борису безделье.

Снег падал обильно, придел Москву, забелил зловещую черноту рвов, вырытых у стен Кремля на случай, если Карл двинется из Саксонии в Россию. Пушки на Посольском приказе в снежных чехлах. Сюртук Шафирова расстегнут, барон ругает истопников – шпарят, сил нет терпеть. Охлаждает себя квасом любимым, малиновым, со льда.

– Я чаю, в Жолкве тебя долго не продержат. Завидую, отпуск тебе от зимы.

Борис поперхнулся сладким напитком. Шафиров говорит, пухлый подбородок колышется, но доходят до сознания Бориса слова без всякой связи – престол папы, латынь, вдова...

Думалось, Италия в прошлом – навеки, невозвратно. И вдруг явилась она, из воздуха возникла, из снегопада за окном. Смотрит глазами Франчески, раскинула смуглые руки... Волна волос Франчески, пахнущая лавандой...

– Метил Долгоруков Василий, знатный латинист. Все же государь тебя предпочел. Матвееву скажи спасибо...

Истинно, честь майору от гвардии высокая. И труд предстоит немалый. Войти в Ватикан, в сонм кардиналов. Двор, в коем русские вращаться не привыкли. Двор, намерения коего для иноверцев вящей окружены тайной. Сколь почетна миссия, столь и опасна – долго ли поскользнуться. Шутка ли, уговорить папу!

– Август был битый король, а все же король... Ныне, сам разумеешь...

Ныне изменник пал ниц перед Карлом, постыдно капитулировал. Корону польскую утратил; сохранил, по милости шведа, лишь Саксонию.

– Папа своего слова не сказал. Ждем вот, кого обрадует, нас или Карла. Чуешь, Борис Иваныч?

Объяснять Борису незачем. На троне польском неприятель, Станислав Лещинский. Посажен шведами незаконно, помимо сейма, так как приглянулся Карлу. Некоторыми суверенами сей наглый фаворит признан.

– Слышно, из Варшавы, из Парижа съехались ходатаи. Папе ступить не дают.

Поди-ка уже выпросили признание для Станислава. Поспеешь к шапочному разбору. Раньше бы... А дело, сомненья нет, важнейшее. Откажет папа в благословении – большой урон нанесет Станиславу и шведам. Дай-то бог!

– Допустит ли к себе? Там кардиналы обхаживают... Меня и слушать не захочет, Петр Павлович, – сказал Куракин тревожно, – туфлю ведь заставят целовать.

– Эка беда! Поцелуешь.

«Не стану», – решил князь про себя. Ощутил туфлю губами, шершавую, пыльную.

– Одинок в Риме не будешь. Лещинский посажен лютеранами – этого не выпускай из ума. Карл, вломившись в Саксонию, обеспокоил цесаря, а значит, и папу. Пугай его, пугай шведами! Лиц, нашему государю не враждебных, найдешь. Помогут тебе против партии Станислава. Еще королева мутит воду. Жива старуха...

– Сколько ей?

– Седьмой десяток.

Про Марию-Казимиру, обольстительную Марысю, покорившую могучего ратоборца Яна Собесского, Борис наслышан. Она-то какого чаёт профита в политике?

– Встретишь кардинала Ланьяско, узнаешь, чем дышит. Он от саксонца...

– Всякой твари по паре.

– Не съедят, ты сам не плох. Поедешь с лицом открытым, со своим именем-званием. Прибедняться нам негоже, особливо после Калиша. Данилычу не напрасно дали княжество, – оправдал, лихо оправдал.

Стекло треснуло в куракинской светелке – такой пальбой ознаменовала Москва славное дело. Виктория хоть и не решающая, но весьма значительная. Шесть тысяч убитых, если точна реляция. Приврал Алекшашка, наверняка приврал, без этого не бывает. Все равно успех – со времен Нарвы важнейший. И тут, вовсе некстати, вспомнились Борису просящие глаза царевича, его невысказанная жалоба.

– Князь-то князь... Хоть сто раз князь, колотить наследника престола не подобает.

– Боже тебя упаси, – Шафиров привстал даже, – боже тебя упаси влезать! Не тебе заступаться. Не тебе, Куракин.

Пригрозил жирным пальцем, вытер мгновенно вспотевший лоб. Засим последовали еще советы – толковые, аптекарски точно взвешенные. И под конец:

– Человек твой в Риме неуместен будет. Сей итальянец не для Италии. Машкера изношена. К тому же ты не Лука более. Год-другой дома посидит твой итальянец.

Жаль расставаться с Федькой, смышленным азовцем. Но возразить Шафирову нечем.

Кончилась пора метаморфоз для господина, кончилась и для холопа. Быть ему в Москве, в куракинском доме, однако не простым слугой, а в градусе управителя.

## 2

Марыся впервые увидела Польшу в 1645 году, четырех лет от роду, из кареты, начавшей путь в Париже. Тогда никто не взялся бы предречь ей корону. Стать любимицей королевы, оказаться в ее свите – и то сказочное счастье для девочки незнатного рода.

Королевой была Мария Гонзаго, вышедшая замуж за польского короля Владислава. В ее жилах, как говорили, бушует огненная смесь всех кровей Европы.

Отцом Марыси был капитан гвардии Анри д'Аркион, беспутный красавчик, кутила и карточный игрок, пренебрегавший службой, но весьма отличавшийся на поприще амурном. Последнее достоинство было, как утверждают, замечено Марией. Взяв девочку на воспитание, она щедро наградила капитана, по уши залезшего в долги.

Хорошенькая, бойкая Марыся росла в Варшаве под эгидой красавицы королевы, искусной в интригах и в умении обольщать. Росла, пока не стала опасна для покровительницы. Марысе не исполнилось шестнадцати, когда шляхтич, посланный магнатом Замойским, преподнес ей

крест с пятью большими алмазами – подарок, который прилично делать лишь невесте.

От Замойского пахло псами и лошадьми; заядлый охотник, он проводил почти все время в фамильном имении, в лесной глуши, отнюдь не соблазненной Марысю. Но брак был предрешен ревнивой королевой. Молодая графиня, оросив дворец слезами, удалилась в Замостье. Разбуженная рано после первой ночи, она понеслась вслед за супругом травить кабана.

Наезжать в Варшаву ей, впрочем, не запретили. Год от года отлучки из имения учащались.

Однажды на балу Марыся обнаружила исчезновение носового платка. Виновник не пытался скрыться. Упав на колени, он вымолил прощение. Он отправляется на войну, платок прекрасной дамы послужит ему талисманом. Так, по утверждению молвы, началось сближение Марыси с Яном Собесским.

История отсчитывает двадцать с лишним лет до сражения под Веной. Собесский – храбрый, подающий надежды воин, мастер кавалерийских маневров, внезапных атак. Он ловок и в светской жизни, этот пылкий и осторожный обожатель. Сплетня обходит влюбленных. Недруги не проникают в тайну их встреч, их переписки.

«Королева моего сердца», «Мое сердце, моя душа, моя вселенная...», «Тысячи палачей, терзающих меня, – вот что значит одна минута разлуки с тобой».

Ян пишет часто – в походной палатке, в корчме или сидя в седле. Он нередко пользуется шифром. Потомки будут искать ключ, разгадывать псевдонимы, заимствованные из популярных романов, из мифов. Он – Селадон, Сильвандер, Феникс, она – Астрейя, Диана, Клелия, Кассандра, Аврора.

«Бог дал победу и славу народу нашему, какой никогда не бывало. Противник, устлав трупами апроши, поле, стоянку обоза, бежит с конфузом».

Это – начало длинного письма из лагеря под Веной. Так отовсюду, следом за донесением официальным – душевное излияние Марысе. Историк, читая письма, будет дышать воздухом семнадцатого века. Знатоки литературы зачислят их в классику эпистолярного жанра.

Королева сердца стала королевой страны. Она немало потрудились, чтобы расчистить победителю турок путь к престолу.

Перед любопытным потомком предстанут две Марыси. Одна – в письмах влюбленного, подобная Астрее, созданной французом Д'Юрфе. Другая – подлинная, обрисованная беспристрастным хроникером. Марыся, которая после смерти Собесского захватила королевские регалии, чтобы передать их сыну. Скликнула солдат, надеясь силой сохранить королевский дворец для Собесских.

Избрание Августа расстроило ее планы. Марыся изгнана из Варшавы, но титул королевы при ней, так же как отраженная слава полководца Яна Собесского. Перед ней склоняется Рим. Папа Иннокентий, старый ее почитатель, бывший когда-то нунцием в Польше, устраивает в честь Марыси невиданные торжества. Ей предоставлен дворец Одескальки, один из лучших в папской столице. Польский белый орел простер крылья над его фасадом, над розовым сиянием мраморных пилястров. И на черной униформе внушительного отряда гвардейцев.

Некогда в том же дворце нашла убежище Христина шведская, носившаяся по Риму в костюме амазонки с эскортом пьяных гуляк. Для Марыси возраст озорных проделок миновал, к тому же она расчетлива. Ей надо прослыть ревностной католичкой. На глазах у толпы она вползает на коленях к храму святой Марии Латеранской по лестнице из четырехсот ступеней, целуя каждую. Это ли не свидетельство благочестия!

Рим вступает в новое столетие с новым папой на престоле, Климентом Одиннадцатым. Необходимо и его сделать союзником в политической игре.

Каковы нравы в стенах дворца, не так уж важно, лишь бы не подавать соблазна верующим. На интимных вечерах сыновья Марыси и их друзья развлекаются в обществе самых дорогих куртизанок. Запретное для народа зрелище – комедия – разрешено для королевы и ее гостей.

Ей шестьдесят с лишним лет, но честолюбие ее не угасло. Поприще интриги – естественное для женщины, как военное для мужчины. Интрига – призвание Марыси, ее стихия. Ее беспутный отец не сделал карьеры в Париже, за что Марыся люто возненавидела Людовика Четырнадцатого и поощряла союз Собесского с цесарем. Она вызвала

девятистолетнего бонвивана-родителя в Рим, добилась для него кардинальской мантии. Папу, кардиналов она привлекает для главной своей цели – возвести на польский трон одного из своих сыновей, – назло Августу, назло царю Петру.

В 1702 году, когда шведы завладели Варшавой, момент казался подходящим. Марыся тайно снеслась с Карлом. Собесский – громкое имя. Король ответил согласием.

Корону во что бы то ни стало – пускай из рук завоевателя! Вероятно, она досталась бы Собесскому, но помешал Август. Александр, назначенный в короли, и его брат Константин, схваченные на границе саксонскими уланами, очутились в тюрьме.

Марыся, с которой теперь, пять лет спустя, собирается вступить в борьбу Куракин, – ярая сторонница Станислава. Оба сына при ней. Непохоже, чтобы они пустились снова в какую-либо авантюру. В палатце Одескалки весело, как никогда, там ночи напролет танцуют, играют в карты. Впрочем, некоторые из приглашенных – римские патриции, иностранные дипломаты – незаметно удаляются в личные покои королевы для конфиденциальной беседы...

### 3

«Ехал на почте через Киев аж до самой Жолквы, где приехав получил великую милость царского величества и от князя Меншикова и от всех прочих министров, что николи того не видал...»

Виктория под Калишем не затмила его, Бориса Куракина, бескровный, но немаловажный для ведения войны успех. Уже обещано повышение в чине. И хочется верить, что гороскоп не ошибается, предрекая и в наступившем 1707 году доброе управление светил.

Веселая новогодняя вьюга обвеваает Жолкву – дальнее предместье Львова, скопление украинских хат вокруг родового замка Жолкевских, покинутого владельцем. Сумрачный замок обряжен как бы для маскарада – снег свисает с карнизов, шапками одел башни.

– На святках насыпало, стало быть, до весны из сугробов не вылезем, – говорит Филька Огарков, дворовый человек, взятый вместо Губастова.

– Чему, дурак, радуешься?

– Хлеба взойдут шибко, князь-боярин.

– На наш каравай шведы рты разинули. Не упустить бы каравай-то, еловая башка!

Напрасно Борис ожидал, что под Калишем начат разгром неприятеля окончательный. Эх, не успели управиться! А в снегу воинская Фортуна скована. Фильке невдомек, войны он не видал, в солдатах не хаживал.

– Зимой бы и воевать, – ладит Филька. – Летом не до того, работы много.

Князь-боярин смеется.

– Ну, рассудил!

– Так правда же! Летом пускай бы дворяне одни дрались. Мужик летом некогда.

Вот оно как с мужичьем – примешься обтесывать, получишь дерзость. Борис выбрал Фильку из дворовых за медвежью силу, за послушание. Не было ведь, не было раньше этой лукавой ухмылки под белесыми бровями Фильки, стоероса, деревенщины.

– Сходи, посоветуй царю! – бурчит князь-боярин. – Поделись своей мудростью!

– И скажу.

– Не побоишься?

– Нет, вот те крест! – божится Филька.

Однако онемел, в каменный столб превратился Филька, когда в хату, стряхивая снежную пыль на земляной пол, вошел государь собственной персоной, а следом, с бутылкой в руке, светлейший Меншиков.

– Во Иордани крещаясь, – выпевал Алексашка, паясничая, – вином упиваясь.

Помахал штофом, как кадиллом, выхватил пробку зубами, приказал:

– Нагни голову, князь!

– Крестим тебя, – гроыхнул Петр, смеясь. – Полуполковник народился.

Поздравить пришли... Борис захлебывался от радости. Меншиков кропил его, вино струйками стекало по щекам, по подбородку.

– Хватит, – сказал царь, отнял бутылку. – Причастимся, братие! Закуска твоя, Бориска!

По знаку князя-боярина Филька ринулся в кладовую, доставил на подносе все, что нашарил, – остаток окорока, кружок жирной львовской колбасы с чесноком, посудину моченых яблок. Потом, поймав взгляд господина, повернулся, чтобы уйти.

– Постой! – Царь шагнул к Фильке, пощупал чугунной твердости плечи. – Хорош, хорош, Самсонице! Ну-ка разожми!

Филька бледнел от волнения, от натуги – не разжал царский кулак.

– Неважноецкое твое хозяйство, – морщился, поводит носом Меншиков. – Этим не отделаешься, князь. Придем в гости, херц мой? Назавтра, а?

Царь кивнул, сбросил на лавку свой суконный армейский плащ. Поверх него лег Алексашкин, губернаторский, подбитый куницей, с воротником из соболя.

Допили крепкую романею скоро, послали Фильку за добавкой. Светлейший, закатив глаза сладострастно, заказывал застолье на двадцать человек – фазаны, икру, поросят под хреном молочных.

Эка, разошелся! Спасибо, царь остановил.

– Разоришь Мышелова.

Внезапно взгляд Петра, обращенный на Бориса, словно обрел тяжесть.

– Ты что же, кот-котофей, не привез мне поклон от сына? Говорят, был наверху, у Алексея. Говорят люди... А ты – ни гугу.

– Я не отпираюсь, государь, – ответил Борис. – Не смел беспокоить тебя.

Сказал не всю правду. Для беседы наедине, о предмете столь деликатном, случая не представлялось. Но Борис и не искал случая.

– Сам изволишь знать, царевич теперь доброго попечения лишен. За отъездом Гюйсена... Поп Игнатъев у его высочества первый любезник, в кумпании набольший...

– Поперек лавки дитя не уложишь, – вставил Меншиков. – Сечь дитя поздно.

«Ты тем не менее лупил наследника», – подумал Борис, но сказал другое:

– Возраст жениховский... Толковали мы насчет этого... Не надо, говорит, мне жены чужой веры. Известно, кто настроил. Передай, говорит, батюшке – не хочу иноземку! Поучения мне читал к тому, из книг. Кто-то наплел, будто меня посылают невесту сватать.

– Ему не о том должно помышлять, – и Петр резко стукнул по столу костяшками пальцев. – Отчего дурь в мозгах? От праздности. Вот ползает по контрэскарпам... Я фортификацию Москвы с него спрошу, не с кого иного.

– Не жалей чадо, – поддакнул Алексашка. – Службу забросил, зарылся в свои четьи минеи... Ничего, херц мой, «отче наш» и то позабудет, как сунем в постель деву-красоту. Хучь бы басурманку... Штаны сумеет с нее снять.

– Что ты мелешь? – бросил царь. – Какие штаны?

Не турчанка она, немецкая принцесса из владетельного дома вольфенбюттельского. Состоит в родстве с цесарем, стало быть, невеста из числа лучших в Европе.

– Может, тебе и ехать сватом, – прибавил звездный брат. – Ну, да не завтра же...

И тут Борис осмелел.

– Вожжались мы с цесарем, – произнес он жестко. – Вожжались, а профиту – кукиш.

Рывком отодвинул оловянный стакан, расплескав вино, – уж коли решил снять бремя с души, так не спьяна, а в здравом уме. Заговорил быстро, силясь не утратить запал, глядя не в глаза звездному брату, а в грудь, обтянутую красным Преображенским сукном.

– Почто нам, Петр Алексеич?.. На все стороны кланяемся... Лорду Мальбруку золотых гор наобещали, а он, поди, с Карлом спелся. Лордам и так на море тесно. Английский ветер не в наши паруса... И австрийский без пользы. Под Азовом сидели, извелили цесарскую дружбу... Принцесс даром не отдадут, приданое и от жениха требуется. А много ли мы стоим сейчас? Ты прости, Александр Данилыч, виктория под Калишем славная, да ведь Карл в Саксонии, поди, и не поперхнулся...

У светлейшего весело, льдисто блестели белки глаз.

– Вот и я говорю, херценскинд... Положим Карла на лопатки, любую невесту выберем Алексею.

Борис перевел взгляд на звездного брата.

– Свадьба не завтра, – Петр тяжело навалился на стол. – Припасем приданое.

– Времени-то упущено...

– Вижу, куда клонишь, – кинул царь раздраженно. – Мешкаем, позорим себя... Слыхал. Так что? В полк тебя отправить? Коли ты дипломатию считаешь за ненужность...

Тут опять выручил Алексашка:

– Полно, друг сердешный, одумается князь! Пошли, покатаемся!

– Постой, Данилыч! – произнес царь, смягчившись. – Вишь, и он туда же... Того не понимает, что война сия не равна прочим, проигрыш в ней смертелен. Дадим баталию наспех, за час один все старания пропали... Всей войны старания.

Обеими руками сдвинул стакан, сплющил податливое олово.

– Князь кланяться устал. Ничего, и цесарю поклонись, спина не переломится. Не друг он нам? Не враг – и то слава богу... Забыл ты, забыл Азов. Султан нам в любой час пакость может преподнести. Советуешь пренебрегать цесарем? Турки вон держат Толстого в крепости, не выпускают... Считаешь, два противника у нас – Карл на поле, султан в засаде. А к цесарю ближайший двор – римский, любезность им окажем равную. Хорошо бы нашему послу еще викторию в придачу, штандарт победный, слов нет, хорошо... А ты без него сумей, коли есть разуменье. Дорожку ему, вишь, не укатили...

– Ли-ибер херц! – простонал Меншиков, заметив, что царь опять начал гневаться. – Выйдем на снежок! Сидим, сидим, кровь сохнет.

– Верно, Данилыч, усохла, – Петр встал. – Айда, Бориска! Закис ты тут.

Обнял, повел к двери. Меншиков, фаворит, какого гистория не знала, словно сдунул гнев с царя.

Вьюга отшумела, снег плотно одел истоптанный, изрезанный колесами замковый холм. Офицеры гвардии уже затеяли зимнюю забаву. Возня, смех с утра дотемна.

Семеновский поручик уступил санки царю, Петр вскочил, раскинул руки.

– Подтолкни!

Поехал стоя, потом спрыгнул, понесло к сугробу. В снегу мельтешили синие кафтаны. Царь, хохоча, принялся растаскивать борющихся, одного за ногу, другого за шиворот.

Меншиков сел в сани с Борисом.

– На тебя Василий Долгоруков наклепал, – шепнул светлейший. – Злом дышит, не его в Рим наряжают, латинщика ученого. Прознал, что ты виделся с царевичем... Боярин завидующий, не так горазд служить, как яму копать ближнему.

– Спасибо, – вымолвил Борис, смущенный неожиданной услугой.

#### 4

«Тут же в Жолкве был генеральный совет, давать ли с неприятелем баталии в Польше или при своих границах, где положено, чтобы в Польше не давать: понеже ежели б какое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду; и для того положено дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет; а в Польше на переправах и партиями, так же оголожением провианта и фуража, томить неприятеля, к чему и польские сенаторы многие на том согласились».

Так в «Журнале» царя записано решение, предопределившее викторию под Полтавой.

Борис Куракин на советы в замок не зван. Он не был свидетелем тому, как упорно, темнея лицом, настаивал на своем мнении Петр. Как подобострастно, шумно поддерживал царя Михал Вишневецкий – вскакивал с места, откидывался, дергал себя за ус, весьма собой довольный. Как светлейший Меншиков улыбкой, прибауткой разбивал тягостный дух, то и дело посещавший собрание.

А если бы и был приглашен полуполковник Куракин – что мог бы высказать, кроме сожаления об упущенном времени?

С нетерпеливого княжеского пера изливалось:

«Ордин был царского величества, чтобы отнюдь баталию не давать. А как другие рассуждаючи, – по тощоте людей шведов, ежели бы дана баталия, то бы, конечно, викторию московские могли иметь».

Теперь о какой тощоте речь! Шведы в Саксонии отъедаются, пополняют казну золотыми

талерами и весной выступят в поход. Уклоняемся от баталии в Польше, стало быть, впускаем неприятеля к себе. Польских алеатов вокруг Вишневецкого осталась горстка, да и тот надолго ли верен? На кого ныне, в трудную пору, положиться? Август, слышно, просит у царя прощения, дескать, вынужден был подписать мир с Карлом в Альтранштадте, однако в надежде обмануть его и с российской помощью из Саксонии выдворить. Но из веры сей саксонский силач пустопорожний вышел. А Станислав, болонский студент, парижский повеса, коему случай подарил трон, набрался гонора, напыжился, возомнил себя победоносным монархом. В Варшаве с помпой принят посол Франции, шведы обхаживают его в чайнии денежного займа.

Из замка Жолкевских скачут курьеры, обдавая снежками Бориса, совершающего предписанный доктором Бехером моцион. Слышно, гетману Мазепе приказано к весне, по самой первой траве, встать под Киевом. Москву велено сделать военным лагерем, Кремль охватить не одним, а двумя рядами контрэскарпов, от Неглинной до Москвы-реки соорудить повсюду преграды для врага, на всех возвышенностях водрузить пушки. Мало того – к трудам ратным привлечены Можайск, Серпухов, монастырь Троицы-Сергия.

Неприятель с кормов саксонских подастся на украинские. А наш солдат запивает лежалый сухарь водой. И то не всегда он в наличности – сухарь.

– Вседержитель не допустит победы лютеран, – твердит Элиас Броджио. – Твердость царских воинов поистине святая. Я готов молиться на них, мой принц.

Цесарский посол часто в отлучке. Прикатил из Львова, притворно жалуется – никогда не падало на его хрупкие плечи столько забот. Однако плечи округлились, да и брюшко тоже.

– Смотрите, смотрите, принц, как мило резвятся воины! Не есть ли это проявление душевной чистоты!

Горку расцвелили красные кафтаны преображенцев. Короткая оттепель сменилась морозцем, салазки, заезжавшие на наст, проваливались с хрустом.

– Помяните мое слово, принц, для лютеран эта зима – последняя. Карл сам просится в руки.

Он, Броджио, приготовил альянс царя и императора. Карл не успеет двинуться в наступление – ловушка захлопнется. Шведы будут заперты в Саксонии, заперты с двух сторон. Нужды нет, что война на западе не кончена – сил у императора хватит, был бы только обеспечен венгерский тыл. Для усмирения мятежного Ракоци хватит сорока тысяч русских солдат. Царь отнесся к просьбе Иосифа благосклонно.

– Не угодно ли? – Борис подтолкнул иезуиту санки. – Радость чистых душ и нам не чужда.

– Охотно, охотно, – ответил Броджио, бросив на принца быстрый взгляд. – Снег – моя стихия. Я родился среди белых вершин южного Тироля.

Садясь, он неловко подбирает полы теплого плаща, сует под себя. Хвала богу, отвлекся, не повторит сотый раз сказанное.

Цесарь присутствием шведов в Саксонии обеспокоен, оттого и желает заручиться дружбой царя. Отвергать добрую коришпонденцию невыгодно. Оба суверена сим прожектом альянса друг друга приманивают, испытывают.

Ох, доля дипломата! Волей-неволей вступай в игру, делай вид, что его царское величество готов предать князя Ракоци, благородного витязя! Поддакивай лукавому иезуиту, не выказывай стыда и досады!

– Суровый климат закалил характер русских, – рассуждает Броджио, трогаясь с места. – Догоняйте, принц!

Борис удерживает ногой бег своих салазок – Броджио отвык от своей стихии, едет осторожно. Однако опасность проглядел, с горбовины скользнул в яму. Борис наблюдал, как разматывается зеленый атласный клубок, выпрастывая руки и ноги.

– Память о Жолкве, – сказал он, отряхиваясь, – будет нам приятна в раскаленном Риме.

Пошли в гору, волоча санки.

– Впрочем, во дворце Сагрипанти есть чем освежиться, дорогой принц. Фраскати из своей фактории... Ручаюсь, вы не пробовали настоящего фраскати. Это лучшее вино римской Кампании.

Броджио ликует – он счастлив, безмерно счастлив сопутствовать принцу в Вечном городе, облегчить ему задачу с помощью влиятельных знакомцев и прежде всего Сагрипанти, знатного



родственника, могущественного кардинала. О, принц не заблудится в столице, полной соблазнов и интриг, – с ним будет верный чичероне!

Пропади он пропадом! И в Риме придется длить игру, надоевшую Борису до одури.

Хлопот и так выше головы, а тут еще Броджио... Не заплакать бы от его помощи... Правда, цесарский посол царем обнадужен всячески. Иезуиты в Москве – в новом храме и в школе – справили новоселье, и никто их не утеснит. И дорога в Китай им отныне свободна. Борис это приятство царского величества объявит папе, а Броджио взялся подтвердить, чтобы никакие сомнения первосвященника не посещали.

Как будто нет у иезуита резона ссорить папу с царем, искать пользы Станиславу...

Из Львова сообщают: Броджио виделся там с ксендзом Заленским, а он интриган известный, пытался перетянуть к Станиславу гетмана Мазепу. В последние дни иезуит пребывает в ажитации особенной. Носится по городам, по обителям, шепчется с магнатами, с чинами церковными.

Верно, жарко придется в Риме. На театре войны решительной баталии нет, а ему, дипломату, она вскоре предстоит.

## 5

Броджио докладывал:

«Я не преминул повести дело так, чтобы светлейший царь тотчас отправил в Рим московского посла, что царь и сделал еще при мне и приказал князю Куракину в течение недели приготовиться в дорогу... Он опередит меня, заедет в Венецию и пробудет там некоторое время. Я усердно просил его следовать за мною в Рим и покончить там наши дела».

Нужды нет, что демарш Куракина назначен давно – так звучит внушительнее. Не грех придать себе побольше веса в глазах начальников.

Понятно, самое важное бумаге не доверено. Даже зашифрованные страницы донесений не откроют, например, содержания беседы с Заленским, беседы трудной, заронившей смутную тревогу...

Встретились на площади у иезуитского собора. Капризная львовская погода угостила сырой пургой. Новая колокольня – самая высокая в городе – тонула во мгле. Красные вмятины от шведских ядер исчезли, залепленные снегом.

– Жестокий удел, – вздохнул Броджио. – Появиться на свет с тем, чтобы тотчас принять удары...

Когда Львов осадили войска Карла, со звонницы только что сняли леса.

– Людская злоба неиссякаема, – отозвался Заленский. – Но представьте, брат мой, нашлись католики, которые злорадствовали, говоря, – чересчур вознеслись иезуиты, наконец-то сбито немного спеси!

– От глупости, увы, нет лекарства, – сказал Броджио резко.

Заленский поистине загордился, если не нашел другого обращения к послу императора, как «брат». Провинциальный попик, ставший всего-навсего ректором коллегии...

Месса только что кончилась, внутренность храма согрелась человеческим теплом.

– Я уезжаю в Рим, – сказал Броджио. – Быть может, его святейшество задержит меня, – прибавил он веско, дабы поставить невежу на место.

Свечное сияние текло в полутьме потоками. Назойливо следила за беседой надменная, носатая старуха в рогатом чепце, беспокойно тарачил недетские, печальные глаза младенец. Элиасу никогда не нравился польский обычай – уснащать церковные стены портретами умерших.

Круглое лицо толстяка Заленского масляно лоснилось.

– Следовательно, Мазепу вы поручаете всецело мне, если я вас правильно понял.

– Да, всецело.

Подслеповатые глаза ректора блаженно прищурились. Теперь совершенно очевидно – отъезд начальника его радует.

– Наше дело близится к завершению, – сказал Броджио сухо, наставительно. – Постарайтесь обращать на себя поменьше внимания.

– Брат рассуждает мудро, – ответил ректор смиренно. – Вообще, я считаю, что вокруг гетмана чрезмерно много сует наших.

– Кого вы имеете в виду?

– Номина сунт одиоза, – произнес Заленский по-латыни.

– Оставьте в покое Цицерона! В данной ситуации скрывать имена нелепо. Назову вам княгиню Дульскую, с которой вас так часто видят. Ее ревность к гетману смешна и опасна.

– О, вы несправедливы к ней, брат! Она умеет подавлять низменные чувства.

– Все равно. Сейчас целесообразнее забирать дело в мужские руки.

– Осмелюсь возразить вам, – голос Заленского внезапно обрел твердость. – Устранить княгиню нельзя. Вы знаете, она была в Варшаве...

– С вашего ведома?

– Вельможная пани не спрашивала позволения. А вы находились при царской особе, и я...

– Хорошо, хорошо... Что же она привезла?

– Письмо Станислава. К сожалению, княгиня не соблаговолила показать мне...

– Разделяю ваше сожаление, – произнес Броджио и стукнул каблуком о каменный пол. Щелчок прозвучал пушечно, и иезуит вздрогнул.

– Дивная акустика, – восхитился Заленский.

Лицо его рдело нестерпимо, вбирая все потоки свечного света. А старуха в рогатом чепце, – Броджио все время ощущает ее присутствие, – словно шевелит тонкими, злыми губами...

– Содержание письма мне известно, дорогой брат, – услышал Броджио. – Из варшавского источника.

Заленский сделал паузу, чтобы насладиться эффектом.

– Король собственноручно, подписью подтверждает обещанное прежде, через третьих лиц, – зашептал он. – Речь Посполитая гарантирует Мазепе княжество Черниговское и господство над Украиной в качестве коронного гетмана. Король выражает желание, чтобы казак до весны порвал с царем.

– До весны? Слишком рано.

– Мазепа придерживается того же мнения. В Варшаве получен его ответ. Он ссылается на то, что полки разбросаны, что между полковниками нет согласия. Нет и в самой Польше. Гетман рекомендует королю сперва привести к единству Речь Посполитую.

– Браво, казак!

Прихожанин, зашедший помолиться, придержал шаг, оглянулся. Броджио понизил голос:

– Это как раз то, что нам нужно. Казак достаточно осмотрителен.

– Послушайте, досточтимый брат, как чубатый водит за нос своего генерального писаря! Письмо короля отправлено в Киев, игуменье. Будто бы для передачи москалям. Гетман продиктовал донесение канцлеру Головкину, мечет против Станислава молнии.

Действительно, хитрости его не учить, Мазепу. Броджио почти простил ректору назойливое самодовольство. Сведения ценные. Разумеется, мать гетмана, игуменья Петерского монастыря, глубоко запрятала документы. Москалям они вряд ли когда-нибудь достанутся.

– Это не все, падре. В варшавском пакете была еще записка княгини. Казак сжег ее в присутствии Орлика, воскликнув: «Проклятая баба меня погубит!»

– Она надоела ему, мне кажется.

– Не думаю. Дульская нам полезна, брат. Она была на рауте в Жолкве, сидела рядом с Шереметевым. Меншиков при ней отозвался весьма нелестно о гетмане. Я предложил немедленно сообщить ему. Вы понимаете, мне не следует учащать свои визиты к казаку. Мы условились не встречаться без чрезвычайной надобности.

...Старуха в черном чепце с рогами выступает из зыбкого мрака, из могилы, повторяет каждое слово. Сгинь, проклятая!

Чему он так радуется, Заленский? Упивается своим ректорством? Улыбка словно приклеена. Он себе на уме, ликующий боров. Ему повезло – посол императора, привязанный к царскому двору, не мог поспеть везде... Толстяк сблизился с Мазепой, сделался другом Дульской, а значит, и Вишневецких.

На мгновение Броджио перестал слышать стремительный шепот ректора.

– Благословите, брат мой! Казак посылает меня в Саксонию, посмотреть на шведское войско. Заглянуть в зубы союзнику, – и Заленский затрясся от сдавленного смеха.

– Не возражаю, – бросил посол. – Теперь будьте добры выслушать меня.

Осторожность Мазепы заслуживает похвал. Нужно пользоваться доверием царя, доверием безграничным, – гетман для Петра поистине второй фаворит, после Меншикова. Отойти от царя надлежит в последний, решающий для исхода войны момент, одновременно с Вишневецким. Ставка на Карла, ибо Станислав не полководец и на троне потентат временный. Император далек от симпатий к лютеранину, но не желает и усиления Московии.

– Напоминайте казаку – не быть ему князем без соизволения императора. Иосиф, а также его святейшество надеются, что гетман откроет двери для унии, иначе...

Броджио простился поспешно – хотелось побыть одному и подумать. Чутье подсказывало – лучезарное благодушие Заленского скрывает недоброе.

## 6

Приближаясь к Венеции, Борис Куракин возвращался в юность.

Из тумана, окутавшего город в ранний утренний час, возникала Франческа, тянула к Борису смуглые руки. Он прикивал губами к плечу, обрызганному родимыми пятнами. Ветер, качавший галеру, нес дыхание Франчески, запах ее волос.

Но палаццо Рота было наглухо заперто, и на стук никто не появился. Железную колотушку – шар, зажатый в когтях хищной птицы, – тронула ржавчина. Хозяин боттеги на углу сказал, что синьора умерла, а синьорина в Венеции не живет. Синьорина? Да, Франческа не замужем.

Где она? Кабатчик помялся. Он не из тех, что разносят сплетни. Три года назад, похоронив тетку, синьорина уехала в Мантую. Ее позвала к себе тамошняя герцогиня. Иногда сюда наведывается нарочный от синьорины – ведь дом по-прежнему в ее владении.

Борис вытащил кошелек, и кабатчик понял мгновенно – он не упустит нарочного, даст знать госпоже Франческе о приезде кавалера.

– Кавалер из Московии, – сказал Борис и назвал гостиницу в Риме, одну из лучших, как утверждал Броджио, «Герб Франции».

Что-то мешало открыть свое имя, дольше говорить о Франческе с неопрятным, вороватым на вид хозяином матросского кабака, в сыром подвале, где все пропиталось духом кислого вина.

Солнце не разогнало туман, Венеция тонула в нем. Звонница купола собора святого Марка, фигуры мавров на башне проступали смутными тенями. Венеция не принимала Бориса и словно не узнавала его, постояльца Ламбьянки, ученика навигацкой школы.

Проделав остаток пути за десять дней, Борис Куракин, посол «без характеру», то есть не аккредитованный постоянно, прибыл в Рим двадцатого марта в пятницу. В Рим предпасхальный, истомленный постом, изголодавшийся по скоромной пище.

Под окнами гостиницы нескончаемо шаркали ноги – босые, усталые ноги пилигримов. Люди шагали издалека, с севера. Теплую одежду, которая хранила их на Апеннинах, паломники скатали, привязали к котомкам, и неуклюжая ноша била людей, гнула к земле. Борис смотрел на лохматые, опущенные головы, на рубахи, черные от дыма костров, сам чувствовал себя бездомным, потерянным в Вечном городе.

Каменная громадность Рима облегла его. Камень громоздился на семи холмах дворцами, храмами, меж коих влага пробивалась струйками фонтанов, хиреющих от жажды, слабым потоком Тибра, уже обмелевшего.

Весна настала ранняя, сухая, речное ложе выбелено солнцем и словно засыпано костями, каменно затвердела почва. Повозки тархтели оглушающе, будили Бориса среди ночи. А гул босых ног, подобный стону, слышался беспрестанно и стал привычен, как бой колоколов, объявляющих время, как вопли разносчиков.

Истирая землю, задубевшие ноги двигаются медленно, паломники сберегают силы для конечного подъема – к храму Тринита деи Монти, сиречь Троицы на Горах, осеняющему площадь Испании. Громадное множество заполняет приюты, устроенные возле церковного

здания, – обширные залы тесны, одну постель делят двое, а то и трое странников. Благодетельное нашествие оседает уже у стен приютов, раскидывает тряпье, ставит палатки, отчего весь холм являет картину пестрого зловонного муравейника.

Невиданное зрелище поразило Бориса. Поистине могуч папа, коли собирает в свою столицу такое многолюдство. Правду содержит речение «все дороги ведут в Рим». Всяк сущий в католическом мире язык возносит здесь хвалу.

Броджио советовал москвиту не спешить к его святейшеству, сперва освоиться на новом месте. Но сообщить о себе кардиналу Паулуччи, первому министру, посол обязан немедля.

Чертог папы, канцелярии его – на холме Квиринал, где кишмя кишат духовные. Сидя в наемной карете, посол ворчал на Фильку – орет, деревенщина, на лошадей как оглашенный. За дикарей ведь нас почтут.

Пеной лепного узорочья окутано министерство, и Филька, слезши с облучка, задрал башку. Князь-боярин ткнул его, дал записку, которую деревенщина положил за пазуху.

– Вынь! Полено, что ль, несешь? Вступишь – поклонись и подай!

Промешкал холоп в приемной министра изрядно, вышел, смеясь чему-то, и гаркнул, пуганув стаю голубей:

– Аперто!

Кардинал, стало быть, принимает, о визите извещен. На лестнице два кавалера расступились, застыли столбами, потом нагнали посла, бормоча извинения. Должно быть, представляли себе русского иначе.

Фабрицио Паулуччи – быстроглазый, низкорослый живчик, будто утонувший в просторном красном одеянии – встретил в дверях антикаморы, провел через оную в кабинет, усадил посла и сел в кресло, подобное трону. Оглядывая посла, словно редкого зверя, восклицал:

– У принчипе отличное произношение... Безупречное... Великолепное...

Борис развернул грамоту царя, гласившую:

«Поручаем оного нашего посла вашему преимуществию, яко первейшему министру престола Римского, желая, чтобы на требования наши тому посланному в получении аудиенции и желаемого на предложения наши ответу вспомоши изволил».

Министр выслушал итальянский перевод, кивая и облизывая губы, словно выкушал сладкое. Погладил соболей, подаренных послом, сказал, что святой отец предоставит аудиенцию с великим удовольствием, но не сейчас, ибо наступающая страстная неделя поглощает его помыслы.

– Каков у них голос? – спросил Паулуччи, трогая пасть острозубого обитателя неведомой страны. – Пищат они или лают по-собачьи?

– Пищат пронзительно, – ответил Борис, хотя не имел о том ни малейшего понятия.

Кардинал повесил соболя на шею, скинул на колени, затем позвонил в серебряное колокольце.

– Я представлю вам Амадео Грасси, благонаправного молодого человека из благородной семьи. Он будет рад услужить вашей светлости.

Черноусый, носатый смугляк, вбежавший на зов, шаркнул по паркету, отвесил реверанс и вытянулся, весь светясь любопытством.

Он оказался компаньоном отменным, сей Амадео. В карете его скованность исчезла. До вечера они колесили по Риму, кавалер показывал примечательные здания и тараторил без передышки, забавно двигая носом.

– Видите, гуси молчат, принчипе.

– Какие гуси?

– Вы забыли? Спасшие Рим от варваров. Мы все, откровенно признаться, струхнули, ожидая вас. Россия – terra инкогнита, принчипе.

Оттого-то, объяснил Амадео, и встретили принчипе не у подъезда, а на лестнице. Это почет средний. А провожаячи, первый министр вышел из кабинета, провел посла через антикамору и через залу, до самой двери. Это почет высший.

Следственно, его преподобие ждал москвита с опасением, а к расставанию подобрел. Всяко лучше так, чем наоборот. Дай бог памяти усвоить римские политесы!

– Замечайте, где кресло для вас. Если оно не отставлено от стены – плохо... Чем ближе к себе сажают, тем больше питают расположения к вам. Если рядом с собой, слева – уважение должное, если справа – тогда величайшее. Ну, такого вы еще не удостоились.

Улыбка все время трепещет под крыльями широкого, мягкого насмешливого носа.

– Хуже всего, когда кардинал принимает, одетый по-домашнему, в черное. Катастрофа, принчипе! Пропало тогда ваше дело.

Оставив карету, они взошли на холм Капитолийский. Гордый бронзовый всадник владел площадью, охваченной тремя чертогами.

– Принято считать, что это святой император Константин. Не верьте! Между нами, принчипе, это Марк Аврелий, проливший моря христианской крови. О, в Риме многое обманчиво, принчипе! Что по-настоящему вечно в Вечном городе? Искусство наших предков-язычников. Смотрите! Голова лошади умнее любого угодника, изваянного копиистом.

Он все более нравился Куракину, разбитной, откровенный Амадео.

У подножия Капитолия лотки с овощью, с рыбой, стечение женщин – безликих, безглавых, ибо головное покрытие спадает со лба низко. Похоже, все монашки. Ткани темные, длинные, ни ожерелья броского, ни цветка.

– Благодарите папу, принчипе! Чтобы вы не согрешили в мыслях, красotka не обнажит руку или плечо. При императорах было свободнее, не правда ли? Смешно, принчипе, – я не смею носить красные каблуки, модные сей год в Париже! Рим – скучнейшее место в мире. Мы живем без театра. Конечно, польская королева устраивает светские представления. Ей все можно...

Пьяцца Квиринале, залитая солнцем, слепила. На ней, безучастные к черни, ожидавшей выхода папы, спешили, осадив коней, витязи языческого века, бесстыдно нагие.

– Кастор и Поллукс, сыновья Зевса, – сказал Амадео. – Римляне до сих пор клянутся ими. Пример братской любви, принчипе. Теперь с ними сравнивают Константина и Александра, польских принцев, хотя они не близнецы. Даже Толла не поссорила молодых Собесских.

Борис уже слышал о ней. Живописцы не пожалели сурьмы, чтобы передать аморный жар ее глаз-миндалин, ее ресниц, вонзающих, как поется в народе, стрелы в сердце. Знаменитейшая кортиджана намалевана на ларцах, табакерках, кажет свое кокетство в любой лавке галантерейного товара. Толла, а по кличке Боккадилеоне – Львиная Пасть, пожирающая мужские сердца.

– Да, чуть не забыл... Новость, повелитель мой! Толла теперь графиня. Мария-Казимира не устает нас шокировать. Графиня ди Палья, как вам нравится?

Ди Палья – значит Соломенная. Что за намек тут скрыт? Амадео пожал плечами.

– Спросите королеву! Но в самом деле, красotka поднята с соломы. Какой-то бродяга приволок ее в Рим из Наполя. Худое платьице на немывом теле – вот все имущество... И вдруг... Говорят, ее судьба решилась в первой же остерии за Тибром, где кормят требухой. Хозяин мгновенно влюбился, прогнал жену с двумя детьми. Потом... Правильнее всего расположить постели любовников Толлы в виде лестницы. От секретаря португальского посольства к князю Чезарини, от него к Александру Собесскому, затем к Константину. Старший брат великодушно уступил младшему. Трогательно, не правда ли?

Видел ли Амадео ее? Должна быть лучше, чем портреты сей кортиджаны на безделках.

– Убедитесь сами, принчипе! Пройдет святая неделя... Графиня ди Палья принимает в своем особняке весь Рим. Конечно, Чезарини и прочие именитые в бешенстве. Графиня ди Палья, ха-ха-ха! Роскошный плевок в нашу знать, королевский плевок. Князья хотят выслать Толлу из Рима, и папе неудобно защищать кортиджану. А королева выпускает когти, не ходит на его мессы.

Каменные лица Кастора и Поллукса внимательны, словно и они слушают забавную историю.

– О, курьезы Рима неисчерпаемы! – ликует кавалер. – Королева против папы, королева без государства – какова смелость! А причина раздора? Продажная женщина, принчипе. Но, между нами... Я подозреваю, святой отец восхищен полькой. Втайне, конечно...

Королева Марыся не показывалась на молебствиях святой недели, по-прежнему слыла недужной. Зато любопытство Бориса к кортиджане было утолено – услужливый Амадео привел его в странноприимный дом как раз вовремя.

От пьядца ди Спанья, сиречь Гишпанской, заполненной каретами, вереница свистящих шелков и атласов вздымалась на холм, вступала в обширную залу, убранную для церемонии омовения ног. Постели убраны, пилигримам велено сесть на рундуки, выстроенные вдоль стен, что не столько удобно даме, сколько ее двум челядинцам. У одного таз с водой, у другого полотенце. Они и моют ноги паломникам – проворно, едва наклоняясь, а благородная госпожа произносит лишь слова утешения да кладет к ногам убогого мелкую монету. А ведь считается – потрудилась, помыла...

– Толла, принчипе!

Амадео мог бы промолчать – молодая особа, тесно обтянутая небогатым платьем, уже притянула взор. Кортиджана не украсила себя ничем, кроме серебряного гребня в черных, высоко взбитых волосах. Смуглота юга и дерзость тела, как бы сквозившего через ткань, выделяли ее. Прочие женские особы вмиг подурнели при ней.

Ясновельможные римлянки избегали марасть персты, Толла же преусердно трудилась сама, не гнушаясь коросты, мозолей, ссадин, нажитых на крестном пути. Никак не отвечала кортиджана на шипение за ее спиной, чем еще горше досаждала противницам.

## 7

Ох, беда с красными шапками! Заладили, как один... Вишь, мало святому отцу политесов, поклонов – целуй ему ногу! Два раза – здороваясь и выходя вон.

– Я не вашей веры, – доказывал Борис. – Можно ли понуждать меня?

– Вы христианин, – твердил Паулуччи. – А в Риме, к тому же, надеются на сближение наших церквей. Если не на полное их слияние...

Он пристально посмотрел на посла.

– Оставим это, – сказал Куракин. – Не нам с вами решать, монсиньоре.

– Поверьте, я охотно уступил бы. И папа, между нами говоря, не мелочен. Но кардиналы, дорогой принчипе, кардиналы...

Мол, поцелуй – не пустяк. Высокий смысл, политический, придается поцелуям. Нет уж, потакать нечего! Два раза прикладываться, наравне с католиками, не следует. Паулуччи выслушал посла, обещал посоветоваться.

А на Бориса напали потом сомненья. Вдруг рассердятся красные шапки. Сбегутся к папе... Француз и иже с ним ухватятся. Без того шумят, – нечего слушать московита, наглого интригана! Ловчит, вселяет нелепые, ложные надежды... Пуще завопят, из-за поцелуев.

Советовался Паулуччи несколько дней.

– Избавить вас совершенно нельзя, – объявил он послу. – Не может быть и речи. Я добился для вас поблажки, принчипе, с великим трудом добился. Прощаясь с его святейшеством, вы ограничитесь глубоким реверансом.

Ура! Один раз лобызать туфлю, один раз...

Взяв посла за правую руку, с политесом высшим, первый министр ввел его в тронную залу и отошел в сторону, словно смешался с сонмом фигур на стенах, порожденных кистью живописца. Колебание света, отражаемого медью, придавало им движение, и Климент Одиннадцатый, окруженный евангельским действием, страстями Голгофы, ошеломил Бориса своей неподвижностью, будто не сам папа, а статуя папы возникла перед ним.

Оторопев на короткий миг, посол не рассчитал маневра и ткнулся в папскую туфлю неуклюже. Острое зерно бисера оцарапало ему губу. Посол поднялся, слизывая кровь, и произнес слова, с которыми надобно было войти:

– Целую ваши святые ноги.

Неловкость московита не вызвала улыбки на лице владыки. Рука, однако, двинулась к Борису, вздыбив волну тяжелой тафты, приняла грамоту. Откуда-то вынырнул переводчик, и Борис, оглядываясь на его склоненную лысину, стал читать царское послание наизусть.

Иногда он забывал остановиться, уступить очередь переводчику, и тот перебивал, не

скрывая раздражения.

Голос, раздавшийся в ответ с престола, зазвучал глухо, утомленно:

– Мы, сколь могли, являли королю Августу вспоможение и любовь, которые оный, отставши от могущественного царя, презрел.

Укора Августу в спокойной, невозмутимой латыни не было. Старикашка же переводил бранчливо, скрипуче, будто недоволен был всеми и жаждал поссорить.

– А что к Станиславу подлежит, хотя цесарь и король французский признали за короля, однако же мы не признали. И коронацию почитаем за ничто.

Толмач воззрился на московита, посапывая крючковатым носом, – убирайся, мол, чего тебе еще!

Словесного заявления упрямому московиту мало. Просит выразить отношение к Станиславу письменно, и к тому же в двух посланиях – царю и сейму, который должен собраться в Люблине. Лысина едва не бодала посла.

– В Люблине, – повторил Борис, не уловив название города в отрывистой скороговорке толмача.

Брови Климента вдруг удивленно дрогнули. Переводчик, верно, нашкодил, не досказал чего-то... И посол, к ужасу старика, отступившего на шаг в отчаянии, заговорил по-итальянски:

– Если сейм утвердит Станислава, посаженного Карлом, то власть первосвященника католической церкви в Польше уничтожится и религия потерпит урон. Посему просьба царя интересам вашей святости соответствует.

Посол умолк и приложил к кровоточащей губе платок. Известно ли папе, что в Люблине русские войска и соберутся там польские алеаты, от коих вряд ли последует противность? Однако послание папы прогремело бы над всей Польшей грозно.

Между тем восковая неподвижность верховного пастыря нарушилась, в уголках глаз затеплилась улыбка.

– Традугтори традиттори, – услышал Борис.

Папа вымолвил пословицу добродушно, в тоне простого римского говора, твердо вбивающего согласные. «Переводчики предатели...» Означает ли это избавление от несносного толмача?

– Мы сожалеем, – раздалось по-итальянски, с той же римской грубоватостью, – но выполнить желание могущественного царя не в состоянии.

У Станислава в Польше многочисленные сторонники. Послание, испрашиваемое царем, произведет среди них неудовольствие. Наиболее разумным сочтено не вмешиваться, не влиять на решение сейма.

Борис растерянно комкал платок. С чем же ехать к государю? Слова не зажмешь в горсти...

Черты Климента Одиннадцатого снова застыли. Спорить бесполезно. Очутившись в приемной, посол излил свою досаду перед первым министром.

– Требуйте ответа, – ободрил Паулуччи. – Наберитесь терпения, здесь оно необходимо. Не стесняйтесь напомнить о себе его святейшеству.

Потом, оставив в приемной толмача и секретарей, наостривших уши, первый министр закрылся с послом в своем кабинете, где ковры, распластанные на полу и по стенам, обнимали вкрадчивой тишиной.

– Вам следует посетить королеву, дорогой принчипе. Она ухватится за вас, ей как воздух нужны польские новости.

– Ее величество, сказывают, больна.

– Не настолько, принчипе, не настолько...

На Квиринале стемнело совсем, когда посол, после долгой беседы с первым министром, влез в карету.

В палаццо Одескальки чистили котлы, мыли посуду, снимали нагар с канделябров, стирали скатерти, на которых вчерашний раут оставил винные, горчичные, соусные следы.

Подбирали оброненные гостями кости, бутылки, осколки разбитых бокалов. В гостиных находили шпильки, ленты, в бильярдной сломанный об кого-то кий. Из кабинета карточных баталий вынесли разорванную колоду и кружевное жабо шулера, ее наказанного владельца.

Мария-Казимира сама управляла челядью, носясь по залам в зеленых турецких шароварах и красно-желтом шелковом бурнусе.

– На туалет у вас полчаса, – сказал Паулуччи. – Или вы намерены убить москoviта?

Первый министр вхож к королеве запросто, по праву старого почитателя.

– Молчите, монсиньоре! – бросила она. – Царь заставляет магнатов копать траншеи и взбираться на мачты. Вас бы так... Царского дипломата ничем не убьешь.

– Тем лучше, – улыбнулся Паулуччи. – Куракин привез роскошных соболей.

– Постараюсь выклянчить хоть одного для Толетты.

– Московит сложит к вашим ногам груды соболей, если вы проявите благосклонность. К нему и к царю.

– Вашу симпатию он уже завоевал, я вижу... Ах да – роскошные соболя!..

– Вы обижаете меня, ваше величество.

– Простите меня! Ну же, не сердитесь! – она потрепала его по щеке. – Что я должна делать? Чего вы хотите от старой, глупой женщины?

Глаза, смотревшие молодо, с лукавой искрой, вдруг потухли, плечи заострились, подавшись вперед.

– Вы бесподобны, – засмеялся Паулуччи, искренне восхищаясь игрой.

Они стояли в тронном зале. Трон был отставлен в угол, балдахин с польскими орлами колыхался над пустым помостом, на сквозняке. Слуги втащили бочку с пивом, чтобы протереть наборный пол, и метнулись за порог, боясь помешать беседе.

– Пошлите к москoviту! – встрепелась Мария-Казимира. – Я не успею переодеться. Пусть повременит час, два... Нет, постойте! – она отбежала к окну, взяла щетку, подняла и стукнула об пол, будто копьем.

– Я понравлюсь москoviту, кардинал?

– Удаляюсь, дорогая! – воскликнул он, изобразив благоговейный ужас.

Картинная галерея дворца не запачкана разгулом. Паулуччи обычно пережидал здесь, когда его занимал исход аудиенции, происходившей в парадном зале или в будуаре королевы.

Портретов Марии-Казимиры несколько. Не мудрено, что юная Марыся воспламенила Яна Собесского. Сказочным видением снизошла к скромному воину воздушная фея. Однако еще тогда она отличалась, как говорят, острым умом и честолюбием. Нос, упругий шарик подбородка, сжатая корсажем грудь – все вытянуто вперед и напоминает морскую деву на форштевне корабля. В чем же сегодня секрет фавора, которым одаривает ее Климент? Этот вопрос Паулуччи задает себе постоянно. Да, с помощью королевы он дразнит кардиналов, не теряя при этом своего достоинства. Но это ведь не все. Неужели папа думает серьезно, что престиж святого престола в Польше укрепляется союзом с Францией? Франция за горами, а австрийцы здесь, в Италии...

Конечно, иметь в Варшаве Собесского весьма желательно. Сыновья королевы столь же римляне, сколь поляки. Ради такой перспективы стоит терпеть выходки Марии-Казимиры, бесшабашные оргии, непотребную Толлу. Но при чем тут Франция?

Куракин, должно быть, у королевы. От нее можно ждать чего угодно. Вряд ли она собьет с толку москoviта – он не новичок в Европе. Если Куракин был искренен тогда, в квиринальском дворце, – его миссия может стать весьма полезной. Королеве надо узнать правду о положении в Польше. Ее надо убедить, что скипетр непрочен в руке Станислава и Франция менее всего способна его отстоять.

Решится ли Куракин обещать Собесскому от царского имени Польшу? Инструкции на это посол, по-видимому, не имеет...

Окна галереи обращены в сторону, противоположную подъезду. Но гул удаляющейся кареты донесся до Паулуччи. Он спустился по скользким мраморным ступеням, шагая через валы свернутых ковровых дорожек.

Королева, выкрикивая площадную брань, гналась по столовой за нерадивой служанкой. Та неслась, опрокидывая стулья.



– Он вполне светский шевалье, ваш русский, – сказала она, отдышавшись. – Я велела ему передать царю... Петр с топором, я со щеткой, мы навели бы порядок у вас в Риме.

– Что он ответил?

– Я зажала ему рот болтовней. На меня что-то нашло... Я развлекала его. Ему страшно скучно среди бесконечных сутан, извините, монсеньоре! А насчет Польши... Он что-то рассказывал... Фу, совсем не стало памяти! Он говорил мне, что французы и шведы в любую минуту отдадут бедного Станислава на растерзание царю или полякам. Как мне жаль его! Впрочем, возможно, не от Куракина я слышала это? От вас, мой друг?

Паулуччи выругался про себя. Чертовка! Играет в независимость!

## 9

Куракину свидание в палатце Одескальки запомнилось до мелочей. Помост без трона, запах пива, блуждающий, диковатый взгляд хозяйки, королевы без королевства, с которой надо считаться в этом странном Риме. Черты своенравные, высеченные словно наотмашь, с возрастом ожесточившиеся. Недобрая веселость, жадное любопытство. Она алчно приоткрывала губы, когда Куракин перечислял панов, ожидаемых в Люблине.

– Пьяный боров, – приговаривала она, повторяя имена. – Блудливый святоша. Разбойник, обокравший родную мать. Поздравляю царя с союзниками. Гнусная шайка.

Разделала всех до единого, хотя внушительное количество знатных лиц не оставило ее безучастной. Потом, показывая послу покои, словно тронутые землетрясением, жаловалась на сына:

– Костик, лайдак, скаженный за цей Толлою...

Открыла поставец с серебряными кувшинами, взятыми Яном Собесским у турок, захлопнула, опять упрекнула сыновей. Оба лентяи, не пекутся о польской короне. Украинские слова, подхваченные, верно, в карпатском имении Яна, она примешивала к польским и была уверена, что изъясняется по-русски.

Посол спотыкался о мокрые тряпки, о щетки. Подобной аудиенции он еще не испытал.

– Корона украсила Станислава, и ваше величество, я полагаю, сим контентна.

Ответ хлестнул его.

– Что Станислав! Пустая труба.

Радоваться нечему, она поносит – предупреждал Паулуччи – любимцев и недругов.

– Святой отец, мой благодетель, чрезмерно милостив к вертопраху.

Внезапно возникла другая Марыся – пришибленная судьбой вдова. Она старается не огорчать своего благодетеля, расположенного к Франции и к Станиславу. Она сама избегает ссоры с французами, – как знать, не вынудит ли злая доля постучаться к пожирателям лягушек, чтобы преклонить голову на родине, на старости лет. Родина, с позволения сказать... Конечно, Польша неизмеримо дороже. Польша, не имеющая, увы, достойного правителя.

Последнюю тираду Марыся произнесла царственно, откинув назад черноту накладных волос.

– Если таково мнение вашего величества... – Куракин искал точные выражения и набирался духу. – У меня появляется надежда на то, что ваше величество отнесется благосклонно к предложению моего государя. Его царское величество не видит кандидата более достойного на польский престол, чем Собесский. Новый Собесский, с кровью великого стратега в жилах...

Минуту спустя они сидели, крепко затворившись в будуаре, при слабом, вкрадчивом мерцании зеркал и флаконов с духами, среди коих нагло торчала початая винная фьяска, оплетенная соломой.

О королеве, о сыновьях ее разговора с царем не было. Звездный брат не ограничил, однако, Бориса пунктами наказа. «Далее поступать по своему разумению», – стояло в конце. Нельзя же упускать случай привлечь союзницу. Паулуччи прав – честолюбие сжигает старую интриганку до помрачения ума. Она хоть сейчас отправит сына в Польшу. Которого? Константина не уломать. Старшего, Александра... Якуб не в счет, он отрезанный ломоть, околачивается за границей, не любит свою мать.

– Святой отец благословит Александра...

Диву даешься, как легко верят люди в желаемое. Уже готова бросить сына в новую авантюру. Подсчитано, сколько ему надо дать в дорогу гвардейцев. Куракин посулил телохранителя от себя – редкого силача.

– Угодно ли вашему величеству выглянуть в окно?

Сойдя с крыльца, Борис растолкал Фильку, уснувшего на козлах, на солнцепеке, и устроил королеве спектакль. Холоп прошелся, расправив плечи, вразвалку, поплевал на ладони, понатужился, подцепил задок кареты, обложенной фигурной медью, и поднял на аршин от земли – колеса повисли в воздухе.

Заговор, затеянный Куракиным «по своему разумению», вскоре обрел опору. Паулуччи созвал кардиналов, ведающих делами иностранными. Российский посол подтвердил:

– Восшествием на польский трон Собесского мой суверен был бы весьма доволен.

За Станислава никто не заступился.

Теперь не только королева – синклит красных шапок обнадеживает посла. На Квиринале составлена грамота царю, с чаяниями его согласная. На подпись отнесут не прежде, чем подготовят папу.

Куракин съездил вдругорядь к Клименту. Туфли едва коснулся, губы не повредил. Папа излучал благосклонность – да, Станиславу Рим не сочувствует.

Грамота лежит не подписанная.

Красные шапки кормят обещаниями. Паулуччи восклицает, стегая себя четками по колену:

– Королева портит нам музыку. Где она находится? В Риме или в польской деревне? Папа расстроен страшно.

Молодой Чезарини в тюрьме, в замке святого Ангела, обвиненный – шутка ли! – в оскорблении величества. Губернатор Рима не смог замять плачевный казус – Чезарини схвачен в саду королевы, с обнаженной шпагой, у Толлы рассечена бровь. Князь кричал, что изуродует изменницу, но волнение, охватившее его, ослабило силу удара.

– Лучше бы изрубил дьявольский соблазн, – сетует первый министр. – Сущя кара господня, эта наpolitанка. Оттобони ездил к королеве, умолял смягчить гнев. Фурия, бешеная фурия...

Мольбы кардинала Оттобони, министра двора, отвергнуты, Марыся непреклонна. Именитые персоны осаждают палаццо Одескальки, челом бьют за ревнивца.

– Сегодня не зевай! – сказал посол Фильке. – Стечение к королеве большое.

Неделя прошла, как они простились с гостиницей, – посол ныне в арендованном доме. Избрал резиденцию близ подножия Квиринала, на бойком пути к Ватикану и к собору святого Петра. И королева недалече – Фильке, стоящему у ворот, виден ее подъезд. Деревенщина не глуп, различать проезжающих обучен. Наблюдая, делает пометки на столбе ограды, угольком.

До обеда шесть кардиналов проследовали к Марысе с фьоками, сиречь с золотыми кистями на сбруе и экипаже, – стало быть, с визитом официальным. Одна красная шапка навестила без фьоков, приватно.

– Не засиделись гости, – смеется Филька. – Собесиха живо спровадила.

– Что мелешь? Вот продам тебя к ней в войско... А француз не был?

– Из послов никого, князь-боярин.

Замечено – чуть повздорит королева с папой, француз тут как тут. Ладно, не лезет пока...

– Наверх медведи погнались.

Фигуры на гербах Фильке легче запомнить, чем имена вельмож. Карета с медведями – князя Орсини, одного из четырех знатнейших при папском троне.

К концу дня на Квиринал, в числе прочих ходатаев, наведались князья из родов Колонна и Савелли.

Ох, заварила кашу Марыся!

Наутро кардинал Оттобони снова обивал ее порог. Наконец сменила гнев на милость, простила Чезарини. Выпустила ревнивца. Борис не спешил радоваться миру – знатные семьи обидчивы. И точно – затишье было недолговечно, пока Толлу утешали, пользовали ей ранку.

Вскоре Рим облетела весть: Толлу похитили. Экипаж, поставленный боком, перегородил

улицу, из-за него выскочили люди Чезарини, побили кучера, слугу, державшего над кортиджаной летошник, а ее отвезли в обитель Лонгара, где каются распутные женщины.

Рог караульщика у палаццо Одескальки запел по-боевому. Семеновский полуполковник не мог не похвалить гвардейцев мысленно – вывели коней, вооружились в несколько минут.

Борис поймал себя на непозволительном чувстве – душою он, вопреки своему долгу, заодно с озорницей Марысей, с белыми польскими орлами...

Возвратились всадники с криками победными. Константин посадил к себе в седло Толлу, их подбрасывало на скаку обоих, слитых крепко. Кортиджана обнимала поляка сзади, ее обнаженная рука лучом сверкнула из облака пыли.

Не возродилась ли в сей плоти пылкая дева золотого века, когда амор повелевал сердцами невозбранно?

От Паулуччи посол получил известие подробное о встрече папы с Марысей.

– Мой сын нижайше умоляет простить его, – начала она. – Такова молодость, святой отец! Любовь не подчиняется рассудку.

– Прискорбно, – ответил Климент. – Вас не возмущает союз вашего сына с распутницей. Вы держите ее под своим кровом.

– О, зависть людская! – воскликнула Марыся. – Дурные языки клеветают на Толлу. Поверьте, распутницу я бы не подпустила на пистолетный выстрел. Толла бескорытна, как дитя, святой отец, и руководят ею лишь веления сердца.

– Сердца, отравленного грехом, – нетерпеливо произнес первосвященник.

Королева всхлипнула. Толла близка ей, как родная дочь. Его святейшество мирволит тому, кто осмелился учинить насилие над беззащитной особой. Разве это не грех?

– Я вижу, – сказала Марыся, глотая слезы и обрывая кружева на платье, – вы, святой отец, проявляете весьма мало уважения ко мне и к моему сыну.

Паулуччи показал москвиту оборку, подобранную после аудиенции. По его мнению, королева перешла всякие границы, разговаривая в таком духе. Она даже пригрозила:

– Мне невозможно жить в Риме, если не будет публичного заявления, что ваше святейшество не имел намерения унижить наш двор. Я, вдова Собесского, спасшего христианский мир от турок, имею право рассчитывать...

Лицо ее пошло пятнами, она боролась с рыданиями. Климент не выносит слез, это известно Марысе.

– Успокойтесь, – сказал папа поспешно. – Идите, ваше величество, и побеседуйте со своей совестью.

– Комедиантка, – шурился Паулуччи, играя четками. – Последнее слово осталось за ней. Не тревожьтесь, принципе, она не уедет во Францию. Рим желает иметь Собесских при себе.

## 10

Апрель в Риме – месяц летний. Блистанье фьокков поугасло, палаццо притихли, знатные особы проводят время в загородных виллах. Пора сия, именуемая вилледжатурой, замедляет ход государственных дел.

Красные шапки все еще колдуют над ответной грамотой царю. Разомлели, видать. Карета с российскими орлами – частая гостья на Квиринале. Пока Куракин во дворце тормозит кардиналов, Филька бродит вокруг Диоскуров, зачарованный лошадьми и богатырями.

Глядь, бок о бок лилии Франции – громоздкий, тяжелый, перегруженный фонарями экипаж, о котором Филька сказал когда-то:

– Ровно сарай, хлеба на год клади.

Посол Латремуль, проходя мимо Куракина в коридоре, учтиво поклонился, похвалил солнечную погоду – если сушь удержится, то кислота здешнего вина будет смягчена.

Однако бородак француза нервно дергалась. Паулуччи объяснил причину:

– Жаловался мне на королеву. Охладела к Станиславу, огорчила графа безмерно. Полчаса надоедал папе, умолял признать Станислава. Обещал благодарность. Какую? Вообразите, Версаль заставит шведов уйти из Саксонии. Благодетели, а?

Отбыл француз не солоно хлебавши. Папа не поддался на нелепую приманку. Паулуччи

мог бы признать, что посол Московии сидит в Риме не зря. Теперь-то папский двор лучше осведомлен, кому угрожают шведы.

Расположение первого министра, впрочем, возрастает.

Чем привлечен Паулуччи на сторону России? Не соболями же? Вельможа богат достаточно.

Имя первого министра то и дело появляется в тетради Куракина. Паулуччи приглашает посла к себе на виллу. Паулуччи «прислал рыбу на блюде серебряном всю обкладену в цветах».

От папы доставили угощение – «шкатулку с цукатами, 4 сыра, 70 фьясок вина Джинцано». Вино Борису не понравилось, горьковато, но визитерам подать напиток из ватиканского погреба не стыдно.

Небрежением российский посол не обижен. И сам, кажись, не нагрубил. Уже и Филька преуспел в науке обхождения – не обгоняет едущего с фьоками, знает, кому уступить дорогу. Гикать неистово в городской тесноте, хлопать кнутищем перестал. Ерзает на облучке, кричит, рвется выйти вон из Рима, чтобы отвести душу.

Земля и за воротами вспухла холмами. Щетина тычков, покрывающая их, служит опорой винограду. Лапчатые его листья крепкие, сочные, будто не просят дождя. Трава редкая, сухая – век ее тут короток. В каменистых ложбинках рыщут оборванцы, начали охоту на гадюк. Завидев их, Борис каждый раз думает, что надо купить териак – славнейшее лекарство, содержащее змеиный яд и помогающее от всех болезней.

Здесь он покамест не хворает, скорбутика отпустила. Но пригодится на будущее...

Филька гонит всюду, по-русски, и Борису дышится привольно. Мнится – то дыхание древних, жителей золотого века вливает здоровье.

Манит к себе вилла Адриана – гордого императора, склонившегося, однако, перед красотой. Могучие греки, стерегущие виллу, обрели бессмертие, перевоплотившись в камень. Неподвижные, они отражали свирепость бурь и колебания почвы. Варвары, опустошавшие Рим, и те остановились бессильно...

Красота совершенная непобедима, размышлял Борис. Люди могут надолго, на столетия забыть ее, похоронить. Однако не навсегда...

Далее, на той же дороге Тибуртина, – сады, водопады и фонтаны Тиволи, среди которых на бугре высится дворец, построенный полстолетия назад, дворец, которому, наверно, суждено восхищать потомков.

Однажды к Борису, гулявшему в саду, подошел молодой, сухощавый кавалер и представился:

– Бассани, художник кардинала Оттобони.

Одежда его отличалась от обычной пучком соломы, пришитым к шляпе вместо пера. Художник нижайше просил высокочтимого синьора оказать милость.

Борис следил глазами за шляпой, снятой с головы и ронявшей стебельки из странного букета.

– Я еще слуга графини ди Палья. Это знак нашего общества.

Юноша хочет нарисовать кучера. Да, кучера, если синьор позволит великодушно. Борис не сразу сообразил, что речь идет о Фильке. Художник увидел в нем гладиатора с арены Колизея.

– Через час я вам верну его...

– Берите, – кивнул Борис. – Он не говорит по-итальянски. Мы русские.

– О, скифский великан! – просиял Бассани.

Вернул он Фильку, рассыпаясь в извинениях. Задержал скифа, любопытно было с ним. Язык не потребовался. Живая натура так пристально следила за работой художника, что он, окончив эскиз, протянул уголек – на, мол, попробуй сам.

– Он рисовал меня, синьор. Мне кажется, у него есть способности. Беда в том, что он застенчив, как ребенок. В искусстве отвага нужнее, чем в сражении.

Речистый, учтивый кавалер понравился Борису. Он сказал вдруг неожиданно для себя:

– Поучите его, если он стоит этого!

Бассани поклонился, выразив готовность. Борис обернулся к Фильке, который топтался виновато, словно ждал наказания от князя-боярина.

– Синьор художник будет тебя учить, понял ты, чурбан? Скажи спасибо!

Чурбан и есть... Испугался почему-то, давится, бормоча благодарность. Кавалера насмешил, а князя-боярина привел в раздражение.

– Позоришь ты меня. На кой ляд возиться с тобой!

– Зря, – соглашался Филька. – Все одно не сделать мне...

– Чего?

– Статуев таких... не людское это.

– Что ты мелешь?

– Женка давеча, ох, женка... Захлебнулась, воду пушает... Жену Лота, писано, бог в камень превратил. Вот и она... Князь-боярин! – тут Филька, сидевший понуро, опустив вожжи, встрепенулся. – Папа взаправду святой?

– С чего ты взял?

– Не святой, так что? Тогда дьявол он, коли так... Тьфу! И смотреть грех тогда... Голые, ничего не прикрыто... Рогатые мастерили, для смущенья. Только смущают больно хорошо, князь-боярин.

– Ты и есть скиф. Дикий скиф, варвар... Не людское? – горькая усмешка от толчка на ухабе перешла в икоту. – Сдохнешь с тобой...

– Люди нешто?

– Папа камни тешет, поди-ка! Люди, образина, люди! У нас не учат художеству, а то бы и мы не хуже... Иконы одни можем... Каково нам перед итальянцами?

– Камень тут, что ли, особый? – произнес Филька, помолчав. – Дышит ведь... Ух, – Филька покрутил головой, – нездешним велением уродилась.

– Кто?

– Да женка же.

– Попробуй, может, и у тебя будет дышать.

– Мне куда-а! – Филька закрутил головой. – Деревяшка и то не далась. Царапал, царапал... Слышал, князь-боярин, про пекаря одного... Думал – калач, а вышло – хоть плачь. Тесто извел только. Вот и я...

Дома, порывшись в скарбе своем, достал, выпростал из полотенца, подал князю-боярину деревяшку. Две дощечки. На одной обозначалась выпукло богородица с младенцем, нагрубо, – оба слепы, туловища корявы, а на другой борозды ножом, должно, гора Голгофа, страсти господни.

Приохотился резать еще в Москве. Образ в уме зреет, а рука не повинуется. Щепы наделал – много плода не принес труд праведный. Этот складень начат в Польше. Дерево Филька раздобыл самое подходящее – грушу. Богова мучка, да чертова ручка, как у того пекаря... Отчаялся, хотел выкинуть, однако спрятал. А здесь, в Италии, столь украшенной художествами, сказал себе – забудь! Познал свое убожество.

– От меня таил почто? – досадовал Борис. – Труса праздновал? Трусливому ученье не впрок.

Видение Северной Венеции под синими итальянскими небесами не растаяло.

Верно сказал холоп – дышит здесь камень. Будет такой и в Санктпитербурхе, на островах невского устья. «Камень, который называется порфира, – пишет Борис в дневнике, – цвет вишневый или с некоторыми колорами смешен». Всюду ищет Борис образцы для Северной Венеции. Беда – нет слов, чтобы описать художества Италии, ее предивный, живой камень.

## 11

Из Польши сообщают: паны в Люблине пошумели и разошлись. От Лещинского отрещивались, но и пустым трон Речи Посполитой не сочли. Ссылались на то, что Август не прислал сейму формального отречения.

Эх, упущено время! Магнаты на Станислава оглядывались, не на Августа. Возвысил бы папа голос против шведского любимчика, сейм мог бы кончиться иначе.

Тянут, тянут красные шапки. Без малого месяц колдовали, сочиняя ответную грамоту царю. Наконец прожект готов. Но лицо Паулуччи приятности не сулит.

– Весьма огорчительно, – сказал Куракин, одолев словесные вычурности русского перевода. – Насчет Станислава определенности я не нахожу.

– Да, ничего нового для вас. Определенность внесет война. Его святейшество осторожен.

– Выходит, решениями святого отца управляет Марс, – вспыхнул Борис.

Паулуччи он не стеснялся. Странно ведь – все выразили свое отношение к Станиславу, кроме папы. Его слово громом прокатилось бы по Польше. А молчание папы? Способствует ли оно авторитету Рима!..

– Идите сюда! – перебил Паулуччи.

Он стоял у окна. Через площадь, в сопровождении толпы, лениво брел осел. На нем, лицом к хвосту, сидел, сгорбившись, поджимая длинные ноги, человек в переднике и в колпаке. В него летели тухлые яйца.

– Мясник, – сказал Паулуччи. – Продавал конину вместо говядины или что-нибудь похуже... Я слушаю вас, принчипе.

Борис понял, что его просят поостыть. Но зрелище публичного позора, забавлявшее кардинала, Борису противно. Брызги тухлятины вызывают тошноту.

– Грамота не удовлетворяет и по другой причине – унижает она царя. Суверен великой державы достоин именоваться величеством.

– Здесь сказано – могущественный царь. Этого мало?

– Мало.

– Обычно мы присваиваем величество лишь католическим потентатам, – произнес кардинал вяло. Откинутые ставни впустили солнце в кабинет, и стало жарко.

– Мы не магометане, монсиньоре.

Площадь опустела, только кособокий, хромой старикашка ковылял из всей мочи, силясь догнать шествие.

– Его святейшество не причисляет вас к врагам христианства.

– Спасибо и на том.

– Желательно иметь его величество другом нашей религии. Мы просим разрешить строение католических церквей по всей Московии. На это царь не дал ответа. Некоторые льготы иезуитам...

Посол всплеснул руками:

– Камень, монсиньоре! Откуда взять камень для церквей? На фортификацию не хватает... Вы же не повезете к нам из Рима. Окончим войну – царь позволит и грамоту даст, если от папы и впредь будет доброе расположение. Мы что скажем, то и напишем.

Глаза Паулуччи блеснули лукаво.

– Бог войны и вас сдерживает, дорогой принчипе.

Он отошел от окна, вздохнул, будто сбросил тяжелое бремя.

– Я сказал вам то, что вы услышите от его святейшества. Вы пойдете к нему. Все равно пойдете. О мощи государства он судит по настойчивости дипломатов.

Ставни закрыты. На столике, рядом с письменным столом, – фьяска в оплетке из серебра. Заветная фьяска из потайного места в шкафу, заслоненного книгами.

Питье, приготовляемое монахами в строжайшей тайне, из трав, ведомых им одним, целительное для тела и для духа.

– Попробуйте, принчипе! За здоровье его царского величества! Я был бы рад хоть в малой доле содействовать ему в борьбе против лютеран. Здесь не все разделяют мои чувства, далеко не все...

– Менее всего ваш нунций в Варшаве, – вставил посол.

– Вы сняли у меня это имя с языка, принчипе. Я как раз хотел вам напомнить. Пьюцца распинается перед шведами, лебезит перед Станиславом. Кардинал, посланник папы, ведет себя позорно.

Так, за монастырским бальзамом, прояснилась цель Паулуччи – сместить Пьюццу, самому занять его место. У первого министра тьма завистников, долго ему не усидеть – столкнут. Разумнее уйти по своей воле.

– Вы можете помочь мне, принчипе. Царь недоволен нунцием. Пусть святой отец услышит это из ваших уст. Вы не покривите душой, если скажете, что Пьюцца упал во мнении

поляков.

– Охотно, если моя жалоба подействует...

– Не жалуйтесь, принчипе, требуйте! Я со своей стороны не останусь в долгу перед царем, хотя силы мои невелики. Мир несовершенен, принчипе, решают, увы, железо и порох. Державе папской, – прибавил Паулуччи, – не хватает военной силы. Оттого и влияние ее на европейские дела призрачно. Кстати, Московия слишком высоко ценит мнение папы. Оно не поразит громом Станислава. Вы натура неиспорченная, принчипе. Вы верите в могущество справедливого слова.

– Чем же побуждать человека к добру? – возразил Борис – Неужели одному лишь оружию дадим власть?

– У вас благородные чувства, принчипе. Это делает вам честь, конечно...

Нет, размышлял Борис, невозможно допустить, что все доброе в людях погибло. Тогда каким же способом возвратить золотой век?

– Благонамеренный политик, – рассуждал между тем Паулуччи, – старается низкие страсти направить к пользе. Иного материала, увы, нет... Хвала нам, принчипе, если мы приручим Марию-Казимиру.

– Боюсь, – сказал Борис, – итог Люблинского сейма отнял у нее кураж.

– Нисколько. Я недавно играл у нее в карты. Есть другое препятствие. Принцы равнодушны. Королева в бешенстве. Она при мне чуть не била Константина. Несчастный не виноват, он упоен Толлой. Смогли бы вы, принчипе, променять подобную женщину на корону, да еще на такую скользкую?

– Нет, – сказал Борис.

## 12

Минул май, сухой и жаркий, выпив Тибр почти до дна. Заполыхал июнь, угрожая превратить город в каменную пустыню. В часы сиесты Рим замирал, поверженный цепким сном, и только фонтаны звенели на безлюдных площадях. Жизнь пробуждалась под вечер, извещая о себе сухим треском открывающихся ставен.

Ответную грамоту царю красные шапки переписали, да любезнее она не стала – все та же уклончивость. Свидания с папой ничего не меняют.

Когда Борис поднялся, поцеловав туфлю, голова у него закружилась – до того душно во дворце. Услужливые опахала взбивали зной, от махальщиков несло потом. Папа, белевший лицом в полумраке, казалось, едва дышал.

Уже изволит именовать царя величеством, но только устно. На словах – альянс полный, по всем статьям. И протест против нунция Пьюццы святой отец выслушал с участием.

Добиваться ли письменных уверений? Посол запрашивал Москву, отклика не получил.

Досадой Борис делился с дневником:

«Что было должно дать мне знать от нашего двора о делах тех, которые подлежат к здешнему двору, и не дано знать ничего».

А нужны известия о самом важном – о положении на театруме войны. Газетта часто врет, а слухи и вовсе лживы. Стороной, от дипломатов, Борис узнал, что шведы, вопреки предсказаниям, все еще сидят в Саксонии.

Оттого ли молчит Москва, что сказать нечего? Мол, новых инструкций нет, наблюдай за погодой политической, допекай кардиналов, папу, мотайся между Квириналом и палаццо Одескальки!

А помнят ли в Посольском приказе, что кардиналов восемнадцать особ и визиты надо отдавать, никого не пропуская, и не с пустыми руками? Запас соболей, бобров, куниц надо бы пополнить.

Как не пойти, например, к дону Альбано? А с чем? Одного хвоста мало, на смех поднимут. «Той чести никому не чинится, кто бы мог иметь к себе визиту от племянника папы».

Тают меха, тают и казенные деньги. Содержать дом, принимать гостей не дешево. Карманы выворачивай, а блюда реноме, хоть ты и «без характеру». Губастову послан приказ:

хлеб свежего обмолота в амбарах не квасить, цену не высиживать, везти на торг.

«Везде смотреть и собирать деньги», – повторяет князь-боярин. Кого из послов ни опросишь, никому не хватает жалованья. Самое меньшее – две тысячи ефимков должен выжать Губастов.

В том же пакете – письмо детям.

«Князь Александр Борисович здравствуй и с сестрою! Зело радуюсь, что учитеесь, токмо соболезную, что не говорите по-немецки. Уже время немалое, требует то малого прилежания, а не лености. А паче меня веселит, что умеете танцевать».

Княгине от мужа – ни слова.

Борис не томился бы в раскаленном Риме, если бы не жажда сердца. Пестрой толпой текут чужие аморы, чужие радости. Франческа где-то близко, тем горше пребывать одиноко. Жажду сердца не утолит влага с виноградников Фраскати, Виллетри – лишь память затуманит.

Кормят вельможи не скупое. На виллу к Сагрипанти набилось, считая лакеев, человек триста, мест для всех не достало, опоздавшие ели стоя. Слуги рыскали вокруг столов, таскали господам кушанья и украдкой угощались сами. Говяжьки, гусиные, куриные кости устилали пол, хрустели под ногами. Борис невольно шарил глазами в толпе – не вынырнет ли Броджио, родственник хозяина. Сагрипанти – красноносый толстяк, отяжелевший от выпитого, задремывал в кресле и отвечал Борису невнятным брюзжанием:

– Из грязи вытащил оборванца... Ради его покойного отца... От мальчишки воняло свиньями... Где его носит, а?

Уж будто Сагрипанти, начальник Элиаса, не знает!

К Петрову дню лето разъярилось еще пуще. На пьядца Навона, во всех трех фонтанах закупорили стоки, вода, направляемая Нептуном, Мавром, наядами четырех рек – Нила, Ганга, Дуная и Ла-Платы, – хлынула на площадь и разлилась озером. Настал плезир для знатных особ – гулянье по воде в экипажах. Кавалеры, подъезжая к дамам, тешили их разными подношениями и учтивостями. Вечером в воде отсвечивали фонари, зажженные на колясках, а также вывешенные из окон по всей площади.

Борис отметил в дневнике жирандоли, сиречь люстры, вертящиеся на ветру, торчи – то есть факелы и громадных размеров свечи, – все разнообразие светочей, коими столица украшается в честь апостола. Пришлось и послу Московии, чтобы не отстать от других дипломатов, обрядить свой дом огнями.

Ох, не напасешь скуди на все праздники! Фонтан, золотом плещущий, надо иметь...

Только во дворце Оттобони покинули Бориса заботы – кардинал давал торжественную ораторию, иными словами концерто с виршами, духовным пением и музыкой.

«Такой огромной музыки и композиции и таких инструментов на свете лучше не может быть, а наипаче такие дикие были выходы на трубах, что внезапно мною затменность дают человеку».

Элиас Броджио, доверенный двух господ – австрийского и римского, – прибыл в Вечный город еще до Петровок, но визита удостоил не сразу. Сперва разведаль, чего достиг москвит, как идут переговоры. Явился как ни в чем не бывало, словно вчера расстались.

– Дуэль, принчипе, дуэль! Граф Сарао вызвал посла Испании. Виноват, в сущности, граф – он велел кучеру обрызгать испанца на пьядца Навона. Кучер уже избит, на него напали посольские головорезы.

Он освобождался от груза сплетен, успевших прилипнуть, и вдруг, надломив брови, скорбно:

– Принчипе здоров? Римская жара действует угнетающе. Ах, принчипе, какой дивный воздух в Саксонии!

Бросил вскользь, что был у Августа, намекнул на некие секретные поручения.

– Саксонец обожает императора и царя... Но пока в стране шведская армия... У меня переворачивались внутренности при виде этих самодовольных отъевшихся лютеран. Их сорок тысяч, принчипе. Они прикованы к месту страхом. Да, да, страхом, принчипе... Карл получит удар в спину, как только выйдет из Саксонии. Царь поможет императору справиться с венграми...

Опять та же погудка... Однако, сдастся, иезуит уже не столь уверенно воспекает альянс



царя и императора.

– А вы, принчипе, покорили Рим. Да, все говорят... Вы видели королеву?

– Видел, – сказал Борис коротко.

– На что вам эта сумасшедшая? Не постигаю, почему ее терпят в Риме. Правда, если царь не захочет вернуть в Варшаву Августа, судьба, может быть, улыбнется Собесскому...

Борис выдержал взгляд собеседника, о визитах своих в палаццо Одескальки предпочел не распространяться.

– Я не любопытствую, – сказал иезуит с ноткой обиды. – Я прежде всего слуга церкви.

Нужды ордена и ничто иное заставили его посетить Рим, изнывать тут, задыхаться, подобно рыбе, выброшенной на песок. Итальянское лето для него убийственно.

– На днях меня примет Сагрипанти. Посмотрите, принчипе! Без вашего одобрения это всего лишь клочки бумаги. Почитайте, обдумайте на досуге.

Ушел, оставив пачку листов – планы деятельности миссии в Москве.

Отталкивать иезуита не велено.

В тетрадах Куракина беседы с иезуитом следа не оставили. Потомок найдет несколько слов в письме Броджио отцу-провинциалу:

«Я беседовал подробнее с московским послом».

Член ордена, даже в градусе посла, обязан докладывать о своей деятельности непосредственному начальнику. Тревоги свои Броджио пока прячет, письмо дышит благополучием.

Очень скоро, до исхода июня, он покинет Рим, исчезнет из поля зрения Куракина. Почему – царский посол сможет лишь догадываться.

### 13

Роковой для Элиаса Броджио разговор произошел в загородном дворце Сагрипанти, на веранде, в живой тени лавров и плюща. Кардинал поглощал персики, брал их с блюда один за другим, захлебывался соком.

– Ешь! – произнес он, усадив Элиаса ленивым движением жирной руки.

Их разделяла мраморная чаша, вделанная в пол. Хозяин наклонялся над ней, оберегая вспененный кружевами халат, сбрасывал содранную ногтями кожуру.

– Помнится, ты затеял сочиненье... Я не ошибаюсь? О духовной власти, что ли? Вызывал дух Макиавелли на диспут, верно?

Он усмехнулся и закашлялся. Броджио напрягся. Бархат персика покалывал пальцы.

– Трактат о могуществе, монсиньоре.

– Начинание благородное, сын мой. Жаль отвлекать тебя от него. Грешно отвлекать.

– Мои слабые силы... – начал Броджио и осекся.

– Грешно отвлекать, – повторил кардинал резко.

Элиас похолодел. Ручейки сока потекли в рукав – он не заметил, как сжал спелый плод.

– Твой отец возвеселится на небесах, если тебе удастся этот труд.

Кардинал говорит так, словно он, Элиас Броджио, только что прислан в Рим из горного селения к знатному родственнику. Мальчишка в холщовой куртке, в истертых башмаках.

– Жизнь на колесах, монсиньоре... Постоянное служение церкви... Я не имел времени...

Он не робеет во дворцах, перед коронованными особами, но противостоять силе, которая исходит от Сагрипанти, всевластного Сагрипанти, не может. Кто выше кардинала Сагрипанти? Только один папа.

– Уповаю, – кардинал выплюнул косточку, – упваю, ты еще послужишь церкви. Посвятишь себя занятиям литературным...

Косточка ударилась о мрамор, скатилась на дно чаши, смешалась с фруктовыми очистками, накопившимися с утра. Некоторые уже потемнели, свернулись. Чаша разверзлась, как пропасть.

Губы Элиаса дрожали. Он собирал остатки самообладания. Задыхаясь от ужаса, выдавил:

– За что, монсиньоре?

– Мальчик мой... Нельзя охотиться сразу на зайца и на фазана. Ты уверял нас, уверял

императора, что не спускаешь глаз с твоего москвитя... Где ты был, когда твой Куракин пробрался к Ракоци?

– Немыслимо... Князь лечился в Карлсбаде...

– Да, лечился и выехал из империи. А потом – к венграм, с паспортом на итальянское имя... Есть свидетели.

– Кто? – вырвалось у Броджио.

Ответа не последовало. Сагрипанти выбирал персик, «Имена одиозны» – ожило вдруг в памяти. Наверно, Заленский... Недаром после той встречи во Львове вонзилось подозрение... Пан ректор, ученый книжник с ласковым, мурлыкающим голосом, – он скрывает свое жало, подлый скорпион... И эти погребальные портреты... Сколько раз попадались они Элиасу в польских храмах, но тогда, в соборе иезуитов, его вдруг покорило. Неспроста, значит... Розовый младенец с недетским укором в глазах, старуха в черном... Покойники, глядевшие с того света и словно предостерегавшие от чего-то...

Заленский, кто же еще...

– Тебя одурачили, мой милый. Москвит обнимался с венгром, а ты...

Каждое слово падало тяжелой глыбой. И Броджио находил подтверждение догадке, хотя имя доносчика так и не было названо. Да, не кто иной, как Заленский... Завистник, собиравший улики упорно, кропотливо, несколько лет... Он крался по пятам, втерся к Дульской, к гетману...

– Поплатится, Иуда, – бормотал Элиас. – Поплатится...

Кардинал стряхнул в чашу брызги сока, потянулся к полотенцу. Элиас увидел гримасу иронии, которую всегда старался перенять.

– Кому ты намерен мстить? Ордену? Избивай себя! Ради всех святых, скажи, чего ты добился в России, в Польше? Московская миссия просит другого прокуратора, более рачительного. Можешь убедиться.

Кардинал позвонил в колокольце, вбежал, шлепая восточными туфлями, секретарь, подал припасенный листок. Незнакомый почерк копииста...

«Отец Броджио не может дать истинного понятия об этой миссии, потому что ему неизвестна и сотая часть того, что он должен бы знать».

Да, не хватало времени на миссию. Поручения дворов...

– Вена для тебя закрыта. Император считает, что ты вводил его в заблуждение.

Царь не даст ни одного солдата для подавления мятежных венгров. Русские смеются над легковверным эмиссаром Иосифа. Они в выигрыше – слухи об альянсе Москвы и Вены смутили Карла, и лютеранин стоит в Саксонии, все еще стоит, не зная, с кем начать сражаться.

– Гордыня губит человека, роет яму... Поклонись своему москвитю – он дал тебе урок. Что затуманило твой разум? Ты, кажется, воздержан в питье... Царь слушал мессу, царь на диспуте в коллегии иезуитов, царь... Мизерикордия! Можно подумать, царь завтра же станет католиком. Игра, милый мой, игра, рассчитанная на наивного...

Он опустил полотенце, растянул на коленях. Заговорил мягче:

– Мы все наивны. Московия – великан, расправляющий мышцы. Русские возьмут у нас все, что им нужно. Навязать им ничего не удастся. Даже гетману... Мазепа уверенно укоренит унию в Малой России? С чего ты взял? Разве он обещал тебе переменить веру? Откуда у нас столько иллюзий, идиотских иллюзий? Я затребовал о нем все данные, и, по-моему, этот старый хитрец вовсе не мечтает покориться Варшаве. Малая Россия богаче Польши, у нее больше людей, больше хлеба... Дай ему опору, дай согласных вельмож – он присоединит Польшу к своему казацкому царству.

Слова били Элиаса, добивали. Нужды нет, что виноват не он один, – страдать выпало на долю ему. Из него словно выпустили всю кровь. Жизнь кончилась. Литературные занятия? Давно выброшены два исписанных и перечеркнутых листка – начало трактата «О могуществе светском и духовном», робкое, косноязычное. Прозабание в глуши – вот что его ждет.

– Отец-провинциал не будет извещен о нашем разговоре. Это не ссылка. Ты еще понадобишься. Я позабочусь... Твой отец спросит меня... Там...

Толстая рука лениво поднялась к потолку. Там кустилась лохматая голова Нептуна. Он вынырнул из морской синевы, вода стекала с волос, с обвислых бровей.

– На время тебе следует выйти из обращения. На год, на два... Мы ценим твои связи с Москвоей, твое знание русского языка. А пока тебе нужно отдохнуть. Поезжай с богом!

Верить ли ободряющим словам? Не обманывает ли слух? Элиас встал, ноги не держали его. Простонав, он рухнул на колени, схватил край кардинальского халата, зарылся в него лицом.

Броджио вернулся в город, дрожа от нервного озноба. Знакомые улицы смыкались, давили, Рим вытеснял его, исторгал из каменного своего лабиринта. Надо предупредить отца Миллера... Немедленно...

Он напрасно просидел всю ночь с пером. Лихорадка преследовала его и в дороге – письмо, посланное из Триденте, получилось сумбурное.

«Я оставил в Риме князя-московита... Меня желают приставить к Августу в Саксонии, но я...»

Нет, он не мог вымарать эти бравурные строки, хотя отлично представлял, как Иоанн Миллер, отец-провинциал, пожмет плечами, читая продолжение.

«...я почел бы себя гораздо более счастливым, и чистосердечно это заявляю, если бы после стольких утомлений мог остаться в провинции и служить ей».

Тут же, позабыв о стремлении служить, он написал:

«Буду просить вас, уважаемый отец, чтобы вы благоволили дать мне в провинции, по возвращении моем какое-нибудь убежище, где бы я мог немного отдохнуть и поправить свое здоровье».

Это последнее из писем Броджио, найденных русским историком два столетия спустя в архиве Ватикана. На политической арене он более не появлялся, если не возник где-нибудь под другим именем. Энциклопедия деятелей католической церкви упоминает его лишь как прокуратора московской миссии – отсюда следует, что карьера его на том завершилась.

Трактат «О могуществе светском и духовном» в книгохранилищах неведом.

## 14

Римское лето – пытка для Марии-Казимиры. Ни дождя, ни ветра не вымолишь у богоматери. Толла бегают по покоям почти голая, ей хорошо. С утра до ночи в палатце Одескальки свистят опахала из павлиньих перьев. Слуги измучились, обмахивая госпожу.

Томителен день, а ночь еще ужасней. Постель – пылающая печь. Королева приказала повесить над изголовьем пейзаж, засыпанный снегом, – прохладой Польши от него не повеяло. С досады стало еще жарче. Картину вынесли.

Бросила бы Рим, это пышущее жаром чудовище. Умчалась бы на север, в горы. Или в Остию, на приморскую виллу, – все легче. Нельзя. Сыновья – что они могут без нее? Куракин, этот всеведущий москаль – птицы, что ли, приносят ему новости? – сказал: в Венгрии объявлено междуцарствие. Ракоци довольствуется Трансильванией, трон венгерский свободен.

Когда-то, еще в Варшаве, старая цыганка прохрипела пророчество: твое число семь. Ныне год тысяча семьсот седьмой, – две счастливые цифры. Как истолковать их?

Две короны для Собесских?

Дерзость этой мысли ошеломила ее. Впилась в мозг, не угасала и во сне. Короны сверкали в полудремоте, она сама возлагала их – венгерскую, польскую – на склоненные головы...

Паны в Люблине не угомонились. Москаль говорит, собираются снова. Вдруг гаркнут всеми глотками: «Вон Станислава!» Она не простит себе, если упустит шанс.

Две семерки... Еще раз они выпадут не скоро, через десять лет.

Да, число доброе, это подтверждалось часто. Колдунья мудрая нагадала двух мужей – не ошиблась. И много детей, из которых выживут пятеро. Двух ангелочков, взлетевших в рай, не досчитала. Бог сохранил сыновей, – наверно, не зря...

Видение, неотступное видение торжества Собесских не бывало отчетливо – она просыпается от звонов и пения в честь коронации, от епископского баса, от пушечного салюта... За завтраком она рассказывает, вспоминая мельчайшие подробности. Епископ, чернобородый красавец, еще молодой, корону держал неловко, словно она жгла его...

– Смейтесь, смейтесь над матерью! – корила сыновей. – Бывают часы прозрения, бывают,

клянусь мадонной!

– Епископ уронил корону, матушка, – шутил Александр.

Поев, он уходит к своим книгам. Константин неразлучен с Толлой, они обнимаются то на бархате диванов, то на коврах – меняют декорацию поэмы, как объясняет принц. Однажды королева невзначай застала их, войдя в мавританскую гостиную. Толла вскочила, умоляя извинить, ее груди не вздрагивали при движении – крепки, точно яблоки. «Как у меня когда-то», – подумала Мария-Казимира.

Она уже спрашивала сына, сперва мимоходом, посмеиваясь, потом настойчивей – не устал ли он от ненасытной южанки?

Александр завидует младшему брату, тайно ревнует... Присутствие Толлы во дворце бывает в тягость. К себе она не едет, боится. Какие-то негодяи изукрасили подъезд палаццо ди Палья неприличными надписями, разбили камнями окно.

А главное, пока это воплощение сладострастия здесь, Константина не оторвать...

Куракин говорит, царь поддержит обоих. Два короля, связанных братскими узами, – возможно ли желать лучшего? Польша и Венгрия в альянсе между собой и с Московией, новая сила у самых ворот Вены... Москаль неглуп, развернув карту, он показал неопровержимо – император, ослабленный потерей Венгрии, будет вынужден примкнуть к русско-польско-венгерскому союзу. На востоке Европы образуется оплот, неприступный для лютеран, для турок...

– Близится осень, ваше величество, – сказал Куракин. – А ведь король Карл собирался праздновать летом викторию в Москве. Стратег, знаменитый молниеносными ударами... Вывод извольте сделать сами...

Беспорно – мощь Московии возросла, а шведская клонится к закату. Кто, кроме царя, протянет руку Собесским?

Он хитер, москаль. Он старается навещать как можно реже. Зато француз зачастил – сыплет анекдотами и вскользь выпытывает.

Несмотря на жару, в палаццо Одескальки кишмя кишат визитеры. Никто не спрашивает прямо, что нужно здесь царскому послу? Вопрос читается в маленьких серых, мышинных глазах кардинала Ланьяско, посла Саксонии. Таится в чертах холеного венецианца – его широкие ноздри забавно шевелятся, как у собаки, почуявшей дичь. Будь царь Петр суверен малозначительный, – его посол не вызвал бы столько волнений, догадок, пересудов.

К тому же Паулуччи, старый друг Паулуччи не посоветует дурного.

– Царь Московии единственно полезный вам потентат, – слышит от него Мария-Казимира. – Но вы не готовы. Принц Константин погружен в любовные утехы...

Он не забывает напомнить, что Собесским требуется и благословение папы. От него зависит дать принцам подобающий эскорт – время беспокойное, император воюет с королем Наполя, Рим пропускает через свои земли австрийские войска.

– В интересах вашего королевского дома, равно как и в интересах церкви, уладить прискорбное недоразумение...

Кардинал брезгливо поджимает губы – имя куртизанки не осквернит его уст. Толла, милая Толла, – как она встряхнула Рим, этот город, прокопченный ладаном!

– Святой отец милостив к вам, невзирая ни на что. Он проявил великое терпение...

И ждет признательности, продолжает королева про себя. Бедная Толла, необузданное дитя природы! Она украсила Рим лучше, чем изваяния из камня и бронзы, но он не оценил ее.

Что же, в конце концов для нее сделано достаточно. Она богата. У нее есть титул, пускай спорный. Она отстоит его – женской своей властью.

Разговор, определивший судьбу Толлы, был мучительный, но короткий.

Вызвав Константина, Мария-Казимира оделась по-турецки – шальвары, свободное платье почти до колен. Сунула кинжал под струящийся шелк.

– Ответь, – приказала она, – желаешь ли ты быть моим сыном?

Принц смутился.

– Я вижу только любовника Толлы, – бросила она, не дав ему раскрыть рта. – Собесского, князя Собесского, которого ждет трон несчастной Польши, я не вижу.

– Но, матушка...

– Толла уедет отсюда. Прощайся! Она уедет сегодня же, иначе завтра ее заберет стража. Я дала разрешение губернатору.

– Вы... вы убиваете меня, – произнес принц нетвердо.

– Первой умру я, – она шарила в шелку, не нашла сразу рукоять кинжала и выругалась.

Сталь блеснула, Константин отшатнулся, заморгал.

– Я уеду с ней... Или погибну на пороге...

Кинжал маячил перед ним, и он не спускал взгляда с клинка, вращал глазами. Вид у принца был нелепый, и Мария-Казимира расхохоталась.

– Дурак. Твой труп ей не нужен. Ступай, приведи ее!

Он вышел. «Сбегут», – вдруг подумала она. Мысленно она поставила на место Константина его отца. Ян бы не уступил. О, Ян пожертвовал бы всем ради своей Марысеньки...

Нет, не сбегут... Часы – серебряный диск, вправленный в грудь фавна, – стучали отчаянно, спешили куда-то. Две семерки, две семерки... Вдруг почему-то вспомнился лес в окрестностях Варшавы, далекие зовы охотничьих рожков, подушка мха под головой – одно из первых свиданий с Яном.

Ей почти хотелось, чтобы любовники сбежали...

Они явились. Что он сказал Толле? Мать покончит с собой... Но ведь не верит же в это, не верит... Стоит у двери, пристыженный. Конечно, он устал от наполитанки.

Целомудренно запахнув халат, Толла поникла и нежно обхватила ноги королевы.

– Я сама хотела... Я не могу так... Я будто в осаде... В Риме столько злых...

Девочка не успела поправить волосы, освежиться духами. От нее пахло постелью, юностью.

– Уходи! – крикнула она сыну. – Мы будем плакать.

Она решила вызвать слезы, но задуманной сцены не получилось – Мария-Казимира разрыдалась искренне. Жаль девочку и жаль себя. Подушки мха под головой, того, что минуло, и того, что упущено.

«Две семерки, две семерки», – бежало в сознании, вместе с цоканьем часов.

Мария-Казимира встала с лесного ложа. В ней ширилась нежность к Толле. Девочка благодарит. Она отдает любовника матери, трону...

– Дай бог тебе настоящего мужчину...

Чистая душа, ребенок, который беззаботно играет сокровищем, своим телом. Жаждет доставить только радость, а встречает злость. Бедная девочка – теперь нет таких мужчин, как Ян. Ты не испытала любви, нет, не испытала. Твое тело полно неведения. Константину почти сорок, но он еще сосунок.

«Две семерки, две семерки...»

Часы застучали громче и словно втеснились в мозг.

Королева слегла. На другой день она добрела до окна, чтобы помахать наперснице. Вслед за каретой графини ди Палья двинулись строем польские орлы. Константин на вороном аргамеке гарцевал впереди. Он проводит куртизанку до городских ворот.

Из толпы в карету летели цветы. Принца же простонародный Рим наказал хмурым молчанием.

– Поляк был похож на побитую собачонку, – смеялся кавалер Амадео, рассказывая новость Куракину. – Он ничтожество... А Толла помчалась к другому, положив в сумочку тысячу золотых отступного. Королева не скупа. Тысяча – в придачу к дому, к добру. Вот теперь, сиятельный князь, скука заест нас окончательно.

Рим не сразу забыл красавицу. В октябре, когда царский посол покидал столицу, еще раздавались песенки, сложенные в ее честь. Поэты, собираясь на соревнования, прославляли Толлу в экспромтах.

Ожившее античное изваяние не могло бы более поразить римлян, чем она, – утверждает автор сонета, одного из двухсот двенадцати в рукописной «Толлеиде», уцелевшей для потомков.

Куракин не добился уступок от папы. Грамоты желаемой Климент не дал. Слово, однако, сдержал – Станислав, приемыш шведский, святым престолом не признан.

В письмах посла сквозит раздражение – ведь с самого начала было ясно, что в Риме «хотят смотреть на остаток войны» и векселя вручать воздерживаются. «А больше имеют склонение до Августа, чтобы он в Польшу возвратился и в прежнем состоянии был».

Собесские у папского двора в запасе. Знаменитейшая фамилия ценность имеет немалую в политической игре.

Пока что ни Константин, ни Александр кордона не пересекли. Марыся выжидает, Паулуччи обнадеживает, а князья утопают в плезирах. Что же, за них голова не болит.

Главное, в палаццо Одескальки уже не интригуют в пользу Станислава. «Во всех делах за него стараетца королева польская», – писал Куракин в первом донесении из Рима. Покончено с этим. Нет у королишки опоры сколько-нибудь значительной в Вечном городе.

Лишился Станислав и алеата в кардинальской сутане. Нунций Пьоцца смещен. «И все министры о том знают, что сделалось от меня и по моему старанию при папешском дворе».

Папа прощался с Куракиным милостиво. Царя опять именовал величеством. Хоть не на бумаге, в разговоре уважил, и то ладно. Подарил послу две медали, выбитые во славу церкви и трона. Обязал отвезти дар царевичу – крест с мощами Алексея, человека божьего.

– У наследника вам искать нечего, – сказал себе Борис, взяв реликвию. Благодарил истово, припал к тувле, обсыпанной колючим бисером.

В последний раз, слава те, господи!..

Багажа набралось невпроворот. Подношения, книги, наряды для всяких случаев. Кавалер Амадео, оглядев груды вещей, короба, Фильку, обнимавшего глобус, произнес:

– Я замыслил доломать ваш экипаж... Моя дружба не выпустит вас, принципе.

Протянул, грустно улыбнувшись, небольшой томик, переплетенный в кожу.

– «Цивитас Солис», – прочел Борис и почесал за ухом. – Латынь... Ну, как-нибудь, со словарем...

– «Город Солнца», – пояснил кавалер. – Автор презабавный фантазер.

Художник Бассани нарисовал москвиту на память сад Тиволи, спадающий каскадом, из коего, словно из прибоя громокипящего, выходят каменные эллины. Борис предложил искусному мастеру службу в России, и он как будто соблазнился.

О Фильке, ученике своем, сказал:

– Ему недостает отваги или таланта, точнее определить не берусь. Быть может, станет копиистом.

Глобус в карету не влез, напрасно денщик обшивал его. Зато книги поместились все, даже гистория римская в восьми томах, каждый чуть не по пуду. В чемодане под сиденьем самое заветное – тетради.

Никогда не увозил их столько...

Записывать вошло в привычку. Разве удержишь все в уме? Доведись, к примеру, встретиться с маркизом или дуком... Сразу же, по одежке, можно судить, каков прием.

«Без шляпы и шпаги – уничтоживая, не хотя отдать чести... Если одна рука в рукавице – спесиво принимает».

Отсутствие перчаток обижать не должно – это знак непринужденности. Но тогда и самому надо скинуть. Не забыть, до какого места вельможа проводил, простившись. Явится он с визитом – отплати не меньшей мерой политеса.

Но и не большей! Престиж державы своей не роняй!

Потомок найдет в тетрадях заметки о государственном устройстве, перечень должностных лиц, справки о ценах, о товарах, о штате прислуги послов и знати, политические известия из разных стран Европы, похвалу художествам, осуждение бродячих святош, которые дурачат народ.

Народ... Князь Куракин все чаще опускает к нему взор. Посол считает нужным занести в дневник, что «той народ римской весьма не контентен быть под папою».

Тяжелые налоги, несправедные судьи закон поворачивают в угоду влиятельным лицам. Куракин не щадит князя Альбано, хоть и пользовался его расположением, прямо обличает племянника папы и других именитых, «которые через малое время миллионы богатства

наживают».

Вместе с простым людом Борис сожалеет, что «забавы под заказом, как комедии, оперы и другие». Вельможи, те всяко улажены плезирамаи – явными и тайными.

Куракин впервые пишет о неравенстве – вот что остановит внимание потомка.

Полгода с лишком провел посол «без характеру» в Риме – был досуг наблюдать и думать. Рождаются мысли, для князя непривычные. Они смущают его, эти непрошенные мысли, и поэтому изложены по-итальянски, словно речь идет о предмете интимном или секретном.

«Воистину все мы люди» – так начинается примечательное рассуждение. Все – в любом звании, высоком и низком. Вельможам не следует кичиться происхождением – «все знатные роды были прежде людьми бедными».

Куракин убежден, что «они приобрели свои титулы добродетелью, передаваемой из рода в род такое продолжительное время, что удержали известность навсегда. Но вот несчастье знатных людеи, когда они, уверенные, что все обязаны оказывать им особое поклонение, перестают о чем-либо мыслить, бросают науки, знание, добродетель и собственное достоинство. Это мы видим во Франции, Московии, Швеции, Англии, – там уже знать не пользуется таким уважением, как прежде».

Скрепя сердце князь признает – лучшие фамилии нигде не выполняют своего долга, о благе народа не пекутся. Записка «О бесчестных вельможах» звучит беспощадно, – «тот их первый интерес: вступя в службе наиперве искать себе вечного интересу, где бы мог живот свой беспечально и бесстрашно пробавить».

В Москве сию позицию избрал Авраам Лопухин – сиднем сидит на своем дворе, чурается службы. Что ему слава отечества!

Добро бы он один...

Наедине с тетрадью Куракин вопрошал: отчего одни государства возвышаются, другие же упадают, как, скажем, Венеция. Попробовать сравнить ее с другой республикой – Голландией...

«Прежде старая знать имела поживление от земли, а не от коммерции». Теперь же в Светлейшей республике лишь «три-четыре дома имеют крестьян, как у нас». Бывало, венециане на море не имели равных, громили султана, отвоевывали у турок Грецию – мощь державы покоилась на надежной основе. С тех пор страна меньше пашет и сеет, меньше добывает на своей земле. Вот, стало быть, главное! Вопрос, занимавший Куракина давно, прояснился – чтобы богатеть и побеждать врагов, надо производить.

У голландцев много своего – хлеб, ткани, всякие изделия. Венеция же только торговлей держится. Этого мало. Турция теснит ее на море, отнимает захваченное. У венециан «достатка нет – тягостей войны не понесут».

Знать нынешняя, особенно новая, из купцов, боится вооруженных столкновений, – ведь «если воевать с турками, торги преткнутся».

Куракин-дипломат сожалеет – от альянса с Венецией против султана пользы меньше...

Торгаши, они каждую копейку на зуб пробуют. Из-за копейки удавятся. Княжеское существо Куракина восстает против власти, созданной деньгами, хотя в Голландии, надо согласиться, народу живется лучше, и науки, художества возросли обильно. Запомнилось князю, как на почтовой станции взыскали плату лишь за то, что погрелся у очага.

Каков же способ достигнуть блага всеобщего, удовольствовать страны и людеи во всем?

Поглядеть, что проповедует Томмазо Кампанелла... Город Солнца, идея философской республики. Такой еще не видывали... Латынь дается туго, каждая строка заставляет рыться в словаре, но дорога длинная и охота большая.

На карте Города Солнца нет, это уж точно. Кампанелла придумал морехода из Генуи, придумал сие путешествие – идею ведь преподавал, образец для будущего. Однако город на холме, храм посередине, с куполом вроде как у собора святого Петра, представляет наглядно.

В алтаре – глобус с изображением неба. И другой глобус, показывающий землю. Ишь ты, религия, с католической не сходная! Книга, выходит, еретическая. Что ж, и еретики нередко глаголют истину.

Посольская карета одолевает холмы римской Кампании, плавно катит по плоской Умбрии, черной от жухлой виноградной ливы, обгоняет телеги, запряженные круторогими белыми волами, покорных осликов, бредущих под кладью. На раскрытую книгу падает тень от

звонницы, от зубчатой монастырской стены.

И въезжает посол московский в Город Солнца, где знания, почести и наслаждения стали достоянием всенародным, где никто не может себе ничего присвоить.

Чтение подвигается медленно, в день страниц пять-шесть. Уже позади Флоренция, начались Апеннины, с высот, поросших низким, жилистым дубняком, пахло холодом. Филька, свистя кнутом, пугает босоногих ребят, посиневших от стужи.

Дети в Городе Солнца поголовно учатся, людей неграмотных, невежественных там нет. Правители о том заботятся неусыпно. Так же старательно обороняется город от болезней.

«Неужто и скорбутики не ведают?» – вопрошает Борис, переносясь в блаженные те пажити.

Внезапно созрело решение. «Вернусь домой, – сказал себе Борис, – дам Губастову вольную. От меня все равно не уйдет, поди...»

Иногда, прервав чтение, Куракин принимался думать вслух либо спорить с автором. Кормило власти он вручил священникам. Почему? Верно, по образцу державы папской. Однако служители церкви ведь тоже люди. И в Риме те же пороки человеческие, те же неудовольствия, что и повсюду.

Увлечшись Борис повышал голос. Филька вначале испугался. Навострил уши, поймал несколько слов. Осмелился спросить, где, в какой стране солнечный город, не туда ли путь лежит? Князь-боярин засмеялся:

– В голове у синьора Кампанеллы, вот где.

Не понял, деревенщина.

– Град умозрительный, – пояснил Борис – В натуре не сыскать.

– Не сыска-а-ать? – протянул Филька.

Захотел поддержать книгу. Полистал, поднося к глазам картинки. Тряхнул гривой, сказал убежденно, что Город Солнца где-нибудь да должен быть.

– С чего ты взял? – удивился Борис.

– А как же? Ведь напечатано...

– Мало ли что! Сказка, понял ты?

– Не-е... Сказки не печатают.

– Так то у нас, философ ты лапотный, – потешался князь-боярин.

Филька с этим не смирился.

– Для чего ее в книгу, сказку-то?

Без малого до Венеции хватило Борису мудреной латыни. А там ожидала его необыкновенная, нечаемая сорпреза, счастливейший дар Фортуны.

## 16

«Был инаморат»...

Как сказать иначе о чуде, случившемся в Венеции, о встрече с Франческой? Нет на русском языке виршей, воспевающих любовь к женской особе, нет сонетов, подобных Петрарковым.

«...В одну читтадинку...»

Не напишешь ведь – посадская женка. Горожанка – и то грубо. Натрудивши ум, Борис прибавил:

«...Славну хорошеством».

По-итальянски изобразить женскую прелесть легче, да ведь хочется сказать своей, родной речью о самом дорогом. Прекраснейший в жизни амор того достоин.

«Называлась Франческа Рота, которую имел за метрессу во всю ту бытность».

Однако не просто метресса, любовница, какую везде можно иметь за деньги. Искренне, с болью душевной прибавил:

«Часу не мог без нее быть».

Никогда еще не изливались в заветную тетрадь признания аморные, горечь разлуки.

Тетрадь лежит в ларце, окованном медью, ключ от него у Бориса в кармане. Ларец всегда под рукой. Устраиваясь спать на почтовой станции, посол кладет его под подушку, вместе с



пистолетом.

Дорога домой опять кружная, долгая – через Вену, Гамбург, Амстердам. Дорога на год целый. И память о Франческе, об аморе юных лет, возродившемся столь дивно, нерушима.

«И расстался с великой плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот amor не может выйти и чаю не выйдет».

Сбылось чудо, сбылось наперекор всем преградам. Негодяй кабатчик деньги прикарманил, а обещанное не исполнил, весть Франческе не подал. Хорошо, что по всем дворам – графским, герцогским – прошел слух о прибытии в Италию посла Куракина. Достигло известие и Мантуи...

Счастье, что сразу по приезде, сняв камору на Ламбьянке, кинулся к палаццо Рота.

Чудо, подлинное чудо... Десять прошедших лет исчезли. Тот же дом, те же запахи. Из погреба, где зреет вино в дубовых бочках, – шальные, пьяные. И лестница заскрипела так же, как прежде. И ведет в ту же комнату с одним оконцем, смотрящим в глухой канал. Внизу старая, отжившая век ладья, та же ладья... И снова кольцо смуглых рук, обрызганных родинками... Письмена Венеры, письма пророческие... Не напрасно сулили радость.

И была ночь, словно первая ночь от начала амора. Ветер дул с лагуны, гнул к воде мачты галеотов, барок, галер, фелук у набережной Рабов, у острова Сан-Джорджо, у Арсенала. И где-то готовился к отплытию корабль Мартиновича, ждал Бориса...

Проснулся первый. Свеча наполняла комнату живым трепетом. Взгляд, пробившись сквозь чашу волос Франчески, упавших на лицо, блуждал, узнавая. Та же полка, откуда сняты были вирши Петрарки...

Сняты для него...

Левее полки висела цитра, и Борис, не найдя ее, ощутил некую обиду.

Кто-то тихо, неслышно задувал свечку – то с востока, из-за островов, надвигался день. Блеснула крышка серебряной посуды для пудры – вещи незнакомой. Утро, неотвратимое утро показывало перемены, внесенные временем.

Борис лежал, не шевелясь. Остерегался сдуть волосы Франчески с губ, не то что повернуться. Скрыться бы от белого дня, продлить ночь, продлить на веки вечные... Там, где следовало быть цитре, обозначился узор ткани, покрывшей стену, дразнящий, колючий узор, и Борис не глядел туда.

Увы, уходит темнота, оберегавшая неведение!

Франческа очнулась, и сомнения Бориса тотчас исчезли, утонули в необъятности ее глаз. Нет, не сразили amor стрелы Авроры.

Служанка, приоткрыв дверь, поставила на пол поднос с шоколатой, и они пили на ложе, неодетые, и смотрели друг на друга без смущения, а только с радостью и любопытством.

– Я все знаю про тебя, – сказала Франческа.

Борис опустил чашку.

– Откуда?

– Мантуя не край света.

«Кто у тебя в Мантуе?» – спросил он мысленно, но произнес другое:

– Что ты знаешь?

– Все, – повторила она с веселым торжеством.

Ан верно – Мантуя не на отшибе. Уведомлены, что у царского посла вторая жена. Сколько детей, и то известно. Тем лучше, самому рассказывать незачем. У мантуанского герцога есть люди в Риме. Когда посол собирался уезжать, сообщили немедля.

– Я на крыльях сюда... Ма-амма миа! Бросала в сумку что попало...

В Мантуе дивятся – москвит сумел расположить к себе папу, втянул его в союз против шведов и против Станислава. И к тому же союзу привлекает императора. И тогда австрийские войска, к великой радости герцога, из Италии уйдут.

– Враки! Выдумщики у вас в Мантуе.

Возмутился притворно, так как чувствовал себя сими преувеличениями польщенным.

О себе Франческа сказала коротко – живет в Мантуе, герцогиня к ней добра.

– Ты замужем?

– Нет.

Плечи ее зябко дрогнули, возбудив у Бориса жалость.

– У царя, – сорвалось вдруг, – тоже вольная любовь, без венца. Как у нас с тобой.

– Где его жена?

– В монастыре.

– У каких сестер? Ах, ведь у вас же другая вера! С кем же любовь у царя?

– Она из самых простых людей. Прислуга у лютеранского падре. Его величество везде с ней... Взял с собой в Польшу, на войну.

– Как ее зовут?

– Катарина.

– Красивая?

– Ты лучше. Она большая, высокая, сильная, как мужчина.

– Нехорошо, – поморщилась Франческа. – Женщина должна быть женщиной. Я понравилась бы царю?

– Э, ты пушек боишься, – сказал Борис и ощутил укол ревности.

– Ничуть не боюсь. Он приедет в Италию?

С утра надлежало идти на пьядца Сан-Марко, заявить о себе, испросить аудиенцию у дожа. Не беда. Занемог с дороги, вот и весь сказ.

Послу велено удостовериться – желает ли Марко Антонио Мочениго, глава республики, иметь, как и прежде, добрую с Москвой корришпонденцию? Какова готовность Светлейшей республики на случай войны с султаном? И есть ли способ учредить торговлю с Россией? Значит, месяц в Венеции с Франческой, а может статься, и долее.

Подлинно – дар Фортуны!

Одно худо – палаццо Рота, спальня над каналом для вольного амора неудобны. Франческа сказала: здесь могут помешать.

– У меня будешь жить, – решил Борис.

Комнаты на Ламбьянке сняты, гостиница отменная. Франческа отказалась.

– В «Леоне Бьянко»? У всех на виду, у всего города? Нет, нет... Есть уголок... У моста Санта-Лючия, у Ляквилля. Никто не найдет...

Сын француза и эфиопки, Ляквиль уродился в мать, черный, как сапог, и губастый. Обличьем страшен, а приветлив и берет недорого – восемь лир с персоны за обед и за ужин. Человек верный, лишнего не сболтнет. Франческе понравилось – кормит вкусно и жилье содержит в чистоте. Нашлась у Ляквилля каморка и для денщика. Князь-боярин приказал ему пистолет держать заряженным – похоже, амор требует защиты.

Вместе, снова вместе... Кого опасается Франческа, кто станет мешать, Борис не допытывался.

– Зачем женился? – спрашивала Франческа, обнимая его. – Остался бы один. Меня позвал бы...

В самом деле, зачем? Волна ее волос накатывалась на него, он страдал от досады, от вины перед ней. Эх, малодушество! Не решился привезти в Москву, в куракинские палаты, чужеземку да низкого роду... А славно бы! Назло Аврашке, назло бородастым...

– Глупости, – она откинулась, прижала лоб к стене. – Не слушай меня! Тебе нельзя... Не слушай меня, не слушай!

На что польстился? На урусовские деревни? На приданое, от которого ему ни прибýtка, ни радости... Женат, венчаны в храме... Названье одно – жена...

Франческа, уткнувшись лицом в подушку, едва слышно умоляла простить безумные слова. Супругой нобилия ей не быть, никогда не быть. Дворянство ее нигде не признано. Аттестация, добытая покойной тетей, – пустой клочок бумаги.

– Твои деньги... Мне странно было, – мадонна, откуда столько! Тетя молчала...

Он повернул Франческу к себе, пытался вытереть слезы. Не жаль ему денег, ничуть не жаль. Она отстраняла его:

– Подожди! Ты прогонишь меня... Нет, я уйду сама...

Вскочила с постели. Мерцание свечи облило ее спину, надломленную отчаянием. Потом она тихо всхлипывала на его плече. «Моя вина больше», – думал он, но сказать не сумел.

После второй ночи настал амор ясный, безмятежный. Амор, переборовший прошлое.

«Не мог часу без нее быть...»

Отлучаться на час и больше все же приходилось, считал минуты, следуя в гондоле по Каналь Гранде, навстречу студеному ветру, острым каплям косого дождя, с силой хлеставшего лицо.

За лагуной, за островами лежала Адриатика, вспененная бурями, шторм колотился в окна палатки дождей, шевелил грузную, вызолоченную тафту портьер.

Межа, поднесенные послом Московии, оказались как нельзя кстати – Марко Антонио Мочениго тотчас же погрузил старческие руки, красные от холода, в ласковый ворс.

Нет, Светлейшая республика дружбу с царем не отвергает. Напротив, хочет оную упрочить, ибо султан, общий противник, покоя бесспорно не даст.

Согласны венециане и торговать. Пускай стеснена навигация войной, усилия приложить надо. Сановник Морозини, знатнейший патриций и первый богач, перешел от слов к делу, обещал снарядить корабль в Россию, с восточными товарами.

Визиты царского посла коротки, от раутов, от концертов в его честь он уклоняется.

– Здесь не Рим, – слышит Борис. – Вы много теряете, принчипе.

Несомненно, плезирами Венеция богаче. Но посол устал в Риме, оттого и избрал статус приватный.

На обратном пути по каналу ветер дует в корму, подталкивает к Франческе. Одетая, как для бала, с высокой французской прической, накрученной на стебель костяного цветка, она ждет Бориса за накрытым столом.

Бывало, видеть не мог без ужаса морских гадов – червцов склизких, осьминогов, многоножек рогатых, – а теперь пристрастился к фруктам моря.

Садясь, клал перед Франческой, к прибору, подарок. То приглянется в городе бисерный кошелек, то бусы, накладка, лента, изделия с островов – стеклянный сосуд с Мурано, тонкое, как воздух, кружево с Бурано.

Франческа умоляла не тратиться безрассудно, но Борис не унялся, купил кресла, купил картину – греческий храм, озаренный восходом солнца. Обставил каморы, будто обрел у негра Ляквилья жилище постоянное.

Верно, чересчур он понадеялся на Фортуна. На исходе декабря произошла неприятность.

«В ту свою бытность две не малые причины видел с маркезом Павлючиным и Спиовением, жентильомом венецким, близко было дуэллию со мной», – сообщает тетрадь, причем «дуэллию» написано латинскими буквами, настолько внове для русского этот способ смывать обиду.

Явились незваные гости спозаранку, Франческа еще нежилась в опочивальне. Борис, затягивая пояс халата, смотрел на них в недоумении. Спиовени и Паллавичини, знатные кутилы, примелькавшиеся Борису на раутах, в остериях, стояли, насупившись враждебно.

– Событие чрезвычайное, – возгласил низенький Паллавичини, тискающая рукоятку шпаги.

– Возмутившее всю Венецию, принчипе, – подхватил Спиовени. Его обтянутое, желтое от ночных плезириков лицо дергалось. – Герцог мантуанский разыскивает бесчестную женщину, которая подлым образом убежала от него.

Стараясь сохранить спокойствие, Борис тщательно завязывал узел пояса и спросил, почему кавалеры обратились к нему.

– Не отпирайтесь, принчипе! – выпалил Спиовени. – Она находится у вас.

– Ступайте вон, – сказал Борис.

Тут же он сообразил, что не должен отпустить их, не потребовав сатисфакции, и раскрыл рот, но заговорил Паллавичини:

– У вас нет никаких прав на нее. Не знаю, как в Московии, а у нас это незаконно, прятать чужую кортиджану.

Борис молчал, подбирая слова для вызова на дуэллию по всем правилам.

– Мы уйдем, принчипе, – сказал Паллавичини почти дружелюбно. – Но только когда вы выдадите нам негодную тварь.

– Вы смеете... – Борис задохнулся от ярости.

– Герцог уполномочил нас...

– Уши оборву вашему герцогу! – крикнул Борис. – И вам тоже!.. Филька!

Запереть дверь, драться с ними, драться немедленно... Он шагнул вперед – босой, в распахнувшемся халате. Кавалеры попятнулись.

– Вы оскорбили госпожу Рота и меня. Одной причины достаточно, вполне достаточно...

Нужные слова ускользали. А кавалеры обернулись к Фильке, кинувшемуся на зов. Он понял князя-боярина по-своему. Помешать Борис не успел. Мгновение – и деревенщина, не ведающий политесов, сгреб обоих нобилей, словно кукол, и приподнял их, онемевших, сдавленных медвежьей хваткой.

– Дурак! Не трожь! Отпусти!

Поздно. Филька со своей ношей уже гремел по лестнице. Ох, натворил, стоерос!

Потом денщик выслушивал, ухмыляясь, поучение. Ну можно ли хватать лапами благородных? Помочь господину своему одеться, подать ему шпагу – вот для чего был зван. Как теперь расхлебывать? Кавалеры будут жаловаться.

– А жизни лишиться лучше? – оправдывался Филька. – Куда тебе против двоих!

Резон солидный. Сердиться на холопа нельзя. Но из-за тягостного сего происшествия отъезд из Венеции придется ускорить. Переговоры во Дворце дождей, кстати, закончены. А ссора с герцогом послу ни к чему.

– Нагрешила, теперь на покаяние, – сказала Франческа, пытаясь улыбнуться.

– Амор не грех. Что ты скажешь своему герцогу?

– Ничего. Уйду в монастырь.

– Не дури! – крикнул Борис по-русски, до того осерчал.

«И расстался с великой плачью и печалью...»

В каждом слове, положенном на бумагу, тысяча ненаписанных. Всей бумаги, какая есть в мире, не хватит, чтобы описать подлинный, единственный амор.

«И взял на меморию ее персону и обещал к ней опять возвратиться, и в намерении всякими мерами искать того случая, чтобы в Венецию на несколько время возвратиться жить».

Когда оно придет, желанное время? Свершится ли чудо еще раз?

Поручения к разным дворам надолго задержали посла в чужих краях. «Вертаючись из Италии был в великой меланхолии», – записано в путевой тетради. Месяц провел в Вене, но любоваться красотами цесарской столицы охоты не было. Слушал придворных музыкантов, играли недурно, однако «музыка не можно сказать, что такова была как в Италии».

В Праге похвалил только Карлов мост через Влтаву, украшенный статуями. Взирая сквозь пелену тоски, отметил – «Город меленколишной».

Весну встретил в Гамбурге. В городе и за Эльбой зеленели, кудрявились сады, влекли к себе толпы горожан. И снова, как повсюду, вздох сожаления об утраченном. Сады «не как в Италии», чахлые против юга, да и подрезаны «артфициально», сиречь искусственно, лишены очарования природного.

Из курфюршества ганноверского поднялся на север до Амстердама, а оттуда повернул к дому, пересек немецкие земли и «нашел способ тайно проехать к венграм». Инкогнито, в качестве «шляхтича московского» отобедал в Эгере у князя Ракоци и в тот же день поспешил восвояси.

Миновав Братиславу, Львов, Борис Куракин, полуполковник от гвардии, ступил на театр ум войны.

## 17

Эх, куда занесло Главную квартиру! Добро бы в Чернигов или, на худой конец, в Стародуб, а то – в Погар. Истинно погар, горелое место, щель тараканья. Правду сказал Филька – три двора, одна труба, из подворотни дым валит.

Забудь, дипломат Куракин, европейские разносолы, хрусткие простыни голландского полотна, вощенные наборные полы, сладостные звуки менуэта, гротфатера! Повинуйся гласу труб воинских!

Спрячь, Филька, подальше, посыпь порошком от моли парадные жюстакоры – бархатный, красный, темно-серый с позументом, камзолы золоченый и посеребренный, да красно-песочного цвета!

Вынь из короба душегрейку да завойки, сиречь мех к сапогам, – вон как похолодало! Держи наготове инструмент рудометный – кровь пускать в случае болезни!

Развесь по хате, для освеженья, римские и гамбургские бархаты! Нельзя же являться из заграничного вояжа без подарков. Поставь в сухое место шоколату и смотри, чтобы не растащили! Десять фунтов в мешке да лепешечки...

С багажом в убогой лачуге тесно. Строение перекошенное, дырявое. Чем обороняться от сквозняков? Хоть палатку сооружай посреди жилья, из обновок...

– Припоздали вы, князь, – сказал поручик-семеновец, определивший приезжего на квартиру. – В поповском доме стал фельдмаршал, в дьяконском – Александр Данилыч.

– А его величество?

– Пока не видели его... С седла не слазит... Прискачет, так к его светлости, к кому же еще...

– В полку что?

– Где там полк? Больше половины выбито... Не успели вы к делу, господин полуполковник.

Явный, дерзкий укор сквозил в голосе квартирьера. Мальчишка, а смеет судить старшего.

– Ружья раскалились, голой рукой не возьмешь... Жаль, самого Карла не достали...

До Бориса дошло еще в дороге – виктория знатная, у Лесной разгромлен корпус Левенгаупта, захвачен весь обоз, двигавшийся к Карлу, к главным силам шведов. Продовольствие саксонское давно у них съедено, армия голодает, и оттого потеря обоза чувствительна особенно. И все же исхода борьбы баталия не решила, бой окончательный, увы, еще впереди.

Поручик рассказывал с гонором, топорщил едва пробившиеся усы, и Борис оборвал:

– Не сидел и я без дела.

Однако ему ли, молокососу, обязан давать отчет посол его величества?

Канцлер Головкин поселился у шинкаря. Ведя Куракина в светелку, малый угодливо изгибался, усердно сипел расплющенным носом и чем-то напомнил венецианского кабатчика-прощельгу.

Канцлер слушал секретаря, бубнившего заунывно, слушал с неудовольствием. Резкие морщины на жестком лице ломались.

– Ой, святители! Не Иваныч ли? Ну, пропащий! Бонжур, бонжур, или как по-итальянски?

Расцеловал троекратно, усадил. Подьячего отослал.

– Не знаю, писать ли Петру Алексеичу... Вон, трезвонят, с Дона, сарынь живуча, не вытоптана. Атаман ихний, Булавин, будто убил себя, а казачишки, вишь, не угомонились. Боюсь, царя на Дон понесет.

– Нет ли там от шведов поощренья?

– Вряд ли... До того ли Карлу!

– Не возьму я в толк, граф, – сказал Борис. – Где Карл, куда стремится?

– В том и загвоздка – куда? Пленные говорят, зимовье ищет. А мы рассуждаем – напрямик на Москву ему не резон идти. Без обоза, с пустым-то брюхом... Какая крайность, если украинский каравай под боком? Положим, Карл диспозиций не чертит. Угадаешь разве, что ему лютеранский бог подскажет!

– Мириться бы посоветовал.

– Не надеемся.

– А мы-то ублажали посредников! Сделай милость, помири нас! Мальбруку княжество сулили... Мне в Ганновере сказывали, он, будучи у Карла, наставлял, как нас придушить скорейше. Нет, граф, англичане нам не помощники. Что Лондон, что Ганновер... В Гамбурге все на стороне Карла, куранты поносят нас. Я сочинил кое-какие ведомости, в фавор его величеству. С трудом, с затратой денег, однако убедил напечатать.

– Насчет принцессы как? Отдадут за царевича?

Дом ганноверский, дом австрийский, гишпанский – половина Европы, почитай, за родней Шарлотты. Невеста дорогого стоит. А жених, пока шведы не сломлены, валютуется не столь высоко. В курфюршестве к браку неприязнь открытая, в Вене ни шьют, ни порют.

– По совести, Борис Иваныч, – канцлер понизил голос, – ты сам одобряешь ли?

– Царевич немку не хочет.

– И тебе она не по сердцу, – засмеялся Головкин сообщнически. – Вижу, вижу...

– Кабы принцесса викторию нам привезла с приданным своим... Ох, Григорий Иваныч, в Вене я был лишний, не спрашивай с меня. При цесаре за нас барон Урбих старается, дипломат великий.

– Плохо разве?

– Куда как хорошо... Обедать позвал, удостоил... Осьмнадцать персон из важнейшей знати, суп из черепах заморских.

– Недурно, недурно...

– Человек воспитанный, а чихает, не прикрывшись, над столом, – отозвался Борис невпопад.

Глаза намозолил в Вене этот назойливый барон, шнырявший по Хофбургу. Красноносый от вечного насморка, рано польсевший. Носился вперевалку, задевая шпагой о косяки, о людей, вбирал в себя слухи, точно губка воду.

С ликованием, выпятив жирную грудь, объявил Куракину – сколачивает он, барон Урбих, альянс цесаря с Пруссией и с Ганновером против шведа. Кто поручил? Никто, сие есть собственное его изобретение. Ему будто бы царское величество, приняв на службу, дал картбланш, сиречь полную свободу действий.

– Будто дал? – вскинул брови канцлер. – Сомнительно. Так... Уведомить нас почел излишним?

– Я первый узнал. Думаю, худо ли, против шведа... Барон и мне мозги затуманил. Потом разобрался... От нас побольше получить да поменьше вручить – вот он, альянс, на поверку-то... Интерес тут цесарский – от нас требуется сорок тысяч солдат, усмирять венгров. Бывало, иезуит запрашивал эти сорок тысяч, а теперь Урбих. Кому он служит? В Ганновере я разведал доподлинно – шведа берутся из Польши вытеснить, не дальше. Очистить трон для Августа. А Курляндия, Санктпетербурх – то алеатов Урбиховых не заботит. Чуешь? Ясно же, и англичанам сей альянс нравится. Остаток войны, стало быть, на нас. Московия пускай одна добывает Карла, коли осилит.

– Авось не осилит, – Головкин желчно усмехнулся. – Да чей он, Урбих? Датский вроде...

– Родом датский. А слуга тому, кто приманить сумеет. У них, у шляхты европейской, в обычае... От датского двора был посланником, за интриги отставлен. Втерся ко двору вольфенбюттельскому. Прогнали и оттуда. Нашел нас, добрых. Пропел нам хвалу, напел себе жалованье.

– На похлебку из черепах, – выговорил канцлер. – Тьфу, мерзость!

– Суп духовитый.

– Постой, а своего короля? Тоже продает, холуй датский?

– Данию в альянс не зовет. Немецким потентатам она ни к чему. Опасаются, вдруг датское войско войдет к ним воевать шведа и не выйдет. Конфузная, Григорий Иваныч, ситуация. Мы-то желаем датского короля снова привлечь в союз. А барон Урбих, наш доверенный, строит препятствия. Коришпонденция наша с Копенгагеном перехвачена, Ганновер и Берлин оттого в тревоге.

Головкин закашлялся. Во дворе палили кур, в светлицу струился дым.

– Точно как в политике, – засмеялся Куракин. – За стеной кушанье готовят, а нам глаза ест. Гони Урбиха, гони в шею, Григорий Иваныч!

– Царю бы обсказать сперва...

– Гони! – повторил Куракин твердо. – Прекрати паскудство!

– Твоя правда, Иваныч! Ну, змеиная душа! Неужто разложил тебе все шитье без стыда?

– Он-то лицом показал, кичится, а я подкладку прощупал. Барончик думал нас в дурачках оставить. Ну, я ему не позволил.

В заветной тетради Борис сказал о себе прямоком: «Истинно похваляюсь, что нации московской никто чести и славы прежде моего бытия не принес».

Слушая посла, Головкин от похвал воздерживался – не умеет он складывать глаголы сладкие. Вот кого послать к цесарю вместо Урбиха... Свой амбашадур, русский, не наемный.

А Борис, воодушевляясь, заговорил о своем любимце, о князе Ракоци. Черепахой за

обедом не пахло, ели попроще, зато дружба славного венгра без лукавства. Увы, мало подобных ему среди знати!

– погоди! – прервал канцлер. – Инструкции к нему у тебя ведь не было, помнится.

– Не было, – признался посол. – Я почты от вас по три месяца не имел. А что прикажешь делать?

– От себя, значит, поехал?

– А хоть бы и от себя. Прознает Ракоци баронскую махинацию, про сорок тысяч войска... Он честный рыцарь, измены не простит. Я упредил, обнадежил касательно нас. Смотрел, еду к Мункачу, венгерскую армию под командой графа Берчени. Тысяч восемь или десять у него, ребята сытые, оружие справное.

– Что ж, добро... Хотя с цесарем тоже не след ссориться. Здоровье твое, князь!

Подняли чарки. Выпив, Борис вытер губы шелковым платком, помолчал политесно, встал. От водки отвык, ударило в голову. Однако, пока шел в гору, к Меншикову, месил жидкий чернозем, хмель выдуло.

Светлейший кинулся, словно к родному, затискал. Кликнул повара-француза.

– Сваргань по-скорому фрикасе-бризе!

Поп перебрался в курную пристройку во дворе, освободил князю весь дом, иначе где бы он поместился с дюжиной прислуги, где расставил бы подарки, коими засыпали его иностранные послы и польские алеаты! Кусок римского бархата против блюд чеканных, ваз, кубков, зеркал в оправе вышел бедноват. Светлейший пощупал, накинул на себя, огладил ворсистую синюю ткань с прилежанием и похвалил.

Пригубив анисовой, Борис вынул из сумки толстый холщовый конверт, застегнутый на пуговицы.

– Голландцы кланяются тебе, Александр Данилыч. Брандт, Гоутман... Паче всех Гоутман.

От него пакет. Его, Гоутмана, корабли возят из Швеции секретную почту.

– Головкин не взял. Сдай, говорит, светлейшему. Мне ведь невдомек, каков порядок у вас в генералитете.

Меншиков взвесил на руке туго набитый пакет.

– Скажу Питеру... Скажу, Куракин в полуполковниках ходит, амбашадур наш. Градус генеральский. Манкевич живой, значит? Хитер шляхтич. Живо-о-ой, не повешен, не колесован...

Бывалил письма на стол, поднес одно к глазам, сощурился.

– Ровно жук наследил...

Манкевича, старого приказного, чистописанью не учить. Это светлейший до сих пор не в ладах с грамотой.

– В Стокгольме заждались короля, – помог Борис – Кабы не Ульрика, сестра Карла, его давно бы коленом в зад... Уже совещаются, кому присягать в случае смертельной оказии.

– Он лезет под пулю. Лезет, ровно заговоренный. Один раз чуть не сцапали его казаки.

– Чуть – она лучше брони спасает.

Зато Борис обрадовал светлейшего, сообщив, что заказ на изразцы исполняется аккуратно, выработка отличная.

– Часть, я чаю, отправлена.

Перешли в трапезную. Ливрейный лакей принес омлет с ветчиной, ароматный, приправленный травами. Угощенье столичное, даром что Погар. Вино красное, терпкое к жирной еде, – уж этой наукой светлейший не пренебрегает. Пуще поповских икон сверкают часы-куранты – серебряная горка, на коей стоит витязь и каждый час, под музыку, машет саблей.

– От Синявского уваженье, – сказал Меншиков. – От коронного гетмана.

– Не сбежал еще?

– Нет. А Вишневецкого сманили, слышал ты? У Станислава, сучий сын.

– Гляди, Мазепа не подвел бы... Меня Ракоци спрашивал, не слишком ли его величество верит украинскому магнату?

– Херц любезный! Как не верить – стратег могучий, днепровские города отобрал у турок.

– История давняя, – сказал Борис, не уловив в голосе Меншикова усмешки.

– Я говорю Питеру, смотри, вознесся гетман, дворцов понастроил – в Батурине, в Гадяче... Выше нас всех подымется. Багром не достать... Напрасно прогневал его величество. Возлюбил он Мазепу с азовских лет на веки вечные. Режь меня – таит гетман что-то за пазухой. Почто надо было выдавать Кочубея? Жаловался заяц на волка и угодил на суд к тому же серому. Слыхал ты про Кочубея?

– Так его Мазепа порешил?

– А кто же? Дружка закадычного, батьку любезной Мотри, – и тяп, башка прочь... Мне пало на ум: уж больно круто расправился, словно со страху. Теперь вот Синявский зол на гетмана: звал казаков себе в поддержку, не дозволялся. Не отпускает старик казаков, и самого в поход не сдвинешь. Пишет, Украина в опасности от Станислава. Король будто намерен идти на Волынь, так можно ли отлучаться?

– Резон серьезный, коли не врет.

– Станислав не вояка, прежде Карла в пекло не лезет. Хотя отрицать нельзя... Между нами, мин херц, я сегодня посылаю к гетману. Чтоб скакал без отпирательства на совет. Возвысился, команды над собой не признает.

Прощаясь, Данилыч обещал еще раз ходатайствовать о переводе Куракина в высший градус. Противности среди генералов быть не должно.

– К тебе все расположены, кроме Долгорукова. Намедни шептал мне, что ты в Италии метреску отбил у герцога какого-то или графа. Было такое? Молодец! Хоть пять метресс отбей, кого касается? Службы не нарушил ведь... Ришпекту сие кавалеру не убавит.

Завистливый боярин, как выяснил Борис вскоре, к былям приплетал небылицы, утверждая, будто он – Куракин – взялся соединить религии и привести православных под господство римского папы;

заклучил в Венеции, без царского согласия, новый союз против турок и тем крайне прогневал султана, который непременно учинит теперь лигу с Карлом;

всем и каждому за границей совал свое имя и титул, требуя почестей, подобающих разве что суверену.

Ох, подлость! Ох, сосуд с ядом! Шпагой бы проучить лгуна... У нас не заведено. Дуэллио, да еще при Главной квартире...

Поразмыслив, Борис счел выгоднее не отвечать на поклеп, являть фигуру презрения. Клеветник зол, да бессилен. Никто не придает цены гнусным выдумкам. Уж коли Меншиков оказывает протекцию, сомневаться нечего.

Гороскоп еще в прошлом году предрекал возвышение в чине. Фортуна помедлила, но лик свой лучезарный, видимо, не отвратила.

Запись в тетради твердая, ликующая:

«Принят был приемно от всех, как министров, так и прочих, и присовокупляли словом, чтобы мне быть в тайном совете с министрами вместе, на что многократно свое намерение объявили, что хотят просить его царское величество о мне».

Ждали царя со дня на день. Падал мокрый снег, покрывал грязь, скованную ночным морозцем, набухшие от сырости соломенные крыши. Гнилая осень нагоняла сон. Борису казалось порой – война зароется в снег, завязнет в лесах, в болотах, заглохнет до внешней ростепели.

Но гистория отбоя не дала. Гром пушечный в Погаре еще не слышен, но шведы, покинув Белую Россию, двигаются к Стародубу. Театрум войны переместился на Украину.

## 18

Верстах в ста пятидесяти от Погара, в городишке Борзне Мазепа диктовал письмо.

«Давно бы уже я пошел в дорогу, но в своей болезни не только не могу ехать, но и на ложку сам собою повернуться не могу, разве мне служащие подняв перевернут на другую сторону...»

Оглянулся, заговорил тише, склоняясь над плечом Орлика.

«Полк стрелецкий посылаю, а сам в Борзне для обережения Украины подожду, ожидая или смерти, или облегчения, которое разве молитвами архиерейскими получу».



Генеральный писарь перекрестился.

– Ой, добродию, не поминай костлявую!

– Нехай шастает сюда! – отмахнулся Мазепа. – Мабудь, ей дых зажмет.

Гетманскую ставку донимал горчайший запах дегтя и дубленой кожи – из подвала, набитого изделиями окрестных сапожников. Городишко слыл главным средоточием промысла, дом же принадлежал торговцу обувью, удравшему куда-то от надвигающихся баталий.

– А поверит Меншиков?

– Робеешь, Пилипе, – усмехнулся гетман. – Пилипе-пиита, богоданный наш пиита... Коли так, беги от Альцида своего!

Некогда Орлик отличался в Киеве ученостью и даром стихосложения. Вдохновленный успехами Мазепы в азовской кампании, сочинил похвальные вирши, избрав для полководца одно из имен Геракла, школярам малоизвестное.

На сей раз пиита не приосанился, услышав напоминание, – авторская гордость в нем остыла.

– Я и вправду лягу да зачну стонать. Попа позову соборовать. Давай попа, Пилипе!

Мазепа смеется. Орлик отвечает лишь мысленно. Царь – тот с полуслова поверит. А Меншиков, Головкин... Бездействие гетмана тревожит Главную квартиру. Верно, заподозрили неладное, оттого и зовут на генеральский совет, и безотлагательно.

– Сам подпишешь, Пилипе. За немощного...

Фигура гетмана, в проеме окна, зловеще-черная. За окном, над сырыми лугами клубился туман, скрадывал завиток реки и дорогу, пересекающую ее в двух местах. И будто в горницу льется туман. Смутно видится Орлику Войнаровский, племянник гетмана, с дорожной сумкой. Ему скакать в Главную квартиру, с обманной грамотой. А внизу, в прихожей, сидит второй гонец, шляхтич Быстрицкий.

Ему в другую сторону – к королю Карлу.

Унимая постыдную дрожь, выводит Орлик отборнейшие ришпекты шведскому величеству.

– Не зевай, сыне! – понукал гетман. – Наперво вымолвим королю, сколь нам приятно его прибытие до Украины. Потентиссимум грандиссимум... Писал ли когда королям? Нехай знает, что и мы не в берлоге медвежьей воспитаны!

Дышать Орлику тяжело – но не от смрада сапожного, застоявшегося в доме.

– Нижайше уповаем на протекцию вашего величества всему казацкому лыцарству...

Рука генерального писаря, онемевшая от боязни, пишет просьбы королю, славному, непобедимому, – содействовать в борьбе с царем, принять гетмана к себе, выслать отряд воинов навстречу, к Десне.

– Сколько войска обещаем, Пилипе? Пятнадцать... Нет, пиши – двадцать тысяч.

Мазепа прочел послание, похвалил, а подписать и тут отказался. Охая от подагрической боли, ввевшейся в поясницу, объяснил Филиппу: сие не есть обращение к королю, а инструкция нарочному. Быстрицкий вызубрит и возвестит его величеству устно, бумагу же вручит в шведском штабе.

– Так надежней, Пилипе.

Для кого? Себя-то он ох как бережет! Сколько ушло тайной почты – к Дульской, к Станиславу, – и нигде ведь не сыщется подпись гетмана. Всюду его – Орлика – рука...

А тайны строжайшие – устно. Даже ему, человеку самому близкому, не доверены. Разве он, Орлик, знает доподлинно, о чем столкнулся гетман со Станиславом? Прознал ли, о чем шептался гетман с царевичем Алексеем в позапрошлом году, когда оба они поехали из Жолквы, с генералитета, и Мазепа завернул по дороге к Дульской, а потом нагнал наследника? Ведает ли, с каким наказом наряжены посланцы гетмана на Дон, к булавинцам?

И ведь ставит, хитрец, на две карты сразу – на шведскую и на царскую. Обратный ход не закрыт. Лежит в Киеве, у игуменьи, на случай острый, письмо Станислава...

Пройдет много лет, генеральный писарь возьмет перо, чтобы рассказать потомкам, какое смятение он испытывал, оказавшись в неволе у Мазепы, словно притороченным к седлу.

Страхи терзали генерального писаря целую неделю. Полегчало, когда вернулся Быстрицкий, довольный собой безмерно. Сам король удостоил его беседой, сказал, что к

переправе выступит лично, дабы обнять союзника.

– Его величество, – докладывал шляхтич, вскидывая острую бородку, – сегодня уже на Десне. Вашей ясновельможности пора трогаться.

– Ты меня не гони, – отрезал Мазепа. – Сидит там, и ладно. Берег под ним не обвалится.

На другой день, спозаранку, бомбой влетел в гетманскую спальню Войнаровский. Мазепа растирал спину лампадным маслом. Зять не поздоровался, не снял шапку. Расстегивая полушубок, оборвал пуговицу. Мчался из Погара сломя голову. Следом едет Меншиков – навестить больного. Князь явно недоверчив. К тому же Войнаровский подслушал разговор двух офицеров-иностранцев. «Завтра этих людей закуют в кандалы», – сказал один, показывая на гетманского гонца и его спутников.

Орлик, впоследствии вспоминая тот роковой час, заметит: «Я не знаю до сих пор, точно ли слышал это Войнаровский, или Мазепа научил его так говорить, чтобы нас всех обольщать».

– Беги к кухарю, – оборвал зятя гетман. – Пускай гасит печь. Обедать некогда. Обед псам вылить... Меншиков, дьявол ему в печенку, повоет не жравши.

Увязать скатерти, занавеси, уложить посуду не успели. Канделябры со стен срывали топором, вместе с гвоздями. Орлику крепко запомнилось это бегство из Борзны, на пустой желудок, затем короткая передышка ночью в Батурине – гетманской столице.

Гетман со свитой переправился через Десну 25 октября, у села Оболонь. Земля, задубевшая от заморозка, звенела под копытами. Запылали костры, дымы сплелись в облако, повисшее над войском в ясном небе.

Орлик тосковал, и Мазепа стыдил его. Отчего не радуется пиита солнцу, самоцветам росы на лугу? Надо надеяться, фортуна кажет приметы добрые. Казаков выстроили широким полукругом. Гетман пустил коня бодрой рысцей, лихо осадил и, выпрямившись, обратился к войску с речью. Он блистал парадной одеждой, регалиями – недоставало лишь голубой андреевской ленты.

– Настал час сказать вам, зачем я вас привел сюда, славные мои воины...

Не только рядовых казаков, но и многих начальников ошеломила новость. Ряды дрогнули, местами, сперва несмело, зародился гул. Спohватившись, Мазепа пропустил несколько задуманных доводов и прокричал самое важное – царь намерен казаков обратить в солдаты, поставить над ними москалей. Тут была доля правды – Петр повелел зачислить часть казаков в регулярные «кумпании», оторвал от семей, поселил в казармы.

– Я старался отвратить царя от намерений, погибельных для нас, но напрасно – сам подпал его гневу и злобе и не нашел иного способа спасения себе, как уповать на великодушные короля Карла.

Гомон ослабел, но не умолк, – добиться тишины полной так и не удалось. Мазепа слез с коня, обливаясь потом. Он сократил речь, но едва мог закончить. Казаки расшумелись непочтительно.

Король разбил свой стан невдалеке. Отправив туда курьера, встревоженный гетман распорядился привести воинство к присяге. И тут предчувствие беды забилося, заныло в Орлике как никогда. Из четырех с лишним тысяч перешедших Десну осталось меньше половины.

Беглецы быстро разнесли новость, поредели и полки, оставленные на восточном берегу прикрывать переправу.

Четыре дня промешкал гетман в своем лагере, почти рядом с Карлом, проверяя наличность бойцов и оружия, тщетно ожидая подкрепления. Только 29 октября утром Мазепа вошел в палатку монарха, под вымпел с тремя золотыми коронами на холодном белом фоне. Вослед внесли булаву и бунчук.

Карл с капризной миной отдернул ногу, когда перед ним легли увесистые символы гетманского достоинства. Конский хвост бунчука, диковинный для шведов, съезжился на земле, отливая зловещей чернотой. Свидетель встречи камергер Адлерфельд не скрыл от потомков впечатление странной театральности.

Мазепа осунулся от тревог, от подагры и выглядел старше своих шестидесяти лет, а булава – непосильной для его худощавой, хилой фигуры. Выспренние латинские фразы, старательно закругленные, звучали старомодно. Карл, чуждый всякой учености, не

относящейся к войне, стоял с выражением скуки на дерзком, припухлом юношеском лице.

Теперь Мазепа был по-настоящему болен, его шатало, он судорожно сдерживал стон. Карл попросил его сесть и продолжал беседу стоя.

Лазутчики уже донесли королю, как ничтожна подмога, доставленная казацким вождем. Мазепа не мог отрицать – из обещанных двадцати тысяч с ним сейчас едва десятая часть. Король вежливо улыбался, но канцлер граф Пипер хрипло задышал, втягивая щеки, что служило признаком досады. Остальные полки на подходе, сулил Мазепа с нарочитой, наигранной веселостью. А главное, к услугам королевского величества город Батури, наполненный войсками, огромными запасами продовольствия и всяческого снаряжения.

За столом, сервированным в жарко натопленной хате, гетману полегчало. Он запомнился свидетелю как остроумный собеседник, сломавший свою провинциальную скованность. Вышучивал московитов – носятся, ищут его, сталкиваются лбами – искры сыплются.

– Где тут дорога Александра? – спросил Карл, по обыкновению резко обернувшись, в упор.

Мазепа смешался.

– Вы имеете в виду македонца?

– Ну да, – и король нетерпеливо притопнул. – Мне говорили, это где-то близко.

– Извольте, ваше величество! Мы отыщем ее вместе, на досуге. После победы.

Пипер засмеялся, прикрывшись салфеткой. Карл взглянул на него и недоуменно поднял редкие, белесые, словно выцветшие, брови.

– Александр достиг нашей страны, ваше величество! Историки еще в неведении, так как открытие сделано недавно. Камень, ваше величество, камень с греческой надписью!

Орлик, сидевший в конце стола, поперхнулся и уронил в тарелку обкусанное гусиное крыло. Что это взбрело гетману? С какой стати выдумал?

Сосед писаря, генерал Гилленкрок, обтер губы и, весело щуря заплывшие глазки, зашептал:

– Король обожает Александра. Кумир, божество... Неужели правда – камень?

– Передают за достоверное, – ответил Орлик осторожно.

Невероятно! Генеральный писарь посмотрел на Мазепу с суеверным трепетом. Какой дух – святой или нечистый – подсказывает ему? Какой ясновидец?

## 19

Главную свою квартиру Петр застал в смятении. Мазепа на вызов не прибыл, лежит при смерти. Меншиков ускакал в Борзну.

– Проститься с гетманом, – пояснил Головкин, и царь надвинулся на канцлера грозно, уловил недосказанное.

– Злодейство? – Желваки на щеках царя запрыгали. – Кочубеевы последыши...

Вообразилось – извели верного друга, погубили враги, которым нет числа.

– Подагра и хирагра, – произнес канцлер. Мудреный двойной недуг, проставленный в письме Мазепы, вдруг возник в памяти.

Не все, не все сказал Головкин...

– Князь имеет сомнения, – выдавил канцлер и охнул – так свирепо схватил его царь за плечо и затряс.

Камзол трещал, пуговицы раскатились по полу, Головкин просил прощения, но так и не объяснил внятно, какую пакость, какое зло, учиненное Мазепе, заподозрил Меншиков. О какой-либо вине гетмана не могло быть и речи перед царем.

Вскоре явился офицер, посланный светлейшим. Царь разорвал бы цидулу с омерзением, если бы не кривились под сокрушающим известием знакомые каракули.

В Борзне гетмана нет, с одра болезни сорвался... Был в Батурине, запретил впускать в город великороссийских людей. Из-под Батурина прискакал гонец. Подтверждает – из бойниц высунулись пищали, ворота Меншикову казаки не открыли. След Мазепы тянется к Десне. По селам слышно – Мазепа подался к Карлу. Один шляхтич в том поклялся, видел будто бы воочию...

Уже помчались нарочные читать царский указ всему казацкому войску, духовным и мирским чинам. Собраться им безотлагательно для совета, а если Мазепа изменил, то и для выборов нового гетмана.

Уже дошла до Меншикова записка царя – перо вдавливалось, рвало бумагу. «Мы получили письмо ваше о нечаянном никогда злом случае измены гетманской с великим удивлением. Надлежит трудиться, как бы тому злу забежать и не допустить войску козацкому переправиться через реку Десну...»

Но страшное слово «измена» еще не произносится в Главной квартире. Царь еще сомневается. Быть может, батуринец кто-то смутил, а Мазепа пал жертвой.

На другой день к царю привели канцеляриста Андрея Кандыбу. Он бежал из Батурина, чтобы сказать государю «слово и дело». Дрожа, как лист, целовал распятие.

Предал Мазепа...

«Нужда повелевает явити, что учинил новый Иуда Мазепа, ибо 21 год быв в верности, ныне при гробе стал изменник и предатель своего народа», – писал царь Апраксину.

Нет, не умещается в сознании, что гетман обманывал давно, лгал, лицемерил. Произошло что-то вроде внезапного сумасшествия в преклонных годах, «при гробе». Ведь совсем недавно он, не жалея здоровья, носился по городам, ревизуя фортификацию против шведов, торопил сдачу житной муки в черниговские амбары для русской армии.

Небывалой суровостью обдал царь Меншикова, вернувшегося с пустыми руками. Упрекнул не только в медлительности. За трапезой, припомнив давний инцидент, лишил светлейшего аппетита.

– Обозными мужиками тебе командовать...

Мазепа жаловался – Меншиков через его голову отдал приказ казачьему полку. Экая память у царя!

– Хе-ерц, родной! – только и протянул Данилыч.

Петр вспылил пуще, смахнул стакан и солонку.

– Милостивец! – ужаснулся светлейший. – Соль просыпал.

– Соль? – вскинулся Петр. – Соль ты сыплешь на честных подданных. Мало тебе Ингерманландии в титуле...

Обвел тяжелым взглядом сановников и в укор всем:

– Каждый в большие воеводы прет... Вон и Куракин тоже... Пуд золота на шапку...

Борис вдавился в спинку кресла. Сесть за стол с ближними к царю людьми, с начальствующими, пригласил Меншиков. Эх, не в добрый час сей обед!

Светлейший уязвленно примолк, но через минуту справился с собой, ответил царю ужимкой недоумения. Потом улыбнулся Куракину ободряюще. Что, мол, сдрейфил? Не беда, обойдется...

Неловкая тишина сгустилась. Никто, кроме Меншикова, не посмеет ее нарушить. И не надо... Не надо... Борис смотрел на него со смутной мольбой. Князь Ингерманландский громко чавкал, усиленно двигая челюстями, выбираючи апломб.

– Градус посла, государь, не ниже генеральского. Борис Иваныч твою престижность не запачкал.

Хотел, верно, успокоить, разгладить судорогу, ожившую на лице Петра, да не рассчитал.

– Мало, все мало... Дали полуполковника – нет, низко. Коли он князь, так стало и министр, и генерал. Князья, – Петр слепо, через стол протянул кулак. – В грязь бы не упасть.

Куракин летел куда-то вниз. Рассеялась, яко дым, мечта о повышении. И ему страдать из-за вора Мазепы.

Встали, оставив десерт нетронутым. Лакомиться, бражничать не время.

Данилыч, не мешкая, отправился добывать Батуриин. Если не изъявят покорности, поступать как с изменниками, без жалости. Выжечь, истоптать мазепинское гнездо. Пускай зияет на месте города пятно сажи и крови. А в назидание потомкам водрузить каменный столб и прибить к нему литую доску с обличением преступного дела Мазепы.

Борису Куракину ехать в Киев. Ехать одному, на почтовых, взяв лишь денщика для охраны. Имя свое и миссию скрыть, притворяться кем угодно, хоть итальянцем Дамиани, как бывало встарь, в чужих землях.

В Киеве потревожить наибольшее духовенство – епископа Переяславского, митрополита Краковского, главных пастырей Печерского и других монастырей. Не дозволить им и половины дня на сборы, доставить в Глухов, где уже назначены выборы нового гетмана.

– Подойди учтиво! – долбил царь хмуро. – Поклонись... Не дрова рубить. Попы тебя слушают.

Последнее прибавил как бы в утешение, хотя и без ласки. Среди духовных персон, поди-ка, окажется немало враждебности. Легче в открытом поле принять баталию. Зло, посеянное Мазепой, небось всюду проросло, жди пакости из-за угла либо в еде, в напитке...

«Выпало то интригами Долгорукова, искавшего мою голову», – написал Борис в тетради по-итальянски. Казалось, из темноты, облепившей дом, сочится зло. Проникает с ветром в пазы, задувает свечи...

Долгорукова, лукавого шептуна, не притянешь за волосы, не вызовешь на дуэллию. Повода к тому не выкажет.

Он-то какими заслугами кичится? Каким талантом озарил, заполучив Преображенский полк, ближний государев? Зато коварства в нем более, чем жиру, – дивно, что не лопнул. Хватает нахальства приставать с советами.

– Стрелять не разучился, князь? Пистолеты, чай, ржа поела.

А римский подарок, серебряную табакерку с портретом кортиджаны Толлы, взял, не покраснел.

Пистолеты Филька вычистил, зарядил. Сверх того два ружья с собой да чемодан амуниции.

«Могу приписать себе в немалый страх езды моей, так что с трудом и страхом потеряния живота мог доехать до Киева, понеже во всех местах малороссийских и селах были бунты и бургомистров и других старшин побивали».

Били мужики и горожане чинуш, посаженных Мазепой, бунтовали, чтоб поскорее опрокинуть повсюду его власть, свалить с себя побои и утеснения. Двоих русских простолюдины и рукавом не задели. Однако страх не отпускал, опасности чудились. Много лет Мазепа убеждал царя, генералов, Москву, что лишь его, гетмана, промыслом удерживается Украина в повиновении. Упорно пребывал в ее границах, приберегал полки, выдвигая кроме доводов стратегических неизбежную будто бы угрозу восстания.

Борис озирался, не смыкал глаз в корчмах, углубляясь в Украину, известную по реляциям Мазепы, а теперь загадочную, еще неизвестную.

Неужели отпала от России Украина? Пошлет ли судьба нового Хмельницкого? Не обретет ли Карл мощь поистине непобедимую, соединившись с Мазепой?

Решающее сражение, пылавшее в мечтах Бориса, отодвинулось, победные его стяги потускнели, исчезли в осенней мгле. В холоде, в сырости, в дорожной бесприютности пробудились супостаты внутренние – гипохондрия и меланхолия, а затем начала ломать суставы хворь простудная.

Возле Нежина рушился в огне дом шляхтича-сотника, разбрасывая фонтанами искры. Сполохи накатывались волнами, качали околицу села, усатого хлопца-караульного в барашковой шапке.

– Кто такие?

– Слуги его царского величества, – произнес Борис, не думая, в тупом безразличии, в жару.

Хлопец захохотал.

– И мы не шведы.

Резнул ухо вопль открывшихся ворот. Как добрались до ночлега, где Филька уложил на кровать, Борис не помнил.

Ночами Борис проваливался в забытье, бредил. Привиделась Франческа, на костре, привязанная к столбу, будто колдунья. Филька, одевая князя-боярина, наскоро поил мятой, пока челядинцы почтовой станции меняли лошадей.

Облачный свод таял, юный ледок певуче хрустел под колесами. Поворот погоды паче отваров помогал бороться с недугами. Днепр голубел прохладно, невозмутимо, маковки Печерской лавры отвечали солнцу дружно, истово, играли неслышную зорю.

В Киеве будто и не было Мазепы. Колокола гудели мерно, благостно, не срываясь в набат. Во дворах палили свиные туши. Игриво окликали шановного пана молодки – не купит ли свитку, башлык, теплый треух. Наденет пан, зимы не почувет. Башлык Борис, поторговавшись, купил.

Нет, – ни на улице, ни в харчевне, где заедал рыбный, проперченный форшмак пшеничной кутьей на меду, ни в покоях митрополичьих, – нигде не встретил Борис противности. Духовные персоны ждать царского посланца не заставили. Трех часов не прошло, как зацокали по Крещатику сытые, гладкие монастырские кони, прогремели по бревенчатой мостовой экипажи, окованные по бокам крупными крестами.

Захарий, рослый, говорливый епископ Переяславский, выспрашивал Бориса о Риме.

– Папа скоромное ест когда или все постное? К ноге всем велит прикладываться? И тебе, князь?

– И мне.

– Неужто целовал? Грех-то...

– Грех не зачтется, – ответил Борис уверенно. – Каяться не в чем, я профит нашему государству доставал.

Киев проводил голосами базара, выплеснувшего на улицу горы мешков, яблок, арбузов, ревом овечьего стада, сгоняемого на берег с баржи.

Погода ласкала недолго, повалил мокрый снег. Присмирившая было хворь взяла реванш. Как ни крепился Борис, верст за сотню от Глухова слег, сил не стало вовсе. Преподобные с эскортом вооруженных служек проделали остаток пути без него.

Борис лежал в корчме, над погребом, откуда тянуло гнилью. За стенкой храпели лошади. В темноте по каморе назойливо расплеталась борода переяславского владыки, ломился в голову его бас. И Борис из жаркой перины, словно из ямы, пытался вставить слово, оправдаться.

– Отступил ты от православной веры, отступил, отступил, – рокотал голос.

Ан нет, не Захария голос, а Аврашки Лопухина. Бесконечно сменялись, множились недоброжелатели.

Филька разыскал лекаря. Хромой, кособокий дедка родом из-под Калуги, должно быть из беглых, пощупал лоб Бориса, пустил кровь.

– Лихорадок суть двенадцать, – приговаривал замухрышка. – Двенадцать, по именам дочерей Ирода. Трясовица, огневица, знобея, пералея, горькуша, крикуша, чернетя, пухляя, желтея, дряхляя, дремляя, свербея.

На Бориса чуть ли не все напали.

## 20

Древний замок в Тыкотине, на дороге из Варшавы в Люблин, два раза осаждался шведами. Щербины свежие врезались рядом со старыми, затянутыми мхом и прахом. Полвека назад твердыню покорил дед Карла – Густав-Адольф.

Зрелище потрескавшихся, местами рухнувших стен не оттолкнуло Лещинского – он нашел, что каменный ветеран, застывший над речной заводью, над камышами, бесподобно романтичен.

Генерал фон Крассов, командир шведского корпуса, приданного польским союзникам, был чужд поэзии.

– Воронье гнездо, – ворчал он. – Куда я дену драгун?

– Что я слышу от германца? – посмеивался король. – Вы форменный скиф, степной кочевник.

Короля забавляет этот коренастый, кривоногий артиллерист, потомок онемеченных славян острова Рюген. Огромный конский хвост спадает с генеральского шлема ниже спины. Драгунский полк – его детище, главный предмет забот. Куда деть драгун? Нигде, за все время похода, не было конюшни, достаточно пригодной для ненаглядных скакунов, обученных танцевать под военную музыку.

– Выбирайте, генерал! Я велю открыть вашим лошадам бальный зал. Или концертный.

– У вашего величества прекрасное настроение.

Пятидесятилетний рубака позволяет себе иногда тон отечески-снисходительный.

Посылая фон Крассова, Карл поручил ему удерживать польского монарха и его войска в повиновении. Действительно, Станислава нельзя оставлять без надзора. Генерал убедился в этом. Он служил французу Людовику, служил немецким потентатам, но никогда не попадался ему венценосец столь легковесный. Выехал на войну, как на увеселительную прогулку, набил целый обоз прислугой и нарядами.

Что он вообще смыслит в войне! Смешно сказать, он вызывает его, фон Крассова, главнокомандующего, лишь для того, чтобы читать вслух свои сочинения. Вообразил себя философом. Ну, теперь есть кому слушать королевские выдумки!

Нередко Станислав и его гостя, княгиня Дульская, ужинают наедине, в гостиной, у камина. Тем лучше. Генерал не напрашивается. Кичливая, молодящаяся старуха. Скрипучий сварливый голос. Однажды он допустил неучтивость.

– С женщинами я неловок, княгиня. С ними ведь нельзя обращаться, как с лошадьми.

– Что ж, я вас не неволю, – ответила Дульская. – Ступайте к лошадям.

С тех пор они почти не разговаривают. Фон Крассов мысленно не раз отстегал княгиню арапником. Она, уединившись с королем, настаивает:

– Гоните прочь грубияна, бездельника! Пусть Карл назначит вам другого. Карл, вероятно, думает, что мы с вами уже на Волыни. Противно смотреть на шалопаев-драгун. Раздобрили, как коты.

– Я понимаю Крассова, тетушка. Представьте – парад в Москве...

Король, подавшись к мраморной доске столика, пробарабанил пальцами марш.

– Парады... Он просто трус, ваш немец. Он только шпионит за вами.

Дульская ловила щипцами скользкую головешку, выпавшую из камина. Три ожерелья на худой веснушчатой шее раскачивались, крупные янтари сухо стучали.

– Тетя, тетя! – взмолился Станислав. – Пощадите ваши нервы! Белая Криница от вас не уйдет, не беспокойтесь, ради бога! Карлу хватит тридцати шести тысяч солдат, чтобы разделаться с москвитями. Он сам сказал мне. Сейчас, считая казаков...

– Не трудитесь считать! Очевидно, проку от них мало. Иначе Карл не требовал бы у вас подкреплений. Вы же знаете, что шведы застали в Батурине пепел и кровь. Меншиков сровнял город с землей. Карлу нужны солдаты, нужен провиант.

– Э, Украина накормит...

– Старый бабник добежался, – Дульская с яростью запустила головню в камин. – Он опозорил себя историей с Кочубеем. Юбка грязной, паскудной девки...

– Она, говорят, прелестна.

– Молчите! Развратник проиграл Украину.

Бедная тетушка! Она еще не забыла обиду! Неужели до сих пор ревнует? Смешно, в ее возрасте...

– Я не стал бы ссориться с Мазепой на вашем месте. Развратник получит от меня Черниговское княжество и, разумеется, булаву. Он вам еще пригодится. Говорят, царь до того взбешен, что вздернул на виселицу куклу с андреевской лентой. Столь крайний гнев – признак слабости, как утверждали греки. Мазепа жив, жив... Ну же, тетушка, где ваш оптимизм?

Очень скоро, самое позднее к лету, Мазепа вернет польской короне всю Украину, по обеим сторонам Днепра. Станислав не сомневается в этом. Он условился с гетманом еще четыре года назад. Тайна, которой умный, осторожный союзник не поделился ни с кем. И вот соглашение принесло плоды.

– Я так и написал в Версаль. Людовик поздравил меня. Я же вам показывал... О, французы – самые дальновидные политики! Конечно, какие-то потери неизбежны. Мелкие неудачи, дорогая тетушка, обеспечивают крупный успех. Они учат нас... Хорошая мысль, не правда ли?

Король вскочил, пружинисто пробежал по ковру. В углу, на конторке, покоилась книга, окованная серебром.

Княгине уже начали досаждать филозофические находки племянника. К тому же он цитирует самого себя – дурная, весьма нескромная манера. Вчера, защищая фанфарона Крассова, Станислав кинулся к своему фолианту – он называет его нежно «копилкой»,

«эрмитажем размышлений» – и прочел:

«Чем меньше требуешь от других, тем больше получишь, – нельзя злоупотреблять правами».

Надо отдать должное мальчишке, некоторые замечания остроумны. Но до чего же некстати он их сует!

Дульская, наконец, возненавидела претенциозный, увитый резными гирляндами том библейского формата.

Решение созрело внезапно.

– Я загостилась, – объявила она королю. – Велите приготовить мой экипаж!

– Те-е-тушка!

Он трогательно растерялся, щеки, подернутые юным пушком, задрожали.

– Вы ни в чем не виноваты. Я должна...

На дворе визжали трубы, фон Крассов муштровал драгун для московского парада. Музыка, терзавшая слух целый месяц...

За завтраком Станислав недоуменно пучил глаза. Что случилось? Это похоже на бегство.

– Я должна, должна, – твердила Дульская. Круглое расстроенное лицо племянника маячило, словно в дымке. План действий вдруг открылся, будто кто-то развернул перед ней свиток с приказом, черным по белому.

– Я видела сон, – сказала она, сжалившись над королем. – Моя Белая Криница разворована. Вместо картин лоскутья... Ужасно! Вы дадите мне провожатых. Если вы не удосужились двинуть на Волынь армию, то трех человек, смелых, сильных поляков, вы мне можете дать.

Хватит с него... Незачем делиться с королем-мальчишкой...

На дворе вились редкие снежинки, колкие, как песок. Драгуны огибали плац гуськом, ленивой рысцей. Кони ступали брезгливо, жеманно. Садясь в карету, княгиня коротко кивнула Крассову. Он отскочил и схватился за колено – подножка задела его.

Странно, как это раньше не пришло в голову! Простой и верный способ... Один удар, всего-навсего один меткий удар...

В Тыкетине, конечно, не догадываются... Княгиня рассмеялась, воображение нарисовало костистую квадратную физиономию Крассова, красную от умственной натуги. Он растерялся бы вконец, скажи она, что едет вовсе не на Волынь, а к Синявскому, в неприятельский стан.

Да, сперва к Синявскому... Меньше подозрений... Имена родных, друзей – по всей Украине. Можно назвать любое имя. В Главную царскую квартиру заехала по дороге. Что удивительного? Шереметев – старый знакомый. Он был очень любезен за столом, на рауте. Не забыл, надо полагать... Для приличия она посетует – увы, Вишневецкие не спросили совета у матери, перешли к Карлу. Дети нынче умнее родителей.

Приблизиться к царю не трудно. Дальнейшее будет зависеть от ее хладнокровия, от ее находчивости. Яд, кинжал, пистолет... Заранее выбрать невозможно.

Это будет ее удар. Она никому его не уступит...

А кто возьмется? Где наймиты, которых нельзя перекупить? Где рыцари, образцы самоотверженности?

Заснеженные деревья, летящие за окном, их ветви-крылья, фольварки, смотрящие из лесных прогалин, словно из нор, кресты костелов, облепленных голубями, – все это наплывает и уносится, как во сне. Дорога поворачивает к северу, навстречу морозам. Дульская не чувствует холода. Тенью возникает фореитор, бормочет извинение – она не сразу узнает его.

– Углей... Положить углей, пани...

Жаровня, подвешенная к потолку, перестала качаться. Плавное движение медной кубышки, змейка дыма, норвящая попасть в отдушину, помогают думать. Мирко, дармоед, едва двигается. Долго ли сбежать в хату за углями!

Бывало, она так же спешила к Мазепе. В мороз, в дождь, в любую погоду... К человеку, который отплатил оскорблениями. За все, что она сделала для него... Он ушел к Карлу, не известив ни словом, как будто ее нет на свете. Ушел, вытерев об нее ноги. Да, вытерев ноги...

Память назойлива. Картины прошлого не гаснут. Она в Жолкве, на крестинах у генерала Рена, сидит между ним и Шереметевым. С чего она тогда принялась хвалить казака?



– Жаль доброго Ивана, – сказал Рен. – Не ведает он, что Александр Данилович яму роет под ним.

Шереметев подлил ей вина.

– Это правда, – сказал он.

Она спросила, почему никто из приятелей не предостережет гетмана.

– Ничего не поделаешь, – ответил фельдмаршал. – Мы сами много терпим, но вынуждены молчать.

Как она негодовала, как до утра цифровала письмо Мазепе...

Потом он признавался ей:

– Меншиков стелет себе путь до гетманства. Чую, горе мне и старшине нашей. Князь сам говорил мне – пора за них приниматься. Полковники, мыслит, враги царю, подобно боярам в Москве.

Тогда казак был откровенен. Еще бы, она была нужна...

О сношениях со Станиславом знала она одна – уж это Мазепа скрывал пуще всего. Сама служила курьером для них. И тайну всех тайн сберегла – разговор с царевичем.

Теперь надо вспомнить каждое слово. Фольварк недалеко от Жолквы, она гостила там... Казак ворвался впопыхах – он отлучился от Алексея. На малый час, чтобы успеть нагнать.

С чего он начал?

– Я слышал, у вашего высочества объявилась мачеха?

В Жолкве царевич казался нелюдимым, дичился. Казак затронул за живое.

– Распутная женщина, – сказал царевич с обидой. – Отец живет в блюде. Мачеха! Грех вам, Иван Степанович!

Потом наследник спросил прямо – хорошо ли казачеству под царем? И казак выложил все, о чем шла речь у Рена, на крестинах. И многое сверх того. На это Алексей ответил:

– Я тоже молчу пока. Верно, царь изведет вашу старшину, надругается, как над боярством. Царь и Меншиков – чудовище о двух головах. Я страдаю за вас. Я ваш друг и вольностей ваших друг. Даст бог, докажу вам свою дружбу.

Он уже не ребенок, Алексей. Он докажет, как только взойдет на трон. Можно ли не верить? Наследнику престола, сыну, лишённому матери...

У отца другая женщина. Значит, покуда царь жив, Евдокия будет под монастырским замком.

Прошлое оставляет сожаление, будущее вселяет надежды, реально лишь настоящее. Станислав не напрасно штудировал философию в Болонье. Попадают афоризмы не глупые. Да, настоящее реально, важно не упустить...

– Святая дева! – шепчет Дульская, глядя на пузатую, лоснящуюся жаровню. – Царевич вкладывает мне в руки оружие. Да, да, сам царевич...

Один удар... Ее месть – москалям, старому похабнику, жестокой судьбе... Уж тогда Крассову незачем будет идти на Волынь. Алексей не станет продолжать войны. Один удар... Ее удар, Дульской-Вишневецкой. Казак увидит, чего она стоит. Старый развратник пожалеет, что оттолкнул, растоптал ее надежды, ее преданность.

Она не заметила, как миновала неделя. Смена дня и ночи едва касалась сознания. Оконца кареты темнели и светлели, тонкое перо мороза вычерчивало на стекле кудрявые пророчества – пышные, счастливые.

Синявский – коронный гетман, все еще верный царю, – принял княгиню радушно, уговаривал отдохнуть. Пытаясь удержать, звал фокусника-грека, которого всегда возил с собой. Дразнил, заставлял болтать попугая, заучившего все воинские команды и имена всех potentатов Европы.

Фокусник был стар, неловок. От попугая ломило виски.

– Русский штаб на санях, – сказал Синявский. – Погребки? У вас устаревшие сведения, любовь моя.

Когда-то он посылал ей записки на розовой бумаге, скрепленные амуром из бумаги золотой.

– Где же царь? Где?

У нее нет ни минуты свободной. Надо спасти замки Вишневецких, спасти от москалей.

Солдатня хозяйничает там невозбранно.

– Разрешите, по крайней мере, поставить ваш экипаж на полозья. День-два работы...

– Нет, мой милый, нет!

Провожая ее, он смущенно теребил седые усы. Безумие – искать царя наудачу. Горы снега, нещадные морозы...

Впоследствии Синявский гонял людей по селениям, по фольваркам, разыскивая след путешественницы. Тревогу подняли русские офицеры из Главной квартиры, часто навещавшие коронного гетмана. Никто из них слыхом не слыхал о Дульской.

А Дульская, не доехав до российских пределов, простудилась, слегла на постоялом дворе, металась в беспамятстве, утопая в душной перине. Очнувшись, в ужасе выпытывала:

– Я болтала что-нибудь? Что? Скажите, матерью божьей заклинаю...

– Ни слова, пани, – врал хозяин. – Почивали тихо, как дитя невинное.

Смерть настигла ее во сне.

## 21

Борис Куракин провалялся в жару с неделю, потом съездил на короткую побывку домой, в Москву. Выполнил там два важных дела – посадил сына учить латынь и дал вольную Федору Губастову. Отныне он Федор Андреевич, управляющий имениями на жалованье. Уже и невесту себе присмотрел.

О рождестве гвардейцы-семеновцы увидели полуполковника Куракина у себя.

Полуполковника, одетого во все новое, словно для смотра. Щелкающего высокими модными каблуками политесно. Слепящего галунами лучшей выделки, пуговицами, натертыми заграничным порошком. С лицом бледным от немочей и огорчений и даже страдальческим – полуполковник отвык от войсковой рутины, от счетов, реестров, ведомостей провиантских и оружейных. Выражаться крепкими русскими словесами он, однако, себе не позволяет, а вместо них произносит часто брань иноязычную, и опять же политесно, сквозь зубы, с присвистом.

Сего примечательного офицера сослуживцы вскоре окрестили «принцем».

Кому же, коль не ему – болезненному «принцу», грамотею, – сидеть в штабе за бумагами! И Куракин сидел, читал и подписывал, считал, проверял отчеты. Строки сливались в одну неотвязную строку, которую прерывал лишь сон.

«80 седел приняты и розданы...», «Штыки не выдавать до привозу ружья».

Много военного добра лежит под снегом, в лесах и болотах Белой России. «Пропало после побитых», «За тяжелыми ранами не вынесено»... Сквозь цифирь смотрят мертвые, смотрят стеклянно – некому им закрыть глаза.

«Прислано с Москвы, с Оружейной палаты нового ружья – фузей 731, штыков 763, шпаг 340, пистолетов 183».

Сквозь цифирь глядят новобранцы – верно, последняя мужская поросль. Для армии нынче всяк годится: отощавший мужик, давно не нюхавший полновесного хлеба, пойманный у кабака гуляющий человек, монах из упраздненной обители.

Писаниной Куракин завален.

«Каптенармуса Викентьева лошадь отвязалась и ушла со всем конским убором, с пистолетом, епанчою и пропадала сутки. А ныне явилась. А конский убор совсем с нее пропал». Тьфу, пер Бакко! Пропал – и концы в воду. Лошадь, стало быть, виновата...

К ночи обалдеешь от бумаг. Изволь еще на утро вымыслить пароль по полку. «На тебя», – выводит уставшая рука Бориса. Ответ какой? «Надеемся». Кажется, уже было недавно... Тогда – «Милостию»... Чьей милостью? Ладно – «своею». Как-то раз глянул: перо словно само начертало – «Аминь». Протер глаза, хотел зачеркнуть, одумался. Пускай и отзыв будет – «Аминь».

Аминь, аминь... Сие бы Марсу, воину небесному произнести, подав нам викторию...

Со всеми нуждами идут к Куракину офицеры-иноземцы. Кому же еще рассудить, если не «принцу», владеющему многими наречиями! Однако капитана Людвигу понять было мудрено, понеже от него разило спиртным. С перепоя, что ли, ввязался в ссору с каптенармусом?

«Полковой лекарь Водик послал к каптенармусу Лонскому... чтоб на аптекарских

лошадях он, каптенармус, дал фуражу...»

А Лонский не дал. Оттого и заварилась кутерьма – лекарь колотил солдата дубиной, потом напал на офицера, за что с лекаря сняли шпагу. А Людвиг зачем-то кинулся отбивать лекаря. Теперь не вспомнит, на кого замахивался палашом...

Свободные часы «принц» проводит за чтением, в пирушках участвует редко. Офицер, не похожий на других, весьма раздражал некоторых, и Борис это видел. Что ж, зато с ним дружат люди просвещенные, а сие во сто крат ценнее.

Просвещенные – вот истинная знать! От них зависит возрождение золотого века!

Дворянину, размышлял Куракин, невежество непростительно. Мужик – другое дело, с него спрашивать нечего. Куриозный полуполковник, суровый с молодыми офицерами, к рядовым ласков. Не замечено, чтобы хоть одного писаря отлупил либо выпорол. Неужто и денщика не бьет? Офицеры обступили однажды Фильку – он пятился от кулаков, божился.

– Не, не трогает... Осерчает, так словами...

«Я гораздо люблен от простого люда», – напишет полуполковник о себе с гордостью.

Снова ложатся в заветную тетрадь жалобы на нездоровье. Лихорадки утихли, но «на лице болезнь объявилась прежняя, также и по телу почало выкидываться». Пользовал чирьи в Харькове, у царского лейб-медика Арескина.

– Выдают за истину, – сообщил толстый, в серебряном окладе седины шотландец. – Мазепа к нам обратно желает.

Меншиков, заскочивший в полк, подтвердил:

– Да, пишит пардон. Я, говорит, вам Карла и лучших генералов выдам живьем, только простите меня. Челобитье, правда устное, через Апостола. Не, не святой, – усмехнулся Данилыч. – Полковник, от шведов сбежал.

Неужели царь простит? После того как изменнику пропели анафему, а в Глухове повешена кукла-Мазепа и палач сорвал с нее андреевскую ленту и растоптал...

– Швед, значит, не прочен. Смекаешь? Боязно стало... Станислава на выручку зовет.

– За всех хватается?

– Ух, гад двухголовый! Одна голова к шведам, вторая на нас озирается – нет ли лазу назад...

Письмо Мазепы перехвачено, доставлено светлейшему. Изменник молит королишку двинуть победоносной рукой, простереть ее над Украиной. Верно, и впрямь надежда на шведов шаткая. Называет Украину наследием польских королей, – иди, мол, забирай свое достояние.

Данилыч прибавил, что царь велел писание изменника обнародовать, – пускай для всех будет явной мерзкая его политика.

– А Карл-то? Его какая вошь кусает? – спросил Борис. – Под пули суется, сказывают.

– Нарочно, – кивнул светлейший. – Глядите, мол, не берет меня пуля. Пора, либер херц мой, пора кончать войну! Нынешний год нас с Карлом рассудит, я чую.

Светлейший милости своей не отнял. В полку бывает часто, порядком в штабе весьма доволен.

Пора, вот как пора на покой кровожадному Марсу! Встречи с неприятелем успешны: урон ему причиняют не токмо наше войско, но и жители, вооруженные чем попало. Немалые потери у Карла и от морозов.

Весной царь уехал на Дон, проведать флот, изготовленный на случай вторжения турок. Вернулся к армии летом. Карл подступил к Полтаве, с ходу не осилил, зарылся для осады. Баталии решающей в приказах, в диспозиции не видно, однако воздух тяжел, яко перед грозой.

– Надо напомнить Питеру о тебе, – сказал Меншиков. – Едем-ка, друг мой, ужинать.

Борис дал себе зарок сидеть в полку тихо, не лезть к высшим, а тут не устоял. Комом в горле тот ужин!

Царь шевельнул бровями хмуро, обнаружив Куракина за столом, в числе генералов.

– Князь в обиде на нас, – промолвил звездный брат, обратясь к Меншикову.

– Бог с тобой, государь! – отозвался Борис.

– Не лги! – крикнул царь. – Беда с обиженными. Куда их деть? Воду на них возить, что ли, Данилыч?

– Отчего ж, херц мой, – отозвался Меншиков. – Запряжем кого-нибудь. На князя ты

напрасно взъелся, херц.

Дернуло заступаться...

Завершился ужин бедственно. Звездный брат не забыл прежнее ходатайство за полуполковника, обойденного чином, и повторения не стерпел. Борис поделился горем с заветной тетрадью, по-итальянски:

«За ужином у Меншикова его величество на меня разгневался, говоря, что я не хочу служить в армии и ищущу оказии выйти в министры. В тот злосчастный час он обещал меня повесить, если я не выполню своего долга сражаться против врага». Борис слезно жалуется тетради – отныне он в опале. Вслед за «главным человеком» переменялись к нему и вельможи, кроме Данилыча, увы, уже бессильного исправить сию худую ситуацию.

«Когда то выше явленное случилось, то как оных ласка и склонность отменилась, не могу инакого применить, яко погода в Голландии одним днем многократно переменяется...»

Разве он, Куракин, избегал боя? Разве прятался за чужую спину? Виноват ли он, что определили его в штаб, доверили не поле битвы, а канцелярию?

Движение войск между тем ободрилось. Полк действовал, отмечает Борис в тетради, «ища баталии с неприятелем генеральной».

В ночь на 24 июня переправились через Ворсклу. И здесь опять беда – «схватила колика сухая так, аж не к самому концу...». И хотя «сие мне припало конечно от печали», расхворался нешуточно.

А гистория ход свой ускорила, и до великой баталии, чаемой столь горячо, оставалось три дня.

## 22

«Главный человек» России шел на помощь к осажденной Полтаве, сознавая огромность предстоящего.

«Ведало бы российское воинство, – гласит царский указ по войскам, – что оный час пришел, который всего отечества состояние положил на руках их: или пропасть весьма, или в лучший вид отродиться России».

В приказе, наряду с речениями выспренними стоят простые, народные слова, как бы поясняющие их, ибо значение предстоящего надлежало понять каждому солдату.

«А о Петре ведали бы известно, – сказано в конце, – что ему житие свое недорого, лишь бы жила Россия и российское благочестие, слава и благосостояние».

Не царь один, а войско решит исход борьбы. Многие сознавали это, но мало кто вручал страну солдату так открыто и доверительно.

Речи Петра – а он выступал перед полками в те дни часто – похожи на отчеты, до того обстоятельно он излагал соотношение сил на театре войны.

– Казацкие и малороссийские народы остались нам верными, шведского войска через разные победы и лютость прошедшей зимы истребилось до половины, войска Лещинского побиты...

Враг надломлен. Надо довершить победу.

Совсем иначе вел себя «главный человек» Швеции. Его причуды и странности, всегда смущавшие приближенных, внушали теперь тревогу.

Раненный, лежа с забинтованной ногой, он беспечно улыбался и говорил генералам:

– Завтра мы будем обедать в шатрах у московского царя. Нечего заботиться о провианте для солдат – в московском обозе много всего припасено для нас.

Карл угодил под пулю, гарцуя на виду русских. «Развлечение с горчичкой» – так он называл эту игру со смертью. Его тянуло «прощупать неприятеля» и, может быть, испытать собственную судьбу. Последняя игра была особенно дерзкой – король приблизился к русским передовым постам, словно вызывая огонь на себя. Левенгаупт, упавший с подбитой лошади, кричал:

– Уходите ради бога, ваше величество!

– Чепуха! Что вы волнуетесь? Вам дадут другую лошадь.

До сих пор пули щадили Карла. Сложилась легенда о короле неуязвимом, угодном небу.

Легенду подхватили, распространили по Европе. В Париже, в Берлине, в Вене, даже в Стокгольме еще не подозревали о плачевном состоянии шведской армии. «Победоносный Карл уже на Ворскле, у Полтавы, – ликовали газеты. – Завтра он станет владыкой Днепра».

А трезвые люди в ставке «шведского Александра» называли поход в Украину безумием, убеждали короля отступить в Польшу.

– Я боюсь, – говорил генерал Гилленкрок, – что если какое-нибудь чудо нас не спасет, то никто из нас не вернется из Украины.

Он доказывал, что осада Полтавы стратегически бессмысленна, что гарнизон очень силен.

– Русские сдадутся при первом же выстреле, – оборвал король, досадливо откинув голову.

– Я сомневаюсь, – сказал Гилленкрок.

Взять приступом город не удастся, гарнизон будет сопротивляться отчаянно. Пушки не помогут – валы, обнесенные бревенчатыми палисадами, устоят.

– Уверю вас, – твердил Карл, – никакого штурма не потребуется.

Гилленкроку следовало изобразить восторг. Прежде он так и делал, но тут не смог, стоял, потупившись, опустив плечи. Король, очевидно, упоает на необыкновенное счастье.

– Да, да, генерал! Вот именно... Мы должны совершить необычайное.

Для короля, для большего числа приближенных русские все те же, что девять лет назад, в первом бою под Нарвой. Недуг зрения, часто поражающий монархов, – желаемое видится как действительное.

Грохот канонады на полтавском фронте доставлял удовольствие графу Пиперу, пока Гилленкрок не испортил ему настроение, сказав:

– Выстрелы, которые вы слышите, это выстрелы русских, а не наши.

Шведский завоеватель уперся в палисады Полтавы, непосильные для его орудий, уперся намертво, отвечая на все увещевания:

– Я не уйду отсюда. Не уйду, даже если бог пошлет своего ангела с повелением отступить...

Придворный читает ему скандинавские саги. Одну Карл велит повторить – это поэма о Рольфе Гетрегсоне. Викинг поверг славянского волшебника, покорила земли славян и датчан.

В ставке Карла повторяют нелепые слухи: Москва в страхе, защищать ее некому. Весь гарнизон – несколько сотен саксонских дезертиров, перехваченных русскими. Кто приносит такие новости? Неизвестно. Подозревают, что какой-нибудь приближенный сочиняет их, потакая королю.

Потомок не узнает из мемуаров, что творилось в душе короля. Положился на волю фортуны? Ждал озарения? А быть может, предоставив действовать генералам, сознательно играл роль, питал и лелеял легенду о себе. Легенду, которая в разные моменты истории спасала владык, бросала полки на яростный штурм.

Что до Петра, то он за два дня до баталии произвел смотр двадцати четырем полкам, а вечером собрал военный совет, где наметили план сражения.

В тот же день Карл, словно очнувшись, приказал Гилленкроку снова штурмовать Полтаву. Но сооружение земляных апрошей задержалось, мазепинцы, посланные с лопатами, работать не хотели.

Вечером 26-го Карл вдруг заявил, что надо атаковать лагерь русских. Как можно скорее, ночью! Солдат наспех выстроили, короля, полулежавшего на носилках, пронесли по рядам. Он глухо повторял, что надеется на всегдашнюю храбрость воинов.

Решение короля застало командиров врасплох, и подготовиться они сумели лишь к утру.

В тетради Куракина потомок читает:

«И 27 июня поутру, до восхода солнечного, король шведский атаковал кавалерию московскую. И в первой атаке был генерал-майор Штакельберг, и потом сам король, хотя и ранен, в носилках, на двух лошадях, со всею кавалериею и инфантериею атаковал...»

Борис под Полтавой не обнажил шпагу, как мечталось ему, не вошел с семеновцами в брешь, как было в ринконтре нарвской. От болезни едва оправился. Впрочем, полк находился в резерве, вступить в сечу не успел. Строки тетради, посвященные Полтаве, – строки наблюдавшего издали.

Семеновцы стояли на возвышенности, в лесном укрытии. На Полтаву смотрела прогалина,

вспорота вдоль оврагом. Там, над пеленой тумана, накрывшей поле, невозмутимо, будто в иных, мирных пажитях, теплилась маковка колокольни. А пелена таяла на солнце, и Борис различал темные линии русских траншементов и перед ними – выпуклость редута, одного из десяти, сооруженных в предвидении шведской атаки.

Из этих бревенчатых, присыпанных землей укреплений шесть вытянулись по фронту, а четыре самых дальних легли перпендикулярно к нему. Подобных фортификаций, вынесенных за траншеи, Борис не знал и смысл сей царской затеи понимал не вполне.

На стороне противника смутно виднелись синие пятна – то шведские уланы, ожидающие сигнала. Едва разлилось пение боевых рожков, как эскадроны двинулись, ускоряя марш.

И вот уже русские рожки пробудились тревожно, русские кавалеристы в красных кафтанах тронулись навстречу. Где-то с ними светлейший князь. А на позициях основных, пехотных, должен быть царь, управляющий боем, звездный брат, которого Борис невольно ищет взглядом.

Знание артикулов военных подсказывает Борису – это еще не баталия, а разминка для нее, сшибка конников. Но полуполковнику известно и то, что Карл в лобовой атаке удачлив, добыл сим способом немало побед. Нередко за конницей поднималась инфантерия и добивала противника, сломленного наскоком.

Ныне, в обстоятельствах крайних, король, наверно, возлагает большие надежды на первый удар, на скорый успех.

Вот уже редуты вступили в бой, увенчались проблесками, выпускают черные клубы дыма. Натиск врага нарастает. Борис впивается взглядом, но дым, раскатанный ветром, проклятый дым не дает видеть, пеленой повисает над полем.

Если бы Борис мог пронзить завесу, приблизиться к дерущимся, он разглядел бы каски улан, кресты белых портупей, острую поросль сабель, взлетающих разом, поэскадронно, а в глубине серые униформы пехотинцев, уже бегущих со штыками наперевес, следом за конниками.

И королевский штандарт – три золотых короны на белом шелку – над кавалькадой адъютантов, над конными носилками Карла. Бледный, в расстегнутом мундире, без треуголки, он высунул из-под одеяла огромную обмотанную ногу, мчится туда, где москвиты особенно упорны, где он – легенда во плоти – настоятельно нужен.

«И с того атаку сильного, – повествует тетрадь Куракина, – принуждены уступить аж до самого траншементу, где обретались Его Величество царское с вышними генералы и с инфантериею».

Описание боя, сделанное Борисом, лаконично донельзя, – он словно стыдится своей роли зрителя. К тому же полуполковник от некоторых собственных суждений воздерживается. Тем более не подобает ему, даже скрытым письмом, по-итальянски, касаться спора между царем и светлейшим Меншиковым.

А спор был, и военные специалисты будут разбирать его, доискиваясь, кто прав.

Что же до Куракина, то он не сразу поверил, – ведь Меншиков головой рисковал за неисполнение приказа.

Играть отбой – гласил приказ царя. Вывести кавалерию из битвы.

Светлейший, кусая губы с досады, ответил, что потери у него малые, есть резон держаться.

Шведы напирали. Два редута были недостроены, неприятель завладел ими. Петр снова повелел отойти. Он в горячке боя не терял из вида строгое начертание плана.

Военные историки будут гадать: то ли лихое упрямство Данилыча, то ли не успел он договориться с царем, поразмыслить над его диспозицией. Событие беспримерное – Меншиков опять не посчитался с царской волей. Более того, бросил в подмогу несколько пехотных полков.

Уже две лошади убиты под Алексашкой. Шведы и русские смешались, рубятся палашами. Можно ли в такой ожесточенной сече показать врагу спину?

– Ежели сказать «направо кругом», – объясняет Меншиков смущенному царскому гонцу, – то придадим дерзости неприятелю.

Светлейший улавливал то, что Петр не мог ощутить, – атака шведов выдыхается, фортуна дарит возможность, смяв улан, достигнуть палашами пехотинцев, развернув стычку конников в

сражение генеральное, не дать врагу отдыха, не дать срока, чтобы перестроиться для обороны.

Петр понял Алексашку, понял малый резон, внушенный моментом, но в подмоге отказал, ибо прорыв Меншикова принес бы, в лучшем случае, победу неполную.

Обратить врага в бегство, прогнать – да, это удастся с ходу, но на большее дыхания не хватит.

Нет, уйти Карл не должен...

Приказывая убрать кавалерию, отвести на фланг, Петр хотел отдать шведов на расправу редутам, впустить как можно большее число в полосу фортификаций, с тем чтобы разрезать лавину атакующих, как рифы разбивают, дробят морскую волну. Разрезать на части, скосить всех прорвавшихся ядрами и пулями, придав, если нужно, огня из траншементов.

Свою же конницу надлежит беречь, придержать для решающего часа. Ведь когда враг побежит, только она обгонит его, не разрешит уйти, закроет пути отступления.

Карл сам полез в ловушку, обложив Полтаву. Осаждающие оказались в охвате. Пора захлопнуть ловушку, именно здесь уничтожить противника. Для этого за годы войны накоплены и силы и уменье, – Петр убежден в этом неколебимо.

Уже сейчас ясно – шведы не те, что прежде. Офицер, прискакавший от Меншикова, докладывает – атака захлебывается. Светлейший в кураже, жалуется, что нет у него пехоты. Пушкاري из редутов стреляют ловко, своих не задевают. Убитых шведов возле редутов множество.

Однако два редута, взятые врагом, заполнены стрелками, обращены против нас... Пожалуй, хорошо, что Алексашка не согласился отступить. Редуты нельзя бросать без поддержки. Нельзя, раз подоспели шведские пехотинцы.

Ох, Алексашка, дорогой камрат! Не зарвался бы...

Донесения оттуда неизменно радостны. И вот успех значительный – поток наступающих удалось перерезать. Отряды генералов Шлиппенбаха и Рооса, прорвавшиеся к траншеентам – шесть батальонов пехоты и несколько эскадронов, как подсчитали потом, – барахтаются в тисках.

Следовать по пятам, добить! Тут уж Петр не пожалел войск для дражайшего, милого сердцу. Меншиков получил свежих конников и пять полков пехоты, а пушкари в редутах и на прочих передовых позициях посылали ядро за ядром, не переводя духу, обливаясь потом у разогретых стволов.

Лишь немногие шведы успели добежать до Яковецкого леса, нырнуть в чащу. Тысячи заколотых, порубленных, раздранных ядрами оплатили кровавую легенду о Карле.

Не было еще шести часов и солнце было раннее, слепило Куракина, когда он услышал победную весть, облетевшую всю армию проворнее любого курьера. Над полем взлетал, рассыпался, ликующими голосами звенел отбой.

«И Его Величество сам поставил инфантерию в две линии, а светлейший князь Меншиков также по флангам поставил кавалерию, а неприятель также построился в ордин баталии».

Это писалось вскоре после Полтавы, и потомка опять удивит беглость куракинской записи. Он – потомок – жаждет подвести итоги, рассудить. Почему же современник великого сражения столь немногословен?

Но Борис привык заносить в тетрадь обстоятельно то, что испытал и видел сам. Между тем отчетливы в его памяти лишь шеренги войск, выведенных в «ордин».

Три часа длилась передышка. Три часа лихорадочной деятельности Петра, изучавшего ситуацию, вносившего уточнения, поправки в свой план. Три часа полной, загадочной для окружающих прострации Карла, который за все это время не дал ни одного распоряжения, все передоверил генералам.

«И о девятом часу или о десятом началась она баталия и окончилась вечною славою Его Величеству и нации славяно-российской».

Трудно было определить, когда начали сближаться шеренги, когда схватились врукопашную. Куракин не смотрел на часы, он не отводил взгляда от поля, заискрившегося сталью оружия, медью касок. Зелень трав уже угасла, истоптанная земля уже почернела и растила там и сям столбы дыма. Ветер срывал их, сплетал непроницаемую для глаз ткань. Ее все чаще прожигали зарницы пушечных выстрелов, и вскоре вся она занялась дрожащим,

рокошущим огнем, словно пласт войлока, брошенный на костер.

Борису скажут потом, что баталия продолжалась два часа, всего два часа, казавшиеся для него, томившегося в резерве у оврага, нескончаемыми.

Скажут, что Петр, оценив состояние шведов, сократил против плана войска, введенные в бой. А так как солдаты рвались в битву и перемещение в тыл огорчило их, Петр счел нужным объяснить им приказ:

– Неприятель стоит близ лесу и уже в великом страхе; ежели вывести все полки, то не даст бою и уйдет.

Тут заспорил с царем Шереметев, опасавшийся ослабления фронта, но доводы его разбились о решимость царя. Осторожный, медлительный фельдмаршал нервничал, – вдруг Карл выкинет какую-нибудь неожиданность.

У шведов почти вся пехота покинула траншеи. Сомкнуто, слитно, с пением гимнов, надвигались лучшие шведские полки, гордость короля – Упландский, Кальмарский, Ниландский, Йончепингский, – полки свежие, не участвовавшие в борьбе за редуты.

Отборных шведских гвардейцев встретил заурядный Новгородский полк, – встретил с тем, чтобы войти в летопись солдатских подвигов. Шведы прошли штыками первый батальон насквозь, но уцелевшие пополнили второй батальон, сомкнувшийся непроницаемо. Здесь сам Петр командовал новгородцами, которые не только сдержали мощный натиск, но ринулись в контратаку.

Русская артиллерия, заговорившая разом, оглушающе, остановила, потопила в крови последнее отчаянное движение врага, последнюю попытку реванша. Орудия шведов откликнулись слабо, русские же господствовали, простирали грозу над всей шириной поля.

Ядро сломало носилки короля. В суматохе соорудили новые, из скрещенных пик. Фельдмаршал Реншильд, подбежав к Карлу, испуганно закричал:

– Ваше величество, наша пехота погибла! Молодцы, спасайте короля!

Началась паника. Беглецам преграждали путь кавалеристы Меншикова, кинувшиеся с флангов. Реншильд, Пипер подняли руки, присоединились к Шлиппенбаху, плененному раньше. Карла с трудом вынесли из свалки.

Полтавское поле затихло. Ветер стягивал с мертвых покрывало дыма.

В лесу, над головой Куракина очнулись, загомонили птицы, присмирившие от орудийного рева. Солнце высвечивало борозды опустевших траншементов, остывающие пушки, редкие полоски неистоптанной, не вспаханной колесами зелени. Что произошло? Неужели виктория? Верить ли слуху, глазам? Еще не дошла до семеновцев счастливая весть, но в сердце, сперва робко, вливалась небывалая радость.

Победа... Чаемая с юности и все же внезапная, как взрыв. Взлетевшая с солнцем, в блеске нового, необыкновенного дня. Взошла, переменяв все вокруг, – все сущее, самый воздух, которым дышишь.

Когда Борис, опьянев от счастья, раскрыл заветную тетрадь, он почувствовал, что подробности сражения и всей войны уже незначительны, отодвинуты в прошлое.

Пусть другие, пером летописца, запечатлеют весь ход событий. Он же, по его мнению, написал самое главное – баталия окончилась. Окончилась вечною славой.

## ДВЕ СВАДЬБЫ

### 1

Царская длань примяла парик, скользнула к загривку, потрепала, легла на плечо. Борис встрепенулся, почувствовав ласку звездного брата. Жалеет небось, что обидел зазря.

– Нету нам, Мышелов, от Марса отставки.

Ясно, жалеет. Иначе не удержал бы при себе. Семеновский полк уже снялся, получив дирекцион на Ригу.

Рука государя горячая, сукно кафтана напиталось жаром. Очнулась летней порой, затрясла



царя лихорадка, приставшая, верно, еще под Азовом. Лейб-медик Арескин с великим понуждением уложил царя в постель. Строптивный пациент встал, не долечившись.

– Не дают, Петр Алексеич, воистину не дают, злыдни, – ответил полуполковник вяло. Сам еще не тверд на ногах после колик.

Главная квартира снимается. Царский шатер разобран, погружен на фуры.

В сем шатре, на другой день после баталии, Борис присутствовал на торжестве необычайном. Царя видел радостным, как николи прежде. Видел генералов шведских, коих привели обедать. Сидели тесно, взмокли от духоты, пуговицу расстегнуть не смели. А царь шуточно сожалел, – нет за столом короля Карла, обещался прийти в шатер царский. Генералы переглядывались, смущенные, не зная, что последует далее.

Царь пил за здоровье учителей-шведов, и генералы тарасили глаза, удивленные сим великодушным тостом. Граф Пипер, первый министр королевский, нашелся, – хорошо же, говорит, ваше величество отблагодарили учителей. И начали он и Реншильд уверять, будто они советовали королю заключить вечный мир с Россией, но он не желал слушать. На что царь отвечивал:

– Мир мне паче всех побед, любезнейшие.

О короле не было в тот день ни слуху ни духу. И видение мира, заблеставшее над полем баталии, сияло Борису и неделю спустя, во время смотра, учиненного царем.

«Пленные, видев армию Царского Величества, вчетверо большую, нежели какую видели во время баталии, о великости ее удивлялись».

Меньше половины ее хватило для разгрома противника. Стало быть, мотайте на ус!

Но вскорости Карл объявился – живой, с горсткой придворных, с Мазепой. В степях за Днепром, на пути к туркам. И как только приспела сия весть, видение мира померкло. Ибо сомнительно упряма возмочь образумить.

И вот лежат шатры на фурах, под мелким дождем. Главная квартира снова на колесах.

Нету, нету отставки от Марса...

Лещинский, слыхать, удрал из Польши, паны живо скинули его с престола, чуть докатился полтавский гром. Крассов, потрепанный напоследок Синявским, ретировался в Померанию. Стало быть, виват Августу! Кроме саксонца, сесть на польский трон некому – такова злосчастная доля сего государства.

И царское величество иного выбора не имеет, как принять обратно беглого союзника. Увы!

Свидание с саксонцем назначено в Торуни. Зарницы за лесом возвестили издалека – король уже прибыл, ждет, артиллерия репетирует салют, чтобы дружно, разом приветствовать царя.

Борис потом вспоминал:

«Сия бытность обоих потентатов вельми удивила, какою низостью, и почтением, и без всякой отмовки во всем послушностью был король Август к Царскому Величеству...»

Уж кланялся – ниже нельзя. Разоделся словно куртизанка, – вся грудь в кружевах, под кадыком самоцвет чуть не с кулак. Стыда не показал нисколько. Или, быть может, не пробился стыд сквозь пудру, выбеливающую лицо обильно. Борису сдавалось – Торунь устроила маскарад, по примеру Венеции. То не король всамделишный, – маска изгибается в реверансе, маска семенит ногами, раскидывая искры. А искры обманные, потому как брильянты на застежках башмаков фальшивые.

С усердием натужным, как в дурной комедии, творили политесы ближние к саксонцу люди. И Борис ловил себя на том, что никому здесь не верит – ни вельможе, ни герольду, трубившему у ворот, ни ремесленникам, выгнанным по королевскому приказу из мастерских на улицу, на торжество.

А звездный брат комедиальное сие ликование охладил. Во-первых, парадностью одежды не почтил, встретил Августа в красном кафтане офицера-преображенца. Во-вторых, оглядев короля взискательно, спросил напрямик, где шпага. Его, царского величества, подарок.

Смешавшись на миг, саксонец извинился. Виноват, мол, оставил в Дрездене, запомывал. Соврал, негодный. Карлу ведь передарил царский клинок. А швед, убегаючи, его потерял, и на полтавском поле тот клинок нашли...

– Ну так вот, – сказал царское величество, не скрывая усмешки. – Я тебе дарю новую.

И тотчас принесли ее. Ту самую, прежде даренную саблю... И саксонец вынужден был съесть горькую пилюлю, оружие с поклоном взять.

Перо просилось запечатлеть памятную сцену, но Борис не допустил. Дипломату не все следует класть на бумагу. Как-никак союз с Августом возобновлен, старое надобно похерить.

Условлено, что царевич Алексей поедет учиться в Дрезден и король назначит наставников добрых.

– Дома говорить не заставишь, – роняет царь хмуро. – Немецкий язык ему нужен. И латынь.

Оба монарха верхом, со свитой, объезжают город. В тусклом небе расцветают ракеты, поливают башни и кровли то синим колером, то зеленым, то алым. Башни островерхие, вытянутые, с острыми шпилями, город утыкан остриями, взгорбился каменным ежом.

Наутро Главная квартира перешла на суда. Вереницей, убранные флагами, гирляндами, прижались к пристаням ладьи, золотясь начищенной медью церемониальных мортир. Прощальный фейерверк падал градом головешек, едко дымил и сварливо шипел, погружаясь в воду.

Верно, Август охотно утопил бы в Висле и саблю вослед своему фейерверку.

Флотилия должна плыть вниз по реке, в Мариенвердер, где обоих владык встретит король Пруссии. Ныне, после Полтавы, и он испытывает небывалое к царской особе расположение.

От непогоды, от сырости речной Борис начал кашлять. Звездный брат предупредил:

– Не болеть, Мышелов! В Пруссии ты мне нужен.

Свернув с Вислы, флотилия втиснулась в узкий приток и через малое время начала палить из мортир. Уже поднялся на холме замок Тевтонского ордена, охваченный густо городскими строениями.

Подошла ладья Фридриха, с черным одноглавым орлом на флаге. И пруссак учинил прием высший, но без подобострастия, омерзевшего Борису. Из ладьи вышел спокойно, целоваться не лез, а, пожав руку царю, отвел его к себе и усадил рядом, Августа же будто не заметил сразу. Пришлось саксонцу ехать позади.

И Фридриху подарена царем сабля.

Столы накрыли в замке, под сенью гербов. Громадные, вырезанные из дерева, заново покрашенные, они взирали на пирующих надменно.

– Эти господа у нас бывали, – сказал царь, поглядев на гербы. – При Александре Невском визит нам сделали.

Фридрих не понял.

– История старая, – вставил Куракин.

– А вспомнить полезно, – вмешался Петр. – Расскажи, князь, про Невского!

Король выслушал и указал на двух-трех вельмож, штурмовавших жареную свинину.

– Тевтонские роды живучи.

Интереса царь не выразил, стал расспрашивать короля об академиях, учрежденных им в Берлине для ученых и для художников.

– Не при вас ли, – спросил Петр, – обретается знаменитый философ Лейбниц?

– Ученая братия своенравна, – вздохнул Фридрих, – однако Лейбниц моей академией не погнушался.

Царь сказал, что был бы весьма рад завязать знакомство, выслушать советы столь просвещенного мужа.

– Осторожно! – воскликнул король. – Язык у Лейбница острее бритвы.

– Я не боюсь, – засмеялся царь. – Острый инструмент всегда на пользу.

Саксонец, не упускавший случая вступить в разговор, поспешил сообщить:

– Русские бояре испытали это на себе. Его величество собственноручно резал им бороды.

– Верно, – кивнул Петр и положил обсосанную поросычью ножку. – Обросли зело. Правда, бывает и побрит, да плохой с него профит.

Август, уплетавший айсбайн – свое любимое жаркое, – перестал жевать, хотя царь в его сторону не смотрел.

Рядом с Борисом датский посол, брызгаясь, впивался в грушу. Его маленькие с рыжиной

глаза бегали от одного венценосца к другому.

– Я не знаю Лейбница, – сказал он. – Но с вашим сувереном выдержать словесную дуэль трудно.

– И не только словесную, – подхватил Куракин. – Быть в дружбе с его царским величеством гораздо выгоднее, чем в ссоре.

– Да, участь Карла убеждает в этом. Русские поразили Европу. Кто мог помыслить, что вы побьете шведов! Карл приводил в трепет весь север, самого императора.

И шепотом, на ухо:

– Бедный Август. Ему не слишком удастся хорошая мина при плохой игре.

«Так ему и надо», – подумал Борис.

Пруссак отеснил Августа совершенно, весь день не отходит от царя. С собой неказист – мешковатый, сутулый, на высоких каблуках нетверд. Верно, обулся специально к приему великорослых potentatov. Все же царю лишь до плеча достает.

Сей поклонник муз, однако, еще паче почитает Марса. Приближенные его держатся по-военному, лихо звенят шпорами, живот при короле не распускают. Многие уже удостоены нового ордена Черного Орла – свирепого, с крючковатым злым клювищем. Гвардейцы – молодец к молодцу – вышколены на диво, маршируют так, будто шар земной силятся покачнуть.

Встанешь из-за стола – на плац, наблюдать воинские экзерсисы, либо на форт, где пушкари лупят по мишеням. Потом опять за стол. К ночи башка словно чугунная. Тетрадь покоится в ларце, не до нее тут, скорее бы в постель завалиться.

«Восемь дней в великих банкетах пребывали», – написал Борис коротко ослабевшей от возлияний рукой.

Однако и дело сделать успели, «учинили альянс общий, Царского Величества, датского, польского, прусского против шведа».

Сытные яства, терпкое бургундское, можжевелевая водка не мешали готовить сей союз. Напротив, самые молчаливые выкладывали потаенное. Куракин, не пропускавший речи соседей-дипломатов, говорил царю:

– Натура у Фридриха несмелая. Прочие немецкие владетели ему подозрительны. Виноват сам, покойный его отец разделил земли между братьями, а Фридрих завещание отменил, захватил наследство. Из Бранденбурга ушел в Берлин, боясь, что родня его отравит. Аппетит ко славе имеет большой, а силенок маловато, в ружьях недостаток. Ганновер, к примеру, ремеслами и всем насущным богаче. Так что побуждать Фридриха к наступлению на шведов напрасно.

– Мало ему Карл насолил?

– Насолил, Петр Алексеич, да ведь войско, посуды-ка, один дым, звон да топот. А казна плачет. На свое коронование, веришь, пять миллионов талеров извел, не моргнув, не почесавшись.

Фридрих рад бы выпроводить шведов, засевших в Померании, рад бы своими силами отобрать у них город Эльбинг – важный балтийский порт в соседстве с Данцигом. Уповает на русских. Понятно, царским войскам через Пруссию дорога свободна.

У датского Фридриха решимости больше, – обещался через своего министра не только обороняться от шведов, но и ударить с царем совместно. Датчане высадутся в Сконии – южной шведской провинции, а Россия двинет войска по суше, от карел.

И тем уж всеконечно Карл приведен будет к миру. К миру, коего царь и подданные его жаждут паче всех побед на поле брани.

В подвале замка отомкнули еще одну бочку бургундского, дабы новорожденный альянс подобающе sprysnut'. Потом прусский король пригласил царя беседовать сепаратно.

Предмет беседы, как известил Бориса Вартенберг, – Курляндия, немецкое герцогство возле Риги, почитай у самых ее врат.

Немудрено – Фридрих прусский имеет виды на Курляндию. Страна с копейку, но хлебная и флотом до разорения обладала внушительным, а море в той стороне почти не замерзает.

Что ж, слушаем...

Пруссак начал с того, что еще раз поздравил, – Московия-де после Полтавы возвысилась

необычайно и вошла, как сказал Лейбниц, в концерт мощных европейских держав.

– Дай бог доброй нам музыки, – ответил Петр.

Он сидел откинувшись, в расстегнутом кафтане. Истопники, отгоняя осеннюю сырость, перестарались – громадный зев камина опалял, словно дракон огнедышащий.

– Мой племянник, герцог Курляндии, – сказал король, – просил высказать и свою радость по поводу ваших успехов.

– И мечтает занять престол предков, – нетерпеливо вставил Вартенберг.

Многословие короля раздражало его, тем более сейчас, в гостиной, превращенной в пекло.

– Превратности войны, – продолжал Фридрих, как бы не расслышав министра, – обрекли герцога на изгнание, но не погасили в нем тягу к своей родине. К своему наследственному достоянию, – прибавил король и отер взмокший лоб.

– Мы в том не препятствуем, – отозвался Петр.

Возле него хлопотал растерянный камердинер. Царь слизнул с ложки крема и потребовал соленого. Гороха ему, гороха, которым ремесленники заедают пиво!

– Курляндия уже седьмой год без монарха. Через несколько месяцев мой племянник достигнет совершеннолетия.

Вартенберг скрипит креслом, но более не вмешивается. Король не умолкнет, пока не израсходует все припасенные фразы – отточенные, украшенные по моде французскими словами.

– Герцог питает надежду, что царь, победитель шведов, поддержит его законные права... Не сосчитать, сколько бедствий пало на злополучного юношу.

И Фридрих сверкнул перстнями, воздев пальцы-коротышки, изобразил сдержанное соболезнование.

«Ловок, – подумал Куракин. – Пустил в ход племянника. Не укусить иначе от курляндского пирога. Не купить и силой не взять».

– Честь и место герцогу, – кивнул Петр. – Возьмем Ригу, тотчас уйдем из Курляндии.

Брошено было вскользь, однако тоном, не допускающим сомнений. Прусские министры переглянулись. «Погодите, – сказал им Борис мысленно, – еще не то услышите!»

– А мы ему герцогиню подыщем, – произнес царь, кинул в рот горошину и смачно разжевал. – Любую из моих племянниц посватаем.

Впечатления неожиданного это не вызвало, – верно, сей демарш царя двором предусмотрен. Король не колеблясь поблагодарил за честь и похвалил благонравного, хорошо воспитанного герцога. И одобрил намерение царя сблизиться с домами Европы посредством брачных уз.

Вартенберг не вытерпел.

– Герцога ожидают руины, – сказал он деловито, обратившись к царю. – Он не найдет ни одной крепости, способной в случае нужды сражаться.

Скуповаты союзники... Второй Версаль отгрохали под Берлином, а племяннику денег жалеют на починку фортеций. Деньги наши и кровь наша... Извольте московиты защищать Курляндию, воевать в Померании, гнать шведов со всех германских земель!

Так оно и есть, – король всецело вверяет герцога царской милости.

– Фрицци не желает иного, как назвать себя вашим сыном. Фрицци, мой маленький подлиза, – и голос Фридриха дрогнул от нежности. – Он так умильно выпрашивал у меня конфетку.

Колени короля сжимают царскую шпагу. Тяжелая, длинная, она бьет по ногам, волочится по полу, но король носит ее терпеливо. Сейчас он ласково оглаживает золоченую рукоятку.

– Ах, ведь герцог помнит вас, брат мой! Помнит, как вы играли с ним и обещали дать в жены русскую принцессу. Поистине, устами монарха глаголет провидение.

Вартенберг и Куракин обменялись за спиной короля улыбками. Герцогу не было пяти лет, когда царь посетил с великим посольством Митаву.

– Будет свадьба, будет и приданое невесте, – сказал Петр. – Дело за женихом. Пускай напишет мне. А то выходит, без меня меня женили, я на мельнице был.

Пословицу царь произнес по-русски, и Борис, поймав его взгляд, перевел. Собрание вежливо посмеялось.

Петр рубанул рукой по колену, встал.

В опочивальню вела витая лестница из каменных глыб, – ступени аршинной высоты. Царь был весел, подталкивал Бориса, запыхавшегося на крутизне.

– Гляди, вторая свадьба наклевалась! Детей будем крестить, а?.. Мать честная, портреты с царевен, кажись, не списаны! Дикие мы, Мышелов. Которую же ему?

Пухлая, разбитная Катерина и неуклюжая, неприветливая Анна... Борис видел царских племянниц мельком и к тому же давно.

– Герцог, поди, на приданое зарится... Шведы шибко напакостили. Митава городок недурной, да что от него уцелело? Смекнем, во что репарацион вскочит. Флот герцогский, поди, сгинул, а ведь знатные стояли фрегаты. Проверим...

Все едино маршрут Главной квартиры лежит через земли пруссов, тихого лесного племени, – в Курляндию, к войскам.

## 2

– Я шпион, – сказал незнакомец.

Огонек свечи выхватил его из сумерек. Жемчужно блеснули зубы, – он смеется. Разумеется, это шутка. На его щеке черное пятнышко. Пламя колеблется, пятнышко словно живое. Свечу держит Борис, держит крепко, судорожно. Капля воска обожгла пальцы.

– Кто вы? – повторил Борис. – Как вы сюда попали?

Двери заперты, Борис уже начал раздеваться, чтобы лечь спать, как услышал шорох, шаги.

– Пожалуйста! Я покажу, как попал.

Незнакомец открыл книжный шкаф, пошарил в глубине. Шкаф повернулся, встал к Борису торцом. Очертился квадрат тьмы.

– Пойдите! – крикнул Борис.

Ему вдруг вообразилось, что незнакомец ухнет туда, скроется бог весть в каких закоулках обширного, полуразрушенного митавского замка. Или под ним, в недрах острова, в подземном коридоре, который, как говорят, выводит к некоему причалу, скрытому под обрывом.

– Ага, признайтесь! – забавлялся незнакомец. – Вы поверили, что я шпион.

Он выговаривает слова старательно, чересчур старательно для немца. По виду дворянин. На кружевную сорочку накинута халат из переливчатого бархата, подбитый чем-то против ноябрьской стужи, гуляющей в покоях. Еще мушку прилепил, – аксессуар обычно женский. И как только сумел сохранить столь модный фасон среди ободранных стен, унылого курляндского запустения.

– Вы не немец?

– Я француз, майн герр. А вы, если я не обознался в проклятых потемках, князь Куракин.

– Совершенно верно, монсеньер.

– Но я действительно шпион, мой принц. Шпион его светлости герцога Фридриха-Вильгельма.

Слово это, на французском, как бы утратило зловещее свое значение.

– Видите, я узнал вас. Наблюдать, оставаясь невидимым, – такова ведь моя обязанность. Шпион, шпион... Меня дважды хотели расстрелять.

Так-таки шпион... Он вскидывал голову и словно подбрасывал в воздух сие звание. И наслаждался эффектом. Удивителен французский язык, – он переносит в иную сферу, где легче поверить в самое необыкновенное.

– Не трудитесь, мой принц, заряжать пистолет. Скажите фельдмаршалу Шере... Шер... О, тысяча чертей, до чего сложны ваши русские имена! Впрочем, если угодно, я готов удовлетворить и ваше любопытство.

– Что же сказать Шереметеву? – спросил Борис.

На руке застывал горячий ручеек воска.

– Вы встретили маркиза Сен-Поля, вот и все. Этого будет достаточно. Прошу вас!

Тот же шкаф впустил их в небольшое помещение, половину коего занимал диван, продавленный посередине.

– Моя гнусная нора, – сказал маркиз.

Видимого выхода из норы не было. Маркиз набросил на Куракина одеяло, – здесь впору разводить белых медведей. Показав на голую шерстатую стену, сообщил, что библиотека там, рядом. Иначе он выбрал бы жилье получше.

– Француз я, собственно, по воспитанию. Во мне половина крови немецкая. Садитесь! Моя мать немка, я родился в Кельне, вырос во Франции. Отец в некоторой мере испанец, так что я по происхождению дитя Европы. Садитесь же, принц! Слава богу, нет дождя. Там, – он указал на оконце под потолком, – разбито стекло, и я ничего не могу поделывать. Не дотянуться... Наплевать, Жорж Сен-Поль бывал во всяких передрягах. Увы, имения Сен-Полей мне не достались. Увы, принц! Мой родитель проиграл их, проел, проспал с любовницами. Грешно осуждать отца. Он дал мне все же образование. И на том спасибо! Имею кусок хлеба, преподаю фехтование и верховую езду в Эрлангене, в Рыцарской академии. Название пышное. Академия, пропахшая сапожной мазью и конским пометом. Мальчик пыжится, вы понимаете, – возраст самолюбивый. Герцог, мой ученик...

Дитя Европы тараторило взахлеб, верно, изголодалось по собеседнику. Живет анахоретом, однако без распятия, без иконы. С трехногого стола – четвертую заменил обрубок сосны – свешивается карта. Ее прижал канделябр, массивная медная черепаха. В углу ворох бумаг, там тоскливо скребется мышь. К маркизу она привыкла, а стоит Борису подать голос, затихает.

– Лошади его сбрасывают, беднягу. Лошадь не терпит робких, мой принц. В точности как женщина. На моих уроках мальчик безнадежен. Зато учителя истории, географии не нахвалятся. Я говорю: «Фриц-Вилли, не забывай, ты – курляндец! А небесные знамения при твоём рождении – небывалая гроза, красное зарево... Не зря же!» Он отвечает: «Мосье Сен-Поль, я помню». И хлопает детскими глазами. Можно умереть со смеха. Если бы не Отто, я пропал бы тут. Это камердинер герцога. Правда, старик нацарапал не план, а черт знает что. Я десять раз ломал стену. Для герцога Митава – нечто туманное, в воспоминаниях детства.

Что же ему нужно, беспоместному маркизу?

На карте, под черепахой, – некий остров. Форма странная – слева округлен, справа вытянут и конец загнут кверху крючком. От берегов расходится волнистая, дрожащая синева, – земля будто брошена в море и начертана картографом в самый момент падения.

– Мальчик не хотел меня отпускать. Понимаете, ему поручили роту солдат. Они не слушают его, напиваются, как свиньи. Мальчик бежит ко мне, не знает, как укротить балбесов. Ему не до Курляндии. Сам начал пить для храбрости, а он слабенький... Я говорю: «Фриц-Вилли, ты наследник престола. Шведов прогнали. Неужели тебе не интересно, в каком состоянии твое герцогство? Будешь зевать – выхватят из-под носа». Вижу, мои увещевания гложут в нем. «Нет, говорит, у меня отчего дома. Шведы отняли, а теперь русские. Говорит, русские надругались над могилами предков, не хочу я туда...» Это его мать настраивает, Елизабет-Софи. Дама властная. Я подозреваю, сама метит на трон. А мавзолеем разворотили шведы, я нарочно расспрашивал здешних жителей.

Похоже, России сей шпион не враг. Борис отвлекся от карты, прислушался.

– Понимаете, Фриц-Вилли вдобавок влюблен. Таинственная сильфида, грация, фея... Имя ее – тайна, даже от меня. Стихи сочиняет, бормочет на уроках, дурачок.

– Пора жениться, – улыбнулся Борис. – Для него невеста есть.

– Невеста? Где?

– У нас, в Москве.

– Любопытно, – засмеялся маркиз. – В жизни не встречал ни одной русской женщины. Пригласите меня к себе в Москву, мой принц! У вас там гарем, наверно.

– Я не шучу. Царское величество предлагает герцогу свою племянницу.

– Нет, вы... Вы в самом деле не шутите?

– Слово благородного человека. Скажу больше, прусский король этот союз одобрил. При мне, в Мариенвердере.

Скрывать надобности нет. Дипломату лишь по нужде следует играть в прятки, – так мыслит Петр Алексеевич. И показал довольно примеров прямоты отважной, ошеломляющей в сношениях с иностранцами.

– Ку-ра-кин, – проговорил Сен-Поль. – Я не ошибся? Так вы советник царя? Вы приехали с ним? Я верю вам, конечно... Это чудесно. Это слишком чудесно, мой принц. Брак с русской

принцессой... Лучшего нельзя вообразить.

Он схватил обе руки Куракина и не выпускал их, пылая ликованием неподдельным.

– Я говорю ему: «Поклонись царю, Фрицци! Это твой единственный шанс». Вы, мой принц, подняли меня за облака, право... Послушайте! Вы устройте мне аудиенцию с царем. К фельдмаршалу вашему, к Ше... Шер... Шер ами, одним словом, я обращался, но у него были другие орехи для расколки. Кто-то из его интендантов проворовался. Я униженно молю вас, мой принц.

Потом он снова зачастил выражениями восторга, коими французский язык намного богаче русского.

Не умолкая ни на миг, Сен-Поль приподнял черепаху за передние лапы, высвободил карту и расправил, победно взмахнув ею, словно знаменем.

– Когда его царское величество узнает, что я нашел архив герцога Якоба...

Гибкие тела тритонов, жителей морских, огибают щиток, на коем оттиснуто – Тобаго. Странное название. На немецкое не похоже. Герцог Якоб, дед нынешнего? Помнится, обширную вел коммерцию.

Большой Курляндский залив... Малый Курляндский залив... Надписи стали от времени рыжими. Квадрат крепости, по углам – ромбы бастионов. Кругом – шалаши неких обитателей, шалаши и вперемежку с ними пальмы.

– Тобаго, Тобаго, мой принц... Сахарный тростник, какао, кофе, мускат, перец, кокосовые орехи... Да, представьте, – во владениях герцога Курляндского!

На другой карте, в атласе всемирном, Тобаго – крохотное зернышко у берега Южной Америки, против устья реки, распавшейся на рукава подобно Неве у Санктпетербурха. «Ориноко», – прочел Борис. А Сен-Поль, раскидывая бумажный сугроб, клал перед ним на стол, на черепахью спину, на кровать, все новые свидетельства удивительных промыслов мизерной по размерам державы.

Какова Курляндия! Шведы, цесарцы – и те не забежали столь далеко!

«Записи, из коих явствует, что остров Тобаго принадлежит его высочеству...»

Заглавие книжицы длинное, на трех языках – латинском, французском, голландском. Напечатана в Митаве, в 1668 году. Тобаго, – говорит книжица, – подарен герцогу английским королем Яковом, и колония тамошняя основана курляндцами. Они первые поселились на острове, хотя враги герцога уверяют противное.

Помнится, в Амстердаме среди флагов в порту встречался и курляндский – с черным крабом на кроваво-алом поле... Нора Сен-Поля как бы раздвинулась, вошли, загудели на ветру паруса, грянула якорная цепь. Грудь, окропленную брызгами, обнажила дева морей, распятая на носу фрегата. Загомонили матросы купецких флотов, люди Гоутмана, люди Брандта, щеголи в бархатных куртках, в башмаках с дорогими пряжками. Шелковые шейные платки... С виду – всякого ришпекта достойные кавалеры. А сейчас, в зеркале жалоб, адресованных герцогу Якову из-за океана, Ост-Индская компания предстает шайкой гнусных грабителей.

«Высадились самовольно... Подданных вашей светлости побили, туземцев взяли в плен и увезли».

Дела запутанные, кровавые вытащил на свет божий Сен-Поль. Какова польза? Маркиз имеет надежду обогатить своего беспечного ученика, да и себя заодно. Что ж, было бы недурно... Цена жениху возрастет преважно. Вопрос, – есть ли почва под сим прожектом? Как затевать тяжбу? На что опереться?

На короля Якова, что ли? Должна быть дарственная грамота. Где она? Грамоты нет, есть лишь показания старых моряков, со ссылкой на отцов и дедов. Маловато!

– А то, что десятки лет существует поселение курляндцев на острове, вам мало, принц?

– Кто разрешил им селиться? Хоть бы строка с подписью суверена?

– Зато есть судовой журнал. Слушайте! Сто пятьдесят человек, отправленных герцогом искать остров, на который белые люди не предъявляли претензий, обнаружили в Антильском архипелаге... Впрочем, это все пустое, мой принц. Главное, голландцы тоже ничего не докажут. Все зависит от Англии. Если королева окажет милость... Да, мой принц, иного средства нет. Потому я и хочу обратить внимание царя.

Легко сказать... Не столь мы любезны королеве Анне. Царь посмеется. Скажет, спятил ты,

Мышелов. Держи-ка, удружит нам англичанка! Британцы пуще всех напуганы нашей викторией.

– Фрицу-Вилли я напишу сегодня же. Какой-нибудь гофрат с удовольствием поскачет в Эрланген, в тихую, сытую Баварию. Напишу – возвеселитесь, ваша светлость, врата рая вам откроются! Увитые мускатом, корицей, гвоздикой...

– Перцем увиты, перцем, – сказал Куракин хмуро, и маркиз захлопал в ладоши.

Положим, Анна на троне не вечна. Слыхать, похварывает. Королем Англии будет Георг-Людвиг, ныне курфюрст Ганноверский, после Фридриха потентат в Германии славнейший. Значит, и ганноверца надо привлечь к альянсу.

Борис оставил маркиза в настроении лучезарном, хотя обещал не ахти что – только доложить его величеству.

### 3

Мучения первой любви постигли Фридриха-Вильгельма два года назад, в Байрейте, на каникулах.

Музыканты на балконе дворца трудились с утра. Из карет в июльскую теплынь выпархивали нежные создания, коих поэты уподобляют Диане, Авроре, Цирцее, – знатные фрейлины на выданье, приглашенные ради шестнадцатилетнего герцога. Соскакивали с седел, хлопали плетками, лихо сбивая пыль с голенищ, бравые кавалеры – женихи для сестер юного герцога.

Мать Фридриха-Вильгельма и отчим, маркграф бранденбург-байрейтский, устраивали в то лето бал за балом. «Крючок Кеттлеров действует ловко», – шептали остроумцы, имея в виду эмблему курляндской династии – нечто напоминающее обломок багра.

«Пригласи принцессу фон Вольфенбюттель», – сказала сестра Элеонора. «Она скучает», – тянула просительно сестра Амалия. Покладистый Фрицци послушался.

Нет, Шарлотта не поразила его ни красотой Дианы, ни лучистой прелестью Авроры. Высокая, тощая, с оспинами на щеках... Взглянула неприветливо, в ответ на поклон присела в равнодушном книксене, без улыбки.

Он не выучил новейших па, и она строго поправляла его. Без улыбки, резко сводя густо-черные брови. Держалась как старшая, хотя ей тогда не исполнилось четырнадцати. Смутившись, он наступал ей на ноги.

Загадочная принцесса, непохожая на хохотушек-сестер... На следующем балу он пустился искать ее в толпе, танцевал с ней, гулял в саду. В отблесках фейерверка ее черты волшебю менялись. Он говорил без устали.

«Ты страшно важничал», – укоряла потом сестра Элеонора.

Он издевался над подрезанными кустиками, над бедной, скованной природой и восхвалял прелести тропиков. Разошелся, сказал, что намерен отправиться туда, добывать колонии, отнятые неправдой.

– Там же дикари, – поморщилась Шарлотта. – Они ходят голые. Фу, мерзость!

Но эти люди зато честны, искренни. А путешествия, опасные приключения у него в крови. В числе его предков – герои крестовых походов. Один рыцарь привез из дальних стран ручного льва, покорного как собачонка.

– Мой дедушка, – сказала Шарлотта, – пишет рыцарские романы.

Он не мог не похвалиться. Скоро выйдет в свет его книга. Типографщику уже заплачено. Это не роман, не выдумки. «Бранденбургский пантеон» – труд исторический, извлечения из старых хроник.

– Мы, Кеттлеры, слились с бранденбуржцами, – объяснял он с жаром. – С тысячелетним славным родом... Граф Фердинанд разгромил колоссальное войско аваров...

Шарлотта вдруг рассмеялась.

– Вы должны познакомиться с моим дедушкой Антоном Ульрихом. Непременно!

Амалии она сказала:

– Он вбивал мне в голову каких-то аваров. Он что – всегда у вас такой?

Элеонора пожурела сестру и принялась утешать Фрицци. Шарлотта пошутила. У нее злой



язычок, но доброе сердце. Фрицци старался поверить.

С мыслями о суровой принцессе он вернулся осенью в Эрланген и облегчил свою душу перед маркграфом Кристианом.

Мраморный, в римской тоге, он стоит в замковом саду, на площадке, затененной деревьями. Истинный рыцарь, настоящий суверен. Не боялся ни короля, ни папы, даровал приют еретикам-гугенотам, бежавшим из Франции.

Это укромное место в саду облюбовано герцогом для мечтаний и размышлений.

Прелестное дитя! Не ведаешь ты муки  
И слез, пролитых в тишине ночной.  
О, жалься! Дай доверчиво мне руку!  
Или умолкну я под крышкой гробовой.

Выплеснулось на бумагу сразу... Правда, рифма хромала. И написал он по-немецки, а Шарлотта говорила – немецкий язык в Вольфенбюттеле звучит только в казармах. Поэтому он не послал свое признание.

«Бранденбургский пантеон» был отправлен в сумке курьера, с пылкой надписью на заглавном листе. Шарлотта сдержанно поблагодарила.

«Она думает о тебе, – писала Элеонора. – Она из тех натур, которые не умеют выразить свои чувства и хранят их глубоко внутри».

Вот уже год, как Шарлотта в письмах сестры не упоминается. Ударом хлыста была последняя весть о жестокой принцессе, – «мы пили с ней кофе за твоё здоровье». Только-то! Значит, больше нечего было сказать, при всем желании...

Оглядываясь на себя прежнего, легковерного, Фридрих-Вильгельм скорбно усмехается. Милая сестрица попросту сочинила трогательный роман. Прочь иллюзии! Его удел – любовь безответная, безысходная.

Все громче, все уверенней говорят, что Шарлотту отдадут в жены царскому сыну. Где же ему, герцогу без земли, изгнаннику, тягаться с наследником трона Московии! Покорись, любовь, спрячься в израненном сердце!

Ах, плачу я, и плачет вся природа,  
Бессильная, увы, лечить мои невзгоды.

Низкое осеннее небо накрыло Эрланген. Туи в замковом саду почти черны. На шлеме маркграфа примостился одинокий, мокрый голубь.

– Слезы недостойны рыцаря, – слышится герцогу.

Учитель Сен-Поля, насмешник, не поверил бы, – в памятнике заключена особая, таинственная душа. Миф о мраморной Галатее, пробужденной к жизни, имеет основу. Сейчас во взоре маркграфа – грустный упрек. И стихотворная жалоба осталась неоконченной.

Потомок обнаружит в архиве курляндских герцогов десятки поэтических опусов Фридриха-Вильгельма. Публиковать их он не решился, – возможно, уступив насмешнику Сен-Полю. Шарлотта уподобляется неприступной крепости, гранитной скале, цветку, содержащему сладкий яд. Сам же злополучный автор – то мощный, испепеленный молнией дуб, то сокол, сбитый наземь стрелой Амура.

Осенью 1709 года муза герцога умолкла.

Барон Дидерикс поглаживал пушистые светло-рыжие усы и прятал скорбную улыбку. Так вот он, наследник престола! Провидение могло бы подарить Курляндии более зрелого властителя в нынешнюю многотрудную пору.

Фридрих-Вильгельм читает, шевеля губами, – детская привычка, от которой он до сих пор не избавился. Четыре строки в письме Сен-Поля подчеркнуты.

«Поздравьте меня и себя с успехом! Бумаги вашего деда найдены. Возвеселитесь! Самым же важным я считаю то, что мне удалось заинтересовать весьма высокую персону и обеспечить

ее содействие».

Герцог произносит это место вслух и резко откидывает голову, – Дидериксу виден острый кадык на хилой шее, заострившийся подбородок.

– Какая персона, барон?

– Царь Петр.

– Я так и думал, – откликнулся герцог поспешно, с раздражением.

– Мы маленькая страна, ваше высочество.

Теперь герцог улыбается чему-то. Глаза прикрыты синеватыми, дрожащими веками.

– Вы хотели бы, барон, отправиться на Тобаго?

– По мне, лучше перепелка на столе, чем жирный гусь в небе.

Глаза его высочества открылись, облив барона горестным осуждением.

– Пошлая философия, мой друг. Рыцари так не рассуждали.

Ну, это уж слишком! Играет в рыцарей... Надо стащить его с облаков на землю.

– Мы не избалованы, – сказал Дидерикс жестко. – У нас в Курляндии перепелка – редкое лакомство. Война распугала птиц. А в деревнях гложут древесную кору. Война, война, ваше высочество! Что не доели шведы, добирают московиты. Мало несчастий на наши головы, – всевышний послал еще чуму.

– Чуму?

– Да, чуму.

– Мы... мы соболезуем.

– Осмелюсь заметить, ваше высочество... Личное присутствие герцога весьма поддержало бы ваш народ.

– Да, да... Поблагодарите Сен-Поля...

Кажется, он снова унесся на Тобаго.

– Итак, ваше высочество, – сказал барон громко, – я сообщу курляндцам о вашем скором прибытии.

– Скором? – встрепенулся герцог.

Дидерикс выругал себя, – зря он сболтнул насчет чумы. Узкая белая рука герцога шарит по столу среди бумаг, находит пакет с крупичами сургуча, украшенный шеренгой черных прусских орлов.

– Я напишу из Берлина... Король желает меня видеть, так что пока, вы понимаете... Одним словом, вы будете извещены, барон. Что еще для меня?

Правда или нет, – царь сватает герцогу свою племянницу.

Но маркиз Сен-Поль, сенаторы – все просили не распространять этот слух.

– Ничего? Тогда я вас не держу. Пойдите! Скажите там... Молебны... молебны во всех кирках... Чума – это ужасно.

– Ужасно, – кивнул барон, вставая.

– Надо молиться.

– Совершенно верно, ваше высочество, – произнес барон сухо и поклонился, резко притопнув.

«Сен-Поль, безбожник Сен-Поль посмеялся бы, – подумал герцог. – Но что еще советовать? Монарх – не врач. К тому же медицина беспомощна. А вера способна совершать чудеса. Каков барон! Добро пожаловать, ваше высочество, у нас чума... До чего назойливы эти курляндцы! Жили без герцога, поживут еще».

Ехать надо, конечно...

Утром он не смог влезть в карету, – лакеи внесли его.

Целую неделю, вплоть до Берлина, он изнывал от тряски, от болей в желудке, от головокружения. Опять нарушил предписание лекаря – избегать крепких напитков, как злейшего яда.

Столица дяди Фридриха дохнула зимним холодом. Ветер нес снежную пыль. Липовая аллея, ведущая к городу, сбросила всю листву. Вереница экипажей въезжала медленно. Шлагбаум надсадно скрипел, вахмистр, собирающий плату, пробовал каждую монету чуть ли не на зуб.

Зверски тянуло в постель, согреться под одеялом, уснуть. Но на башне дворца плескался

королевский штандарт. Герцог завидел его издали, и нетерпение перебороло усталость.

Пришлось долго ждать в вестибюле, слушать отрывистую берлинскую речь, перезвон шпор, топот гвардейских ботфортов. Какие-то военные подозрительно оглядывали его, будто самозванца. Когда он поднимался по лестнице, огромный важный генерал, шагавший сверху, едва не сбил его с ног.

Дядя Фридрих – постаревший, толстый, в халате до пят – раскинул пухлые руки.

– Мальчик мой... Черт подери, настоящий мужчина! Сколько лет ты не был у меня? Три года, четыре?

Обнял и повел, выспрашивая, дыша в ухо:

– Ну, каков Берлин? Ты видел мои липы? Мой Арсенал? Красиво, а?

Племяннику совсем не понравился надменный Берлин, но нельзя же огорчать дядю-короля. Надо хвалить знаменитую аллею, новый Арсенал, вздымавший над черными, старательно обстриженными шарами-кронами грозные букеты лепных копий, мечей, знамен, труб и кирас. Хвалить все, что делается на Унтер-ден-Линден, где, по замыслу дяди, должны встать самые лучшие здания столицы.

Фриц-Вилли хвалил и сердился на себя, чувствуя, что здесь он «маленький подлиза» и будет поддакивать всему. В глазах рябило – мелькали фигуры в латах, щиты, мушкеты, прибитые к стене крест-накрест, бронзовые, мраморные, гипсовые тела витязей античных и сотни, тысячи воинов на батальных полотнах, выписанных тончайшей, усерднейшей кистью. Шелка и бархаты гостиных обдавали вспышками слепяще желтого, пунцового, кроваво-красного. А шпоры не стихали – звенели навстречу, обгоняли, пересекали путь в гулких, увешанных доспехами залах.

И вдруг – таинственный полумрак грота, медовое тление, струящееся по стенам.

– Этого ты еще не видел... Каково, а?

О дядином янтарном кабинете Фриц-Вилли наслышан. Передают, что эти камни, обточенные искуснейшими данцигскими мастерами, обладают некой сверхъестественной силой. Их мерцание пьянит, дурманит, лишает человека воли. И подлинно – в лучах янтаря, в сонме призрачных отражений, порожденных в узких зеркальных просветах, герцога обволакивает вязкое, неотвратимое наваждение.

– Ну что, надоел Эрланген? Признайся! Хватит бездельничать? Хватит, хватит... Все науки все равно не выучишь. А Курляндию свою проворонишь. Как пить дать утащат из-под носа...

Так и есть, для того и вызвал... Что ж, «маленький подлиза» не возражает. Он уже решился. Насчет Тобаго, конечно, ни звука, – дяди Фридриха это не касается.

– Мы говорили с царем. Митава твоя, Фрицци, твоя со всеми потрохами. Знаешь, что он спросил? «Помнит ли герцог, как я обещал ему в жены царевну? Племянница Анхен как раз подросла». Я сказал, отчего же, мой мальчик, наверно, не откажется. Где герцог, там должна быть и герцогиня, не правда ли?

Дядя засмеялся и резко оборвал смех, отчего Фрицци стало не по себе.

– Где герцог, там и герцогиня, где кобель, там и сучка, – сказал дядя и снова засмеялся, приглашая племянника разделить веселье.

Фрицци онемел. Кто-то вошел в кабинет, сел позади и засопел.

– Я говорю, Вартенберг, где кобель, там и сучка... Смотри-ка, я вогнал в краску нашего книгочия из Рыцарской академии.

Щеки Фрицци в самом деле пылали. Стены придвинулись, янтарь жег его.

– Понимаешь, милый мой, царь не забыл, представь себе, и желает выполнить обещание.

– Царь оказывает его высочеству большую честь, – прогнусавил Вартенберг, всегда отталкивавший Фрицци высокомерно назидательным тоном.

– Да, именно честь... Кстати, царевна недурна. А, Вартенберг? Ты что-то рассказывал.

– Со слов датского посла в Москве, ваше величество. Он нашел ее очень красивой.

Фрицци все еще не знал, что ответить. Какая-то русская... Почему он должен жениться на ней? Царь оказывает честь. Кто его просил?

– В Курляндии чума, – вырвалось у Фрицци.

Царь предстал перед ним зловещим, безликим чудовищем, воплощением рока, и слово

«чума» Фрицци бросил в страхе, для защиты.

– Герцога она не тронет. Верно, Вартенберг? Успокойся! Потолкуем с тобой, как с мужчиной.

Ему налили настойки. Крепкий, горький мужской напиток. Как мужчина, он обязан понять – ссориться с царем невыгодно. Только русские способны вытеснить шведов из Германии. Прусские войска заняты.

Для Фрицци не новость, что Пруссия воюет на стороне императора против французов. Что война за испанское наследство не кончилась. За услуги императору дядя и получил свой титул, – из курфюрста Фридриха Третьего стал королем Фридрихом Первым. Но все это совершалось где-то далеко от Эрлангена, от академии, от библиотеки, где воздухом веков веет от старинных хроник.

– Его высочество отдает себе отчет, – твердит вельможа. – Курляндия в настоящее время авангард Европы. Россия наступает. Новая, опасная потенция...

Фрицци выпил, но возражения, поднимавшиеся в нем, смешались окончательно. Все стало проще. Напрасно они разжевывают ему, как ребенку. Чтобы получить Курляндию, он должен жениться. Это не просьба, а условие. Что ж, он готов... Остановит Курляндия русских или нет – бог ведает. Ему, герцогу, нужно немного. Крошечный остров...

Желтое солнце пробивается сквозь тропическую чашу, – в недрах янтаря, одевшего стены, возникает Тобаго. Янтарные деревья, цветы, бесконечные сплетения стволов, ветвей, янтарное море, янтарные мачты...

– Триста тысяч, не меньше, – слышит он. – Триста тысяч. Мы подсчитали...

Приданое, вот что они подсчитали. Прикажете торговаться с царем? Нет, увольте! Фрицци ответил не словами – гримасой отворачивания.

– Ваша страна в руинах, ваше высочество. Деньги вам необходимы. Постарайтесь извлечь из русского кошелька сколько возможно, не стесняйтесь!

– Да, да, от нас ни талера, мой мальчик! Твои деньги у царя.

Кроме того, пусть царь выведет из Курляндии войска. Наивозможно скорее, во всяком случае – к свадьбе. Пусть признает нейтралитет Курляндии. Что касается детей от брака...

Они все сосчитали, обо всем позаботились. Вартенберг словно читает брачный договор, пункт за пунктом. Иногда назойливый монотонный голос глохнет, потом возникает где-то вдали, доносится как бы из тропических зарослей Тобаго, опутанных лианами.

Оказалось, что и послание герцога Курляндского царю уже составлено, надо только подписать.

«Ваше величество оказали мне милость, согласившись принять меня в качестве сына и проявив заботу о моем благе, чем я весьма осчастливлен, – особенно же тем, что вашим велением скоро последует чаемое мною очищение моих пределов и прав, которые отняты были короной шведской».

#### 4

В том же месяце ноябре 1709 года Борис Куракин, посол державы Российской, находился в дороге, следуя в Ганновер, к курфюрсту Георгу-Людвигу, наследнику престола Англии. Вместе с послом отбыл из Митавы маркиз Сен-Поль, взятый на службу переводчиком.

Бумаги и карты, относящиеся до острова Тобаго, маркиз неукоснительно держал при себе, в надежно запертой сумке из толстой кожи.

Сен-Поль, предвкушая свадьбу своего ученика, шумно ликовал, столь шумно, что Куракина брала суеверная оторопь. К добру ли!

– Король обломает мальчишку. Ручаюсь, из него можно лепить что угодно. Он теперь на Тобаго, всеми помыслами... Родственник царя, вы шутите, принц? Кеттлерам это и не снилось.

Болтовня маркиза, подчас надоедливая, весьма скрашивает долгий путь.

– Держу пари, король будет рад вытащить Фрица-Вилли из академии. Покровитель наук? Бросьте, принц! Если бы не Софья-Шарлотта... За четыре года вдовства Фридрих, говорят, превратился в фельдфебеля. Черта с два была бы в Пруссии Академия наук и искусства, если бы не она. Знаете, что сказал ей Лейбниц? Вам угодить невозможно – вы хотите знать причину

всех причин. А когда она умирала... Вот мужественная женщина! «Не оплакивайте меня, я узнаю то, что даже Лейбниц не постиг. А моему супругу я дам случай покрасоваться на похоронах». О, она раскусила Фридриха, мой принц! О нем хорошо сказано – заметен в малых делах, в больших – ничтожен.

Расчихвостит маркиз суверена прусского, примется за другого. А то начнет филозофствовать.

– Нет, мой принц, я отказываюсь признать, что нами управляет некий верховный разум. Почему, во имя чего он допустил грехопадение? Я имею в виду, конечно, не бракосочетание Адама и Евы, – сей акт заповедан самой натурой, а потому безгрешен. Богатство и нищета, рабство и господство, – вот что я называю грехопадением. Мы навлекли на себя тысячи бедствий, удалившись от природы, и все глубже, заметьте, все глубже, мой принц, утопаем в мерзостях. Насколько счастливее были жители Тобаго прежде, пока не явились просвещенные европейцы. Просвещение! Чему служат наши науки? Они не дали нам ни мира, ни справедливости.

– Так как же быть? – спрашивает Борис. – Спалить, что ли, книги? Ученье отменить? Скажете, и рожу не умывать, волосья не чесать? Нет, я не думаю. Просвещением достигнут люди лучшего порядка, не дикостью же...

– Не знаю, мой принц, не знаю... Обратимся к животным, к птицам. Что они ищут, кроме пропитанья? Слон – сильная тварь – разве мечтает поработить обезьяну или буйвола? Разве жаждет захватить чужие земли, соорудить себе Версаль, накопить золота? Согласитесь, в природе нет обмана, тщеславия, нет рабов – все сие присуще людям, хотя священники учат нас, что человек есть божий шедевр. Почему же тогда верховный разум, если он существует, не печется о своих излюбленных созданиях?

Для Сен-Поля нет ничего выше природы. Она и есть бог. Борису и сладко и тревожно слушать опасные речи. Хорошо, Филька по-французски не понимает. Такая философия не для него, холопа, деревенщины.

Сидит Филька на облучке молодцом, вызывая к фигуре своей расположение немцев и немок, так как силачи в германских странах в почете. Случается, пивом угощают, расщедрившись. Филька хвалит пиво, хвалит добрые колбасы. Одобряет, деревенщина, и строения немецкие. Нет-нет да и осадит лошадей, заглядится на фонтан, на мост, уставленный изваяниями, на врата, оснащенные лепкой.

Война сих камней не коснулась. Но хозяин таверны сказывал, в деревнях пошаливают солдаты, отбившиеся от полков. Чистые разбойники, не жалеют ни мужика, ни господина.

– Нам и полк не страшен, – смеется Сен-Поль. – Наутек кинется от нашего Филимона. Перемените ему имя, мой принц! Он Самсон, Геракл.

– Однако разжать кулак его величеству мой Самсон не смог, – сказал Борис.

– О, ваш царь! – воскликнул маркиз. – Природа исчерпала свои дары, наделяя его.

Петр Алексеевич обошелся с Сен-Полем ласково и так внимательно смотрел карту Тобаго, что маркиз воспылал негаснущим восхищением.

– Ваш суверен поражает. У него нет ни маршала двора, ни церемониймейстера, ни камер-юнкеров. Он живет как обыкновенный офицер на бивуаке.

Озадачила маркиза возня шутов при царской особе, – воют, дудят, кувыркаются, голова от них болит.

– Я не смог бы стать русским.

– Почему?

– Прежде всего потому, что я неспособен поглощать чеснок в таких гигантских количествах. Ваш фельдмаршал... Шер ами, спас меня от расстрела, но чуть не убил, дохнув чесноком.

## 5

От Виттенберга ехали берегом Эльбы до Магдебурга, города торгового, оглушившего ярмаркой и криками разносчиков, осаждавших непрестанно. После переправы, к исходу дня вступили в Ганновер, владение курфюрста Георга-Людвига.

Память Сен-Поля неисчерпаема, хранит всю подноготную европейских дворов. Нет для него секретов и в семействе ганноверском.

– Курфюрст по воспитанию чистейший немец. По-английски не умеет. Вы спрашиваете, откуда у него права на Великобританию? От матери, мой принц, так как она – внучка английского короля. Да, всего-навсего внучка...

Теперь, благодаря маркизу, Куракин разобрался. Суть в том, что шотландская фамилия Стюартов, правившая одно время, от престола отстранена. Яков Стюарт, прежний наследник, обретается во Франции и ныне известен как претендент на английский трон. Персона весьма беспокойная, – тайные эмиссары Якова, проникающие в Шотландию, причиняют Лондону немало забот.

Вспомнилось давнишнее – лагерь под Азовом, палатка генерала Гордона, пропахшая лекарственными травами, портрет Марии Стюарт, злосчастной обезглавленной королевы.

– С курфюрстом вам будет нелегко, предупреждаю вас. Характер у Георга-Людвига скверный. После истории с женой он озлоблен против всего мира. Говорят, она очаровательна. Французская кровь, мой принц. И там пожар из-за нее. Софья-Доротея – дочь гугенотки из захудалых дворян, появившаяся на свет не по правилам – до того, как ее родители обвенчались. И понятно, презираемая графинями, принцессами, княгинями хотя бы за то, что она красива. В Ганновере ей не повезло. Ненависть свекрови, легкомыслие супруга, отлучавшегося к метрессам... Ну, Софья-Доротея, как вы догадываетесь, не стерпела афронта, вознаградила себя с графом Кенигсмарком. Смазливый обольститель, шатавшийся по разным столицам, прихлебатель, карточный шулер, – его-то оплакивать не стоит. Когда сей альянс всплыл наружу, Кенигсмарк пропал без вести, если верить официальной версии. На самом деле его тихо прикончили. И отныне на ганноверском доме – пятно скандала. Георг-Людвиг не стер его, заточив жену в дальний замок. К ней не пускают даже детей...

Так, развлекаясь чужими амурами, сварами, бедами, а кое-что откладывая в копилку памяти, царский посол продолжал путь на запад, против ветра, леденившего лицо.

Ганновер воспарил на холмах, над рекой Лейне смутно, окутанный вьюгой. Бюргеры от стужи попрятались. Где тут, во мгле кромешной, найдешь жилье, приличное для посольства? Волны мокрого, крупного снега бушевали в узкой улочке. Слава богу, плутали недолго, – маяком блеснула, качаясь на ветру, золотая корона.

– Русских у меня не было, врать не хочу, – говорил хозяин, принимая одежду. – Жил шведский дипломат, жил английский, жил саксонский.

После обеда Куракин отправил маркиза в замок – известить курфюрста. Сен-Поль хотел взять одну из лошадей, но посол не позволил, велел подать своему секретарю портшез.

– Меня понесут?! – воскликнул маркиз. – Я становлюсь важным вельможей.

Курфюрст назначил аудиенцию тотчас же. «Прислал карету с двумя лакеями, как всех примают», – записал Борис в дневнике удовлетворенно.

Замок надвинулся серой глыбой. Посла повели через сумрачные покои, обитые темным, скудные мебелью и словно покинутые. Георг-Людвиг встретил в дверях тронного зала, чем проявил внимание особое. Высокий, длинноногий, с лицом жестким, он усадил посла учтиво, без улыбки, изъявил радость по поводу прибытия высокого гостя, – голосом глухим, слабым, будто боялся нарушить тишину чертога.

«Дом без хозяйки», – подумал посол.

Он не мог поймать взгляд курфюрста, глядевшего в себя, и от этого испытывал нечто близкое к обиде.

Приступать сразу к делу вряд ли политично, – сперва надо расшевелить ганноверца.

– О стране вашей, о мудром управлении вашего высочества я много наслышан. Убедился, пересекши границу, сколь преуспели здесь в ремеслах, в земледелии. Скажу откровенно, пример для иноземца воодушевляющий.

Посол видел, проезжая, обозы с солью, – из копей, что в люнебургской вересковой степи, видел работных людей, ломающих руду, дымы над заводами, делающими железо. Природой Ганновер богаче Пруссии, и народ тут зажиточней. Верно, курфюрст не тщился перещеголять Версаль.

– Чувство изволите питать благородное, – произнес курфюрст. – Чаше всего богатство

возбуждает зависть окружающих и увеличивает число врагов.

– Сие прискорбно, – вздохнул посол. – Пользуюсь случаем заверить ваше высочество – зависть моему государю несвойственна.

– Да, в Московии земли предовольно. Кстати, правда ли, что у вас произрастает злак, имеющий голову наподобие овечьей и такую же шкуру?

– Сказки, ваше высочество!

– Рот, глаза, как у животного, – настаивал курфюрст упрямо. – Именуется бор... боранец. Мясо, годное в пищу, отличного вкуса, излюбленное волками. Убежать от них жалкое создание не может, так как коренится в почве.

Подай да подай ему боранца! Нет, истиной поступаться негоже. И посол сказал, что даже Адам Олеарий, ученый автор «Описания путешествия в Московию...», поверил легенде, неправильно истолковав русское слово.

– Европейцам надо бывать у нас почаще, – прибавил посол. – Мы не Китай. Стеной не отгорожены.

– Ганновер тоже не лишен курьезов, – отозвался Георг-Людвиг, словно не расслышав. – Мы покажем вам... Великан, рост четыре элла и шесть цоллей. Жаль, вы не застали его в живых. На могильной плите о нем написано достоверно.

Ого, верзила саженный! Прикинув в уме, посол признал – рост и впрямь необыкновенный. Впрочем, соответствует ли ганноверский элл прусскому?

– Наш короче, но незначительно. А прусский вы успели изучить, я вижу.

– Вполне. Пребывание в Мариенвердере было столь же полезным, сколь и приятным.

– У нас свои меры, сиятельный принц.

Бросил как бы невзначай. С Пруссией, мол, нас не равняй, Фридрих нам не указ. Мы – особ статья... Куракин почел повод удобным, дабы перейти к делу.

– Вы меряете эллом, мы – аршином. Ар-шин, – повторил он внятно. – Однако, когда интерес встает для разных держав общий, следует и меру применить общую.

Курфюрст сию тезу одобрил.

– Его царское величество, – начал посол по писаному, – имеет особое склонение и почитание к вашей светлости и желает учинить добрую коришпонденцию.

Отвечал курфюрст вяло и будто через силу. Сказал все же, что царское величество оказал честь, послав столь высокую персону, а добрым отношениям с Московией он, курфюрст, всегда рад.

Куракин продолжал:

– Хотя ваша светлость имел с королем шведским дружбу, благодарности от него получил немного, а паче противность. Близость шведских войск в Бремене и Вердене вам не без опасности. Отсюда и проистекает общий интерес с царским величеством, который намерен обуздать силу шведа, чтобы не мог чинить разоренье как империи Римской, так и России.

Сознавая, что перед ним наследник английского трона, посол прибавил:

– Привести Швецию к конечной гибели мы не хотим, – только помышляем удержать ее в исконных границах.

– За предложение дружбы, – ответил курфюрст, – я царскому величеству признателен. Но вопрос подлежит зрелому обсуждению. Для этого вам надо говорить с графом Бернсторфом, первым министром двора.

На том аудиенция закончилась.

Семидесятилетний Андреас Готлиб Бернсторф носит шведскую пулю, застрявшую в ноге, и опирается на палку. Волочит ее по наборному полу замка, а как речь заходит о Карле, стучит ею гневно.

Душой он датчанин полный и Сконию, отнятой шведами, не простил.

– В Дании есть песня, экселенц. Швед набил карманы талерами, но кичился недолго – остался без денег и без штанов. Это матрос, загулявший в порту. Датские моряки непременно разденут спесивца.

Минул месяц, а переговоры – многословные, утомительные – тянулись. Не окончились они и к новому, 1710 году.

Маркиз Сен-Поль изнывал, переписывая прожект договора, и проклинал медлительных,

церемонных министров, – спорят о каждой букве. Об острове Тобаго, о вожделенном сокровище полуденном, нечего пока и заикаться.

## 6

Царь нагрянул в Измайлово внезапно, – в компании, с песнями, с криками «ура». У дворца остановился невиданный поезд – десятка три санок, связанных цепочкой. Дыхание дюжины лошадей, уставших от лихой скачки, затуманило окна. Подбегали, отряхиваясь, выпавшие на повороте, хохотали, бранились шутя, пьяными, осипшими голосами.

И Парасковья повеселилась бы, да в жар бросило от слов Петра.

– Где Анна? Поздравить пора.

Расцеловал невестку врасос. Анна сосватана, выйдет за Фридриха-Вильгельма, герцога Курляндского.

– Не в черед, батюшка, – вымолвила царица жалобно. – Старшая не нашалила бы... Боязно за нее, кровь играет...

Анну кличут, а Катюшка – старшая – тут как тут. Пострел везде поспел. Смешинка на щечках, дядина любимица.

– Поддумянился пирожок... Потерпи, тебе жениха получше найдем! Зови Анку!

– Счас...

Вихрем умчалась.

– Ты гляди за Катькой! – сказал Петр. – В оба гляди!

– Глаз есть за ней. Не сомневайся. Да мало ли... Герцог, значит? Да ведь Анка по-немецки двух слов не склеит. Господи!.. Иван Федорыч бьется с ней...

Так царица окрестила Иоганна Остермана, учителя.

– Ты сажай! Приколоти задницу жирную к стулу!.. А, пропащая! Гряди, гряди, невеста!

Анна вошла, лениво передвигая короткие ноги. Ткнула губами руку царя. Новость выслушала без волнения, – будто не ее касается.

Парасковья не запомнила, как принимала ораву гостей, чем кормила-поила.

– Закисли тут, – бросил царь на прощанье. – Ну, зимуйте, медведи, так и быть! До весны вам срок – и марш! Свадьбу в Питербурхе сыграем.

Невесте погрозил кулаком:

– У, тетеря!..

Царице век бы его не знать, Питербурха. Нагляделась в позапрошлом году... Край света, топь, комары. Подвоз плохой, цены – волосья дыбом. Дворяне сухари грызут, работный люд с голоду мрет. И хоронить-то по-христиански не в чем, гробов не напасти.

Разлетятся дочери, – тогда, может, царь помилует, позволит скоротать век в Измайлове.

Да что за крайность отдавать Анну немцу? Ошарашенная вестью, Парасковья выспросила мало. Где она Кур... куриная держава? Дочери объяснить не сумели. Француз Рамбур, нанятый для обучения танцам, искал ее на глобусе и запутался. Остерман, тот указал. Небогат жених землицей. Герцог с насеста, – так стала звать его про себя царица. Что за угодь у него? Чего ради венчать царевну с чужестранцем?

– Матушка! Да он веры не нашей!

– Грех, грех за басурмана идти...

– Табачищем задушит голубку бедную.

Пока застолье шумело, любимцы Парасковьи попрятались, замерли, – ни одна немытая, заросшая морда не высунулась, не попалась на глаза государю. «Дом моей невестки, – говаривал Петр, – лазарет для уродов и юродов».

Теперь сбежались, начали жалеть, сетовать, рыдать, – расстроили царицу вконец.

Объясняла, чуть не плача:

– Она веру не потеряет, при своей будет. И он при своей, люторской.

– А детей крестить как?

– Сыновей в люторском законе воспитают, а дочерей в православном.

– Нешто семья это, коли вера врозь? Бог покарает.

– Тьфу, ну вас! Надоели...



Прогнала всех, ушла в опочивальню. Слезы вылила на подушку.

А Москва между тем готовилась к долгожданному празднику. Построили семь триумфальных ворот. Из ближних городов везли шведов, полоненных под Полтавой. Стягивались гвардейские полки.

Царица приехала с дочерьми в город загодя, но не без усилия втиснулась в купецкие хоромы, отведенные для смотренья. В горнице густела толпа бояр, дьяков, иностранных послов. Палили все пушки столицы, – со стен, с башен гремели оглушающе, брызгали огнем в глаза. Сосульки сыпались с карниза, – так бесновались орудия, трясли деревянное строение.

Анна таращила сонные глаза, Пашка, младшая, вздрагивала, тыкалась в материнское плечо. Катерину оттерли кавалеры, зажали в угол, зубоскалы... Ох, избаловалась молодежь!

Парасковья глядела в окно рассеянно. За немца, за немца дочь пойдет... Добро бы король был, а то герцог...

Думали, царь возглавит шествие, однако вместо него, с трубачами, с литаврщиками первым вступил на площадь князь Голицын, семеновский командир, а за ним солдаты. Нынче не угадать, кому царь наибольшую честь воздаст.

Провезли артиллерию, отнятую у шведов, рекой потекли взятые знамена, – тут на сердце у Парасковьи полегчало. Экую силищу железную сокрушили!

Следом, в розвальнях, кочевряжился и выкрикивал что-то сморщенный старикашка, закутанный в меха, в длинноухой шапке. За спиной царицы говорили, – то полоумный француз, которого государь вырядил царем самоедов. Зрители забавлялись, созерцая ужимки шута, оленей в упряжке, плосколицую, смуглокожую свиту. Парасковья же сердилась. Почто сии потешки? Торжество надо бы чинно справлять, без глупостей.

Высматривала царя, негодуя. Сам-то в каком виде? Небось в кафтанишке замызганном...

Опять хлынули шведские знамена, загромыхали пушки. Строем прошагали пленные генералы. Вскидывали головы, входя под триумфальные ворота, расписанные картинно – король Карл в обличье льва к нам вторгся, а убрался пятясь, обратился в ползучего, ободранного рака.

Петр появился в белом кафтане, в парадном. На гнедом коне, носившем его под Полтавой.

«Продешевил ты, – упрекала Парасковья мысленно. – Анна же дочь царская, а он всего-навсего герцог. Неужель тем дорог, что немец? Коли мы такую викторию одержали, пускай короли наших царевен домогаются!»

После праздника Петр задержался в Москве до весны, и царица имела случай высказать свои сомнения.

– Зять тебе обезьяну подарит, – смеялся государь. – У него в Америке есть вотчина.

– Тьфу, куда мне!

– А нет – крокодила...

Перед пасхой прибыл барон из Курляндии, старый, спесивый, вручил подарки – перстень с алмазом, книгу, портрет жениха.

Анна пихала палец в кольцо, злилась. Не лезет, хоть убейся. Катька завладела портретом.

– На дятла похож.

Нос длинный, острый, лицо и плечи узкие. Фридриха-Вильгельма вывесили в сенях напоказ всем обитателям дворца. Взирал презрительно, вынырнув из пены кружев. Вся братия прилюдная потянулась на поклон к герцогу. И впрямь ведь дятел! Народ скорбел, крестился, шептал молитвы – в ограждение от козней чужих, неведомых.

Царевна Анна толстый свой палец мяла, кусала с досады, – нет, не в пору кольцо. Недобрая примета, – молвили в один голос нянюшки. Царица позвала стольника Юшкова, фаворита, авось растянет. Он на все мастер.

Книга курляндская оказалась собственным герцога сочинением. Пан-те-он... Как понять сие? Остерман объяснил. Его светлость рекомендует принцессе, кроме себя, вереницу своих прославленных предков.

Жениху надобно отписать. Из Посольского приказа торопят, а невесту взять перо не заставишь. Хоть бы по-русски сообразила! Учитель переведет. Царица гневалась, грозила всыпать розог.

Розгою дух святой детище бити велит,  
 Розга мало здоровью вредит,  
 Розга разум во главу детям вгоняет,  
 Розга родителей чтить научает.

Вирши вызубрены назубок, – царевны твердили их под ударами в чулане, служившем для экзекуций. Лентяйку Анну нянюшки волокут на скамью часто.

Остерман послание составил, но неудачно, – Посольский приказ вернул, сказал, что коряво и непочтительно. Вишь, мало герцогу политесов, еще подавай!

Протянули с ответом до летней жары, до Петра и Павла. Наконец, посольские, выйдя из терпения, дали образец. Анне всего трудов – снять копию своей рукой.

Который раз приходит дьяк, требует письмо. Расселся, будто званный гость, точит лясы с Катериной. От мужика ее палкой не отвадишь. Подливает дьяку вино, тащит конфеты, пастилу. Ох, унесло бы этого черноусого, от греха подальше... А письмо не готово, и Анны, как всегда, не дозовешься.

– Анка! Анка!

Царица бежит, держась за сердце. Отекшие ноги повинуются плохо. С разгона налетела на Тимофея Архипыча, выбила из рук чашку с клюквой. Пророк, бормоча, пал на четвереньки, пополз, собирая ягоды.

– Курочка по зернышку клюет... по зернышку... Кво, кво, кво... Зерна отдели от плевел, матушка! Кво, кво... Погодь! – ухватил царицу за подол разлетевшегося летника. – Погодь, скажу куриное число!..

– Пусти!

Пнула слегка в плечо назойливого юрода. Он свалился на бок, заскулил притворно. Ну его! Некогда отгадывать загадки.

Тимофей Архипыч прежде писал иконы и сподобился благодати, начал слышать голоса, исходящие от ликов. Предсказал царевне Анне престол, униженный самоцветами.

– Анка! Куда делась, паскуда!

В портретной палате царице перегородили путь шуты Савоська да Аброська. Растянули вожжи, загомонили, повизгивая:

– Город Кукуй, король Обалдуй! Плати пошлину в казну!

Вырвала вожжи, замахнулась:

– Кыш вы! Ищите мне Анну!

Топотом, криками, скрипом старых, иссохших половиц и лестниц наполнился Измайловский дворец – многобашенное, цветными стеклами наряженное владение царицы Парасковьи, излюбленное ее вдове местожительство после смерти царя Ивана, заселенное густо и пестро, подобно Ноеву ковчегу. Носятся, ищут Анну голенастые комнатные девки и древние гадалки, бабки-кликуши в зипунах, старцы-проповедники в рясах и заведенные по новому обычаю фрейлины, коим уже розданы веера, пока шьются иноземного покроя платья.

Остермана, уснувшего после обеда, фрейлины шаловливо будят, щекочут веерами. Где Анна? Немец отбивается, стонет:

– Ф-ферфлюхте! Я не знайт... Принцесс свой воля, принцесс не слушайт...

А вожжи свистят, хлещут кого попало.

– Анка! Оглохла, что ли, дрянь!

– Аннушка! Голубушка царевна! – вопят нянюшки, старцы, старицы.

Невеста сидит в нужнике, запертая сестрой Пашкой по злобе, из зависти. Раскачиваясь на судне, сплетает жгутом толстую черную косу, обильно смазанную репейным маслом. Выйти не спешит. Нарочно не откликается, чтобы весь дворец поднять на ноги. Зато отлупят Пашку-тихоню, материну угодницу. Запомнит, мерзкая тварь.

Попало в тот день обеим.

– Не смеете! – орала Анна, отбиваясь. – Герцогиня я...

Потом, почесывая вспухшее место, хныча, выводила пером крупно, неровно:

«...не могу не удостоверить Ваше Высочество, что ничего не может быть для меня приятнее, как услышать ваше объяснение в любви ко мне. С своей стороны уверяю Ваше

Высочество совершенно в тех чувствах, что при первом сердечно желаемом с Божьей помощью счастливом свидании позволю себе повторить лично, оставаясь между тем, светлейший герцог, Вашего Высочества покорнейшею услужницей».

## 7

Апрельским вечером, в час, когда работный люд по сигналу ратушного колокола валит из мастерских домой и в тавернах из кружек в глотки льется пиво Брейхана, почтовый возок доставил в Ганновер еще одного москвитя.

– Мне к батюшке, – сказал он Сен-Полю, неловко поклонившись. – Фатер, ферштеен?

Отвесил поклон и Фильке Огаркову, так как не узнал холопа, одетого в ливрею дворецкого.

Сен-Поль пошел вверх доложить, а молодой Куракин, – рослый, с темным пушком на верхней губе, – остался ждать в антикаморе, тарашил карие, нетерпеливые, любопытные глаза. Поглядел на портрет курфюрста и показал ему язык, поиграл с котенком редкой длинношерстной породы. На карте, растянутой по всей стене, отмерил расстояние до Лейдена, куда отец определил на ученье.

– А-а, добрался, студент! Выплыл!

Сын за последний год вытянулся резко, в дороге похудел, – несколько нет лопухинской рыхлости, жирной и ленивой, ненавистной Борису.

– А это кто? Плошка?

Сын ключника, увалень, посмешище на дворе. Бегал в отцовской рубахе, путался в ней и падал. А на деревья взбирался, как белка. И Александр за ним, взапуски...

Прошка, видно, и сейчас неловок на земле, – ни поклониться чередом, ни встать перед господином. Могла бы дать Александру лакея постарше, поосанистей.

– Чуть не смыло нас, – рассказывает Александр. – Реки играют – страсть!

– А морда грязная... А ногти-то, ногти! Ну, чучело!

– Так бани же нет у них. В тазу разве умоешься?

Чудно у немцев! Дома добрые, каменные, а топят плохо, в холоде живут. Щей не варят, похлебка жидкая и едят ее в начале обеда, а не в конце, как у нас.

– Мачеха серчала на меня?

– За что?

– Как же! Сына совращаю...

– Эка! Рада до смерти, отвязался я...

Ответил беспечно, искорки в глазах не погасли. Искорки не лопухинские, – куракинские.

О княгине больше не упоминали. Борис спросил, навещает ли дядя Авраам, вникает ли в хозяйство.

– Хо-одит... Крысится на тебя... Не иначе, говорит, твоему отцу княжество отвоевано в Германии, – забросил семью и достояние.

– Бог с ним... Губастов женился?

– Ага. На поповой дочери.

– Княжна здорова?

– Прыгает... Что ей!

Письма, привезенные из дома, Борис отложил. За ужином экзаменовал сына по немецкому. Зеленый суп из шпината остывал. Борис сердился, призывал в свидетели маркиза.

– Правильные глаголы, неправильные глаголы, – пропел Сен-Поль. – О мой принц, сами немцы часто путаются в них, как в тенетах!

Александр жаловался:

– Тут что ни уезд, то говор свой. А коли частить начнут, я ушами хлопаю – ни аза не понимаю. Лопочут и улыбаются... Смешон я им.

Тут Борис увидел самого себя – несмышленища, жителя Ламбьянки. Так же вот озадачил стольника, привыкшего к боярскому степенному чину, европейский политес с улыбкой, со смешком.

– Дай срок, – сказал отец, – обкатаешься. А людей злых и хороших везде равные доли,

какую страну ни возьми. Все мы люди, все человеки. Две ноги, две руки... У зришь в Лейдене, как профессор тело разнимает – жилы, и мясо, и требуху.

- Живого режет? – испугался Александр.
- Непременно, – засмеялся Борис. – Тебя первого под нож, за дурость.
- Это кто, лупоглазый такой, в передней висит? Звезда с тарелку... Курфюрст тутошний?
- Курфюрст.
- Он кого больше любит – нас или шведов?
- Никого он не любит.
- Так за кого же он?
- Обещался нам не вредить.
- А верить можно ему? Как он обещался? Ты ему крест дал целовать?
- Ну, выдумал! Теперь крест не целуют.
- А как же?.. Честное слово говорят?
- Бумагу подпишут – и хватит. Подпись – та же клятва.
- Сын, однако, не успокоился.
- А верить можно, тять?

На другой день, гуляя по городу, посол объяснил наследнику, о чем идет спор с ганноверцем.

– Курфюрст на вид Аника-воин, а всех кругом боится. Правда, грызня между монархами в Европе жестокая. С запада курфюрста датчане утесняют, влезли в Голштинию. С севера – шведы. Прусскому королю курфюрст ни на грош не верит, – оба княжества издавна в ривалите, то есть в соперничестве. Чуешь, каков труд – привести всех к согласию, чтобы с нами действовали заодно? Подали мне ганноверцы прожект – слов много, а написано слепо, ни один король, ни одна держава не названы. Кто за кого, против кого – читай как хочешь... Расчет простой – помощь от нас получить, а себя ничем не обязать. Пятый пункт, к примеру... Споткнулись, жуем, оскомину набило... Вон, Шафиров твердит, – не уступать, пускай курфюрст ясно скажет – стараться, мол, буду, дабы алеаты царского величества, короли датский и польский, обижены не были.

- Тять... А ну, как наобещает курфюрст, а потом откажется?

Стоят у Кузнечных ворот, перед часами с потехой. Механика внутри урчит, готовясь возвестить время. Удар – и человечья голова, скоморошья, накрашенная, дрогнув, прорастает рогами.

- Игрушка филозофическая, – заметил посол. – В каждой башке есть сокрытое.

– Тять... В Москве болтали, ты в крепость посажен у немцев. В ихнюю веру тебя перекрестили.

- «От мачехи небось наслушался чепухи», – подумал Борис.

Рога с боем часов росли – острые, с серебряными ободками. В толпе смеялись. Расплакались, заголосили наперебой два малыша.

– Дипломатия, она как баталия, – рассуждал Борис. – Плох тот политик, который руководствуется страхом. Страх не советчик. А баталии безо всякого урона не бывает.

- Беседы с отцом полюбились Александру. Погостил неделю и уезжать не хотел.

- Возьми меня, тять, к себе! Я бы тебе помогать стал...

- На что ты мне сейчас! С какой стати я тебя возьму? Окстись!

Сердился, глуша в себе радость. Лучшего не желал бы, как увидеть рядом дипломата Александра Куракина.

Собирая сына в дорогу, вручил письма к голландским друзьям – Гоутману, Брандту. А перво-наперво велел явиться к послу Матвееву с низким поклоном и выражениями сердечных чувств. Просил не оставить юношу без наблюдения, уберечь от дурной кумпании, от азартной игры, пьянства, от опасных женщин.

С кем отправить сына? С Прошкой боязно... Придется взять его себе, обтесать, – на догадку парень скор, толк со временем будет.

А в Голландию, так и быть, Филимона Огаркова... Жаль отдавать богатыря, но сыну он там нужнее. Кстати, в Голландии и Филька поступит в ученики.

- Приставишь к нему живописца аль ваятеля. Авось награжден талантом... По крайности,

станет понимать в художествах, нам и такие знатоки нужны.

В Санктпитебурхе, в Северной Венеции...

Заветная тетрадь посла лежала всю неделю в ларце, забытая. Борис раскрыл ее, как всегда, с думой о читателе, доселе безымянном. Теперь читатель словно очертился в тумане, обрел лицо Александра.

С тех пор Борис стал дольше просиживать за писаньем, стремясь не упустить ни одной подробности, полезной для наследника, для будущего дипломата Александра Куракина.

## 8

Этикет ганноверского двора строг и соблюдается неукоснительно как на аудиенциях, так и на обедах семейных.

Первым входит в трапезную курфюрст, ведя под руку свою мать Софью, восьмидесяти трех лет. В еде бережливы по-бюргерски, перемен не много – суп, жаркое, конфитур. Тостов не произносят. Суверен гнетет обедающих мрачной молчаливостью. По окончании маршал двора подносит каждому полотенце, смоченное в вине и «сложенное фигурно», которым вытирают рот и зубы. Курфюрст, в отличие от прочих, не берет оное, а пользуется салфеткой, отойдя при этом к окну. Сие есть единственная, замеченная Куракиным вольность.

Каково было бы царю терпеть здешний двор! Звездному брату, привыкшему ломать заведенное!

Удовольствие послу доставляла не столько кухня замка, пресная и однообразная, сколько музыка. «Видел одного скрипача так славна, хотя бы и в Италии токмо ж равный ему был».

Слушают скрипача неподвижно, как истуканы, аплодируют вяло, – одна лишь старая курфюрстина бьет в ладоши молодо, громко. «Сия дама удивительна всем в какой бодрости чувств, ума, памяти, слуха, виду и к тому искусна все языки европски – французский, английский, голландский, итальянский, писать, говорить...»

Прошлым летом курфюрстина ходила в машкере на редут, где устраивают костюмированные балы, и всяк день гуляла по саду три часа и дольше.

Московиту Софья благоволит, играет с ним в карты, в разговоре с ним откровенна.

– Не забавно ли, – сказала она, тасуя колоду, – Георг-Людвиг уже считает себя королем Англии, как будто я умерла. А я, вообразите, переживу королеву Анну! Какой удар для моего нежного сына!

Софья помнит царя Петра, – ее очаровал молодой, необузданный великан, ошеломивший Германию тринадцать лет назад, хотя он бывал раздражителен, груб. Зато какое редкое сочетание мощи телесной и умственной! Уже тогда виден был победитель шведов.

– Ненавижу Карла. Разбойник, свой дом забросил, вламывается в чужие. Георг-Людвиг чересчур считается с ним. Скажу вам по секрету...

В маленькой, обитой коврами арабской гостиной Софьи, под клекот ее любимцев – умных черных попугаев – посол узнавал известия весьма важные.

Курфюрст, оказывается, двуличен – на словах прекратил дружбу с Швецией, а на деле согласился пропустить два шведских батальона из Бремена, позволил пройти в Померанию.

Бесчестный обманщик! Негодуя, посол отдает Софье лучшие карты, и та грозит ему пальцем:

– Не смей! Взятки не принимаю.

Прошли батальоны или нет? Надо проверить. Сен-Поль завел знакомство со статс-секретарем Темпельгофом. Сей кавалер, служащий в канцелярии курфюрста, крупно и безрассудно играет в карты, вечно в долгах.

Куракин отсчитал, вручил Сен-Полю триста золотых. Секретарь принял деньги. Говорит, батальоны в Померанию прошли.

Протесты посла выслушивает Бернсторф. Он медленно набивает трубку, прежде чем ответить.

– Эти батальоны, принц, вам зла не причинят. По моим данным, они отозваны в Швецию.

– У меня, барон, другие данные.

– От кого же? – спрашивают близорукие глаза министра. Осведомленность москoviта

стеснительна.

– Могу ли я рассчитывать, барон, что впредь такого пропуска шведам не будет?

– Поверьте, я сделаю все, что в моих силах. Но они не безграничны, мой принц. Я между двух огней.

Открываются новые козни – посол Карла Фризендорф напирает на курфюрста, пристаёт с просьбами. Просит денег займы для Швеции, просит продать или заложить ей Бремен и Верден. Сии города для курфюрста – бельмо в глазу, и он склонен уступать, дабы избавиться от забот.

Снова надобно к Бернсторфу...

Все сии демарши, изложенные обстоятельно, хранит тетрадь в сафьяновой обложке, запечатая в ларце. Добившись успеха, посол отмечает коротко: «Удержано». Слово это, вдавленное в бумагу, выделяется в кудрявой скорописи. Удержан Ганновер от предательства, города не проданы и не заложены, шведы в них заперты. И заем не выговорил Фризендорф, – шиш он получил вместо денег.

Куракин и курфюрстина весьма друг другом довольны. Сражаются в карты, в шахматы, кормят говорливых попугаев – «графа Коко», «графиню Тото», «барона Крикри».

– Не правда ли, мой барон похож на Бернсторфа? – смеется Софья. – Кстати, не попадите к нему в мешок.

Они говорят по-итальянски, и Борис слышит поговорки, звучавшие в Венеции, в Риме.

Софья впоследствии напишет о Куракине:

«Это очень честный человек. Он кажется более итальянцем, чем москвитом, и владеет сим языком в совершенстве, со всей мыслимой учтивостью. Поведение его я нашла во всех отношениях безупречным».

Попугаям Софьи понравились ласковые руки москвиты, его мягкий голос. Они привечали его истово:

– Ур-ра Кур-рак!

Даже «барон Крикри», самый способный, не мог произнести фамилию до конца.

– Царь Питерр! Виват! – кричали попугаи.

Слышать из птичьих глоток – и то приятно.

Весна для России милостива. В Пруссии царским войскам сдан город Эльбинг, шведы, осажденные в Риге, в Выборге, обречены, так как подмоги не получают. В сих обстоятельствах ганноверцы стали покладистей и с предложениями посла по всем пунктам согласились.

Договор, верно, подписали бы до лета, кабы не помешало досадное происшествие.

Приглашенный в замок откушать по-семейному, Куракин столкнулся, входя в столовую, с Фризендорфом. Кто-то нарочно или по недосмотру свел москвиты и шведа. Сей последний резко повернулся на каблуках, звякнув шпорами.

– Я не знал, монсеньер, что встречу вас, – сказал он по-французски.

Низкорослый, прыщавый, утопающий в высоких ботфортах с широченными раструбами, наглец смотрел насмешливо. Борис опешил, – подобного с ним не случалось.

– Между прочим, я старше вас, монсеньер, – прибавил швед, усмехаясь.

Курфюрст жестами звал обоих занять места. Не смутился ничуть, будто так и надо... Это обозлило Куракина до крайности.

«Тогда я принужден тут при столе взять конжет и уступить в дом свой, который афронт всегда в сердце моем содержу».

Он еще кипел, вода пером, – раскаяние явилось после. Напрасно вспылит, напрасно сбежал не простившись. Курфюрст несомненно обижен и проступок сей не извинит. Так и вышло. В тот же вечер перед окнами посольского двора остановилась знакомая карета и из нее вылез, чертыхаясь, Бернсторф, – хмурый и расстроенный.

– Дурацкая история... Курфюрст в отчаянии, но есть порядок... Наш святой ганноверский порядок.

За нарушение оногo посол российский, невзирая на высокий его ранг и выдающиеся достоинства, отлучен от двора на семь недель.

– Я выяснил, мой принц, – выдохнул Сен-Поль, вбежав в кабинет посла. – Одна дама... Сведения достоверные, так как любовница маршала двора – ее кузина.

Борис нехотя оторвался от чтения.

– Она хороша собой, ваша дама?

– Недурна, но речь не об этом. Швед дал взятку маршалу. Это столь же несомненно, как то, что я стою перед вами. Фризендорф вырыл вам яму, и вы свалились... Ну почему вы не сдержались? Теперь не исправить, я понимаю... Но ведь надо же его проучить.

– Что вы предлагаете? Дуэль? У меня нет оснований.

– Увы, нет! И потом, дипломаты не дерутся, вы потеряете если не жизнь, то карьеру. Я бы подстроил ему какую-нибудь штуку в таком же роде... Вы разрешите?

– Не разрешу, – отрезал посол.

Куракин счел за лучшее на небольшой срок уехать. Самое время сейчас побывать в Вольфенбюттеле, в доме царевичевой невесты.

## 9

Волчий город, его – серого – логово, если верить названию. А похож на гнездо, свитое на холме. Замок монарха в густой, кудрявой опушке парка, и шпиль торчит, словно клюв аиста.

Укрепления старые, давно не чинены и разъедены старостью – войны их щадили. Со стены глядит, опустив клыкастую морду, каменный волк, – испокон веков, сказывают, торчит пугалом.

– Эмблема нашего города, – говорит герцог Антон-Ульрих, едва разжимая морщинистые губы. – Мы Вельфы, следовательно, по-старогермански – волки.

Потрепал громадного черного дога, привалившегося к тонким, иссохшим ногам, и прибавил:

– Род из самых древних, экселенц.

Утренний кофе, на который позвали посла, давно выпит. Четвероногий любимец герцога слизывает с тарелки остатки.

– Вы отдохнете у нас, экселенц. Ганноверский двор утомителен. У нас проще, не правда ли?

В том ли простота, что все исцарапано собачьими когтями? Мебель, ковры, гобелены парижской работы...

Сен-Поль говорит: курфюрст догов не терпит, предпочитает борзых. В Вольфенбюттеле все делается назло Ганноверу, наперекор Ганноверу.

– Повсеместно в немецких землях, – сказал Куракин, – я встречаю большое расположение к царскому величеству.

– На комплименты Ганновер ловок, – отозвался герцог, поглаживая пса. – Нам, провинциалам, не тягаться. Зато, экселенц, наше слово искреннее.

«Мы Вельфы, мы Вельфы», – слышится в зале, роняемое надменными устами портретов. Герцог Антон-Ульрих принадлежит к старшей линии рода, а курфюрст, коему герцог обязан подчиняться, – Вельф-младший, боковой ветви. Сен-Поль говорит, иной причины для раздора нет. И оказался Ганновер без вины виноватым, – Вольфенбюттель, ничтожная козявка, в испанской войне встал на сторону Франции, замахнулся на всех немецких соседей. Замахнулся, а ударить не успел, – ганноверцы тотчас заняли герцогство и основательно пограбили. Ох, безумное, болезни подобное тщеславие!

– Боюсь, Георг-Людвиг обольстил вас сладкими речами, – слышит посол. – Между тем он собирается продать шведам Бремен и Верден. Своевольно, не спросив мнения у императора...

Новость устарела, но послу полагается благодарить. Разумеется, сдержанно, а то, чего доброго, герцог станет звать царя в союзники против Ганновера.

– От этого намерения, – сказал посол примирительно, – курфюрст отказался.

– Я предупредил вас, экселенц.

Шамканье старика временами едва достигает слуха. А псина, как только хозяин упомянет ненавистного курфюрста, рычит и топорщит шерсть на холке.

– Предостеречь царя я считаю своим долгом, экселенц, – продолжил герцог жестко. – По

праву друга, а также по праву будущего родственника, если решение царского величества неизменно... Ай, Абдул, нехорошо! Пфуй!

Дог облапил камердинера, внесшего еще кофею, и выбил из рук поднос.

– Его царское величество, – ответил Куракин, – менять своих решений не привык.

Как торгош денег жаждет, так герцог брака Шарлотты с царевичем.

– Не скрою от вас, экселенц, в Вене плетут интриги. Его высочеству, наследнику царя, подыскивают католичку. Мне называли дочь принца Лихтенштейнского. Папа Климент сей альянс весьма поддерживает и прислал опытного кардинала, расстроившего, как утверждают, не одну свадьбу.

– Царское величество повода к тому не давал и машинации сии почитает за ничто.

– Все же поймите меня, экселенц!.. Король Август католик... Почему царь выбрал Дрезден для занятий царевича? Смею сказать, у нас профессора не хуже. А там... Иезуиты способны на все.

– Силой, полагаю, не женят.

– На все, на все способны, – твердит герцог, и псина, чуткое животное, вострит уши, нюхает воздух – не пахнет ли иезуитами.

«Опасаясь за царевича, не сделали бы чего – пить что и есть надо смотреть», – этими словами герцога закончил Куракин отчет о беседе, внесенный в дневник.

Заключать брачный договор поручается графу Шлейницу, первому министру. Условия Вольфенбюттель примет любые. Угодно царю, чтобы Шарлотта сменила веру, – быть по сему, спорить не станут. На приданое не посягнутся. Кроме того, готовы дать важную сумму царю взаимы.

Лишь бы не упустить жениха... Лишь бы поярче заблестел герб вольфенбюттельских Вельфов...

Старец поистине болен честолюбием. Сколь же въедлив сей недуг! Одна нога в могиле, а ловит пустяшные слухи, словно баба. Чудятся иезуиты, сыплющие яд. Казну истощит, только бы заполучить вожделенную корону для Шарлотты... Жалок и противен Борису презнатный Вельф, выпрашивающий жениха униженно, как подачку.

«Недуг тщеславия, – размышляет Борис, – переживает многие страсти в человеке. Угаснет амор, отомрет чревоугодие, кончатся за немощью потехи воинские и охотничьи, а сияние славы влечет до смертного часа, наравне с алчностью».

Опасается за царевича... Ишь заботливый!

Легко и быстро, на первой же аудиенции достался успех дипломату Куракину, но успех горький. Лягушку, лягушку суем в постель Алексею... Тогда, в Кремле, Борис посмеялся, – красоткой обернется лягушка. Как знать? Алексей сидел бледный после ночного бдения, в расстегнутой рубахе, вздувшейся от ветра. Книги на ковре, маковки Кремля за открытым окном... Сиротская тоска, бесприютность в глазах племянника. И страх, отчаянный страх перед будущим...

А Сен-Поль язвит, насмешничает, повергая посла в вящее расстройство.

– Не завидую я царскому сыну. Прелести Шарлотты сомнительны, недаром ее прячут в захолустье.

Принцесса воспитывается в городишке Торгау, под надзором польской королевы. На днях приедет в герцогство, в загородный замок Брунsvик, и посол сможет лицезреть ее – будущую царицу российскую.

Лягушка, лягушка, скользкая, большеротая... Такой кажется Алексею жена-иноземка, такой и будет, если не воспылет амор. Только амор способен произвести счастливую метаморфозу.

Смятение в душе, для дипломата неприличное, посол прячет от придворных, от Сен-Поля. В тетради оно сквозит между строк, – откровенность опасна. Зато подробно, с удовлетворением, но без восторга описаны знаки рипспекта, явленные послу. Таких нигде не бывало... Для вояжа в Брунsvик прислали карету, запряженную шестеркой, и в пути непривычно, смущающе грохотали барабаны. Почитай, вся гвардия герцогства становилась в ружье.

– Вас везут, как короля, – подтрунивал Сен-Поль. – Подозрительно, мой дорогой



господин.

Лягушка, лягушка, – повторялось в уме.

Лошади несли стремглав, – пар из ноздрей. Скорость на сей раз Борису неприятна. Дорога обсажена липами, вправо глянешь или влево – мельтешат, бьют по глазам черные кривые стволы. Будто монахи отбивают поклоны... Сен-Поля быстрая езда вгоняет в сон, – жмурится, а язык не устал.

– Я и вам не завидую, мой принц. В некотором смысле и вы вступаете в брак. Притом без права первой ночи.

Маркиз бережит сокровенное, о чем не смеет думать посол Куракин.

– Царь начал прихварывать, я слышал, – продолжает Сен-Поль безжалостно. – У наследника, кажется, вкусы весьма отличны от отцовских. Не сердитесь, я молчу, молчу.

И тотчас забыл обещание, принялся утешать:

– Молитесь богу Гименею! Как знать, мы, может быть, кладем царевичу сущего ангела в постель. О, гамма человеческих хотений неизмерима!

Замок Брунsvик – хмурая каменная глыба, брошенная на ковер французского парка. Искусные садовники вполне поработили натуру, настригли из деревьев геометрические фигуры, а землю покрыли живыми узорами цветов. Сад хитроумных, праздных затей, не дающий тени. Форейтор осадил коней на скаку, туча пыли заволокла гренадер, выстроенных у ворот, – высокие островерхие шапки, золоченые барабаны. Туча раздражалась яростным сухим грохотом, – мнилось, что над Брунsvиком грянул гибельный, всесокрушающий гром. Потом пыль отнесло, и железная ограда с коваными волчьими харями, беседки парка, темный фасад замка с полуслепыми, тюремными оконцами обнажились упрямо и нерушимо. А пыль волнами обдавала встречающих, – семейство Вельфов в полном сборе, во главе со старым герцогом, плотный сгусток шелков, бархатов, кружев.

Борис отыскал невесту, – бесспорно это ее держит за руку Антон-Ульрих, прямой как палка. Одетая по-домашнему – белое платье без обручей спадает с узких бедер вольно, а причесана парадно, волосы торчком кверху, в серебряной оплетке, подобно гвардейской шапке. Лицо смуглое, черты мелкие, резкие, глаза – два уголька, тлеющие затаенно, выжидающе.

Южная масть – от отца-полуитальянца, наследного герцога Луиджи. Он стоит рядом, затаенный, разряженный, в седом парике, стоит торжественно, слитый с Вельфами родством и помыслами, гонором фамилии.

Посол едва дотерпел обязательные политесы, – хотелось скорее понять невесту. Чего ждут, на что устремлены итальянские глаза-угольки?

На колени упал бы перед Шарлоттой испросить амора для Алексея. Только amor сотворит чудо. Сделает немку воистину царицей России, отвлечет Алексея от попов, от лукавых юродивых, от разобиженных бояр. Какая иная сила способна освежить мысли, смягчить душу, унять злость против царя, вырвать сию ядовитую для отечества змею? Amor, единственно amor...

– Я бесконечно благодарна его царскому величеству, милостиво изволившему мне дать место дочери в своем щедром сердце.

Губы тонкие, упругие, бескровные, – губы Вельфов... Словно урок – бесстрастно, внятно. Французская речь безупречна, впитана с детства.

– Плезир невыразимый доставляют мне ваши слова, светлейшая и высокоуважаемая принцесса. Ваши превосходные чувства...

Герцог пригласил в дом, Шарлотта отделилась, исчезла в кучке придворных девиц. Обедать сошли в подземелье. Скрипки стонали, надрываясь. Борис вобрал голову в плечи, – так нависли желтые, грубо отесанные камни низкого древнего свода.

Пили здоровье царя, герцога, царевича, Шарлотты. И посол, поднимая фужер, несчетно выражал радость, сиюсь перекричать льстивые голоса скрипок.

Беседа с Шарлоттой возобновлялась урывками. Запомнил Борис разговор на балу. Отталкивая коленями кринолин, раздутый сверх моды, он иногда привлекал ее к себе, ощущал тощее, костлявое, горячее тело. Нет, не лягушка...

Спросила, какая посуда во дворце у царя. Вновь смутила, – Борис не решился почему-то сказать, что и дворца-то нет, – Москву звездный брат не жалуется, а Санктпетербурх еще

строится. Ответил шутливо, – запомятовал, давно не едал у царя. Который год в путешествиях.

У герцога приборы серебряные. А Шарлотте что надо? Поди-ка золота потребует!

Спросила еще, бывает ли царевич в войсках. Тут посол покривил душой, расхвалил воинскую доблесть жениха. И напрасно, – принцесса, вишь, не любит военных.

– Это правда, что царь всегда с фавориткой, во всех сражениях? Она красива, да?

Московит потупился. Вряд ли подобает обсуждать сюжет столь шекотливый, да еще с девицей.

– Война ужасна, монсеньер. Мужчины грубеют... Скитаться по бивуакам, по грязи, без пристойного общества... Невыносимо!

– На войне к тому же убивают, принцесса, – сказал посол, не сдержав усмешки.

Глаза-угольки настойчивы. Вопросают, засматривают в будущее, – строго, неуступчиво.

– Супруг, избранный вами, – произнес дипломат, спохватившись, – не осмелится вас неволить.

## 10

Бал в замке Брунsvик – прощальный, так как миссия Куракина завершилась, – памятен и Сен-Полю.

В толпе, растекшейся по залам, часто возникало лицо молодого кавалера – детски круглое и пухлое, как у купидона, с натугой исторгающего музыку из фанфары. Кавалер был навеселе и бродил, пошатываясь, без видимой цели. В гуще публики, смотревшей танцы, он задел маркиза плечом и пробормотал:

– Извините, мосье Сен-Поль!

Маркиз отстранился, но тот цепко держал его за рукав и раздувал щеки, – похоже, от распиравшего изнутри смеха.

– Простите...

Повеса не выпустил рукав, качнулся к Сен-Полю и сказал, потянувшись к его уху:

– Я ваш друг... Идите в сад, ждите меня там...

Приятная погода выманила многих на свежий воздух. Встреча в саду произошла как бы случайно, в укромной аллее, под навесом из дикого винограда.

– Советую вам, – услышал Сен-Поль, – не возвращаться в Ганновер.

– Почему?

– У вас могут быть неприятности... У вас и у москвиты... Из-за одного придворного. Вы догадались, конечно, о ком речь. Назвать вам его?

– Назовите!

Незнакомец не шатался. Совершенно трезвый человек шел рядом, твердо вонзая в гравий высокие каблуки, но лицо сохраняло выражение беспечное.

– Секретарь Темпельгоф, – бросил он, сорвал стебелек с зеленого свода и сунул в рот.

Сен-Поль приказал себе не терять самообладания. Источник тайных сведений раскрыт. Кем? Это главный вопрос, и ответ нужно получить во что бы то ни стало.

– Вы заплатили Темпельгофу триста золотых. Не волнуйтесь, повторяю – я ваш друг.

– Допустим, – сказал Сен-Поль, сдерживая нетерпение. – Но я с вами еще не знаком.

– Шевалье Делатур.

Он поднимал к собеседнику смеющийся взгляд, будто делился невинной проказой.

– Ваше имя ничего не говорит мне, – отозвался маркиз сухо.

Стебелек торчал из толстых губ шевалье. Сен-Полю вспомнился уличный глотатель змей.

– Вы хотите знать больше? Увольте, монсеньер! Хватит с вас того, что я здесь, перед вами...

Стебелек шевелился – гибкий и тонкий, словно жало. Сен-Поль опустил руку на шпагу. Делатур... Слишком заурядное имя, наверняка ненастоящее... Что ему нужно?

– Хорошо, – начал Сен-Поль. – Молчание имеет цену. Какова же она, шевалье?

Кавалер вынул стебель, отвел руку и расхохотался громко.

– Вы приняли меня за вымогателя. Бог с вами, маркиз! Прощаю вам. Но вы правы, молчание золото. А у вас есть то, что для нас дороже золота. Ваша храбрость, ваш ум, ваша

находчивость... И, кроме того, ваши связи с Москвией. Они могут быть весьма полезны королю Англии.

– Он покамест курфюрст.

– Георг-Людвиг никогда не сядет на трон, – отрезал шевалье и в сердцах отшвырнул стебель. – Я служу законному королю.

Если так, он действительно не опасен. Сторонники Якова, претендента на английский престол, обретающегося во Франции, пышут ненавистью к курфюрсту. По слухам, существует обширный заговор.

– Но вы, Делатур, – сказал он, надеясь больше выведать у якобита. – Какое дело французу до сей политики?

– По матери я шотландец. Этого довольно, монсеньер? Поговорим лучше о вас. В Ганновере вам делать нечего. Курфюрст подпишет договор с царем, чему мы, кстати, не препятствуем. Но вам, маркиз, вам Георг-Людвиг не поможет. Просить у него Тобаго? Это бессмысленно... Мы обратимся к законному королю. Он – образец великодушия.

Якобит осведомлен недурно. Только в беседах с двумя-тремя вельможами касался Сен-Поль курляндских прав на Тобаго. Однажды Куракин замолвил слово курфюрсту и встретил вежливое сочувствие. На большее рассчитывать рано. А вдруг в самом деле трон достанется претенденту? Шансы Якова, говорят, значительны, Шотландия ждет его. В Англии его поддерживает партия тори. Что ж, может быть, сама Фортуна послала Делатура.

Вероятно, разумнее всего не верить, внешне не верить в серьезность предложения.

– Моя особа, – сказал Сен-Поль шутливо, – слишком ничтожна для предприятия столь грандиозного.

– Предоставьте нам судить. Не будем тратить время на пустые любезности. Вы нам нужны. Когда и зачем, я сейчас не скажу при всем желании. Возможно, через месяц или через полгода, через год... Покамест я получил ваше молчание в обмен на мое, не так ли?

– Хорошо, – ответил Сен-Поль.

Немедленных действий от него не требуют. Но что сказать Куракину? Нельзя же бросить его в Вольфенбюттеле без объяснений. И что с Темпельгофом?

– Ничего, – сказал Делатур. – Он просаживает в карты ваши триста золотых. Вас видели вместе, возникли подозрения. Ваше присутствие в Ганновере излишне. Мелкий повод может вызвать скандал. Передайте нашу беседу москвиту. Он сам сочтет, я думаю, что вам лучше расстаться. По крайней мере, на время...

В конце аллеи блеснула залитая солнцем площадка. Мраморный Ганимед – виночерпий богов – наклонился над бассейном фонтана, держа амфору. Вода лилась из нее тонкой звенящей струей.

– Смотрите сюда, – и якобит поднес палец к уху. – След юношеской шалости.

От уха змеился к щеке, едва проступая сквозь пудру, шрам. Делатур медленно провел по нему ногтем.

– Человек, который придет к вам от меня, сделает точно такое же движение. Запомните! Он скажет: «Делатур справляется о вашем здоровье». А вы... Для нас вы Ганимед. Не возражаете?

Он круто повернулся и пошел к замку широким, неверным шагом подгулявшего кутилы.

На другой день Сен-Поль и Куракин покинули Вольфенбюттель, выехав из разных ворот. Царский посол одобрил поведение своего секретаря, – отталкивать якобитов не резон. Где находка, где потеря – не угадаешь, будь хоть семи пядей во лбу.

Борис остановился в Ганновере ненадолго. 3 июля Курфюрст поставил под договором свою жирную, тяжело вдавленную подпись. Все пункты русского прожекта приняты, Ганновер отныне на двенадцать лет в оборонительном союзе с Россией.

Лето выдалось счастливое. Царский штандарт взметнулся над покоренной Ригой. Не дожидаясь штурма, сдался Выборг. В сентябре пал Ревель. В Эстляндии, Лифляндии, Карелии шведов не осталось.

Осень – пора свадеб.

31 октября в Санкт-Петербурге отпраздновали первый марьяж с европейским Западом – обвенчали царевну Анну с курляндцем Фридрихом-Вильгельмом.

Посол Куракин на торжестве не был, – дипломатические поручения на несколько лет отдалили его от российских пределов, но наслышан был весьма. Воистину сказать, эхо пушечных салютов, гремевших над Невой, – а они сопровождали каждый до единого тост, – пронеслось по всем столицам.

– Необычайно, как все у вас, – говорили Куракину иностранцы. – Свадебный кортеж на воде, сотня судов с гребцами. Царь, взявший на себя роль обер-маршала, появился при всех регалиях, с лентой святого Андрея, что случается редко. Дом князя Меншикова, самый крупный в городе, ломился от приглашенных. Пировали, как у вас принято, два дня. А каков дивертисмент, придуманный царем! Представьте, – два пирога на столе, два громадных пирога. Царь разрезал их собственноручно, – и что бы вы думали! Живая начинка – две лилипутки в модных французских платьях. Выпорхнули и исполнили тут же, на столе, танец. За сим – бал лилипутов. Их свезли по приказанию царя из разных мест государства, одели, обучили танцам. Маленькие человечки напились и вели себя препотешно. Бедный герцог повеселился напоследок...

Фридрих-Вильгельм перегрузил себя едой и напитками и вспомнил запрет врача лишь когда занемог. Медики напрасно пытались спасти его. Через два с небольшим месяца герцогиня курляндская Анна стала вдовой.

Изредка доходили до Куракина вести о Сен-Поле. Маркиз, назначенный камергером митавского двора, готовил апартаменты для новобрачных, а потом уехал из герцогства. Куда, Борис знал лишь приблизительно, ибо другие лица в посольском ведомстве имели с маркизом коришпонденцию.

Пройдут годы, прежде чем Куракин встретится с ним.

Интерес царя к полуденным землям, утраченным Курляндией, тайные демарши Сен-Поля по сему предмету не запечатлены в дипломатических документах, не проникли в куранты. Лишь в 1758 году приоткроет завесу ученый немец Гебхард. Его «История Лифляндии, Эстляндии и Курляндии» сойдет с печатного станка в Галле и сообщит:

«Царь взял на себя задачу путем переговоров с Великобританией, Францией и Нидерландами помочь герцогу восстановить власть над островом Тобаго».

Тропические чары Тобаго тревожили и Куракина. Иногда, устав от тягостной аудиенции, он раскрывал роман, сделавшийся его спутником. Симплициссимус вел его под сень девственных зарослей, в земной рай, изобильный и благоухающий.

«Куда вы влечете меня? Здесь мир, там – война; здесь неведомы мне гордыня, скупость, гнев, зависть, ревность, лицемерие, обман... Когда я жил в Европе, там повсюду (о горе, что я должен свидетельствовать сие о христианах!) была война, пожар, смертоубийство, грабежи, разбой, бесчестие жен и дев и пр.; когда же, по благодати божьей, миновали сии напасти совокупно с моровым поветрием и голодом и бедному утесненному народу снова ниспослан благородный мир, тогда явились к нам всяческие пороки, как-то: роскошь, чревоугодие, пьянство, в кости игра, распутство, гульба и прелюбодеяние, кои все потащили за собой вереницу других грехов и соблазнов, покуда не зашли столь далеко, что каждый открыто и без стеснения тщится задавить другого, дабы подняться самому, не щадя для сего никакой хитрости, плутни и политического коварства».

Так говорит Симплициссимусу матрос с погибшего корабля, обретший на острове убежище. Справедливое суждение, – Борис перечитывал заключительные страницы романа, пока не затвердил наизусть. Изменилось ли что-либо в Европе? Увы, нет!

Однако одиночество в пещере не влечет Бориса. Бегство от зла – удел труса. Он спасется сам, но золотой век не приблизит.

## 11

Свадьба царевича откладывалась, – после встречи с невестой он еще год жил в Дрездене, проходя курс наук.

Шарлотта была приятно разочарована, – Алексей оказался недурен собой и достаточно воспитан.

«Он берет теперь уроки танцев и его французский учитель тот же, который давал уроки

мне... Ему два раза в неделю дают французские представления, которые доставляют ему большое удовольствие».

Нет, не дикарь, каким его, случалось, изображали. Мать может быть спокойна. Жених очень вежлив, – подчеркивает принцесса. Дальше проскальзывает уязвленное самолюбие.

«...он не сказал мне ничего особенного. Он, кажется, равнодушен ко всем женщинам».

Жених начитан, прилежен в учении, – Шарлотта решила не отставать. «В Дрездене я возобновила игру на лютне и изучение итальянского языка». По примеру Алексея взялась за латынь и увлеклась этим языком древних, – «день и ночь провожу за книгой», – похвасталась она родителям.

Жених и невеста виделись до свадьбы всего два раза, хотя значительное время находились в одном городе. Глаза-угольки, запомнившиеся Куракину, внимательны, замечают малейшую неловкость Алексея. Он не сразу приобретает светский лоск, но «несколько изменился к лучшему в своих манерах».

Досаждают интриги вокруг царевича. Люди, желающие расстроить брак, нашептывают, что жена-иноземка негодна ни Алексею, ни его друзьям.

«Если уж суждено свершиться этому делу, то я желала бы, чтобы оно произошло скорее, дабы я могла избавиться от бесконечных толков по этому поводу».

Шарлотта сказала бы больше о себе, о нескромных, назойливых толках, если бы не боялась огорчить близких. К тому же письма могут быть перехвачены. Вокруг жениха и невесты шныряют лазутчики.

Граф Вильчек – лазутчик официальный, присланный в Дрезден от венского двора. Австрийские фамилии, предлагающие своих невест царскому сыну, еще питают некоторые надежды. Вильчек исполнитель, аккуратен, – он фиксирует образ жизни Алексея с точностью до одного часа.

Царевич встает в четыре часа утра, как и его отец. Помолившись, садится за книги. В семь часов к нему в комнату входят гувернер Гюйсен и другие приближенные. В девять с половиной часов Алексей обедает и пьет за этой утренней едой немного. С двенадцати часов – уроки по четырем предметам: фортификации, математике, геометрии и географии. С трех часов – прогулки, беседы с Гюйсеном до ужина, подаваемого в шесть часов. В восемь царевич ложится спать.

Вильчек дает подробнейшую характеристику Алексея, начиная с внешности.

«Лицо продолговатое, лоб высокий, карие глаза, темно-каштановые брови и также волосы, которые зачесывает назад, так как не признает общепринятого парика».

Цвет лица смуглый, желтый, голос грубый. Рост высокий, плечи широкие, талия тонкая. Часто сутулится, – привычка с детства, оттого что «попы учили читать, держа книгу на коленях». Походка стремительная, – «никто из окружающих за ним не поспекает». Во всех движениях обнаруживает нервность и душевное смятение в обществе незнакомых людей неразговорчив, сидит задумавшись, свесив голову набок. Весьма скрытен и боязлив, – «подумать можно, опасается покушения». Выписки, сделанные из книг, никому не показывает.

Единственное качество, воспринятое от отца, – чрезвычайная любознательность. Но точные науки интересуют мало. Царевич посещает церкви, монастыри, бывает на богословских и философских диспутах в университете.

Именитый наблюдатель присматривается и к лицам, приставленным к наследнику российского трона. Называет Головкина, Трубецкого. Молодой князь Трубецкой отвлекает Алексея от занятий, возбуждает в нем честолюбие, стремление скорее достигнуть власти.

Донесения Вильчека нужны цесарю. Для Вены безразлично, каков будущий царь России.

Однако многое ускользнуло от дотошного наблюдателя. «Мы по-московски пьем», – сообщает Алексей на родину своему духовнику и доверенному Игнатьеву. Возлияния эти – ночные, тайные, за дверьми плотно закрытыми.

При всем старании не дознался Вильчек, рад ли царевич браку с Шарлоттой. Видимо, воле отца покорен. Догадки свои добросовестный граф не излагает.

«А я уже известен, – сообщает царевич в Россию, другу Игнатьеву, – что он меня не хочет женить на русской, но на здешней, на какой я хочу, и я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его волю согласую, чтобы меня женить на вышеописанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее мне здесь не сыскать».

Пишет Алексей часто цифирью, в строгой тайне от всех.

Свадьбу положили справить в Торгау, недалеко от Дрездена, в самом большом замке саксонских королей. Шарлотте в нем мил каждый закоулок, – она провела там отрочество, опекаемая супругой Августа. Родные невесты, гости германские и польские от дальних передвижений избавлены, салюты в честь молодых грянут за Пределами России.

Послу Куракину выдалась благоприятная оказия на торжестве присутствовать.

Зиму и весну 1711 года он трудился в Англии, стремясь унять здоровыми резонами страх ее правителей перед новой силой на Балтике. К дружбе не склонил, но заинтересовал торговлей с балтийскими портами, – ведь британский флот не обойдется без пиленого леса, без пеньки для канатов, без ворвани, которой смазывают слип, дабы спустить построенное судно на воду.

Англичане намеревались послать флот против Дании, – понудить ее к сепаратному миру со шведами. Обещали сей коварный план отменить.

На обратном пути, в Голландии, посол соблазнял и тамошних купцов русскими товарами. Проверил поставки изразцов для Санктпетербурха. В Лейдене навестил сына, похвалил за хорошие успехи.

– Вижу, растет помощник мне... Я первый в роду дипломат, но авось не последний.

Фортуна, благосклонная к России на севере, лишила милости на юге, – султан, побуждаемый Карлом, англичанами, французами, нарушил мир. В июле русская армия, перешедшая через Прут, изнуренная степной жарой и безводьем, очутилась по вине фальшивого союзника, молдавского господаря, в ловушке, в кольце огромных турецких полчищ. Царю и Екатерине, не разлучавшейся с ним в походах, грозил плен. Пришлось подписать капитуляцию, отдать султану Азов, низовья Днепра.

Целебная вода Карлсбада не унесла всю горечь поражения, не долечила усилившееся нездоровье царя. В Торгау он явился непривычно угрюмый и словно постаревший. Не стало того свадебного обер-маршала, который в Санктпетербурхе ошеломлял гостей потешными выдумками.

– Одно хорошо, – сказал Куракину генерал Яков Брюс, – мы избавлены здесь от мерзкого зрелища танцующих уродцев и от безмерного пьянства.

Брюс – старый приятель, славный рубака и чернокнижник. Так их всех прозвали в Москве – членов общества Нептуна, собиравшихся у телескопа в Сухаревой башне, куда Бориса по незрелости лет не допускали.

– Герцогу и так куда какой почет, – молвил Борис хмуро. – Вольфенбюттель теперь надуется, как та лягушка в басне Езопа.

Царевича женят по-домашнему. Окна замкового костела прикрыты, – свет ложится на аналой, на мантию священника, на публику узкими золотыми галунами. Лицо царя, держащего венец над сыном, в тени, Куракин напрягает зрение. Алексей опустил голову, невеста же смело, почти не мигая, подставила лицо свету.

Священнослужитель обращается к царевичу по-русски, «да» звучит из уст Алексея глухо, с затаенной досадой. В немецком митрополит нетверд, его выговор забавляет дочь Вельфов, ее губы насмешливо дрожат.

А царь настроился радостно, – слышно, Шарлотта понравилась ему и наружностью и обхождением.

Недолгое, через тусклые нежилые покои, в гулкой толще величавого строения, шествие к столу. Шлейф новобрачной несут три придворные дамы, ведет ее герцог Антон-Ульрих, сочащийся помадой и духами, бесконечно довольный. Куракин, протиснувшись к Брюсу, рассказывает ему про архитекта и механика Шлютера, – Яков уезжает в Германию, так не мешало бы, доложив царю, пригласить знаменитого искусника на русскую службу. Потом Бориса окликнул Меншиков и задержал, – не терпится ему узнать, готова ли последняя партия

изразцов да красиво ли исполнены.

В итоге Куракин замешкался, и, когда вошел в парадный зал, место, подобающее его чину, было занято. И кем же?

– Извини, – сказал Брюс и смущенно встал. – Царь меня посадил.

Правда, он потомок шотландских королей, но царь не о том думал, а верно, решил принизить посла... Поддался недоброжелателям...

Борис невольно вспомнил Фризендорфа, вспыхнул. Но не ссориться же с Брюсом, нисколько не виноватым.

– Сиди! – махнул рукой Борис. – Все равно ведь...

Веселья на этой свадьбе нет, откуда ни гляди. Брюс как будто понял недосказанное и, потоптавшись огорченно, сел.

«Ниже всех сидел и являл лицо недовольное», – написал Борис о себе после торжества. Нарочно, в каком-то неодолимом отчаянии, казня себя неизвестно за что, поместился в конце стола. Очнулись давние супостаты – меланхолия и гипохондрия.

В зале горят свечи, лучистый осенний день заслонен зеркалами, вставленными в окна. Борису все видится как бы в сером, вязком тумане. Издали мелькнула кривая усмешка Василия Долгорукова, – не он ли, завистник, змеиная душа, исхитрился, лишил места? Алексей и Шарлотта – за малым столом, на помосте, под балдахином – тонули в тумане совершенно.

К блюдам Борис едва притрагивался, в танцах не участвовал. Событие сохранилось в памяти отрывочно. Брюс показал другу поджарого немца, сутулого, в большом, мелко завитом парике и сказал, что это Лейбниц. Ученый беседовал с царем, затем попал в круг любопытных.

– Я приехал, – донеслось до Куракина, – чтобы познакомиться с его царским величеством.

Бориса представили Екатерине, – он говорил политесы, вскидывая глаза, царица возвышалась над ним мощно, громадой обильных, жарких телес, расправивших платье.

– Она сильнее любого мужика, – рассказал Меншиков. – Только царю уступит. Он ей свой жезл дал, на спор... «Удержишь, Катеринушка, вытянутой рукой?» Все чуть не попадали...

Меншиков тараторил, искал, чем приободрить князя. Иногда скороговорка неслась где-то мимо слуха. Неспроста удостоил вниманием... Причина – изразцы, дорогое голландское изделие. Дались же они... Верно, себе урвать задумал... Лапы у Алексашки, слышать, загребушие. Выпросил именье в Польше, у союзного магната, вызвал царский гнев. Ништо ему, как с гуся вода...

Бойкость светлейшего, беспечный тон, белки глаз в непрерывном движении тяготили Куракина. От музыки, от шарканья ног по паркету разболелась голова. Пляшут, что им тут до Алексея?

А Меншиков не унимался:

– Немочка с коготками... Расцарапает морду Фроське... Куранты там, в заграницах, не гласят про нее? Слава те господи, не разнюхали еще! Кто? Дворовая девка Никифора Вяземского, учителя. Да, грешен твой Алеша-святоша.

И, понизив голос до шепота:

– Дай бог веку Петру Алексеичу. Не повезло ему с сыном, чужой он, чужой.

– Пуще бы не озлобился...

– Ночь покажет... Вот отведут их в спальню... Ночь, она умнее дня бывает...

Обронил смешок, подмигнул.

– Не поможет немка, – вздохнул Борис. – Раньше бы... Раньше бы внушали государю. Алексея попы пестовали, ровно подкидыша. Боялись мы... Боялись в семейные дела мешаться.

Невелик был толк от наставников, – Гюйсена взяли поздно. Еще меньше – от шалой московской кумпании. А в Дрездене кто опекал царевича? Из фамилии Трубецких послали глупейшего.

– Я князь Трубецкой. Ш-ш-ш! Никому, заклинаю вас!..

Одна и та же шутка, на весь вечер, каждому. Уже третий раз потчует ею Бориса.

К Алексею Борис не подошел, – расстояние в десяток шагов стало неодолимо. Преградой возникло чувство вины перед племянником, растравленное гипохондрией и меланхолией. Шарлотта, та кивнула, удостоила беседы. Сказала, что царь с ней и с дедушкой ласков, что этот замок для нее почти родной и что люди кругом оказались вполне приличные.

– Я согласна ездить с мужем, – щебетала она. – Царь не даст нам обрастать жиром. Сам такой непоседа...

Предусмотрительный дедушка заказал ей в Брауншвейге, у первостепенных мастеров-каретников, редкостный экипаж, легко разбирающийся на части. Его можно перестроить к зиме и к лету, укрыть и распахнуть.

– Мы все в дороге, – вырвалось у Куракина. – Вся Россия в дороге, принцесса.

Не пробило двенадцати, а торжество закончилось. Царь первый покинул зал и ушел почивать, благословив молодых. Борису запомнилось, как он перекрестил их – широко, властно, уверенный в своем всемогуществе, в своей самодержавной правоте.

Все же над амором суверены не властны...

Сладостны ли были первые ночи новобрачных, неведомо, – только Алексей через четыре дня отбыл в Торн запасать продовольствие для русских войск, направляемых в Померанию. Отсрочки у отца не испрашивал.

И Борис не засиделся в Торгау.

Испанская война кончалась. Сквозь пороховой дым, окутавший запад Европы, забрезжил мир. «Уже Англия с Францией доброе согласие к миру учинили, – напишет Куракин в заветной тетради, – и место к съезду назначено – Утрехт».

И вскоре, на следующей странице:

«И дана была великого дела инструкция – предложение чинить союзным, чтобы им, союзным, не мешаться в дела войны северной».

Инструкция ему – Борису Куракину, пока лишь полуполковнику от гвардии, но в скором времени и генерал-майору статской службы, послу отныне не простому, а полномочному, с которым даже многоопытному Матвееву надлежит советоваться и ничего без совета не предпринимать.

В течение целого года будет Куракин наезжать в Утрехт на конгресс «без характера» как наблюдатель, особое имея попечение обезвреживать козни Англии, «которая никогда не похочет видеть в разорении и бессилии корону шведскую».

А с «характером посольским» будет в Лондоне сулить торговые выгоды, в Гааге станет пресекать британское влияние на Голландию, в Германии примет меры, чтобы князья ни прямо, ни косвенно не нарушали договоры о дружбе с Россией.

Еще поручается ему нанимать умельцев разных ремесел и художеств, сноситься с тайными агентами, надзор иметь за покупкой кораблей у голландцев для зарождающегося балтийского флота.

Малых дел у дипломата, почитай, нет, – все дела велики. А помощников нехватка. Попросил посол доверить ему Алексея, – зарекся, получил от звездного брата синяк на память. Инструкции о царевиче молчат, дядю от племянника, – с умыслом или без оно, – отдаляют.

Прости, Петр Алексеич, упорствуешь ты в своевольтве! Неужель не понять тебе, превосходному разумом, где опасность самая страшная твоему делу, благу государства? Не в чужих землях ищи ее, – в собственном сыне!

## 13

В Москве, возле куракинских палат, работные люди чистили заброшенный колодец.

Окованная железом бадья вытащила на свет, вместе с землей и мусором, человеческие кости, лоскутья одежды и нательный крест на полусгнившей веревке.

Федора Губастова в ту пору в Москве не было, – объезжал вотчины, гонял мужиков на покос. Да и мог ли он помешать? Раньше надлежало глядеть, Вериги с юрода снял, а крест в темноте не заметил.

Напрасно из года в год хоронил юрода, сыпал в колодец все бросовое. Воскрес юрод, царицын гонец. Воистину воскрес для многих, причастных к тайному делу особ.

Княгиня Марья отблагодарила работных людей штофом вина, а потом показала находку Аврааму Лопухину, который надзор за именем не прекратил и захаживал нередко. Про гонца, забитого насмерть караульщиками, княгиня слыхом не слыхала. Зато боярин о пропавшей цифирной грамоте знал. И с кем она отослана – тоже осведомлен. А крест непростой, чеканный,



должно – выделки монастырской. Лопухину пало на ум проверить. И точно – изготовлен во Владимире, при Рождественском монастыре.

Теперь обрели имя сокрытые в колодце останки. Не иначе – Феокист, беглый лампажник.

– Ты помалкивай пока! – сказал княгине Лопухин. – Сгоряча не пори!

Сидели в саду, угощались холодной бужениной с хреном, ягодным квасом, холодным же. Звенели, кружили слепни.

Вот нечаянная радость, вот управа на Куракина! На нечестивца, изменившего боярству...

– Наболтаешь лишнего – язык отрежут. Шуточки, что ли? Слово и дело государя... Вопрос только – какого государя? А?

Уже не раз облетало Белокаменную известие – век Петра на исходе, царь занедужил крепко, не выживет. Радостное ожидание загоралось в родовых хоробах. Не сегодня-завтра встречать на царство Алексея Петровича. Отпраздновать восшествие его на трон в кремлевском дворце, понеже Москва снова станет градом стольным, столичным. Питербурху – обещает царевич – быть пусту.

Замешкается Петр на этом свете – спровадят. Есть умысел, есть надежные офицеры в войске...

Княгине открывать следует не все. Ей Лопухин отмеривает слова скупю.

– Я Борису зла не хочу. Я не укажу на него... А за других не поручусь.

– Как же быть-то?

– Раскинь карты! Спроси у них!

Вогнал в смущенье, до озноба довел в жаркий день, и потешается. А сейчас наклонился над осой, вцепившейся в кусок мяса.

– Ишь свирепая животино! Ведь тащит, тащит... Уродилась бы с корову – вот бы страху!

Княгиня взмолилась:

– Что же будет-то, милостивец? Разоренье нам... Не этот царь, так Алексей – кругом мы виноваты. Верно ведь? Посоветуй, батюшка!

– Кругом, кругом, – согласился Лопухин добродушно, наблюдая за осой.

Стало быть, поняла верно, Лопухин говорит, – царица наряжала юрода к нему либо, на крайний случай, к Куракину. Колодец – вот он, рядом... Юрод не сам туда прыгнул. Лопухин божится, до него письмо не дошло. Не врет, поди... Говорит, – в Преображенском приказе подозрение пало на Куракина.

– Ты вспомни, княгиня! Бориска при тебе не обмолвился? Намека не бросил?

– Нет же, ей-богу!

– И от меня сховал. И от царевича... Тебя не было дома, ты с попом своим нежилась. Так, кажись?

– Ой, грешно тебе! Тьфу!

– Ладно, я мужа с женой не поссорю. Нет у меня злобы.

А княгиня закрыла лицо ладонями – будто горит оно. Отняла, обнажила спокойную белизну. Ничуть не застыдилась. Лопухин сам бы позарился, да уж больно костлява, локоть что шило...

– А муженек твой уж точно дома сидел. С Федькой, с фаворитом своим...

Оса между тем оторвала волокно от ломтя буженины и, гудя с натугой, надсадно, улетела. Боярин проследовал за ней восхищенным взглядом.

– Авраам Федорыч, я что надумала... Деревни из моего приданого запишу на дочь. Катерине в приданое, значит... Отца разорят, так ее-то авось не тронут. Не тронут же, батюшка?

– Она! – удивился Лопухин и выдавил смешок. – Деревни бережешь. А мужа не жаль?

– Му-уж... Ему девки голые прислуживают, немки. Без меня сладко.

– Он из всех послов наибольший, твой муж, – произнес Лопухин наставительно. – Скоро андреевскую ленту выслужит, если бог позволит. Да, матушка... Позволит ли?

– Так писать деревни?

– Твое хозяйство. Спора нет, если они здесь порешили юрода... И письмо взяли... И «слово и дело» не сказали...

Лопухин бубнил нехотя, прикрыв глаза, словно разомлел от кушанья.

– Петр Алексеич поблажки не даст. Генерал ты, амбашадур или кто – не помилует. Деревни... Впрочем, не к спеху... Сколько Катерине? Мала еще, не доросла до свадьбы.

– А коли Алексей, – спохватилась Марья, недослушав – Тоже не похвалит. Слугу царицы порешили. Ой, господи!

– Тихо ты! – и Авраам притопнул. – Не суйся прежде времени! Кто порешил, тот скажет. Не нам с тобой... На дыбе заговорит, как начнут ломать. Молчи пока! Слышишь?

– Федьку окаянного на дыбу, – отозвалась княгиня и хрустнула пальцами.

– Экой порох! Плесну вот...

Навалился на стол, приподнял кувшин с квасом – узкогорлый, татарский, – покачал над столом, сердясь притворно.

– Враг в доме, Абрам Федорыч.

Будь он холоп, Губастов, – забила бы его, заперла бы в штрафной избе, заморила. Вольный он, вольный, наглая образина... Не Федька ныне, а Федор Андреевич. Вишь как! Сам дьявол надоумил супруга дать ему свободу да поставить управляющим. Обидеть не смей, прогнать не смей! Шныряет везде глазищами...

– Довольно, Федор Андреич, – бормотала княгиня, сплетая пальцы. – Нагулялся на воле...

– Право, окачу!

Лопухин замахнулся кувшином, и голос его окреп, отяжелел, ибо хруст пальцев был ему несносен.

– А с деревнями-то, батюшка... Враз настроит князю, ирод губастый. Да не по-нашему...

– Черт их унесет, что ли, деревни! – рассердился Лопухин. – Обожди, говорю! Торопыга разбежался, да в яму... Без меня ничего не делай! Себя накажешь, поняла ты?

– Ты-то не выдашь меня?

Боярин встал.

– Уж коли так... Мне не веришь? Тогда я тут не нужен. Вовсе не нужен.

Уйдет, бросит одну... И пускай... Наконец выпала оказия избавиться от губастого, от соглядатая. Отправить его на дыбу, потом кончить с деревнями. У дочери не отнимут, поди...

Но Лопухин высился громадой, и взгляд его давил на плечи, пригибал к земле. А за ним – почудилось, возникло старое боярство, надвинулось молча, осуждающе.

– Прости, милостивец, – выговорила, запинаясь. – Дура я... Прости неразумные мои речи...

## 14

Губастов возвращался в Москву невеселый. Ладья плыла по реке медленно, Белокаменная пропадала в дымке, только маковки виднелись, висели гроздьями, рдели под солнцем. Век бы ехать, все равно куда...

Жара густая, парная – быть грозе. Рубаха взмокла от пота. Федор снял ее, положил под голову. Постелью ему служит сено, копна сена для княжеских коров, коих ныне пасти в городе негде – пустырей вокруг дома не стало, все застроено.

Авось княгиня у Троицы-Сергия, у архиерея своего. Хорошо бы... При ней в Москве не жизнь. Хоть золото набей в сарай – не угодишь ее светлости.

Давеча привязалась – молоко не годится, полынью отдает. Плевалась, чашку шмякнула об стену. Откуда полынь? То трава степная. Коровы едят сено подмосковное, сладкое.

Федор ухватил пучок травинки, приблизил к лицу. Где она – полынь? По листку ползла козявка, выросла, превратилась в чудище. С хоботом. Подобно слону. Глаза слипались.

Ведал бы азовец, какая участь готовится ему в куракинском доме, – не задремал бы. Может, не стал бы ждать конца пути, толчка о пристань. Приказал бы остановить, сошел бы на берег, скрылся бы в лесу, под ласковым, зеленым кровом.

Река извилиста, то притянет к Москве, то отступит. А в город войдя, задержались – вереница судов впереди, с сеном, с ягодами, с тесом и с живым грузом, мычащим, блеющим. С одного струга собачий лай – свора целая томится в тесной загородке, жалуется.

Вдруг нечаянность – дома князь-боярин... Идучи к воротам, Федор всматривался, нет ли в чем перемены. Какого искал признака – сам не знал. Да нет, пустое – хозяин в Голландии, скоро

прибыть не обещает.

А княгиня у себя. Без слов ясно – по виду дворового, открывшего ворота.

При ней все ходят виноватые. Во всем виноватые, без вины. И Федора тотчас охватила всеобщая сия виновность. Однако он был, против обычного, принят благосклонно. Княгиня кивала, слушая отчет, и ни разу не прервала.

Положим, косовица удачная, дожди поутихли, трава высокая. Все же дивно... Оторвавшись от записей, Федор увидел руки княгини, лежавшие на наборной поверхности стола.

Набор искусный, сделан в Немецкой слободе. Из всего нового, внесенного в палаты князем-боярином, княгиня одобрила лишь эту мебель и поставила в угловой светлице, назвав ее своим кабинетом. На столе кудрявились деревья, и распускались на них разные цветы – красные, зеленые, синие, и по мураве бродили олени.

Руки княгини – белые, длинные, тощие – двигались по благолепному художеству беспокойно, ногти царапали, словно силились нащупать щель, вырвать лепесток или белое копытце оленя.

Злые были руки и запомнились Федору, хотя отпустила его княгиня без попрека.

– Ступай! – сказала. – Жена скучает, поди.

Управляющий с супругою бездетны. Она его винит – наше, мол, поповское семя плодovitое. Ты порочный, тебя галанцы обкурили, опоили. Оттого с женой несогласие. Попрекает она и тем, что не радуется о прибытке, как другие управители в именьях, – те вон кубышки набивают ефимками, торговлю в Москве заводят, через доверенных людей. Попова дочь завидушая.

– Не за вора ты вышла, – отбивается Федор. – За честного воина.

– Навоевал много. Целковый на цепке – вся цена тебе, стратигу.

– Этого ты не касайся, – взрывается Федор. – Не трожь поганым своим языком.

Из всех передряг вынес он заветный целковый, царскую награду за азовское сидение.

Пусты, тоскливы для азовца куракинские палаты. Единственно Харитина – кормилица князя-боярина – порадует душевным словом.

Она и объявила страшную новость.

– Попритчилось княгине. Опять бес вселился, что ли? Говорит, ты убивец, прикончил кого-то. Слугу царицы, коли я не ослышалась.

Дрожью пронзило от шепота старухи. Ожгло, кнутом хлестнуло.

– С чего она взяла?

Едва повиновались онемевшие губы. И ласка в серых глазах старухи погасла.

– Неужто правда, Федя?

Спросила властно, приподнявшись на постели. А кругом, на стенах каморки, лампы будто вспыхнули и лики озарились и повторили настойчиво:

– Неужто правда?

А старуха заплакала – подумала, должно быть, что неспроста он замолчал испуганно, вина за ним есть. И Федор клялся, успокаивал, все еще томясь неведением. Откуда беда, как прознали про гулящего? Могло ли статься, что колодец выдал тайну? Азовец видел, – дворовые таскают из него воду для скотины. Все колодцы московские велено управлять – для пожарной надобности. Дошла очередь и до этого. Что ж, кости гулящего копальщики бесспорно нашли. Федор не тревожился. Мало ли костей исторгнут лопаты в колодцах, в ямах помойных, – имен не отроют.

Нет, оказывается, не только кости отыскивались. Крест того человека, редкой чеканки...

Тут вытребовала Харитина все насчет давнего происшествия и сама передала все, что подслушала, болеючи за судьбу Феденьки, своего любимца. Крест попал к княгине, а теперь, надо полагать, у Лопухина.

– Погубят они тебя, родной. И князинеке худо. Тебе первому отвечать. Ушел бы ты, а?

Лампы пылали, всю каморку обегал огонь, будто шнур горел, протянутый к бочке с порохом.

– Уходи, уходи! – твердили лики.

И верно. Чего ждать?

Решился легко и сразу, словно давно вознамерился бежать и откладывал до случая. Ничто не держит его в усадьбе, в вотчинах, в Москве.

Вышел за ворота в чем был, прихватив деньжонок да краюху хлеба с солониной. Знакомый кормщик впустил к себе на ладью, высадил в семи верстах от Белокаменной, на тропу, едва приметную в зарослях.

Топтали стежку люди верные, числом небольшим. Вела она к шалашу, охваченному густым ельником.

Старца Амвросия не застал. На топчане, укрытом лапником, в изголовье лежал березовый веник. Следственно, старец в лесном уголке Рожновых, в березняке. Шалашей у него с полдюжины, подолгу нигде не обитает.

Не раз погрузался Федор в глухомань – поговорить со старцем. Другой нет пищи для страждущего ума.

– Отрада в боге, – учит Амвросий. – А бог в природе, в цветах и плодах, в реке и в воздухе, в теле человеческом и в теле животном. Даже в мошке ничтожной. Попы, церкви, фимиамы – суета, обман. Христос был такой же человек, как ты и я, рожденный натурально. И учил разумно. Живите, как птицы небесные!

Федор сомневался. Хорошо старцу, – ему почитатели несут харч. А всем прочим как быть?

– Корм добывай, как можешь. Будь людям полезен – вот главное. А наибольшая польза в чем? В доброте. Делай людям добро – вот и весь символ веры. Не ложной веры, а праведной.

– Значит, ударили тебя по щеке, подставь другую? – вопрошал азовец. – Читал я. Толку-то! Опять влепят.

– А ты не связывайся, отойди. Отойди от зла и сотворишь благо.

– Да где от него укроешься? Коли беден, голова твоя на волоске.

– Убежища есть, – уверяет старец. – Живут там на приволье, питаются своим трудом, нет над ними ни боярина, ни приказного, ни генерала.

Где же? В Сечи Запорожской или на Дону? Казаки против царя бунтуют, азовцу с ними не по пути.

Старец согласен – бунтовать бессмысленно. Царь Петр добра хочет для России, боярам спеси убавил, пирожника простого возвел в высший чин. И с монастырской братии бездельной, пустозвонной жир сгоняет – тоже добро. Желать короны для царевича Алексея незачем – он заодно с попами, с боярами. Черни при нем еще хуже будет, а просвещение захиреет.

Амвросий учился в Греко-латинской академии, да не поладил с попами, избрал житье в пустыне. Годами-то он не стар, седина в бороде чуть брезжит. Пользует людей не только словом – в шалаше всегда припас целебных трав, пахнет мятой, зверобоем, ромашкой. Федору вспоминается шатер Гордона под Азовом... Эх, забыть все, была царская служба и кончилась! Не нужен он более ни царю, ни князю.

Теперь пускай поможет Амвросий определиться, найти пристанище.

Рожновский лес велик, дремуч, – тропы тонули в болотинах, вязли в малиннике, вились по темным ложбинам, ныряли под стволы, сваленные недавней бурей.

Что заставило Амвросия откочевать в этакую даль? Думать надо, спугнули. Воинские команды под Москвой усердствуют, ловят бродящих, шатающихся.

Уже сумерки пали, – тропа из-под ног ускользала, а ельник стал враждебен, колот и царапал неистово. Лес смыкался, совал к ногам кочки, валежник. Запнувшись, упал на муравьиную кучу, зачерпнул голенищем жгучих насекомых. Заблудился бы, заночевал в чаще, под песню ветра, под стоны совы, да выручило сияние, сквозившее в ложбине, заросшей кустарником.

Нет, не светлячок буравил мрак. Свет неподвижен, свет жилья. Лучина теплилась в шалаше. Федор увидел согнутую спину Амвросия, голый локоть, торчавший из прорехи в полушубке. Старец вздрогнул и обернулся.

На коленях – охапка трав, собранных за день. Отшельник перебирает их, вяжет в пучки. Гостю обрадовался – вовремя пожаловал, разделить ужин.

– Вишь, и у меня сенокос. Насушить в дорогу...

Целебные растения дышат одуряюще. Свесились с игольчатых сводов, перебивают

хвойный дух. Амвросий обвел рукой свое достояние.

– Омниа меа мекум порто, – произнес он по-латыни и перевел.

– Я и так понял, – похвастался Федор. – Все мое ношу с собой.

Ели сдобные лепешки, смазанные яичным желтком, запивали ключевой водой.

Амвросий хватал лепешку толстыми, мягкими губами, жевал смачно, двигая всеми мышцами широкого, словно бескостного лица. Передние зубы выбиты, – учинил, будучи в академии, спор, перешедший в драку.

Действительно, ловцы рекрутов, шныряющие по селеньям, выживают его – Амвросия – из Подмосковья. Жидковаты здешние леса, Брянские погуще. Солдатчины он бережется, потому отнимает она волю у человека. Достанется владыка несправедливый – все равно служи. Стреляй, режь...

– А у тебя что за крайность?

Федор ничего не скрыл.

Лучина догорала, огарок скукожился, упал.

– Мудрые не впервой в бегах, Федя. Как раскольники рекут? Не имамамы zde града пребывающа, грядущего взыскуем. Тоже диогены... Нет, с ними ты не пойдешь.

– Не пойду, – кивнул азовец.

– Они душу спасают, двумя перстами спасают. Рай думают открыть, двумя перстами. Нет, Федя, нам с тобой на земле спастись, более негде. Ладно, не сейчас идти, я тебя не гоню. Подсоби-ка мне!

Спать некогда. Надлежит распознать травы, покуда свежи, отделить одну от другой.

– Гляди! Не красавица разве? Глаз тешит и тело очищает сверху донизу!

Плотным, островерхим столбиком вздымается соцветие. Федор погладил его, понюхал. Амвросий приговаривал:

– С чем сравнишь, ну-ка! Девичий румянец, верно? Наперстянка... Не слыхал? Поддай мне мать-мачеху! Эх, протак! Желтая, да не та. Ну, нам цветок не нужен, сила в листочках. К язвам прикладывают. Слыхал?

– А трава одолень есть? – спросил Федор.

Рассказал со слов Харитины, княжеской кормилицы, – растет трава при реках, ростом в локоть, цвет рудо-желт, листочки белые. Трава приворотная, привлечь способна женский пол. И мало того, охраняет от недругов, если зашить в ладанку и надеть на себя.

– Хорошо бы, – ухмыляется Амвросий. – Бабки нагородят чудес, подставляй уши!

– Еще будто адамова голова есть, корень такой... Кто носит, дьявола может узреть.

Смеются оба.

Пребывал Федор в шалаше, в Рожновском лесу четыре дня и расстаться с Амвросием не захотел. Попросился в товарищи – странствовать, врачевать народ травами, одолевать хвори людские.

Амвросий того и желал.

С тех пор Федор Губастов затерялся в необъятности российской надолго.

## ВИКТОРИЯ ПАРИЖСКАЯ

### 1

В 1716 году Европа как бы затаила дыхание, всматриваясь в будущее.

Война за испанское наследство кончилась, но мир, подписанный в Утрехте, хрупок.

Жезл повелителя Европы не достался никому. Выигрыш преважный – у Габсбургов, отхвативших всю Бельгию, земли на Рейне, Милан, Неаполь, остров Сардинию. Союзница императора Англия отняла у испанцев Гибралтар – ворота в Средиземное море – и остров Минорку в оном, у французов – владения в Америке, по берегу Гудзонова залива. Кроме того, Франция обязалась разрушить до основания и Дюнкерк – морскую свою крепость.

Честолюбивый замысел Бурбонов рухнул. По условиям мира Испанию не может

возглавлять король Франции.

Людовик Четырнадцатый недавно умер, но план его – «стереть Пиренеи» – не забыт. Филипп, утвержденный на испанском троне, мечтает подчинить французов, строит козни против герцога Орлеанского – регента Франции при малолетнем Людовике Пятнадцатом. Два Филиппа, два племянника «короля солнца», – яростные враги. Пушки по обеим сторонам Пиренеев заряжены.

Астрологи не предрекают Европе успокоения. И куранты пишут с иронией, что новые границы государств рисованы на песке. Потерпевший алчет реванша, а победитель – дальнейших приобретений, ибо выигрыш кажется ему недостаточным.

Так было всегда и, верно, пребудет?

Побежденные являют непокорность, и праздник победителей оттого испорчен.

Между тем Марсова гроза, возникшая на севере, ширится. «Северный медведь», как прозвали русского царя в Париже, шагнул в Европу далеко от своих пределов. Русские полки квартируют в Або, в Вазе, держат берег Ботнического залива, так что Швеция над южной Финляндией уже не властна. Еще более продвинулась русская сила на Западе. Шведы из германских княжеств изгнаны. Мекленбург, Дания с царем в союзе, кордоны свои для русских отомкнули.

Русский флот, едва сошедший со стапелей, доселе неизвестный, разгромил шведскую эскадру у полуострова Гангут, занял Аландские острова. Морские флаги царя – голубые кресты на белых полотнищах, будто отмытые от крови сабли, – плещутся у Борнгольма, у Копенгагена.

Венский двор раздражен, видя пришельцев с востока на землях империи. А в Лондоне злятся, грозят. Листок, распространяемый в народе, гласит:

«Морские силы царя скоро превзойдут числом армады Швеции и Дании, вместе взятые. Так подумаем о себе! Царь безусловно опаснейший наш соперник».

Английский посол в Санктпетербурхе доносит королю Георгу в смятении:

«Не успеет царь опустить один корабль на воду, как закладывают новый».

Построены суда – добавляет посол – не хуже, чем где бы то ни было в Европе. Вооружены хорошо – на линейных ставят орудий по девяносто.

Чего добивается царь? Где остановится? Что будет с Европой? Король Георг брюзжит:

– Неужели царю мало одного Санктпетербурга!

А швед упорствует. Он вернулся из Турции полный боевого пыла, советуется с генералами и чародеями.

– Русские претензии на балтийское побережье бесстыдны, – раздается из Стокгольма. – Я не уступлю варварам. Они еще пожалеют, что связались с нами.

Ответ Петра – в его письме к Василию Долгорукову, послу в Дании. Война не окончится изгнанием остатков шведских войск из Германии, – «потребно есть, чтобы в самую Швецию вступить и тамо силою оружия неприятеля к миру принудить».

«Газетт де Франс» сообщила:

«Из Копенгагена пишут, что царь прибыл сюда 17 июля с сорока двумя галерами, под грохот салютов всей артиллерии города и кораблей. Продолжаются приготовления к десанту в область Сконе, в котором будут участвовать 18000 датчан и 10000 московитов. Уверяют, что операция назначена на второе число будущего месяца».

Швеция близко – из датской столицы ясно виден в подзорную трубу собор Мальме, главного города провинции Сконе. Царю надо подойти ближе, разведать, какова защита. Две дерзкие парусные лодки мчатся под самые жерла пушек, вызывают огонь на себя. «Принцесса», пробитая ядром, зачерпывает воду, едва не уносит Петра в пучину.

Датчан поражает вылазка царя. Смеясь, он объясняет оторопевшим союзникам, что мешкать нельзя. Берег укрепляется основательно.

Все как будто припасено для нападения. Оружия у противника много, а «в фураже, тако и в провианте всеконечный недостаток», – пишет царю со слов лазутчика генерал Вейде. «В протчем сказывают, что народ ныне зело обеднял и короля не любит. А особливо, что поступает во всем дико, во всех делах совету нет и советников он не любит, но исполняет все по своему собственному мнению».

Пора, пора добить Карла...

Но в Копенгагене время тратится в нудных, бесплодных совещаниях. Союзники нерадивы, датские транспортные суда, посланные за русской пехотой в Росток, медлят. Царь просит три-четыре линейных судна в добавку к шести своим, а датский алеат отнекивается. Карл, слышно, стягивает в Сконе войска из Норвегии. Меншиков упреждает, что швед «весьма в распаленной дисперации гостей встречать намерен».

13 августа Петр делится досадой с Екатериной:

«О здешнем объявляем, что болтаемся втуне, ибо что молодые лошади в карете, так наши соединенные, а наипаче коренные, – сволочь хотят, да коренные не думают».

Точнее не сказать. У каждого свой интерес. Датчанину Фридриху важно лишь вернуть себе Норвегию, – туда и мыслит ударить, благо освобождается доступ. Битый пребольно, он боится Карла. Герцог Мекленбургский, зажатый между Данией и Ганновером, маломощен, Бернсторф, ганноверский министр, имеющий громадные поместья в Мекленбурге, настраивает дворянство против герцога и против царя.

Георг – союзник холодный, по выражению Петра. Английские корабли стоят в Копенгагене бок о бок с русскими, но пути у флотов разные. «Содействовать десанту в Сконе милорды не склонны», – докладывает Долгоруков. Полной победы не желают ни царскому величеству, ни Карлу, – выгоднее Англии обоим видеть «в бальянсе» и ослабленными, для «владычицы морей» не опасными.

В сентябре всезнающая «Газетт де Франс», получающая новости из всех столиц, известила:

«Идет слух, что десант будет отложен до будущей весны».

Несколько слов, впечатанных резко в серую, толстую бумагу, – какую тревогу они поднимают! Десант отложен – значит, русские остаются в Дании, в Мекленбурге.

Время упущено. Несогласие союзников погубило план Петра. Возможно, оно отсрочило на пять лет окончание войны – до Ништадского мирного трактата.

Но в Лондоне автор книжки «Северный кризис» перелагает всю вину на царя. Зачем ему Сконе? У него под пятой куда более ценная добыча. Разговоры о десанте – для отвода глаз. Петр задумал «измотать своих союзников, дабы потом легче было их подчинить».

Поверить навету легко. Много ли в истории примеров бескорыстия королей?

Русские не уйдут... Фридрих в панике. Дворец Амалиенбург у самой воды, тень парусов царского фрегата ложится на крышу. Страх перед «северным медведем», застарелое недоверие к более сильному подогреты злоязычием. На городские валы уже выведена пехота – оборонять Копенгаген против московитов.

Между тем эвакуация войск Петром предрешена, «понеже господа датчане так опоздали в своих операциях». Батальоны вторжения плывут обратно в Росток, на зимние квартиры. Но поток клеветы не остановить. Георг сгоряча велит адмиралу Норрису напасть на русские корабли, а царя захватить в плен. Рассудительный моряк не выполнил приказ, исходивший из ганноверской канцелярии короля, – Норрис англичанин и подчиняется Лондону.

Пройдут десятилетия, века, – на Западе, в трудах историков не утихнет отзвук напрасного переполоха в Копенгагене – Петр-де лелеял мечту простереть свою власть до Зунда и отказался лишь поневоле.

Год 1716-й не принес крупных баталий воинских, но сражения без выстрелов, дипломатические, разгорелись с ожесточением небывалым. Для ответа противникам берется за перо Шафиров, его сочинение, просмотренное и дополненное Петром, переводится на немецкий язык. Правда о намерениях России изложена горячо, убежденно, умно, заглавие с разгона сливается с текстом: «Рассуждение, какие законные причины его величество Петр Великий, самодержец Всероссийский и протчая и протчая и протчая, к начатию войны против короля Карла 12 имел и кто из сих обоих потентатов, во время сей пребывающей войны, более умеренности и склонности к примирению показывал...»

Мирные демарши царя поименованы. На них шведы «великой гордостью и ругательствами ответствовали». Обуян тщеславием, «краздавал его королевское величество уже многим государства Российского чины, за заслуги своим генералам»: генерал Шпарр, например, получил патент на губернаторство московское.

В адрес короля – ни малейшей запальчивости. Те, кого он обзывает варварами, именуют

его безукоризненно вежливо, с титулом. Силой и уверенностью в правоте дышит каждая строка «Рассуждения».

«Но понеже всякая война в настоящее время не может сладости приносить, но тягость, того ради многие сей тягости негодуют, одне для незнания, другие же по прелестным словам ненавистников, зря отечество наше возвышено богом».

Стало быть, верь, Европа, – царя не тешит кровопролитие! Народы терпят годину бедствий не по его вине. «Продолжение сея войны не от нас, но от неприятеля» – таков итог рассуждений, такова истина, которая должна стать ясной немцам, полякам, датчанам, всем людям, всем дворам иноземным. Россия впервые обратилась к Западу со столь широкой декларацией – и, как видно, сделала это умно, уважительно, с честной прямоотой и с большим тактом.

Без крови, без штурма мир у Карла не вырвать. Датский плацдарм, самый выгодный, потерян – атаковать придется с Аландских островов, из Пруссии. Новый прусский король Фридрих-Вильгельм еще жарче, чем предшественник, поклоняется Марсу, обожает гвардию, воинские артикулы. Это на пользу – ведь союзу с Россией он верен. А кроме него надежных союзников не остается. Плохо, что беден Фридрих-Вильгельм кораблями. Морских сил в будущей кампании потребуется больше, роль флота – ввиду дальности переходов – возрастает.

Россия против Швеции на море, почитай, одинока, но в успехе Петр уверен, лишь бы не мешали англичане. Отсюда задача первейшая – Англию, потенцию на море главную, обезвредить.

Трудиться для сего надлежит всем послам, – в Копенгагене Долгорукову, в Берлине Головкину, в Гааге Куракину.

## 2

Борис в Голландии давно – с тех пор, как завершились конференции в Утрехте. На родине не бывал, служба не дала вырваться. Гаага – знатнейшее в Европе средоточие машинаций политических, котел интриг, ристалище лживых политесов и тайных козней. Где же и быть набольшему дипломату российскому, как не здесь!

Сидеть, безвыездно сидеть в Гааге, на плоском приморье, где погода всяк день переменяется и холодом обдаёт неожиданным, хотя бы и среди лета!

Дом у посла пригожий, красного кирпича, с белыми обводьями вокруг окон, как в обычае у голландцев. Поутру к окнам подбегают рыбацкие женки. В корзинах лежат, испускают запах моря селедки, лососи, угри. А хочешь – покупай с тележки двухпудового палтуса, толстого, бархатистого, жирного, что боярин.

Женки крепки, румяны, грудь взбита корсажем, волосы, зачесанные кверху, стянуты золоченой круглой застежкой. Зубы в улыбке блещут еще ярче. Молодой Куракин от сих прелестей в немалом смущении.

Александрю двадцатый год, ростом перегнал отца, масти смуглой, материнской, однако черты лица против лопухинских тоньше, взгляд веселый. Науки в Лейдене постигал ревностно, говорит по-голландски, по-немецки, по-французски. К языкам охота большая. Состоит при отце в посольстве, в должности канцеляриста.

Морскую живность для посольского стола выбирает камердинер Огарков. Ливрея трещит по швам на богатырских его плечах. Женки смотрят восхищенно, как он взвешивает на ладонях, подбрасывает тушу палтуса.

– Шведы, слышать, жалуются, – говорит Борис. – Им, вишь, мелочь достается, головастики.

У женок свой табель – начинают обход с русского посла, затем идут к английскому, а шведа навещают в последнюю очередь.

Пуускай жрут головастиков. Так и надо. Сыну посол объясняет – простой народ в высокой политике несведущ, а русского Питера запомнил. Питера, трудившегося на верфи, необыкновенного монарха в холщовых рабочих штанах.

Карл тянул республику себе вослед, грозил, улещал. В Санктпитербурхе опасались – вдруг она окажется во враждебном лагере. Петр однажды, в трудную минуту, запросил



Куракина, не захотят ли Генеральные Штаты «вступить в концерт», двинуть военные корабли против Швеции.

Посол не спрятал свое мнение, возразил царю, доказывая, что Голландия невоюющая нужнее. Нейтралитет ее надежен, так как она «через многие пробы видела, что от замешания в войнах она, здешняя республика, наконец при мирных трактатах больше себе ничего не получала, как ненависть и злобу, а прибыль остается в руках Англии».

В отношениях держав, – считает посол, – все зависит в конечном итоге от прибытка или убытка. Иной своенравный монарх пренебрегает государственной пользой, но рано или поздно заплатится за это.

И сына поучает посол:

– Нейтральством купечество живится. Спытай-ка Брандта, Гутмана?

– Из-за чего же воюют, тять?

– Мало ли... Один от жадности, другой по нужде.

– А римские императоры...

Сын мотает головой, будто стряхивает нечто прилипшее к волосам. Это признак умственного напряжения. Не скучно ли считать барыш? Александра прельщает величие, могущество. В старых пророчествах сказано: третьей Римской империей станет Россия, а четвертой не бывать.

– Ишь ты... Карлу тоже пророчили... Почитай-ка вот про лягушку, книга презанятная – басни Лафонтена. Гордецам скудоумным не в бровь, а в глаз. Лягушка пыжилась, надувалась – и лопнула от непомерного тщеславия. Жестокость римских императоров люди проклинаят, а ты... Художества древних, они и поныне почитаемы.

Спорят, разбирая почту. Александр нетерпеливо рвет тугие конверты, рушит печати.

– Тебе в хлеву обитать, – сетует посол беззлобно.

Державные орлы, львы, единороги, небрежно раскрошенные, хрустят под войлочными туфлями Бориса. Если письмо не цифирное, сын читает вслух.

Из дома пишут – хлеба сколь возможно продано, деньги же из оброка – тысяча двести рублей – князю отчислены. Составлено рукой писца в княгининой конторе, подписано Губастовым. Позднее Борис узнает – сбежал Федор. Лопухин решил о сем событии не извещать, почерк подделал. Свалить набольшего посла, царского любимца, Мышелова, не просто – ударить надо внезапно, без упрежденья.

Пакет чище прочих, с вензелями, обнимающими слово «Цензор», совершил путь кратчайший, – то газета, публикуемая в Гааге. Посол развернет ее за обедом или у камина.

Галантная французская речь «Цензора», болтающего на разные темы, забавна. Сегодня он посвящает свои страницы гаагским ассамблеям. Они суть трех родов – для коммерсантов, для духовных лиц и для важных особ, понимай, вельмож, министров, дипломатов.

«Когда все соберутся, разносят кофе, потом кушанья, после чего все разбиваются на группы. Кто располагается с трубкой, спиной к огню, кто в укромной тени, в широком кресле, а в углу, смотришь, два собеседника обсуждают, как лучше совершить нападение, взять офицера или ладью, похитить королеву, запереть короля. Иногда разгорается несогласие, от которого страдает иной бокал или иная трубка».

Кого курантщик имеет в виду? Отгадывать бывает нелишне. Похоже, некоему живому королю объявлен шах.

Позавчера француз шептался со шведом. Украдкой, из угла, кинул взгляд на царского посла. К добру ли? Франция связана с Карловой державой давним приятством. Не зевай, посол, примечай, кто с кем играет!

Вечер в такой ассамблее весьма приходится кстати перед встречей официальной. Не менее, чем коришпонденция, доставленная накануне.

– Тять... Приблудный твой...

Сын топырит губы брезгливо, подавая цидулу. Посол разгладил ее, потом вывернул засаленный конверт, – нет ли внутри каких знаков. Несла письмо не почта, французских королевских лилий на печати нет. Следовало оно из Парижа в ящике с парфюмерией, в багаже торгового агента. Нежный женский аромат издает донесение Сен-Поля.

Посол разбирает бисерную цифирь втихомолку, приложив к глазу стеклянную чечевицу.

Любопытство сына не утолит.

– Приблудный? Чем не угодил тебе?

– Шатун какой-то, – рассуждает Александр. – Курляндии он не слуга. Так кому же? Болтается в Париже... Продаст он нас, тять.

– Нечего ему продавать. У него свои карты, у нас свои. наших козырей не видит же оттуда.

В Париже кроме маркиза два резидента – Конон Зотов, сын того Зотова, что обучал юного царя грамоте, да младший Лефорт, сын дружка царского. Оба представляют Российское государство с лицом открытым, оба усердны, да неуклюжи, – Конону поручена коммерция, и Лефорт лезет туда же, запутывает всех сумасбродными прожектами. Истинно сын дебошана... Сен-Поль же «без характеру», коришпонтент тайный. Знакомства имеет в столице обширные, вхож к некоторым весьма важным сановникам и услуги его неоценимы.

Александр маркиз досаждаёт главным образом тем, что каждый раз причиняет мелкие и непонятные хлопоты.

Вот и сейчас...

– Ступай к Шатонефу! Зови отобедать с нами! Запросто, без церемоний...

Экая важность, мог бы послать Огаркова! За что такой почет французскому послу, вздорному старикашке, говорливому как сорока. Твердит свою родословную, парижские сплетни, а то, масляно подмигнув, вспоминает Константинополь, где несколько лет состоял послом. Хихикая, разъясняет нудно, нескончаемо обычаи султанского двора, а особливо гарема.

– Нечего волынить, иди! – понукает отец. – Надулся, лягушка Езопова.

### 3

Поддев вилкой рыжик, Шатонеф заколебался, но, отведав, придвинул горшочек к себе. Одобрил вкус и меру посола. Семгу смаковал, отрезая крошечные кусочки, запивал водкой, отхлебывая помалу. Еще не пробилась через авангард закусок к жаркому, построенному затейником-поваром в виде фортеции, а щеки амбашадура обрели жирную семужную розовость.

Младший Куракин ел рассеянно. Беседа двух послов удручала его. Справляются о здоровье, о лекарствах – какую хворь чем пользоваться.

– Доктор Генсиус полагает – чирьи от сырости, – сказал Куракин. – Пускал мне кровь.

– Он и вас лечит? Мне отлично помог.

«Ухо остро держать с этим лекарем, – подумал Куракин. – Зачастил к дипломатам...»

– Пилюли Генсиуса для пищеварения бесподобны, мой принц. Не пробовали?

Затем спросил, где находится царское величество. Куранты пишут – в Мекленбурге, у зятя?

– Будем ли иметь удовольствие видеть его царское величество здесь?

– Сие не исключено.

Начали штурм мясных редутов, с пушками из моркови, сельдерея, с ядрами – луковицами. Шатонеф удивился, узнав, что повар у москвиты не француз, а немец.

– Немцы, как англичане, ничего не понимают в еде. О, бургундское! – и маркиз ласково поглаживает бутылку родного напитка. – Теперь я убедился, мой принц, Московия просвещается.

После десерта, состоявшего из орехов в меду, пастилы, фиников, Александру велено было удалиться. На столе кофе в делфтских чашечках, расписанных синью, лианами тропиков, и пузатые фляжки с ликерами.

– Его царское величество, – сказал Куракин, – несомненно пожелает встретиться с вами.

– Я чрезвычайно польщен...

Грузное тело француза расплылось в кресле, он предался пищеварению. Ну, нет, не удастся отделаться политесами! Не для того зван.

– Между нами, господин граф... Мой суверен думает, что Франция может дать нам нечто более существенное, чем рецепт гастронома. До сих пор мы, согласитесь, далеки друг от друга.

– Боже мой! – промямлил Шатонеф. – Вы правы. Ваше гостеприимство показывает...

– Не стоит благодарности. Чем богаты... Я должен добавить, такое же мнение выражено в Берлине. Книпхаузен подтвердит вам...

– Увольте! Я отказываюсь пить с немцами.

– Не настаиваю, – смеется московит.

– Откровенно признаться, в Турции мой желудок отдыхал. Мусульмане не пьяницы, надо отдать им справедливость.

Садится на своего конька. От серьезного разговора отвиливает. Куракин отступился, даровал передышку. Пожаловался на простуду, от коей заводятся чирьи. Да, сырость виновата. Ветер западный, ненастье хлынуло от берегов Англии.

– Дай бог, чтобы англичане не помешали вам в Мардике, господин граф.

Произнес будто вскользь, разглядывая этикетку на фляге – гнома, согбенного под виноградной лозой.

Француз заморгал, заколыхался, открыл было рот, но вымолвить не успел ни слова.

– Насколько я могу судить, расширить канал несложно, – продолжал московит, повергая собеседника в смятение.

У городка Мардик, отстоящего на десять лье от Дюнкерка, – сообщалось в письме Сен-Поля, – ведутся секретные работы. По окончании канал станет доступен для кораблей с осадкой более десяти футов. Сооружается гавань для военных судов. Мирный договор, подписанный в Утрехте, нарушается.

– Мы не скрываем, – бормочет Шатонеф. – Область низменная, заливаается водой...

– Это для курантов, дорогой граф. Для них – дамба от наводнений. Второй Дюнкерк, вот ради чего согнали землекопов. Будьте спокойны, я не болтлив.

Обладание секретом – то же, что козырь в игре. Шатонеф очнулся, скинул блаженное, сытое оцепенение. Теперь слушает, со вниманием слушает царского посла.

– Между нами, передаю вам то, что слышал от его величества. Мы заменим французам Швецию.

Русский лен, русская пенька, русские кожи, древесина, ворвань разве не потребны Франции? Потребны. Нужны, стало быть, и морские коммуникации, кои от англичан в опасности. Англия заставила разрушить Дюнкерк, первоклассную гавань, лучшую на западном берегу. Грудь Франции беззащитна. Карл не заступится, избит на суше и на море.

– Нам странно, что его королевское высочество...

Титул Филиппа Орлеанского вязнет в зубах. Надоедает долбить в одну точку. Нелепо чаять выгод от Карла. Сей Голиаф обращен ныне в карлика. Всей Европе ясно, сколь низко упало могущество Швеции. Великой державы, владычицы Севера, не существует, она пребудет лишь в анналах истории.

– Я благодарен вам, мой принц, за любезную новость. Я передам его королевскому высочеству соображения царского величества...

Многословие Шатонефа несносно. Ох, трудно с ним! Вельможа среднего ума, избалованный, всю жизнь гревшийся в лучах «короля-солнца». Доводы простые, практические, воспринимает туго. Покойный Людовик решал за него, вкладывал в рот готовое, – разжуй и проглоти! Радеть о пользе для государства маркиз не приучен. Превыше всего – воля короля, святая его воля.

– Его королевское высочество до сих пор не был осведомлен о добром расположении царского величества.

«И не хотел знать, – вставил Куракин про себя. – Кто мы были для Людовика? Дикари в звериных шкурах».

– Регента смутит отдаленность вашей страны...

Наконец-то обошелся без титула! Царский посол возразил, – Россия приблизилась к Франции. Расстояние до новой столицы почти такое же, как до Стокгольма.

– Помилосердствуйте! – и голос Шатонефа звучит умоляюще. – Может ли Франция покинуть старого, испытанного друга? Наши родители, давшие слово в Вестфалии...

– Прошло полвека с лишним, – поспешил сказать Куракин, дабы отвлечь от погружения в прошлое. – Шведы поделились с вами в Германии, забрав себе львиную долю. Вы получили Эльзас и шведскую гарантию. Кто теперь поддержит вас, если император снова двинет свою

армию на запад? Император, ваш извечный противник...

– Боже нас упаси от войны, мой принц!

– Присоединяюсь к вам... Царь и не мыслит навлечь на вас войну. Речь может идти единственно о союзе оборонительном.

– Боюсь, и это не соблазнит регента.

– Оборонительный союз, субсидии, – таковы условия с нашей стороны. И разумеется, отказ Франции от всякой помощи шведам. Недавно дали Карлу шестьсот тысяч экю. Вы поступили, простите меня...

Опрометчиво, – вот что висело на языке. Слишком резко...

– Здешние купцы говорят – гнилое дерево подпираете. Скажите регенту – ваше золото в руках Карла пропало. В наших оно могло бы послужить ко всеобщей прибыли. К умиротворению Европы.

Посол увлекся. Наговорил слишком много, голова Шатонефа всего не вместит. Не усвоит сразу громадность царского плана. Шутка ли, крутой ведь поворот – от Швеции к России!

– Прошу вас не забыть, граф... В тех же надеждах на Францию пребывают Пруссия и Польша.

Московит колотил орехи, легким щелчком посылал ядра по скатерти к гостю. Шатонеф упускал их, взмахивал руками бестолково. Рывком, опершись на оба подлокотника, встал, – заломило поясницу. Ушел подавленный и, как показалось Борису, испуганный.

«Не выдержал, – сказал себе Борис. – Спасается бегством».

На другой день в ассамблее младший Куракин застал Шатонефа в смятении. Суетился, обтирал лоб, затискивал в угол то прусского посла, то поляка. Проверял, должно, доподлинно ли царь с ними «в концерте». Зоркий «Цензор» обратил внимание на эти хлопоты. В очередном номере описал шахматную партию, где король – разуместь надо, шведский – оказался один на поле, брошенный всеми фигурами. И по сему случаю филозофствовал на нескольких страницах о дружбе и верности, в тонах, впрочем, нейтральных.

Где стены имеют уши, так это в Гааге. Множество ушей. И, верно, не одна пара – английская.

Шатонеф честь отдал, угостил обедом московита. Разносолов – букет благоухающий, дюжина соусов. Что ты ешь в таком обильном аккомпанементе – не расчухаешь. А предложения царя в Париж отосланы, скорым ответом француз не обнадежил.

И снова сошлись за обедом, в доме куракинском. Кушанья на манер русский. Пирог с визигой гость выкушал малость, квас только пригубил, зато поросенок под хреном восхитил гурмана. Обсасывая кожу, слизывая жир, разглагольствовал:

– Вы поразили нас, мой принц. Вы, вы – русские... Россия встала, как Феникс из пепла.

– Мы не горели, – усмехнулся Борис.

– Да, да, простите, к слову пришлось. Знаете, один господин, не стоит называть его... Сильно возмущался в ассамблее. Что нужно царю? Неужели ему мало места? Владея половиной Азии, для чего устремился на запад? Мог бы и столицу свою основать где-либо в Сибири.

– Спасибо господину, – отозвался Борис. – Надоумил... У испанцев в Новом Свете сколько земли приобретено, однако трон из Мадрида не переносят же. А там, за океаном, горницы золотом набиты. Может, послушают того господина умного?.. Нет, граф, наш дом в Европе.

– Однако есть ученые, – произнес Шатонеф осторожно, – почитающие русских народом азиатским.

– С чего взяли? Где начало нашего государства – в Азии разве? Где Киев, Новгород, первые наши столицы?

– Я в вашей истории несведущ, – и граф поднял руки. – Передаю с чужих слов.

– Судите сами, от кого мы просвещение приняли? Не от татар же – от греков.

– Казните меня! – засмеялся Шатонеф. – Казните за невежество, дорогой принц!

Посол не хотел, однако, свести разговор к шутке.

– В Сибирь нас отпихнуть желают, – распалился Борис. – Нет уж... Коли история нас в Европу определила, не обессудьте! Конечно, для вас, французов, мы в новинку. Новый Тамерлан чудится, спать не дает. Спросите пруссаков – они тоже боялись, да вот, привыкли.

– Спрашивать излишне, – сказал Шатонеф, помолчав. – Слышишь со всех сторон... Всякое говорят, мой принц, всякое. Например, насчет одного происшествия в Данциге. Царь будто бы застал в порту шведские суда, нагруженные зерном. И поступил с купцами, продавшими хлеб, весьма сурово. Правда это?

Ох, до чего тянуло сказать – неправда! Вся ассамблея гудит – русский суверен, рассердившись, наложил контрибуцию на чужих подданных. Опровергать сей факт бесполезно, реноме государя ложью не возвысишь, а делу, начатому с французом, повредишь.

Доверие, доверие взаимное паче всего в сем деле необходимо. И посол ответил:

– Казус прискорбный. Его величество уступил чувству негодования, – все мы люди. Теперь крайне сожалеет. Питаю уверенность, граф, что подобного впредь не допустит.

– Я понимаю, положение царя трудное. Глаза Европы прикованы к малейшему его жесту.

– От страха они расширены к тому же, – подхватил Борис.

Шатонеф подлинно в аккорде или хитрит, подбивает на откровенности? На тонкую хитрость поди-ка неспособен...

– Я не сомневаюсь, – продолжает француз, облюбовав еще кусок поросенка, – царь охотно вложит меч в ножны и возьмет... кисть художника, циркуль – ведь дарования его разнообразны. Передают, он ловко рвет зубы. Верно? Кстати, мой принц, меня огорчил слух – царь недоволен наследником. Алексис не обнаружил охоты следовать отцовским путем. Ужасно! Как часто наши дети разочаровывают нас! Вообще, молодежь теперь... Но, может быть, это выдумки? Гаага – гнездо скорпионов, нигде не изливается столько яда.

– Все равно Россия вспять не повернет, – ответил Куракин. – Отведайте яблоч моченых. К мясному они просятся.

– Чудовищные слухи, мой принц... Алексис, его высочество, бил несчастную Шарлотту по животу. Ногами по животу, беременную... Говорят, она умерла от побоев.

– В Гааге есть свидетели? – осведомился посол. – Подобные события происходят за дверью спальни.

– Однако кто-нибудь подсматривает в замочную скважину, мой принц.

«Ты небось охотник», – подумал Борис. Но интерес к наследнику – признак недурной. Во всяком случае, прежнее безразличие сбито. Пруссак говорит – замучил его граф, выводил, прочен ли альянс с царем, нет ли каких обид.

– Париж молчит, – услышал Борис. – Я писал регенту, напишу еще... Все было бы проще, мой принц, если бы не Дюбуа.

Подался к москвиту, добавил:

– Дюбуа заядлый англофил.

Имя послу знакомо. Известна ошеломляющая карьера аббата Дюбуа, ныне государственного советника, ведающего иностранными делами.

Шатонефу это имя, однажды произнесенное, не давало покоя. Яблоко укусил сердито, до сердцевины.

– Ужасное время, принц... Слуга значит больше, чем господин.

Граф ненавидит выскочку. Дюбуа – сын аптекаря. Подразнить бы графа... Знает ли он, что царь указал знатность считать не по рождению, а по годности?

Прощаясь, Шатонеф спохватился:

– Чуть не забыл... В английском посольстве волнение. Скребнут, моют... Должен приехать Стенхоп. Лицо в Лондоне значительное. А ведь ему нет еще сорока.

Возраст, по мнению графа, мальчишеский. Что же обещает сей визит?

Шатонеф потрепал москвиту по плечу с видом покровительственным.

– Ничего хорошего. Он и вам будет пакостить... Не бойтесь, голландцы кивают, но живут собственным умом.

Э, при чем тут голландцы? Видимо, Стенхопу нужно место для неких переговоров, нейтральная голландская почва. Сего лорда Георг по пустякам не гоняет. Стенхоп отличился, выиграл в Испании несколько сражений. По нечаянности попал в плен к французам, отчего вражда к Франции лишь возросла. Потом являл преданность королю, свирепо изничтожая шотландских мятежников. Словом, лорд по всем статьям заслуженный. Что верно, то верно – напакостить может.

А Шатонеф немногого стоит. Мозги у графа жиром заплыли. Обведет его англичанин вокруг пальца.

#### 4

Александр отбился от рук, – охота ему, вишь, жениться. Распалила Герта, племянница купца Стаасена. Безумствует, катал ее в посольской карете, на глазах у всей Гааги. Девка в глупых еще летах, рослая, краснеет зазывно. Оба на краю греха.

– Ей скотницей быть, не княгиней, – сказал посол. – Квашня. Ни ума, ни обхожденья.

Посол уже наметил невесту для сына – Аграфену Панину, дочь старого товарища по армии, доблестного офицера. Свою Катеринку предполагает сговорить за молодого Головкина, сына канцлера, юношу благонравного, проходящего курс обучения в Париже. Разбавлять Куракиных кровью торгашей нужда не заставляет.

– Царь не погнушался же...

– Ты с кем равняешь? – рассердился отец. – Екатерина Алексеевна была служанкой, а рождена царицей. Найди такую!

Все же лучше держаться своей нации. Насмотрелись... Три свадьбы не в добрый час справили – Алексея, царевен Анны и Натальи.

– В Роттердаме тебя остудят. Не видал ты девок еще... Там вытянут из тебя жар. Ост-Индия, темной масти, шоколатной. В аморных забавах искусней их нету. Зайдешь в контору Брандта, спросишь Бергера, приказчика, – он тебе ихний дом укажет.

Александр упрямылся, однако, после долгих увещаний, деньги на шоколатных девок взял.

– Наобум не кидайся. Есть гнилые... Бергер тебе здоровую подберет.

Удалить сына на время давно пора. Новая цидула Сен-Поля прибыла кстати.

Лишь часть цифирного донесения доверена Александру, – в Голландии, у некоего антиквара, имеются картины живописца Пуссена «Семь святых таинств». Их разыскивает покупатель из Франции.

– Ростом мал, мордочка лисья, лукавая, нос длинный, острый, манеры вкрадчивы... Глаза в постоянном движении. Как он себя назовет, неважно. Когда купит, проследишь, куда стопы направит.

Неопытному юноше излишне знать, что француз этот – Дюбуа, правая рука регента Франции.

Секретарь Сурдеваль, проболтавшийся о поездке своей любовнице, не знал еще или удержал на языке истинную цель Дюбуа. Поэтому и Сен-Поль в неведении. Даже ловкач Сен-Поль... Сомнительно ведь, чтобы Дюбуа предпринял вояж единственно ради картин, – мог бы нарядить доверенного.

Знакомый Борису антиквар навел справки, – картины, исчезнувшие из Парижа, попали в Роттердам, попали не вполне честным путем, и торговец не выставляет их, втихомолку выстерегает цену.

Александра в Роттердаме не знают. Отпустит чернявые редкие усишки насколько возможно – и хватит. Творение славного живописца он не отличит от любой мазни, – на то Огарков. Пока княжич одолевал в Лейдене фортификацию, физику, латынь, слуга брал уроки у знатока художеств и теперь сам знаток оных.

– Пуссен, француз Пуссен, заруби на носу, – твердит князь-боярин. – Не ошибешься? Не обманут тебя? Гляди в оба, эксперт!

Если бы не скудость, посол избавил бы Фильку от камердинерства, пустился бы с его помощью собирать картины. Где там, оброчных денег и то мало на обеды, на подарки.

– Пуссен слепого озарит, – отвечает Огарков, хмыкнув. – Краски пламенные, как бы от великого костра. Телесность персонажей опаленная, краснота горячая. Если сравнить с Рафаэлем... У того свет небесный, итальянского неба свет, райская радость. У Пуссена действие будто при пожаре. Будто под набатный звон кистью водил... Король Людовик плохо разумел Пуссена.

– Почему так, деревенщина?

– У короля праздники, гоп-тру-ля-ля! Пуссен не всегда с потешками в гармонии. Пуссен когда льстит, а когда в душу смотрит монарху...

Коли не остановишь Огаркова, до утра не закончит толкование.

– Найдете того коммерсанта, – наставлял посол. – Любопытствуйте только насчет цены и не спорьте. Вас послал иностранный магнат. Наймите квартиру поблизости, если удастся, то напротив, и наблюдайте.

Александр и Филька отбыли.

Томили безвестностью недолго. Низкорослый покупатель, похожий на хорька, приехал. Поселился в гостинице «Герцог Брабантский», в книге значится как шевалье де Сент-Альбен. По выговору судя, прирожденный француз.

«Семь тайнств» ему проданы. Кроме того, выбрал несколько старинных книг. Заказал экипаж, с тем чтобы ехать вместе с грузом в Гаагу.

Здесь уже Куракин через голландских друзей взялся проследить. Шевалье снял комнаты над остерией «Герб княжества Нассау». Короба распотрошил, развесил картины, разложил на столе книги. Первый день не выходил никуда – задышался от кашля, пил травяной чай.

Гаага не распознала Дюбуа. Прохожие оглядывались на замухрышку в потрепанном плаще, старомодного провинциала в огромном парике, – он закрывал костистое, узкое личико, и сквозь длинную, густую бахрому торчал лишь острый, красный от насморка, хлюпающий нос.

Смешного замухрышку видели в лавках букинистов. Купил альбом с видами Лондона, скособочившись от тяжести, вбежал в таверну, заказал кружку горячего вина. Ветер свистел немилосердно, каналы вздулись, на воде чернели сорванные ветки.

Под вечер Дюбуа вылез из наемного экипажа в сотне шагов от дома Шатонефа. Свернул в переулок, вошел в боковые ворота, невидимкой проскользнул в конюшню.

Часа два после обеда граф посвящает лошадям. Выезды у посла Франции – на зависть всей Гааге. Отблеск Версаля играет на вензелях его кареты, на сбруе, на пряжках и кокарде кучера, но самое примечательное – шестерка выхолненных коней. Они – потомки мавританских скакунов, вывезенные из Испании, – главное сокровище Шатонефа.

Дюбуа вырос перед послом, как привидение. Мемуаристы в подробностях нарисуют эту сцену для потомков, как и дальнейшие хождения аббата.

Посол вздрогнул и спросил странного пришельца, что ему угодно. Это доставило аббату неописуемую радость.

– Ага, я обманул вас!

– Монсеньер обманет кого угодно, – сказал граф. – Вы бесподобный лицедей. Простите, могу ли я узнать, кого еще вы вводите в заблуждение?

– Барышников, граф. – Аббат хохотал и сморкался. – Я пополняю здесь мои коллекции. С Дюбуа сквалыги содрали бы втрое дороже. Увы, перед вами я беззащитен.

– Не хотите ли вы сказать...

– Да, да, дорогой друг, молю вас униженно. Ваши прелестные жеребята подросли, а я, вы знаете, поклонник красоты. Не только мраморной, хе-хе!.. В прежние годы я искал ее в женщинах, а теперь... Пою хвалу господу, когда вижу породистую лошадь, животное форм совершеннейших.

– Животное? Святотатство, монсеньер. Лошадь почти равна человеку.

Они прошли мимо бельгийских першеронов гигантской стати, – Дюбуа не взглянул на них. Его тянуло к жеребяткам. Государственный советник замыслил пустить пыль в глаза парижанам.

– Мои юные испанцы, – и Шатонеф погладил доверчивую мордочку. – Вы разбиваете мне сердце, монсеньер.

– Полноте, милый мой. Этот благородный род, надеюсь, не вымирает.

Он прав, но до сих пор шестерка Шатонефа, быстрая и чуткая, уникального оттенка, черная до синевы, была единственной в Голландии, единственной во Франции.

– Убивайте меня, монсеньер! – понурился граф.

– Ой, мерзавец! – Дюбуа отскочил и замахнулся на жеребенка.

– Он укусил вас? – осведомился Шатонеф, не скрывая восторга. – Испанский темперамент, монсеньер. Пепито не сразу вас полюбит, но зато пылко. Дайте ему сахара!

Аббат притоптывал, лелеял припухший палец. Жеребята сбились в кучку, тоненько пофыркивали на чужого. Жалко отдавать... Но Шатонеф не находил в себе смелости противиться государственному советнику.

– Убивайте, убивайте, – повторял он. – Что ж, в Нормандии они мне ни к чему. В моем скромном именье... Не до парадов, монсеньер... Пора на покой.

– Полноте, дружок! Стыдитесь! Мы вас не отпустим.

Графа словно ужалило. Мы! Никак во Франции два регента – герцог и аббат. Безродный аббат...

Между тем Дюбуа многословно и все еще посасывая палец допытывался, во что обойдутся рысачки. Он не Крез, отнюдь не Крез, что бы ни болтали сплетники, чертогов не нажил и к тому же поистратился, украшая свою картинную галерею полотнами Пуссена.

– Я ничего не возьму, – услышал он.

– Бог с вами, граф! Почему же?

– Шатонефы, монсеньер, никогда не торговали лошадьми. Прошу, монсеньер, принять в подарок.

Он одержал победу, пусть маленькую, но все-таки победу над Дюбуа, сыном аптекаря.

Следующим вечером, в ассамблее, публика дивилась перемене, происшедшей с французским послом.

– Режется сам с собой в домино и никого не подпускает, – сказал Куракину молодой, насмешливый пруссак. – Сладчайший сегодня горек.

Шатонеф поднял на москoviта тяжелый взгляд. На приветствие едва ответил.

– Вы нездоровы?

– Собачья погода, – раздалось сквозь зубы, с утробным урчанием. – Середина августа, как вам нравится?

Указал на пустое кресло напротив, рывком смешал костяшки, задумался, возвел из них штабелек, разрушил.

– Дюбуа здесь, – услышал Борис.

Он кивнул, обронил благодарность. Шатонеф набычился, стал сооружать пирамиду. Костяшки не слушались, падали.

– Очень рад, – произнес Борис, собравшись с мыслями. – Вы представите меня?

– Не смогу, к сожалению, – отозвался граф хмуро и отодвинул костяшки. Одна упала, Борис нагнулся и подобрал.

– Понимаю, – сказал он. – Шевалье де Сент-Альбен не ищет свиданья со мной.

– Черт вас побери, мой принц! – проворчал Шатонеф с беззлой грустью. – И развелось же мух в Гааге. Никакая стужа не пришибет.

«Муха» – кличка соглядатая, пущенная давно, кажется вездесущим «Цензором». Он писал, что они размножились и составляют немалую часть населения Гааги.

– Шевалье пришел, чтобы купить у меня жеребят, – и граф криво улыбнулся. – Что касается вашего дела... Регент обдумывает... Вы помните, что я вам говорил? Россия очень далеко. Вот если бы царь сел на трон в Мадриде... Это слова Дюбуа, мой принц. Регент изложит письменно... Не будем надоедать, это повредит вам.

Договорив, Шатонеф обмяк, будто выбился из сил. Горестные складки врезались в посеревшее лицо. Снова донесся из его угла мерный костяной стук домино.

## 5

Сын аптекаря обязан был своим возвышением как способностям, так и случаю.

Из школы иезуитов он вышел с отличием. Смышленный, начитанный, услужливый аббат стал секретарем вельможи, затем воспитателем в родовом замке. Тут и вмешался Случай – сей шалун при дворе истории. Он дал Гийому Дюбуа не кого иного в наперсники, как юного Филиппа Орлеанского.

Занятия науками чередовались с забавами. Наградой за приготовленный урок были сперва лакомства, прогулки, катанье на пони, потом, с годами, посещение веселого дома, ласки продажных красоток. Находчивый аббат изобретал тысячи уловок, чтобы избавить Филиппа от



контроля матери – строгой и набожной немки. Ей претило все французское – язык, кухня и в особенности вольные нравы, допущенные «королем-солнцем». Дюбуа и Филипп, переодетые, убегали из замка на потайные пирушки. Наставник устраивал их в лесу, на заброшенной мельнице, в задней комнате кабачка. Он сам резвился, как мальчик, изображая клоуна Скарамуша, героя балаганных представлений. Маленький, щуплый, Дюбуа вдруг выскакивал из-за бельевой корзины или из бочки, паясничал, щекотал девиц, затевал фривольную возню.

Когда настала пора женить Филиппа, Дюбуа, советчик семьи, рекомендовал ему мадемуазель де Блуа. Сватовство, направленное аббатом, завершилось многообещающим браком. Племянник короля сочетался с дочерью короля, пусть незаконной, снискал симпатию Людовика.

В Париж, в Париж! Дюбуа отряхнул со своих ног пыль опротивевшей провинции. Филипп неразлучен с ним. Аббат печется о его карьере неусыпно.

– Дюбуа кидается в атаку, как гренадер, – говорят о нем в столице.

Сам он женился безрассудно. Ошибка далекой юности... Слава создателю, Жанетта не мешает ему. Необразованная крестьянка знает свое место, она уехала, поступила в прислуги, ничего не требует. Но есть запись в церковной книге. Для аббата не опасная, она возникает, колет глаза всякий раз, когда Дюбуа мысленно примеривает облачение епископа, красную мантию кардинала.

Мемуаристы расскажут, как Дюбуа отправился из Парижа, уложив в саквояж вино и изысканные яства. Как нагрянул в сумерки к сельскому кюре, попросился ночевать. Заодно столичный чиновник проверил, в порядке ли приходские бумаги. Порылся, нашел запись, поставил тетрадь обратно в шкаф. А ночью, под храп осоловевшего кюре, прокрался на цыпочках, вырвал страницу.

«Лживость была написана на его лбу, – скажет о Дюбуа граф Сен-Симон, автор многотомных записок. – Его отличало открытое презрение к вере, к честному слову, к порядочности, к правде... Он был слащав, подл, изворотлив, умел рассыпаться в восторгах, принимал с чрезвычайной легкостью всевозможные формы поведения, выступал во всяческих ролях, к тому же часто противоречивых в зависимости от различных целей, которые он себе ставил».

Сен-Симон, летописец галантной жизни Франции, не щадил и носителей громких титулов, – мог ли ожидать снисхождения сын аптекаря, пробравшийся к власти?

Писатель Дюкло не согласился с графом, яростно отрицавшим таланты и познания аббата. У него был острый ум, «но вне соответствия с его высоким положением и более годный к интриге, нежели к управлению».

Недовольство выскочкой достигало ушей Людовика Четырнадцатого. Духовник Лашез сказал королю:

– Любимец вашего племянника предан азартной игре и вину.

– Но он не пьянеет и не проигрывает, – ответил король.

В связи с мирными переговорами Дюбуа ездил в Англию с эскортом секретарей, слуг и... портных. В Париже еще носили «адриенны» – длинные, свободно ниспадающие платья с низким декольте. В Лондоне они оказались новинкой моды и произвели фурор, обеспечивший Дюбуа-дипломату популярность.

Для мужчин у него бутылки отборного, выдержанного бордо, молодящие снадобья, скабрезные парижские картинки, а также увесистые кошельки. Он приобрел симпатии лорда Стенхопа, привлек благосклонное внимание короля Георга.

В туманах Лондона, протестантского Лондона маячил кардинальский пурпур. Свой король не поможет – Людовик не в ладах с папой. Неизмеримо весомее слово императора. Он противник Франции, но союзник Англии.

Аббат не прекращал забот и о своем воспитаннике. Филипп честолюбив – надо развивать это качество. Средней руки военачальник, он пытался завоевать корону в Италии, Дюбуа утешал, прочил Филиппу всю Францию. Побольше смелости, поменьше разборчивости в средствах...

Филипп увлекся химией, завел лабораторию, пригласил в учителя знаменитого Гомберга. Дюбуа, как твердила потом молва, подсказал практическое приложение науки. В один год от

загадочной болезни умерли герцог Бургундский с супругой и инфант.

Блеск короны упал на внука короля. Регентом, по завещанию Людовика, должен был стать герцог де Мэн, его отпрыск от фаворитки Монтеспан.

– Вы гораздо достойнее, – убеждал аббат Филиппа. – Луи-Огюст безмозглый чурбан.

Париж будоражила борьба партий. В пользу де Мэна, равнодушного к славе, хлопотала его напористая жена. Но многие вельможи ополчились против «потомства Монтеспан». Распри, кипевшие при жизни короля, после его смерти ожесточились. Утвердить регента предстояло парламенту.

– Луи-Огюст косноязычен, – говорил Дюбуа своему принципалу. – Его поднимут на смех. Посмотрите, я кое-что набросал для вас!

Де Мэн был действительно плохим оратором, – Филипп разбил соперника, опротестовал королевское завещание. Орлеанца шумно поддержали. Тем временем гвардейские полки, подчиненные Филиппу, окружили дворец. Они-то и решили исход дебатов.

При Филиппе-регенте Дюбуа стал фактически первым министром. Кардинальский пурпур теперь ближе. Филипп сделал все, что мог. Король Георг обещал замолвить слово императору, но протекцию надо оплатить услугами.

Сближение с Англией, с державой-победительницей, обидчицей, задача не простая. Действовать нужно исподволь. Враждебность Испании весьма кстати, гасить ее нерасчетливо. Дюбуа внушает регенту, что наилучшая опора для Франции находится рядом, за Ламаншем.

– Позвольте мне прощупать почву. Ручаюсь вам, вы ничем не рискуете.

– Кланяться англичанам? – упрямылся герцог. – Толпа разобьет нам стекла.

– Испанцы укрепили Памплону. Пушки упираются нам в бок. Прочитайте, вот список новых кораблей! А кланяться мы вынуждены, война нас разорила. Так кому же? Надеюсь, не царю.

Шатонеф только что сообщил приглашение царя – вступить в альянс с Россией, Пруссией и Польшей.

– Что общего у нас с русскими? – кричал Дюбуа, бегая по кабинету. – Какой нам прок от них? Царь еще не разделался с Карлом.

Россия зовет французских купцов в балтийские порты, но за какими товарами? Рынок тамошний незнаком, – доказывал Дюбуа. В донесениях послов – анекдоты, курьезы, известия о погоде, о темпераменте русских женщин, о русской бане.

– Мы держим в России не дипломатов, а романистов. Научите их сперва работать...

– Царь нуждается в субсидиях, но французская казна обнищала. Предстоят выплаты Карлу – договор с ним действует еще полтора года.

– Вы наживете ненависть двух наций, шведской и английской, если уступите Петру. Ведь деньги он потратит на войско, на головорезов, ворвавшихся в Европу.

Условились не отталкивать царя, но тянуть время. В переговоры с Англией вступить с величайшей осторожностью, втайне от народа и от знати. Шатонефа посвящать незачем – Дюбуа выполнит деликатную миссию один.

Назначая Стенхопу встречу в Гааге, аббат писал:

«Если наши хозяева сблизятся, у вас будет довольно французского вина, а у меня – доброго эля».

## 6

Куракин, вводя сына на театр бескровной баталии, сказал:

– Аббат Дюбуа, лишенный природной честности простого человека, воспринял от высших лишь худшие их свойства.

Баталия же разгоралась. Тишину Гааги разметал пригожим утром Джеймс Стенхоп. Сонные горожане в сорочках и колпаках припали к окнам. Дощатая мостовая гудела, рыдала под гороподобной каретой, черной с золотом. Кучер, бывший моряк, залихватски хлопал бичом и оглашал Гаагу длинными, забористыми матросскими ругательствами. Лорд пробил скопления крестьянских повозок у Большого рынка, всполошил лебедей, плававших в пруду у двухбашенного рыцарского дома, шокировал степенных, раскормленных часовых у зданий

парламента – «зала кавалеров», «зала сословий», «зала договоров».

Ворота английского посольства широко распахнулись для важного гостя. Спрыгнув с подножки, он показал встречающим, а также слетевшимся «мухам» нагрудный знак королевского советника. Не скрыл он, не запудрил на щеке два шрама, составившие как бы римскую двойку.

За ним внесли четыре сундука с его одеждой и один, весьма скромный, с нарядами женскими, принадлежавший спутнице. То была молодая, полнотелая швея из Амстердама. Лорд увидел ее в мастерской, куда зашел пришить пуговицу, и дал лишь полчаса на сборы.

– Хоть за границей вздохну свободно, – сказал он в тот же вечер аббату. – Осточертели наши ханжи.

Дюбуа – без парика, лысый – сморщился, выглядел гномом – хранителем сокровищ в сумрачной комнате гостиницы «Герб княжества Нассау», под низко нависшими балками потолка. Лорд скользнул взглядом по «Таинствам» Пуссена, по китайским вазам, задержался на фигуре танцовщицы, вырезанной из дерева. Тонкая, с высокой грудью, она неслась над землей на пузырястом облаке.

– Батавская Венера, – сказал Дюбуа.

Перед ним лежали виды Лондона.

– Вспомнил часы, проведенные у вас, дорогой Джеймс. Не мог не купить.

– У вас музей в Париже?

– Когда-нибудь вы удостоите его визитом.

Стенхоп, скривив губы, изобразил сомнение. Побарабанил по вазе, ответившей ему глухим звоном, словно из глубины веков, потом сел. Расшатанное кресло чуть не рухнуло под ним.

– Тише! – улыбнулся Дюбуа. – Вы и так нашумели в Гааге.

Лорд расхохотался.

– Зато вы сидите тут, как сверчок.

– У регента есть враги. У меня их еще больше, – и в голосе Дюбуа прозвучала нотка гордости. – Поймите мое положение, милорд. Я не могу положиться даже на Шатонефа и отвожу ему глаза. Покупаю у него лошадей.

– Лошадей? Ха-ха! Вы гений, аббат!

– Его тут обхаживает боярин из России, Куракин, хитрая бестия. Кормит какой-то невообразимой стряпней. К счастью, регент считается со мной. Кстати, вам небольшая безделка от его королевского высочества...

Неведомо откуда, будто из шляпы фокусника, возникает, звездой вспыхивает золотой бочонок. Стенхоп берет его, ласкает зеркальную поверхность, по которой растекся струйками легкий орнамент. Бочонок не пустой, но Стенхоп, забывшись, отвертывает кран. На черный бархат камзола брызжет вино.

Противники Дюбуа впоследствии обнаружат – он передал своему английскому другу подарков на десятки тысяч ливров.

– Я бы убрал Шатонефа, – продолжает аббат. – Но десять герцогов тотчас поднимут вой. Прискорбно, милорд, времена всемогущих суверенов канули в Лету. Я сознаю, вашему хозяину еще труднее – ублажать вигов, обуздывать тори...

– Ваш хозяин, – заговорил Стенхоп, согнав улыбку, – покамест увеличивал ему трудности.

– Каким образом?

– Наивность вам не идет, господин советник. Король ждет прежде всего извинений от регента. Эти взбесившиеся шотландцы... Мне не удастся их забыть, – и лорд тронул пальцем щеку. – Но Сен-Жорж и сейчас у вас под крылом.

Таков титул Якова, претендента на английский трон. Рыцарем ордена Святого Георгия его объявили шотландские кланы, восставшие в прошлом году.

– Очень жаль, – сказал Дюбуа, – что король придает этому столь важное значение. Сен-Жорж теперь далек от политики. Мы оставили его в Авиньоне из сострадания. Он целыми днями читает, молится. Гнать его из Франции жестоко и неразумно, – это восстановит против регента не только французов, но и всех католиков, императора, папу. И против вас также...

– Я прошу вас сказать регенту, – отрезал Стенхоп, – пока Сен-Жорж во Франции, никакое

согласие невозможно. Следующее предварительное условие касается Мардика.

Враги Дюбуа утверждали, что он сам позволил английским «мухам» разнюхать о работах в Мардике, дабы рассердить Георга и тем легче завязать диалог.

– Король и здесь не уступит, – отрубил лорд, поглаживая бочонок. – Упрашивать бесполезно.

Итак, два требования. Франция гарантирует протестантское наследование трона Англии, отправляет Сен-Жоржа за Пиренеи. И прекращает углубление канала в Мардике, не пытается создать там гавань для военных кораблей.

– Я сделаю все, что в моих силах, – обещал Дюбуа. – Даже сверх сил.

– Король рассчитывает на вас.

– Заверьте его в моей преданности.

Затем аббат хихикнул, словно вспомнив что-то смешное, и спросил, носят ли еще лондонские дамы его «адриенны».

– Одна леди, кажется герцогиня Эдинбургская... Расфуфырена до неприличия...

Мемуаристы изложат добросовестно беседу Дюбуа и Стенхопа и прибавят, что аббат после этого излучал самодовольство.

– Регент обнял меня, – похвастался он секретарю, невозмутимому Сурдевалю. Впрочем, настроение победное редко покидало аббата. Он умел тешить себя, упиваться видением успеха.

Между тем гаагские «мухи», привязавшиеся к Стенхопу, не упустили его и тогда, когда он – пешком и слегка надвинув на лоб шляпу – шагал к гостинице «Герб княжества Нассау». Не только Шатонефу, но и другим дипломатам «мухи» донесли – лорд поднялся к кавалеру де Сент-Альбену, собирателю раритетов, и провел у него около двух часов.

Шатонеф в ассамблее, в облюбованном углу, сменял домино на карты, гадал, раскладывал. Пасьянс не сходиллся, старик нервничал и, бормоча, выговаривал королю, даме или валету, появившимся неуместно.

Куракину он сказал:

– Дюбуа толкает регента в упряжку с Георгом.

Признать, что его обошли, было свыше сил. Многозначительный тон звучал фальшиво.

– Сие не противоречит нисколько нашему проекту, – сказал царский посол. – Его величеству чужда тенденция поссорить вас с Англией. Боже упаси! Договор, предложенный нами, открыт для всех монархов, желающих мира.

## 7

«Вам следует знать, – писал Сен-Поль Куракину, – что у Филиппа немало врагов. Герцог де Мэн, добивавшийся регентства, чрезвычайно озлоблен, а еще более – его супруга. Насколько они сильны, я, вероятно, смогу выяснить, так как благодаря моему другу...»

Ну, это, пожалуй, лишнее! Считать графа Сен-Симона другом преждевременно.

Маркиз поднял перо, пощекотал переносицу, потом зачеркнул последние слова. И словно услышал насмешливый шепот:

– Второй двор Франции, милый мой шевадье. Пренебрегать молодому человеку не стоит.

Сен-Симон сунул приглашение и умчался. На карточке значилось:

«Мода», комедия в трех актах, сочинение мадемуазель Делонэ, имеет быть представлена в замке Со».

Имя автора ничего не сказало ему. Небось тягучая жвачка, потуги на остроумие. Чего доброго, еще стихотворные...

Со – второй двор Франции, как говорят... Ехать надо...

Маркиз лениво прищипывал лошадь. Приготовился скучать.

Городок Со приютился в долине извилистой Бьевр, в трех лье от Парижа. Речка едва голубела в густой зелени парка.

К замку вела аллея серебристых вязов. За решеткой ограды пылали цветники, тяжеловесное здание цвета бычьей крови обнимало их широким полукружьем.

Страж, впускавший гостей, сверкал как люстра в униформе, увешанной кистями. Маркиза тотчас охватила горячка праздника. Он с трудом нашел для коня место в стойле. Вестибюль

оглушил бравурной, грохочущей музыкой.

– Идемте, я представлю вас!

Сен-Поль скорее угадал по движению губ, чем услышал. Вездесущий Сен-Симон...

Граф поманил, вскинув белую, хрупкую, унизанную перстнями руку, и нырнул в толпу.

У лестницы, спиной к статуе Геркулеса, поставили куклу, – так показалось с первого взгляда. Герцогиня Анна-Луиза де Мэн стояла неподвижно, прямо. С маленького, мертвенного от мазей личика не сходила обязательная улыбка. Граф что-то прокричал, Сен-Поль поклонился и был отпущен едва приметным кивком.

В зале на столах громоздились горы дичи, пулярок, сладкого перца, фруктов.

– Держу пари, она не в вашем вкусе, а? – донеслось до маркиза. – Я был на ее свадьбе, она тогда выглядела десятилетней девочкой. До старости щенок, как говорится... Но по крайней мере откровенна, – кости не спрятаны под ватой, как например вон у той мегеры в зеленом. Постарайтесь понравиться, связи у герцогини обширнейшие. Вы пишете стихи?

– Нет.

– Очень жаль. Что же вы умеете?

– Верховая езда, фехтование...

– Маловато. Выучите хоть фокус какой-нибудь, что ли... Вам надо пригодиться, понимаете? Развлечения в Со... Малезье так и озаглавил свою книгу. Не попадалась вам? Седовласый переводчик Еврипида фиглярствует, зато герцогиня дала деньги на издание всех его застольных виршей. Почитайте, мой друг! Искусство лести виртуозное.

– Что же, и мне паясничать?

– Ваше дело... Тех, которые жмутся к стенке с надутым видом, здесь не любят. Вам нужно заслужить желтую ленту и тогда... Ах, простите!

Мегера в зеленом, смуглая егоза, смачно жевавшая табак, приблизилась и поманила Сен-Симона. Он кинулся к ней и весело затараторил.

Лента рыцаря Пчелы маячила как раз напротив, медовой струйкой текла по груди кавалера, выбиравшего персик. Кавалер успел выпить и бесцеремонно рылся в вазе. Персики падали на пол. Рыцари Пчелы... Сен-Поль слышал о них. Шуточный орден с девизом Анны-Луизы – «Я мала, но кусаю больно». От скуки чего не придумаешь! Он ведь не правит страной, второй двор Франции – скопище бездельников.

Оркестр умолк. На помосте, среди музыкантов, появилась нимфа – босоножка в облаке прозрачной ткани – и развернула свиток – послание Мельпомены. Богиня зовет благородных ценителей театра в свои владения.

Сцену соорудили в парке. Южные растения в горшках обрамляли помост с трех сторон. Слуги подрезали ветви, натягивали занавес. Малезье носился вокруг, понукал и раздражался проклятиями. Лицо его багровело.

Тошная мадемуазель Делонэ, автор пьесы, расхаживала по боковой аллее, кусая губы.

– Если комедия провалится, герцогиня выпустит коготки. Ну да, еще как разукрасит! Отец девицы – художник, неудачник, без единого су в кошельке. Девицу взяли из сострадания в камеристки. И вдруг – талант. Да, да, талант! Сочиняет наперегонки с Малезье. Еще и актриса... Но живется ей не сладко у благодетельницы.

Сен-Поль мысленно пожелал камеристке успеха. Громадного, ошеломляющего, назло гордецам.

На сцену бочком, шаркая, выбежал маленький, сутулый слуга. Все захлопали – сходство с фаворитом регента разительное. Изволит ли графиня принять визитера? Графиня рада, есть кому излить негодование. Жених дочери – человек недостойный.

К а в а л е р. Он игрок, повеса, нравственно нечистоплотен?

Г р а ф и н я. Как раз обратное. Карты он не любит, вина не переносит, ночью предпочитает спать.

К а в а л е р. Но если он свободен от пороков, зачем же противиться браку?

Г р а ф и н я. Во-первых, он называет себя бароном – титул нелепый, подобающий иностранцам. Я ему сказала: неужели вы не можете быть графом, маркизом, как все! Моя дочь – баронесса... Каково это слышать!

Сен-Поль хлопал до боли в ладонях и был не одинок. Достоинно осмеяны и зрители, –

неужели не узнают самих себя?

Графиня. Садимся мы за стол у них... Полюбовались бы вы, как подавали! Что на закуску, что на первое – все перепутано. Дичь плохо подобранная и не разобрать, каких пород. С помпой внесли козленка. Откуда он? Из Монбара? Представьте, они не могли ответить! Можете поверить, я не притронулась.

Жених и вовсе лишил графиню аппетита. Узор сюртука прошлогодний, табакерка плоская, гравирована в клетку, в старом вкусе.

Нет, зрители не узнали себя.

– Вы наивны, мой друг, – сказал на это Сен-Симон. – Самобичевание – тоже мода. Пошло от Мольера... Это как острая приправа к еде.

– А каков Дюбуа?

– О, бесподобен! Актер постарался.

Ночью, вернувшись домой, Сен-Поль дополнил письмо Куракину, начатое накануне.

«Герцогиня по любому поводу дает волю ненависти к Пале-Роялю. Персонаж комедии, сыгранной в замке, слуга – субъект отвратительный – носит имя Дюбуа».

Соизволит ли Анна-Луиза, ядовитая пчелка, пригласить вновь? Маркиз сомневался. Надо было действовать смелее, не теряться в толпе. Он испытал удивление, когда лакей герцогини постучал к нему рано утром и подал нарядный конверт с золотой каймой. На этот раз второй двор обращался более интимно: благодетельная пчелка жаждет увидеть высокочтимого кавалера в своем улье, в час нектара.

Должно быть, накормят обедом. Очень кстати...

Гостей было немного. Заняли шесть столов в портретном зале. Значит, он – Сен-Поль – в числе избранных. За что такая честь? Случайность, прихоть хозяйки... Рядом с ней сидел герцог. Сен-Поль с интересом разглядывал сына Людовика и графини Монтеспан, бастарда, узаконенного королем, несмотря на ропот принцев крови. Обрюзгший, толстый герцог ел неряшливо, икал, чесал живот. Голоса не подал, только однажды, понюхав бокал, довольно громко заявил, что вино прокисло.

– Вам приснилось, – отрезала Анна-Луиза.

Стеснительную тишину прервал Малезье.

– Как бы то ни было, господа, – начал он, – вино не вечно. Мы здесь вкушаем мед, а он еще ни разу не превратился в уксус.

– Bravo! – произнесла герцогиня резко.

Отобедав, перешли в музыкальный салон, слушали концерт. Восторг всеобщий вызвал певец, подражавший певчим птицам. В антракте Малезье подвел Сен-Поля к герцогине.

– Помогите нам, шевалье, – сказала она. – Наш неистощимый изобретатель, – и она коснулась старика веером, – предлагает устроить праздник... Похищение Европы, с плясками... Эти юбки у шотландцев... Я забыла название.

– Тартаны, ваше сиятельство.

Взгляд холодных серых глаз вонзился в него, держал его словно на острие шпаги.

– Мы не справимся без ваших советов. Шотландия вам знакома, шевалье. И не безразлична, как мне передавали.

Вместо ответа Сен-Поль поклонился. Скрыть волнение ему не удалось.

«Новая причуда, – подумал Сен-Поль, покидая замок. – Новое развлечение герцогини... Вам угодно, чтобы шевалье Сен-Поль одевал ваших фигляров в тартаны. А вы спросили шевалье – угодно ли ему? Однако не ссориться же с ней... Надо быть покорным, полезным. Да, ваше сиятельство, цвета разные. У клана Мак-Милланов преобладает красный, у клана Мак-Донеллов – черный. Так надлежало ответить. Славные ребята... Увы, многие погибли! Но это вас совершенно не касается, ваше сиятельство».

В Латинском квартале Сен-Поль привязал коня у мелочной лавки, купил, поторговавшись, коробку красок и кисти. Дома сел за работу. На другой день герцогиня смотрела рисунки и выразила кавалеру удовольствие.

Похищение Европы, исполненное по замыслу Малезье, и пляски разных наций имели громовый успех. Бомонд решил единодушно, что музы из Версаля переселились в Со.

– Поздравляю вас заранее, – сказал кавалеру всезнающий Сен-Симон. – Вы получите

ленту.

Церемония совершалась в шатре, воздвигнутом позади здания, под сенью вековых лип. Сен-Поль произнес клятву служить беззаветно, не щадя сил и жизни властительнице Пчеле – мудрой, милостивой, щедрой. Безропотно давать себя кусать – в голову, в руки, в ноги, в ягодицы, в любую часть тела. Скрипки запели торжественно, Анна-Луиза надела на склоненную шею кавалера медаль на желтой ленте – увесистый серебряный кружок. Пчелу, выбитую на нем, обегал девиз герцогини де Мэн.

С того дня Сен-Поль вступил в круг посвященных. Рыцари собрались в уединенной гостиной, увешанной старыми мушкетерами и алебардами, слушая Лагранжа, молодого поэта, который на празднествах держался скромно, вкушал по причине несварения желудка лишь яблоки и лимонады. Читал он с театральной яростью, сняв со стены кинжал и положив его на тощие колени.

Позор тому, кто умертвил, злодей,  
Знатнейших Франции детей!

Так вот откуда расходится по Парижу «Филиппика» – обличение всех грехов орлеанца, подлинных и выдуманных.

Осенью Сен-Поль писал Куракину:

«В замке моей повелительницы пахнет заговором, что весьма осложняет положение вашего преданного слуги. Противников регента много, но они разрозненны. Людовик, узаконивший своих побочных детей, внушил им честолюбивые надежды, и каждый, естественно, желает низложить орлеанца ради собственного возвышения. Эти вельможи сочувствуют претенденту и противодействуют его высылке из Франции».

## 8

Часы в мавританской гостиной громогласно пробили двенадцать. Колокольный звон достиг слуха Сен-Поля, сидевшего в зимнем саду, за три комнаты от адской, раздражающей уши машины. Обитатели дома не просыпаются от нее ночью лишь потому, что привыкли.

Впрочем, здесь ложатся поздно...

За последним ударом раздался хрип – часы как будто испустили дух. С ними связано какое-то поверье... Этот шедевр баварского мастера, жившего в прошлом столетии, – семейная реликвия. Даже больше... Не просто мебель, скорее, живое существо.

Скоро ли? Может быть, грохот напомнил герцогине... Сидеть тоскливо, навес густых ветвей магнолии и журчанье фонтана усыпляют, а герцогиня прогневадается, если застанет гостя спящим. Неукротимая егиза, уверяющая, что она почти никогда не смыкает глаз.

Снаружи, в темноте, осенний ветер срывает невидимые листья. Иногда желтая лапа клена пристаёт на миг к стеклу, словно с мольбой. Голоса у подъезда, цоканье копыт затихли. Сен-Поль повторяет про себя, затверживает остроты, блиставшие в салоне. Одни остроты да колкости, ибо ничего стоящего, годного для передачи в Гаагу, сегодня не всплыло.

– Скучаете, мой мальчик!

Она вошла, волоча платье, слишком тяжелое и длинное для нее, будто повешенное на палку.

– Ловила разбойника... Я отдам тебя кошке, Шарло, отдам в следующий раз.

Попугай, блуждавший где-то по гостиным, прятаясь в портьерах, виновато попискивал, уцепившись за ее плечо.

– Фонтенель грубиян... Распалился ни с того ни с сего... Его избаловали. Малезье, в конце концов, тоже член академии... Идемте, вы тут закоченели! Кстати, Малезье сочинит сатиру – «Полишинель, добывающий места в академии». Будет преуморительно. Академики только и делают, что лижут зад Филиппу. Их до сих пор не тошнит.

Пчелка поет ласково. К добру ли? Усадив Сен-Поля, протянула коробку конфет.

– Хочу вас обрадовать, шевалье. Пора действовать.

Ногтем мизинца провела по щеке – от уха к челюсти.

Он уронил шелковистую полосатую подушечку, новинку кондитерского искусства. Герцогиня повторила пароль якобитов – замедленно, отвердев лицом.

– У шевалье Сен-Жоржа, – сказала она, – больше друзей, чем вы думали.

Ей-то что до него? Сен-Поль отшатнулся. Зачем, по какому праву она возвращает его в ту злополучную шотландскую осень?

...В горах кричали рожки. Рослые воины спускались по тропам к крепости Мар, захваченной восставшими. Клан Грант, имеющий девизом «Стоять твердо» и родовым знаком ветку ели, клан Кэмминг, написавший на гербе «Смелость» и украсивший его тмином, клан Броди, чей герб, увитый барвинком, требует – «Объединяйтесь!», клан Мак-Лин, вскормленный голубикой и взывающий – «Уважай мою честь!»...

– Шевалье Сен-Жорж, – слышит Сен-Поль голос герцогини, – упал духом в Авиньоне, в этой убогой дыре.

Да, он заперся в келье, просил забыть его. Шотландия больше не встанет.

– Награда вас не минует. Вы оказали ему драгоценные услуги, маркиз. Вы спасли жизнь Сен-Жоржу, и ваша доблесть...

Доблесть... Награда... Пустые, избитые слова. Маркиз молча смотрит на пятнистую, словно облезлую, шею, на выпирающие ключицы. Ради чего она вмешалась в благородное дело, в мужское дело, вмешалась после поражения?

Ей не понять, – он припал душой к бледному молодому человеку, такому потерянному, застенчивому в неведомой Шотландии.

Питерхед, черный каменный выступ, сотрясаемый прибоем, скользкий от дождя, точно глыба льда. Яков в тонком парадном камзоле, в расшитом плаще, промокший, дрожащий. Его солдаты, отошавшие, измученные морской болезнью, побежали в лес, селятся развести костер. Сен-Поль встретил высадившихся дурной вестью – кланы отеснены от моря. Сен-Жорж запоздал.

Соединиться так и не удалось, вскоре пришлось уходить. В непогоду, по тропам, исчезающим в темноте. У Якова ноги, непривычные к горам. Сен-Поль держал его за пояс и сам чуть не свалился с обрыва. Схватил ветку. Колючий остролистник Мак-Милланов разодрал руку. Растения стали враждебны, изгоняли, казнили за нерасторопность, за слабость.

– Сен-Жорж поверит вам, маркиз, – слышит Сен-Поль. – Вы обрадуете его.

Ехать в Авиньон? Зачем? Ответить иронией, шуткой, посмеяться над внезапной фантазией герцогини – значит быть изгнанным из Со. Конечно, он не мог относиться серьезно к фронде, кипевшей во дворце, она казалась продолжением комедии Делонз. Театрален и этот будуар – две-три склянки мужских духов, медные копья и щиты, украшающие мебель, знамя над головой с девизом рыцарей Пчелы: «Я мала, но кусаю больно». Только кусаю, меда не приношу.

– Невозможно представить, – выдавил маркиз. – Вы, вместе с регентом...

Ведь по милости регента Яков живет в Авиньоне. Регент приютил его, несмотря на протесты Лондона.

– Наивный мой мальчик! Узурпатор предаст Сен-Жоржа, предаст в любой момент. Дюбуа шепчется с англичанами. Но мы, – и Анна-Луиза сжала маленькие твердые детские кулачки, – не бросим Сен-Жоржа.

– Сочувствие делает вам честь, ваша светлость. Если бы оно могло разбивать бастионы...

– У него будет войско, маркиз, будут деньги, все, что нужно...

– Простите, откуда войско? – спросил Сен-Поль терпеливо. – Вы наберете французов?

– Испанцы, маркиз, испанцы. Они настоящие католики. Не разведены ересями, которые допущены у нас с легкой руки узурпатора, не имеющего ничего святого в душе.

Мысли Сен-Поля смешались. Что это – правда или герцогиня рассказывает сюжет спектакля? Воинственная крошка, магистр бутафорского ордена, задумала, оказывается, потрясти не одно королевство...

На колени маркиза ложится кошелек из толстой коричневой кожи, помеченный лишь короной и вензелем, кошелек для сумки, притороченной к седлу, для похода. Отказ невозможен. Он едет, разумеется, едет немедленно.

Дорога побежала, подчиняясь изгибам реки Бьевр, стынувшей в желтых осенних камышах. Тополя, опрокинутые в нее, неподвижны, спокойное течение не ломает черные стволы.



Он заедет домой, сожжет лишние бумаги, отправит письмо в Гаагу. Уберет в гардероб расшитый жюстакор, кружевную сорочку, зверски узкие башмаки, всю эту надоевшую мишуру. На губах Сен-Поля холодок реки и бодрящий вкус риска.

Через несколько дней он слезет с коня в Авиньоне, у монастыря капуцинов. Вручит Якову пакет от Челламаре, испанского посла в Париже. В Мадриде созрел план, обещающий перемены для Европы грандиозные, вулканические.

– Сир, – скажет он бледному, укрывшемуся от мира изгнаннику, – вот ваш последний шанс.

## 9

– Париж, Мадрид, – вздохнул царский посол, разобрав поспешную цифирь Сен-Поля. – Две головы надо иметь.

Яков опять зашевелился, претендент безвольный. Сам-то он носа не высунет, зато другие ох как претендуют. Тормошат старца... Альберони, вишь, армию сулит ему, десятки тысяч штыков, миллионы экю. Широко замахнулся... В Англии водворить Якова, а во Франции скинуть регента, подчинить оную короне гишпанской, составить одно могучее королевство, управляемое из Мадрида. Немудрено, что гишпанский король слушает Альберони, роняя слюнки. Что и говорить, выгода для Гишпании немалая – возрождение былого могущества, да еще с лихвой. И благодарность Якова, сиречь безопасность со стороны англичан.

А нам какой барыш?

Александр – тот просиял, узнав о прожекте. Для него все просто, по младости лет.

– Худо ли, тять! Скинуть Георга...

– Поди-ка, скинь! Бодлива Гишпания, бодлива, – рога даст ли бог – вот вопрос!

– Да и француз не крепок.

– Да уж покрепче гишпанца. Герцогша, что ли, свалит орлеанца? Дюбуа хитер, накроет ее как пить дать. Вот увидишь, засадит ее в Бастилию, вместе с рыцарями потешными.

Сколько раз надо внушать – суверен не всемогущ. Король гишпанский жаден, а королевство у него слабое. Оттого и шныряют агенты Альберони по всей Европе, ищут союзников.

– Силятся и нас втянуть. Барон Герц давно рыщет. Уж теперь явно, в чьей упряжке скачет. Сулит помирить нас со шведами, а за это изволь дать войско Якову, против Георга.

– Ты обещаешь, тять. Авось замирит нас...

– Ладно, не учи! – бросил Борис и рассмеялся. Парень не глуп, постигает дипломатию.

Александр не унялся.

– Пускай замирит сперва. А там посмотрим...

– На то и глаза... Однако различать надо – где расчет здравый, а где авантюра. Понял? Якова били и будут бить.

Однако, случается, – из праха крупицу злата извлекают же. Вдруг все-таки подвернется оказия приблизить мир. Потому-то Петр Алексеич и милостив с бароном Герцем, не гонит сего пройдоху, лезущего в посредники.

Приказывает царское величество не упускать и Якова из поля зрения. Что ж, разумно. Кстати, Сен-Поль обещал писать и впредь. В Авиньоне, при Якове он теперь нужнее, чем в Со. За герцогшей есть кому наблюдать. Думать надлежит, как докладывать царю насчет Альберониевых машинаций. Так, чтобы не возникало у царского величества излишних надежд.

Отсюда ведь виднее...

Прудок дипломатический, именуемый Гаагой, замутился еще больше – из-за претендента.

– Нам с тобой, Санька, глядеть в оба.

Сын остепенился, пыл его к купчихе охладил в Роттердаме батавские искусницы. Но слава гуляки, повесы галантного к нему уже пристала, и дезавуировать сие реноме посол не склонен. Александр посещает ассамблеи, таверны, водится с молодыми кавалерами из посольств, а они менее сдержанны, чем их начальники.

Куракин слушал, ждал. И вот уже всколыхнула гаагский прудок затея Альберони.

Приехал Герц.

– Пристал ко мне как улитка, – сообщил Шатонеф. – Он не был у вас? Будете иметь удовольствие. Его идефикс – сепаратный мир между Швецией и Россией. Я готов заранее поздравить вас, но вряд ли на этого миниатюрного политика следует полагаться. Он упрасивал меня быть посредником. Но официальных полномочий из Стокгольма у него нет.

Барон не замедлил явиться. Все тот же молодежавый, юркий коротышка. Уморительно щеголяет военной выправкой, тонет в ботфортах. Котенок в сапогах... Маленький человечек, втершийся в большие дела, как сказал Петр Алексеич про голштинского министра, продавшего шпагу и хитрость Карлу.

Да нет, не улитка, скорее, клещ... Битый час уверял, что Карл бесконечно уважает царя, жаждет мира, согласен на уступки. Что никогда не позволял себе называть царя и его славных воинов варварами. Что мирить возьмется Франция.

– Посреднику благожелательному, – сказал Куракин, – мы рады, хотя вообще его царское величество посредников не ищет, ибо опирается на свои силы.

Человечек разговорился, туманно погрозил Георгу, сеятелю розни, – претендент-де оружия не сложил. Напротив, вооружен, как никогда. Пророчил неминуемое ослабление Англии, – ведь корона достанется Якову только английская, Ганновер отпадет.

«Отпадет на поживу Карлу, – подумал Куракин. – Тут и есть его профит. Один Ганновер против Швеции не выстоит».

– Ваш суверен, – заметил царский посол, избегая титуловать врага, – видимо, ставит целью вернуть владения в Германии.

– Утрата этих провинций, – ответил Герц, помявшись, – поистине крайне чувствительна.

«Ты и Голштинию свою запродашь», – произнес Куракин мысленно.

Барончик крутил усы, похлопывал себя по голенищам, пряча смущение. Маневр разгадан. Альберони не назван, но Герц по его нотам поет. Ослабить Англию, создать империю франко-испанскую и спасти от разгрома шведскую. Сохранить ее за счет Германии и за счет России, ибо вряд ли Карл, столь обнадеженный новым альянсом, будет уступчив.

Руки чесались указать барону от ворот поворот. Разумно ли, однако, отказаться от сего соприкосновения с Карлом? Царь бранит маленького интригана, но ухо приклоняет.

Герц хлопнул по голенищу громко, решительно. Ну как выхватит грамоту Карла! Сего не случилось. Барон вскочил. Кушать не стал, – нет и минуты свободной.

– Ускакал в Париж, – сказал на другой день Шатонеф. – Привезет приказ регента, навяжет-таки мне роль миротворца.

Вольтер скажет о нем – «невозможно ни больше изворачиваться, ни больше приспособливаться, ни играть больше ролей, чем этот добровольный посредник».

В ассамблее имя Альберони произносилось редко, но он витал незримо в клубах табачного дыма, над пасьянсом, над домино, над шахматными досками. Гишпанский посол Беретти Ланди, высокий, тощий, туго обтянутый черным камзолом, огорчал любопытных суровым молчанием.

Завернул на несколько дней Петр Толстой, привез инструкции от царя. Пахнуло давнишним – Ламбьянкой, незабвенной венецейской младостью. Проследовал, едучи в Ганновер, Георг. Оба москвиты толкнулись к нему, но аудиенции не удостоились. Прибытие в Голландию царь откладывает, поручает все соображению Куракина. И вдруг сюрприз – лейб-медик Арескин.

– Ну, удружил! Я уж тут по-русски разучился, – ликовал посол, придерживая тяжелый локоть старого приятеля.

– Хоромина у тебя знатная. Вот окна на запад... Ветер бьет поди. У меня кости ноют.

Едва отдышался, одолев короткую лестницу, высматривает, куда бы сесть.

– Поговори по-русски, Борис Иваныч. Поговори с шотландцем.

Усмехнулся мягко, печально, вминаясь в кресло. И посол улыбнулся в ответ, еще не подозревая, с каким грузом тревог явился Арескин. Ласковый доктор Арескин, обрусевший до того, что и выговор усвоил чистый, растягивал слова по-московски, по-боярски, и детей вырастил русскими, и редко когда вспоминал свою полузабытую родину...

Напомнили ему, как на грех...

– Якобиты касались тебя? – спросил медик, приступив к делу без околичностей.

– Вертелся тут барон Герц, – ответил посол откровенно. – Полишинель на шведской веревочке. Однако срывается, много сам куролесит, войдя в азарт. Сулит помирить нас с Карлом, через орлеанца. Шатонеф говорит – заодно выжимает деньги для Карла. Ловкач! Потом того же регента по шапке...

Арескин открыл рот – так ошеломила его кампания, начатая Альберони.

– Персонка Герца, – закончил посол, – для нас, я рассуждаю, не вредная, понеже Карла с Георгом ссорит. Также и Яков – черная кошка среди западных потенциалов.

– Черная, черная, – отозвался доктор. – Мыслишь с Петром Алексеичем согласно. Ох, князенька, боюсь, и я сорвался наподобие Герца!

От рождения он Эрскин, Роберт Эрскин, в Шотландии у него брат, сэр Джон Эрскин, да двоюродный брат Чарльз Эрскин – тот и другой якобиты. И герцог Мар, глава мятежных шотландцев, лейб-медику родственник. И он, Арескин, состоит с заговорщиками в тайной переписке, каковую его царское величество поощряет.

– Сносись, говорит, от себя, меня к твоим атаманам не припутывай.

Сей наказ доктор соблюдал строго, да вот бес затемнил мозги... Написал сгоряча, отослал и спохватился, – мучает предчувствие скандала. Копий не делал, восстановил письмо по памяти.

Борис прочел:

«Царь не сможет сблизиться с Георгом, которого ненавидит смертельно, и весьма приветствовал бы случай утвердить на английском престоле Якова Стюарта. В его правах на трон царь убежден. Будучи победителем, он не может первый сделать предложение шведскому королю, но если Карл сделает хотя бы малейший шаг, то немедленно все будет улажено между ними».

Пока длилось чтение, Арескин сидел пришибленный в ожидании приговора.

– Эка, разрубил гордиев узел! – произнес посол и разгладил на колене бумагу. – Малейший шаг, и конец... Какие астры советовали тебе? Ладно, беды я не нахожу. Атаманы твои, думать надо, не болтливы.

– Тебе каюсь, Борис Иваныч. Я ночами маюсь, подушку кусаю. Возьми, ради бога, избавь, поступай, как совесть велит.

Взял бумагу у посла, подал обратно. Трепетал листок, тыкаясь в грудь, назойливо. Борис отстранил, произнес с укором:

– На меня возлагаешь? Царю бы отдал лучше. Боязно?

– Врать не хочу, боюсь, – кивнул медик. – А коли скажешь... отдам Петру Алексеичу.

Глаза молили о снисхождении.

– Вылетело – не поймал, – сказал посол, и глаза Арескина просветлели, застыли озерами голубизны. – Спасибо, что упредил хоть... Бери цибулку свою и уничтожь!

– Тогда уж при тебе...

Кинул бумагу в камин, спалил. Опять помянул беса, толкнувшего на безрассудство.

– Зря ты про нечистого, – возразил посол.

Дух побуждал благородный, дух Марии Стюарт, обитающий среди шотландцев. Возникло азовское сидение, шатер генерала Гордона, славного рыцаря, портрет несчастной королевы, погибшей на плахе. Погубленной высокомерием, коварством – духами подлинно нечистыми.

– Я ведь знаю тебя. Кабы ты из корысти... Уж не пожалел бы, слово даю. Не заступник корыстных, грех не приму за них. Отведал бы ты палочного угощенья.

Медик между тем приходил в себя. Разглядывал камин, покрытый изразцами, – художник изобразил на них синей краской голландские каналы и мельницы, рыбацких женок с корзинами, рыбаков в воскресной одежде – в широких распузыренных штанах и коротких курточках.

– У Меншикова тоже... Видел бы, Борис Иваныч, чертог в Питербурхе! Королевский, не губернаторский... У царя что в сравненье – домишко! Недостроен еще, а раскинулся на бережку. Громадина! У тебя печка в изразцах – у него спальня вся... Обожает Александр Данилыч это голландское изделие.

– Заказ был от царя, – сказал посол удивленно. – Что ж, для милого дружка...

– Точно, Борис Иваныч. Засыпан милостями. Раздобыл, саблей не взмахнет уж, подагра въелась. Шут царский зубоскалил, – купи, говорит, слона Данилычу, низко ему на лошади.

Он словно ребенок, простосердечный доктор. То чуть не в слезы, то в смех... Наконец, вспомнил первую свою обязанность, спросил, нет ли жалоб на здоровье.

– Чирьи полопались, – сказал посол. – Ухо заложило, надуло, должно... Не одна хворь, так другая.

Осмотрел лекарь, ощупал всего, обнаружил еще бледность десен, вздутие живота и вялость кровообращения. Нацарапал дюжину рецептов и отбыл.

А посол, растерев помятые места на теле, долго пребывал в раздумье у камина, где ток воздуха тормозил обугленный край листка. Наглупил медикус. Мало, ох как мало просвещенных людей, оттого и Арескина приобщили к политике, сего мастера клистиров и декохтов! Наглупил, перестарался... Ему надлежало лишь показывать интерес царя к заговору, держать его в курсе событий. Однако плохой бы он был шотландец, если бы сохранил фигуру безучастную.

Обширная сеть, сотканная в Мадриде, захлестнула-таки одной своей петлей...

Потомок, разбирающий архив Куракина, найдет «Ведение о главах в Гистории» – набросок сочинения неоконченного – и в нем две строки:

«О бытности барона Герца в Гаге и о начатии его интриг в интерес претендента и с нашим двором и у нас с претендентом через дохтура Аретина».

Аретин, Арескин, Арешкин, – звали лейб-медика по-всякому. В секретной же корреспонденции якобитов ему присвоена условная фамилия «Дадли».

Потому что ясно откроется мнение Куракина об этих интригах в записке, представленной царю. Составлена она скромно, как отзыв на «разглашения», то есть на слухи и мнения, циркулирующие в Гааге.

«Что же принадлежит до учинения диверсии в интерес Гишпании, или в восстановлении на трон агленской кавалера Сен-Жоржио, названного претендента, рассуждают, есть ли в том интерес собственный Вашего Величества, понеже со стороны Гишпании больше того получить не можно, как субсидии во время операции».

Посол согласен с теми политиками, вовлеченными тут риторически, которые считают, что «быть интересу Вашего Величества иметь дружбу и союз с теми потенции, которые бы могли в состоянии быть обще с Вашим Величеством Швецию в узде содержать... И ко всему-де тому Гишпания по своей ситуации, отделенной от севера, весьма неспособна».

...В комнате похолодало, сильный ветер с норд-веста, ветер из просторов Атлантики, гулял по Гааге, швырял в канал пожелтевшие листья, морщил дворцовый пруд, загонял в дощатые убежища лебедей. Огарков принес охапку дров, в камине заиграл огонь, поглотивший остатки арескинского признания.

Есть колдовская сила в пламени, в его яростной пляске. Борису чудятся баталии, пылающие оплоты, взрывы мин, заложенных под стены, факелы осажденных, потоки горячей смолы, ракеты, расцветающие снопами искр. Возникает, плывет в знаменах огня Мария Стюарт, бессмертная красота ее отваги, ее амора к недостойному царедворцу. Черты Марии тонут, меняются, – и вот уже не королева Шотландии смотрит на Бориса, а Франческа, неистребимая в его душе, смотрит из солнечного, счастливого венецианского пожара.

## 10

Набежала осень, окутав Гаагу туманами, багрянцем листвы, отмыла дождевой водой до глянца черепицу крыш. Борис ложился в холодную, влажную постель с горячей бутылкой, носил шерстяное исподнее, моцион совершал, по совету голландцев, в деревянных башмаках, но сырость просачивалась, впивалась в кости. В иное утро не встать, – окоченели руки и ноги.

Зыбкая почва в саду хлюпала. Набег дождя, секущего, острого, загонял в кабинет, где горько пахло растопленным сургучом и Александр готовил к отправке почту.

– Тять... Конфеты от француза...

Уже распробовал, пострел, облизывается. Ему сладко... Принимай подарки да отдаривай – вот пока все отношения с Францией. Шатонеф рад бы продвинуть дело. И его истязают простуды, как равно и волокита.

– У Герца в Париже не ладилось, – рассказывал граф. – Регент отвечал неопределенно,

посредничать не взялся. Работа Дюбуа, мой принц. Пока он в силе, последнее слово за Англией.

Не взялся – и тем лучше. Что за толк от посредника, послушного англичанам либо шведам! Сперва нужен союз с Францией.

Встреча аббата со Стенхопом в Гааге была не последней, Дюбуа затем виделся с ним в Ганновере. Лорд настаивал на изгнании претендента из Франции, Дюбуа сглаживал щекотливую проблему.

– Вы не учитываете настроения католиков. Воля суверена тут недостаточна, – в свое время покойный наш Людовик запретил выпускать кальвинистов из Франции, но тысячи семей пересекли границу.

– По мне, это препятствие пустяковое, – признался лорд. – В Англии все равно не примут короля, приведенного из Франции, так что пусть регент не питает иллюзий. У Якова жалкая кучка почитателей.

– Так стоит ли нам препираться?

– Я бессилен, милый аббат. Все люди короля, все лошади короля не в состоянии...

– Сдвинуть короля, – хохотнул Дюбуа.

Георг, находившийся тогда в Ганновере, осчастливил аббата – пригласил его к обеду. Беседа и здесь завертелась вокруг претендента.

– На вашем месте, ваше величество, – сказал лорд Уолпол, – я бы дал Якову миллиона три отступного.

Георг еще не дожевал кусок жаркого. Стенхоп царапнул ногтем по скатерти.

– Эти три миллиона обратятся в порох и ружья. Вся Шотландия за Стюартов.

Два советника, два любимца короля то и дело пикировались, чем нередко забавляли Георга.

– Господа, – произнес он, обтерев рот, – у Якова во Франции вдоволь денег и сообщников. Дюбуа не мог не вставить слово.

– Сир, не заставляйте меня защищать честь правящей фамилии Франции.

– Излишне, аббат. Я имею в виду ваших священников, Ведь мы для них еретики. Вот вам факт – епископ Несмон снабжает Якова деньгами.

– Знали бы вы этого пастыря! – воскликнул Дюбуа, решив отшутиться. – Женщины избегают исповедоваться у него, он их щиплет. А выйдет к прихожанам – мечет грома. Ему сказали однажды: Христос был милостив к блуднице. Знаете, что сморозил епископ? Напрасно, напрасно, я бы ее...

– Такие полусумасшедшие паписты, – усмехнулся Стенхоп, – порода ядовитейшая.

– Блаженны нищие духом, – вздохнул Дюбуа.

– Господа, – Георг поднял бокал, – выпьем за претендента! Мне жаль его. Я недавно сказал одной даме: грешно сердиться на несчастных.

Король обвел присутствующих долгим взглядом, – изречение предназначалось для потомства.

После обеда Дюбуа беседовал с королем и министрами, получил подарки. Регенту докладывал:

– В Лондоне боятся претендента, как черт молитвы. Надо уступить, и договор у нас в кармане. От царя держитесь подальше, иначе вы мне испортите весь компот.

Филипп был не в духе. Надоел до умопомрачения шведский посол, просил ускорить выплату субсидии. В казне денег в обрез. А герцог присмотрел бриллиант необычайного свечения...

В Париже аукнется, в Гааге откликнется. Шатонеф сказал царскому послу:

– Вы правы. Наше золото летит в прорву.

Зима заявила о себе ночью – паутинками льда. Небо фаянсовой белизны к полудню медленно голубело. Борис выпил кваса, застуженного в подвале, занедужил горлом и слег. Поднял курьер из Амстердама.

– Его царское величество...

Наконец-то... Собрался за час, к бумагам на столах, на поставцах, на полках едва прикоснулся, – самое важное в голове. Понятно, Гаага с ее политесами царя удручает, в Амстердаме он у самого моря, у кораблей, у верфи, где, бывало, плотничал. Верно, обнял

старых друзей – Гоутмана, Брандта.

Застал царя лежащим. И возле него Арескина. Свалила жестокая лихорадка. Доктор сделал знак остерегающий, – не след, мол, тревожить. Но царь поднял голову, подозвал. В мерцании свечей змеились спутанные волосы на лбу, рдели щеки, красные от жара.

– Подойди, Мышелов! Много наловил? Хвастай!

– Нечем хвастать, Петр Алексеич, – сказал Борис. – Орлеанский дюк увертлив, никак не закогтить.

– Встану вот... Сам поеду к дюку. Надо в Париже побывать. Катя моя тоже не была. И ты ведь не был.

– Не доводилось, государь.

– Поедем в Париж, Мышелов.

Милостив весьма. Стало быть, деятельностью своего посла доволен. Борис осведомился о царице. Едет вослед, спешить ей нельзя – беременна. Дорога из Пруссии неописанно худа.

Арескин звенел ложкой, смешивая снадобья, озабоченно, с присвистом дышал, умудрялся заполнять всю горницу своей ажитацией и явно вытеснял Бориса. Он колебался – надо ли утруждать больного долее. Царь не отпустил, заставил выложить все, запасенное послом.

– Герца выставить вон всегда успеем, – сказал звездный брат. – Так он и претенденту ворожит? Достоверно это?

– Несомнительно.

– Яков, говорят, в монастыре. Не постригут его монахи? Зачем тогда Арескин тут торчит. Караулит... Коришпонденция идет, с матросами, от шотландцев. Что, в Лондоне узнают? Острастка Георгу...

При этих словах Арескин, капавший в склянку что-то зеленое, задышал громче.

– Европа и так напугана, – сказал посол твердо. – Отойдет пускай...

– Фридрих целовал меня... Один полк в Дании зимует, всего один полк драгунский... Теперь весной не проспять... От Аландов теснить шведа...

А что Герц да прочие хитрецы выются вокруг нас – от Якова или от Карла, – то, по разумению царя, служит престижу государства. Хорошо, что уповают на Россию, лебезят, кланяются нам, варварам.

Но известно ли государю, какую сеть плетут в Мадриде? Нас покуда лишь краем захватило. Барон Герц – агент из числа многих, шныряющих по столицам. Сеть обширная, сын гишпанского посла похвалялся давеча за чаркой – англичанам в Индии скоро конец. Вон куда замахнулись! Запад Европы целиком нужен, да еще владения императора – Сицилия, Сардиния. Ведь Альберони и королева из рода Фарнезе, оба итальянцы. В будущем году возможна война. Против Георга и также против цесаря. Нам от сего кострища держаться бы подальше, каштанов там печеных для нас не найдется.

– Посуди, Петр Алексеич, – убеждал Куракин, – зачем нам империя гишпано-французская, связанная альянсом со Швецией?

– Учишь меня, Мышелов? – выдохнул Петр смиренно, прикрыл глаза, потом резко повернулся: – Что там у вас, в Гааге, господа амбашадуры про нас толкуют?..

В горле у царя застряло имя, застряло комом. Чье, Борис догадался тотчас. И доктор уловил изменение голоса, подбежал со склянкой в руке, облил Бориса зеленой жидкостью.

– Про Алексея что?

Звездный брат приподнялся, и Арескин уперся ему в плечо, понуждая лечь, не выпуская склянку, отчего зеленая жидкость, свойства, видимо, успокоительного, проливалась на одеяло, на постель, на волосатую грудь больного.

– Болтают, – отозвался Борис. – Ветер носит...

Было известие – царевич выехал из Санктпитебурха за границу, к отцу. Не прибыл, находится неизвестно где. Куранты молчат, предоставляя простор слухам. Подался к чужому суверену? Этого Борис постигнуть не мог, не хотел, – подобного в России не случалось. Предался литовцам князь Курбский, при Грозном. Но наследник престола!.. Повернул в Суздаль, к матери, спрятался в обители? На него похоже...

Звякнула склянка, упавшая на пол, затем стекло поставца, из которого посыпались чашки, блюдца, ложки – парадный сервиз хозяев дома. Арескин, отлетев, вдавился туда спиной. Петр

встал с постели, наступал на Куракина – огромный, босой, в длинной сорочке с распахнутым воротом. Нездоровый блеск в глазах звездного брата слепил Бориса.

– Говори! Клещами вытяну...

Не надо бы повторять ложь, но черты царя уже искажила судорога, и Борис сказал: врут, будто царевич в Вене, у цесаря.

– Врут, Петр Алексеич, врут, – твердил он, силясь отвратить припадок.

– И мне тоже, пруссаки... У цесаря он, у цесаря... А, как считаешь?

Речь прервалась, Петр зашатался. Вдвоем подхватили под руки, уложили. Арескин вытер пот, выступивший на лбу больного, охая, подобрал осколки стекла.

– В Гааге небылиц не огрести, – и Борис выдал смешок. – Будто в Сибирь сослан царевич.

Потом Борис выпытывал у ближних царских людей – канцлера Головкина, подканцлера Шафирова, – может ли стать, что Алексей у цесаря, правдоподобно ли? Точных известий нет. Возвратившись в Гаагу, посол пытался вызвать на откровенность австрийцев, – напрасно, воды в рот набрали.

Арескин умолял молчать при царе об Алексее. Горячка, питаемая бедой, разлуповалась, обрекла на долгий постой в купеческом доме. Чтобы отвлечь царя от тяжелых мыслей, Арескин поил пациента декохтами под прибаутки шута, крутил музыкальный ящик, повесил над постелью двухмачтовый фрегатик с полной оснасткой и вооружением.

Но нельзя было уберечь царя от невзгод, следовавших в ту зиму чередой.

Императору курьер помчал просьбу: буде царевич в его владениях, то приказал бы отправить, «дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли». Молва повсюду указывала на Вену как убежище отступника. Император медлил с ответом, наконец политесно отказал. Он-де благими наставлениями позаботится, чтобы светлейший принц сохранил отцовскую милость, и неприятелям его не выдаст.

Между тем Герц, множа свои хитросплетения, уже советовал Карлу шведскому переманить беглеца к себе. Барон жаловался потом – король, решительный на поле битвы, но нерасторопный в политике, упустил важный шанс.

Куракина в Гааге пуще недугов простудных донимал стоустый шепот – против царя, в Москве и в полках, зимующих в Мекленбурге, зреет возмущение. Царь опасно болен, а в числе его свиты есть сторонники Алексея. Быть может, Куракин, родственник царевича...

Изволь же, посол российский, подавлять злоязычие презрением, не проявить ни печали, ни послабления в демаршах!

Шатонефу сообщай чуть не каждодневно о здоровье царя, успокаивай – угрозы для жизни нет. Внушай непрестанно, что поступок Алексея царя не сломит, трон его не поколеблет и переговоры с Францией должны идти курсом прежним.

Регент Шатонефу написал:

«Дайте понять царю, что я рассматриваю его пребывание в Голландии как возможность договориться о прямой корреспонденции между нами и о взаимовыгодной коммерции. Вы можете также поставить в известность министров царя, что я не откажусь принять в эти сношения тех его союзников, которые этого пожелают».

Ура, лед двинулся!

Холодом пахнуло из Вены, зато на стороне французской потепление – вопреки стараниям Дюбуа.

Год 1716-й минул, передав новому году предприятия незавершенные, замыслы подспудные.

Альберони продолжает плести свою сеть, Герц носится по Европе, иногда путаясь в собственных интригах, попадая в свою же ловушку.

Новый год принес торжество Дюбуа. Договор, поглощавший его усилия, подписан. Англия, Франция, Голландия гарантируют взаимно условия Утрехтского мира. Регент вышлет кавалера Сен-Жоржа за Пиренеи, велит срыть до основания фортеции Дюнкерка, прекратить работы в Мардики. Зато Англия защитит французский трон от притязаний со стороны испанцев, а это и составляет главный интерес орлеанца.

Георг, поздравляя аббата с успехом, пишет ему:

«Стенхоп подтвердит Вам мою радость по поводу соглашения... Если бы я был регентом Франции, я не оставил бы Вас в должности государственного советника. В Англии Вы были бы через три дня министром».

Шатонеф выслушал поздравление царя, высказанное Куракиным.

– Его величество ничего так не желает, – добавил посол, – как распространить доброе согласие на всю Европу.

Январь одел ледком каналы. Смелчаки расчертили хрупкую синеватую поверхность коньками. В ассамблеях публика жалась к каминам. Зима, сковавшая акции военные, замораживала и демарши дипломатические.

И вдруг – новость. В начале февраля царю, еще палимому горячкой, доставили депешу из Лондона, от резидента Веселовского.

«Четвертого дня приключился здесь случай чрезвычайный и очень полезный интересам Вашего Царского Величества, а именно: по королевскому указу шведский министр при здешнем дворе Гилленбург в доме своем арестован, вся переписка его забрана и отнесена в тайный совет; в тот же день арестованы три человека из партии тори и отправлены чиновники для арестования многих других лиц по областям, также посланы указы во все гавани, чтобы не выпускать ничего без паспорта от государственного секретаря, а в адмиралтейство послан указ, чтобы немедленно были вооружены двадцать три корабля».

Заговор раскрыт, шведский посол уличен в связи с друзьями претендента, обнажен план свержения Георга.

«Было положено, что в начале марта от 8 до 12000 шведского войска высадятся в Шотландии и соединятся с партией претендента».

У Георга, стало быть, полный разрыв с Карлом, а может статься, и война... Большой повеселел, оттолкнул Арескина с декохтом.

– Недаром я за Карла пил, – слышь, Арешка! Никакой ценой не купишь, что он сам натворил.

Куракин не разделял восторгов, раздававшихся в Амстердаме, в царской ставке. Подобные казусы в анналах Европы ординарны и на ход истории влияли не всегда. Еще вопрос, как обернется сия заваруха... Куракин был за Ламаншем и представлял себе, сколь дотошно разбирают в тайном совете переписку шведа, сколь усердно разгадывают цифирь и вылавливают адресатов.

И точно – вскоре докопались до самого сокровенного. Открыли, что за «Дадли» обнадеживает шотландцев от имени «Бакли», то есть царя.

Пришлось Веселовскому подавать «оправдательный мемориал», опубликовать его на английском и на французском языках, «для показания всему свету». Дескать, царь ни претендента, ни посланцев его не принимал, что было правдой. Арескин же только лечит и в государственных делах не участвует, что было полуправдой. Писем лорду Мару не писал, что было вовсе неправдой. Но, на счастье, подлинный документ, из-под пера лейб-медика, видимо, не отыскался, он же – сказано в мемориале – заявил о своей невиновности под присягой.

Послу же Куракину задача – изображать в Гааге мину гордую и непринужденную при плохой игре, отражать нападки, глушить неприязненные отзвуки скандала.

## 11

Правда ли, что царь приедет в Париж? В газетах об этом ни слова, в Пале-Рояле ответа прямого не добиться, но все кругом говорят...

– Да, господа, готовьтесь! – дразнит Сен-Симон. – Нам надлежит приручить «северного медведя».

Всезнающий граф носится по Парижу в легкой пароконной коляске, окатывая грязью лоточников на узких улицах, тыча из оконца тростью в попрошак. Входит в каждый особняк уверенно, как в свой собственный, быстрыми, мелкими шажками, подгибая колени, словно в постоянном реверансе.

– Скоро, скоро, друзья мои... Из Голландии пишут – выедет к нам до конца месяца.

Забыта девица де Ретц, которая ужинала в лесу голая, с молодыми кавалерами. Забыт



буйный де Шароле, застреливший из пистолета пожилого буржуа, – тот стоял у своей лавки в ночном колпаке и оскорбил взор герцога. Теперь самое волнующее – прибытие Петра, суверена занесенной снегами России.

– Неужели он привезет и царицу?

– Невозможно, граф!

– Царица-прачка! Как хотите, но порог моего дома она не переступит.

Затяжной мартовский дождь не отменил журфикс у герцогини де Берри. Все ждали Сен-Симона. Наслаждаясь вниманием, он говорит с видом игриво-многозначительным:

– Ситуация затруднительная... Надо заменить ему царицу.

– Попытаюсь, – бросает с вызовом хозяйка, кокетливо выпятив нижнюю губку.

Нимфа на полотне, над диваном, похожа на де Берри – губами, нежным овалом лица. Диван занимает почти половину комнаты, гости уместились на нем в разнообразных позах. Сен-Симон стоит, он забежал на минуту.

– Вам не придется даже каяться, герцогиня, – улыбается он. – Вы послужите Франции.

Отчаянная де Берри неумоима в светских удовольствиях, но раз в год прерывает их, чтобы удалиться для исповеди и поста. Гадатель предсказал ей, что она умрет молодой.

В коридоре Сен-Сира на графа вихрем налетают воспитанницы. Многих он знает с их младенчества.

– Какие люди в России? Черные, как негры?

Попечительница школы – престарелая мадам де Ментенон, вдова Людовика Четырнадцатого. Он обвенчался с ней тайком, ночью, в кабинете Версаля. Сен-Симон сделал ее персонажем заметным в своих записках. Беседуя с ней, внимаешь веку ушедшему.

Ментенон полулежала в кресле. Натертое мазями лицо белело мертвенно. Около нее бубнила усталым голосом читальщица.

– Похождения Телемака! – воскликнул Сен-Симон. – Милая старина.

– Нынешние романы неприличны. Друг мой, неужели регент примет московита?

– Почему же нет? Царь захочет видеть и вас.

– Нет, нет... Невозможно, граф! Людовик не приглашал русских. Я не должна... Я запрешь в спальне.

– Препятствие для царя ничтожное. После того, как он взломал столько крепостей...

Ментенон простонала, тонкие, искривленные подагрой руки поднялись с мольбой.

– Спасите меня, друг мой!

– Париж ночей не спит, ожидая царя, – сказал Сен-Симон маркизу Сен-Полю. – Великан с дубиной... Это что-то вроде Страшного суда. Да, вы же видели его в Курляндии... Он действительно бьет министров?

– Кое-кому попадало.

– Что ж, избивать дураков похвально. Я бы сам вооружился дубиной.

Дружба с графом, усердным летописцем Парижа, Сен-Полю весьма на руку. Куракин просит сообщать, что говорит столица о царской особе, как будет встречать.

Дюбуа пустил слух, что царь болен и вряд ли двинется с места. Предвидится восшествие на престол Алексея, укрывшегося от отца в Австрии. Царевич враждебен начинаниям Петра, и Россия опять замкнется в своей дикости. Сурдеваль – секретарь аббата – расписывал красками зловещими жестокость царевича.

– Он истязал Шарлотту, убил ее. Слушайте, что она писала родителям: «Я всего лишь несчастная жертва!» Нет, нет, господа, запад и восток несовместимы!

Сен-Поль не утерпел.

– Странно, – возразил он. – Франция все же находит общий язык с турецким султаном.

В посольских особняках Парижа оживление. Особенно встревожены англичане. Инструкция послу Стэру гласит:

«Вы должны употребить все свои старания, чтобы проникнуть в его виды и планы и информироваться о договоре или переговорах, которые могут иметь место между этим государем и парижским двором».

Альберони надеется – Франция, сблизившись с царем, отдалится от Англии. Рознь между неприятелями выгодна. Испанец Челламаре следит за событиями, иногда делится с Сен-Полем:

– У нас собираются пригласить царя в Мадрид. Необходимо прощупать почву.

Неугомонный Герц представил регенту записку – на случай, если Франция согласится посредничать в северной войне. Король Карл уступит Санктпетербург, – считает барон, пусть регент уговорит царя отказаться от Ревеля. За это Петру будет отдан Висмар, ворота в Германию. Между строк читалось – отсюда может возникнуть конфликт с императором, для Франции полезный.

– Выбросьте Герца из головы, – сказал регенту Дюбуа – Англичане арестовали его.

– Кажется, я и вас выброшу, – стонал Филипп и поднимался в свою лабораторию.

Он запирался там все чаще. Придворные заметили, что регент побледнел, стал капризнее за едой.

Хмурый, невыспавшийся, в халате, он вошел в биллиардную Пале-Рояля, удостоил играющих небрежным кивком. Глаза Филиппа блуждали, он машинально взял поданный ему кий.

– Господа, кто поедет на границу?

Сановники переглянулись. Чей-то голос нарушил робкое молчание:

– Я слышал, ваше высочество, у фаворитов царя плечи не заживают от его палки.

Регент поднял кий.

– Вы, – произнес он, набычившись, и коснулся острием кавалера де Либуа, самого молодого, в небольшом чине.

На другой день было приказано готовить для царя апартаменты в Лувре, обставить их с наивозможной роскошью. Дюбуа составил программу приемов и парадов.

– Развлекайте русских, – твердил он. – Не давайте никаких обещаний. Я буду все время с вами. Приставьте к царю храбрых солдафонов – он любит военных. Фейерверки ему, спектакли, красивых женщин – все, чем знаменит наш многогрешный вертеп.

## 12

Перед отбытием из Амстердама царь нашел время осмотреть бумажную фабрику, побывать на знакомой верфи. «Он держался так же просто и непринужденно, как прежде», – напишет в своих мемуарах голландский купец Номен.

На перепутье царь и царица остановились в Гааге, в доме Куракина.

Огаркова, застывшего в ливрее, Петр признал тотчас. Вспомнил, как мерялись силой.

– А, Самсонице! Куда мне сейчас против тебя! Укатали сивку крутые горки.

– Он мужик не простой у нас, – сказал посол – Эксперт, выучился понимать искусства.

– Вон как! – и Петр снова обернулся к Фильке, уперся взглядом. – Послужишь, эксперт!

Весело вздернул кулаком подбородок Огаркова, который согнулся в поклоне неуклюже.

– А в солдатах ты не был, эксперт.

Александра оглядел пристрастно. Заговорил с ним по-голландски, по-немецки. Дернул за кружевной бант.

– Ладный котик... Мышей ловить учишь, Бориска?

Весь вечер, вдвоем с царицей, разглядывал коллекцию медалей. Понравилась медаль сатирическая, выбитая немцем Вермутом, бичующая взятки. На одной стороне лихоимец умильно берет монету, на другой – страж закона, прикрывший пальцами глаза.

– И нам бы отчеканить, Катеринушка! Изворовались... Да не проймешь ведь...

Помянул Меншикова. Банк держит в Амстердаме, под флагом государства хлеб возит голландцам из своих деревень.

– Грабитель, стыдом меня заливают...

Царица унимает гнев, грудной ее голос рокочет ласково и сильно. Борис будто песню слышит, полную женской щедрости. Поистине рождена для короны. Счастлив звездный брат, выпал великому государю великий амор. А вот он, Борис, жалкий Мышелов, оказался амора недостойн, встретил, да не сумел удержать...

Ехать в Париж царица отказалась наотрез.

– Я там мешаю, Питер.

В Париже строго, Париж – это не то что Амстердам или Мекленбург.

– Дуришь, матушка! – сердился царь. – Что там, в Версале, монстры сожрут тебя? Посмей герцогша какая тебе надерзнуть, я ей зад заголю да... Ох, устал я, Бориска! Попробуй ты уломай!

От упорства своего Екатерина бледнела, и черты ее лица выступали резче – женская их плавность исчезала, глаза, обжигавшие Бориса, холодели, брови вытягивались черной преградой.

Настояла-таки... Повелела извиниться перед французами. Тяжел ей путь, не оправилась после неудачных родов.

Петр взошел на яхту скучный. Взморье, как назло, безмятежно голубело.

– Месяц будем лужу месить, – бросил царь, проклиная безветрие.

Шут кинулся надувать поникшие паруса, пыхтел, пыжился, но не исторг и усмешки у царского величества. Петр шагал по палубе, чертыхаясь, замечал изъяны в оснастке. Не угодна и краска на бортах, – вымазаны будто чернилами.

Духовник царя творил крестное знамение на все четыре стороны, освящая судно. Потом, сказав, что от моря томление во чреве, ушел в каюту и там зело напился.

Дорогой Петр сажал к себе в салон Бориса и Шафирова. Спрашивал, каковы обычаи французского двора, какие в Париже партии, сколько лет королю.

– В феврале исполнилось семь, – рассказывал Борис. – Няньки уже не пестуют, ныне под началом мужским. Куверт ставят на стол, как большому. Учится, говорят, неохотно. За его леность секут слугу, как и у нас, варваров, водится, – у них тоже не гнушаются этим средством. Король, верно, уже больных исцеляет. Пять раз в год... Обходит их и приговаривает – король тебя тронул, господь недуг снимет.

– За чудотворца считают, – отозвался Петр, повеселев.

Шафиров слушал посла ревниво и как старший искал повода что-либо добавить.

– Большие персоны есть, которые подозревают Филиппа Орлеанского в намерении извести короля.

– Комплот против регента, сиречь заговор, – сказал Борис, – сотворила герцогиня де Мэн.

Речь дипломатов, почтительная, книжная, быстро надоедала царю.

– Нам до того нет дела, – отрезал он.

Шафиров, помолчав, сказал:

– У князя старые знакомые во Франции. Встретишь ненароком, Борис Иваныч.

– Сомнительно, – ответил Куракин. – По щелям засованы.

– Станислав угнездился, – бросил Петр. – Поместье ему пожаловали. Верно?

– Однако в парижский монд не ходит, – сказал Куракин.

Вспомнили королеву Собесскую. И о ней посол осведомлен, – находится в отцовском замке, в провинции. Впущена во Францию с условием – в политику не соваться. Теперь уже стара, немощна для интриг.

– В Париже, как в Ноевом ковчеге, – сказал Шафиров. – Вели князю, государь, навещать венгра. Ныне не то, что прежде, все нас в фокусе держат... Живо разнесется – посол царя визитовал князя Ракоци.

Борис поддержал вяло. Венгрия придавлена, помочь ей не довелось. Что же, кроме политесов, сказать благородному рыцарю?

– Я и сам пойду к венгру, – уронил Петр.

По причине тихой погоды небольшое расстояние до Антверпена шли целую неделю. Обозначились тонкими полосками берега Шельды. Царь навел подзорную трубу на город, известный коммерцией и знатными мореходами, а также высотой и благолепием собора.

– Земля цесарская, – произнес Петр. – Посмотрим, каков привет будет.

Борису послышалось:

«Выкажут либо неприязнь, либо хвостом вилять начнут, из-за Алексея».

Не встретили гости ни того ни другого. Наместник оказал почет средний. У причала собрались, попыхивая трубками, фламандцы – поглазеть на царя. Петр первым долгом направился к замку Стеен, нависшему над Шельдой гранитной глыбой, подивился толщине кладки – никак циклопы тут трудились.

Думали один день побыть, а простояли три, – кроме фортеции, собора, царя удерживала типография Плантена, коей нет равной в Европе. Дивился Библии на восьми языках,

штудировал карты, начертанные Меркатором. Учинил знакомство с капитанами, которых зовут в печатню исправлять лоцию. Отделавшись от сопровождающих, скоротал вечер с моряками в остерии.

В галерее царь отличил особо живопись Рубенса. Погладил женское бедро на полотне.

– Могучая плоть, Мышелов.

– В натуральном естестве, – сказал Борис, – высшая содержится красота.

– Богомазам нашим скажи!

Перед самым отплытием пробилась к царю, сквозь многолюдство, посадская женка, подала петицию за двух солдат, заключенных в тюрьму. Как узналось, служаки добрые, только нагрубил начальнику. Петр велел простить.

Яхта поплыла по Шельде вверх, при слабом ветре, едва одолевавшем течение, затем лошади тянули судно по каналам, Царя интересовали многочисленные шлюзы. Водный путь поднимался от низменного побережья ступенями, ведя к Брюсселю.

Орудийные салюты, строй гвардейцев в высоких шапках с кистями, – город, слывущий бельгийской столицей, ничем не погрешил против этикета. Борис поспешил уведомить губернатора, маркиза де Прие, – царь избегает жить во дворцах, просит квартиру попроще. Поместили в небольшом домике, в глубине королевского парка.

За ужином розовый, медоточивый де Прие разглагольствовал:

– Жаль, война на севере помешала вам соединиться с императором, окончательно сокрушить султана.

Насчет Алексея и намека не проронил. Словно нет его... А между тем уже дошло до царя – прячут беглеца. Тайно переправили из Вены в Тироль, в замок Эренберг.

Принц ла Тур повез царя к себе, соблазнил собранием курьезов. Откопал в своих владениях римские монеты, а также статуи древних кельтов, которые обитали в здешнем крае прежде римлян. Боги кельтов оскаленные, страшные. Расположение принца, по всему видно, искреннее.

В Генте, городе коммерции богатейшей, восемнадцать купеческих гильдий, в плащах, расшитых золотом, в шляпах с перьями, выстроились от порта к ратуше. Сорок колоколов собора – по-здешнему карильон – вызванивали торжественную музыку. Столь же стройно, благозвучно, доброжелательно звучали колокола в городе Малине. Карильоны всей Бельгии провожали царя.

– Звон-то, звон, Мышелов... Малиновый, а?

Мощь сей громоподобной музыки, как и все крупное, могучее, царю по душе.

Бельгийцы расхвалили ему целебные воды Спа. Он внимал охотно.

– Сторонка любезная. Народ честный. Приедем с Катериной лечиться.

В донесении чиновника, ездившего с царем, потомок прочтет:

«Царь, передвигаясь с места на место, осматривает все, что тут есть, и у него имеются люди, которые знают, что ему надо показать. Настроения его переменчивы, но он неприхотлив, тратит на обед лишь полчаса, в питье воздержан, любопытство проявляет ко всему решительно».

В Остенде русские простились с Бельгией, и ветер резвый, попутный погнал яхту в Дюнкерк, к Франции.

На пристани кавалер де Либуа, щеголеватый, с холеными, закрученными кверху черными усиками, отвешивал поклоны учтиво и непринужденно, с улыбкой лицедея, отлично выучившего роль.

– Ваше величество, очевидно, обладает секретом полетов воздушных, – сказал он царю. – Мы не ждали вас так скоро.

– Я мешкать не люблю, – ответил царь, польщенный комплиментом. – Из Санктпитебурха в Москву, – прибавил он, обращаясь ко всем встречающим французам, – я поспеваю, господа, за четыре дня, а там, если считать по-вашему...

– Четыреста лье, – подсказал Куракин.

– Не могу вам обещать такую скорость, – сказал де Либуа. – Дороги грязные. А главное, города желают приветствовать ваше величество.

– Звона, пожалуй, хватит, – поморщился Петр, и Куракин перевел:

– Его величество благодарит, но желал бы не слишком задерживаться, так как с большим нетерпением стремится к цели путешествия.

Однако на преславный Дюнкерк времени не жаль, хотя от фортеций почти ничего не уцелело. Дабы поточнее оценить стратегическое положение бастионов, выступающих в воду, царь, пользуясь отливом, поехал через лагуну в карете, но увлекся и, настигнутый приливом, едва спасся.

Де Либуа тем временем прикидывал, хватит ли сметы. С царем пятьдесят семь человек. Правда, регент предписал не скупиться. Все же аккуратный камер-юнкер сочтет долгом через несколько дней сообщить в Париж о проделках царского повара:

«Под предлогом двух-трех блюд для царя он забирает говядины на восемь человек».

Где взять лошадей? Четырехместные кареты царь отвергает – в них душно, ничего из них не видно. Рассадить всех в легкие повозки? Добавочных коней и за деньги не купить, заняты на пашне. Камер-юнкер с испугом напишет регенту: царь изобрел экипаж феноменальный, открытый фаэтон на каретных дорогах. Ведь опрокинется...

Кавалеру поручено изучить привычки и нрав гостя. Царь «задумчив и рассеян, прост в обращении, для всех доступен». В изысканной кухне не нуждается. С аппетитом ест фрукты – сладкие апельсины, груши, яблоки. «Нам удалось испечь черный хлеб, очень любимый царем».

«Царь охотно показывается на улице, но не терпит, чтобы за ним бегали. Он не представляет себе толпу в Париже».

«Малый двор» царский то и дело ставит в тупик. Из Кале в назначенный день не выехали, оказывается, у русских Пасха. Ни с кем невозможно говорить». Через Амьен промчались галопом, а там приготовили угощение и бал. Царь пообедал в деревенской харчевне, «вместо скатерти постелил салфетку, которую достал из кармана».

Людей, обученных иностранным языкам и за границей освоившихся, у царя мало. Поэтому «все ложится на Куракина». На расспросы этот вельможа отвечает с умом, материй политических не касается.

Регент не посвятил своего камер-юнкера в тайну корреспонденции, начатой с послом России. Пребывая в неведении, де Либуа писал:

«Я не узнал действительной причины путешествия царя, кроме простого любопытства. Усматриваю неясное намерение установить торговлю, но сомневаюсь, главная ли это цель».

Царь, возвышаясь на своей двухэтажной колеснице, был поглощен созерцанием. Черные пашни курились на вешнем солнце, белесый парок, словно от горячего пирога, вынутого из печи, застилал рощицы, господские замки, скопления серых, замшелых крестьянских лачуг.

## 13

Борис велел кучеру ждать и вышел к реке. Сена лизала берег, истоптанный дожелта прачками, исполосованный тележками водовозов. Плыли пузатые ладьи со скотиной, как на реке Москве. Шириной Сена поменьше. Коровы, зажатые бортами тесно, мучаются, ревут истошно.

Смутное пробудила воспоминание плакучая ива. Ветви ее бороздили воду. Ну да, ухватился, потеряв под ногами дно. Плавать еще не умел...

Отчего вдруг пахнуло родным, детством? Не оттого ли, что закинуло еще дальше от пажитей отчих?

Ведь кругом Париж...

Надо только обернуться – и взгляд заскользит по фасаду, длиннее которого и прекраснее в Европе не сыщется, – двести тридцать сажен московской мерой, как отметил в своем описании Матвеев. И его, мужа бывалого, изумил декор из белого камня, будто живого. Теплым чудится камень. А нимфы, нашедшие приют в нишах, смотрят оттуда с трепетом робости, смущенные своей наготой.

Шатонэф сказывал – картин в Лувре больше тысячи, а статуй, гобеленов, светильников разного стекла, бронзы, серебра сосчитать невозможно. Итальянские мастера, не имея заказов от папы, украшают Париж и Версаль. Здесь она, столица художеств. Будет согласие с Францией, сможем заимствовать живительного огня для Питербурха.

Дайте срок, короли, герцоги, – и северная русская Венеция удивит Европу!

У подъезда дворца сгрудились кареты. Слуги, в ожидании хозяев, расселись под аркой и на улице, чешут языками, возятся, играют в кости. Борис прошел мимо и, приближаясь к Новому мосту, вступил в поток многолюдства.

Политесов тут не требуй. Баба с корзиной, набитой зловонным тряпьем, толкнула Бориса, да еще обдала визгливой бранью. Оборванка, лохмотья едва прикрывают невымытую кожу. Хуже мужика-пропойцы... Борис отталкивал попрошайек, хватавших за камзол, звездочетов, совавших к носу календари. Тут суматошной, чем на мосту Риальто, и грубее. Голытьба не отодвинется, чтобы дать дорогу шляхтичу. На плечи лезут, пробиваясь к лоткам со сладостями, бусами, лентами, к помосту, на котором приплясывает, дергается тощий, смуглолицый малый, сумасшедше вращает белками глаз. Хриплый, подвывающий его голос относилось ветром, – Борис стал разбирать слова песни, лишь когда протиснулся ближе, вслед за напористым верзильюй в ливрее, буравившем толпу бесцеремонно.

Шатонеф поминал дерзких шансонье, сиречь уличных певцов. Этот охрип за день, надсаживая глотку. Припев вовсе не в силах произнести, – выручает его, бьет по струнам юная особа, почти девчонка, в холщовом залатанном платьишке. Бьет изо всей мочи, нагнув белокурую голову, – того гляди волосы запутаются в струнах.

Борис напрягал слух, забыл даже о встрече, назначенной на мосту. Певец изображал неких знатных персон – доставал из карманов и надевал то парик, сработанный из веревок, то бумажную шляпу с позументом, и при этом часто прижимал руки к животу, перемежая пение стенаниями. Борис понял, что у вельмож несваренье желудка. Объелись наследством, полученным бесчестно, хлебом, отнятым у сирот.

Слушатели хохотали, криками одобряли сатиру, смеялся и Борис. Потом вокруг певца поредело, невдалеке взвились над головами, затрепыхались крупные литеры, написанные на полотне: «МИССИСИПИ».

Борис не поверил, перечитал. При чем тут Америка? Толпа повлекла его. Глашатай, в рыжем балахоне, в колпаке с перьями, должно на манер индейский, кричал:

– Золото, золото... Для вас роют золото, парижане... Ваше золото, ваше богатство, ваше счастье... Не упустите, парижане... Берите ваше золото!

Тут, в давке, в гомоне, и вынырнул Сен-Поль, старый коришпонтент. Притиснутый к Борису, обнял его. Мода изменила маркиза, повелела сбрить усы и бородку, оголив подвижное лицо, а лоб удлинить – с помощью парика нового фасона, как бы сдвинутого назад.

– Повальное безумие, – сказал маркиз. – Мосье Лоу, демон-искуситель... Поглядели бы, что творится у его конторы! Да, блеск золота, мой принц, неотразимый блеск. Копните и вы!

Борис косился на ажиотаж с опаской. В толпе расходились, порхали, шелестели листки с печатью банкира, – крикун продавал их, не уставая превозносить громадные, сказочные прииски на Миссисипи. Словно мячик, перекачивался толстый, низенький горбун, – всяк хотел положить бумажку на его спину, чтобы поставить подпись. Радостный, он прикарманывал медяки и бормотал:

– Счастье вам, счастье...

– Гончих за мной нет, – сказал Сен-Поль, и Борис скорее догадался, чем услышал среди гомона. – Царь у всех на устах, – продолжал он. – Некоторых, впрочем, он разочаровал. Где же буйный матрос, полудикий Голиаф? Откройте секрет, мой принц, – почему он не пожелал жить в Лувре?

– Никакого секрета, – засмеялся посол. – Он ненавидит пышность.

– Это правда, что в Лувре накрыли стол на сто кувертов, а царь даже не взглянул?..

– На двадцать пять. Мой суверен попросил только кружку пива – его замучила жажда.

Экипаж колесил по улочкам левого берега Сены, по Парижу неказистому, нечиновному, в густоте мастерских, провожавших кузнечным лязгом, звоном пилы, отсветом горна. Нагнали компанию горлающих юношей, – по вычурным, пятнистым и полосатым рубахам Борис признал в них студентов. Сен-Поль показал здание Сорбонны, изрядных пропорций, в два яруса колонн и с куполом.

– Где Яков? – спросил Куракин.

– Должно быть, у испанцев. Во Франции опасно, Дюбуа уже подсылал убийц. Если бы не

хозяйка гостиницы... Вино развязало язык наемным головорезам, это и спасло Сен-Жоржа.

– Вы по-прежнему с ним?

– Мне кажется, выпал единственный шанс...

– А вдруг опять неудача?

– И у меня нет уверенности, – признался Сен-Поль. – Тогда... Вы помните Симплиссимуса? Он поселился на острове один. Вероятно, у меня не будет иного выхода...

Он доложил о волнениях, возбужденных приездом царя, о расчетах и надеждах в Пале-Рояле и в посольствах. Куракин попросил рассказать о вельможах, приставленных к государю.

Потекла милая, насмешливая речь маркиза.

Маршал Тессе карьеру обеспечил тем, что всем нравился. Это его принцип. Прилипчив, льстит кстати и некстати. Неглуп, ловко прикинется простаком, чтобы подбить на откровенность.

– Вам не надоело еще его хвастовство? Защита Тулона... Заставил самого Евгения Савойского снять осаду.

По мосту, заполненному лавками ювелиров, проехали на остров, миновали собор Нотр-Дам, уже скрывающийся в сумерках.

– Герцог Дантен придворный по призванию, придворный по всем статьям. Королю не понравилась роща возле Фонтенбло, портила пейзаж. Дантен велел подпилить деревья и утром, гуляя с королем, сказал: деревья упадут, как только его величество прикажет. Король кивнул. Герцог дал знак слугам – и липы рухнули. Герцогиня Бургундская пришла в ужас. Она сказала Сен-Симону: «Если король потребует наших голов, Дантен поступит так же».

Под колесами снова мост, выбрались на правый берег, к ратуше, пересекли Гревскую площадь, здешнее лобное место. Остановились, пропуская отряд мушкетеров в шароварах и коротких сапожках.

– Вильруа – гувернер маленького короля. Воспитывает его, взяв за образец покойного Людовика. Выводит на балкон к народу. «Сир, все, что вы видите, ваше!» Стратегии этот маршал вряд ли научит. Не везло ему на войне. Когда вернулся из похода, на воротах его замка висел барабан с надписью: «Меня бьют с обеих сторон». Вы же знаете, здесь нет недостатка в шутниках.

Смеясь, Сен-Поль выпрыгнул из экипажа под теплый шепчущий дождь, в темноту.

## 14

Парижский двор недоумевает, – даже скромный отель Ледигьер, куда царя повезли от Лувра, слишком роскошен для своенравного русского. Петр, отказавшийся от королевской спальни, не лег и в графской, – спит на своей походной кровати.

Людовик приучил суверенов не судить. Он же внушил святое подчинение дворцовому распорядку. Париж – вот он, за окном, а выйти не смей, пока не придут с визитом. Царя продержали взаперти, во имя престижа королевства, три дня. Страдал, изливая нетерпение в письме Екатерине.

«...Еще ничего не видел здесь, а завтра или после завтра начну все смотреть. А сколько дорогою видели, бедность в людях подлых великая».

В этих строках потомок ощутит и жало полемическое, – мол, гордитесь перед нами, лапотниками, а у самих народу сирого, голодного не меньше.

Вот, наконец, избавление... У входа королевская карета, Петр заспешил вниз. Гувернер Вильруа выбирался со старческой осторожностью, ощупывая землю подагрическими ногами. Король сердито надул щеки, оттолкнув протянутую руку дядьки, и соскочил сам, подобрав полы лазоревого жюстакара.

Мгновенное замешательство. Петр вспоминал, что полагается делать, – выйти за порог к королю или поздороваться в прихожей. Между тем откуда ни возьмись сбежалась, скопилась, обступила толпа, столь неприятная Петру со времен стрелецких возмущений.

Современники-французы напишут, как Петр разрубил стянувшую его петлю этикета, – подхватил короля на руки и вприпрыжку понесся по лестнице к себе, оставив далеко позади

пыхтящего, испуганного неожиданной выходкой Вильруа. Но король, счастливый в объятиях веселого, доброго великана, звонко смеялся.

«Дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен», – написал царь Екатерине. Впоследствии он вырежет из кости рельефный портрет Людовика. Мемуары донесут до нас разговоры Петра с королем.

– Сир, вы начинаете ваше правление, а я свое заканчиваю. Надеюсь, вы подружитесь с моим наследником.

– Разве вы такой старый? У вас волосы не белые, как у дедушки.

– Не старый, сир, но у меня много работы. Я не успею сделать всего.

Мальчик оглянулся на гувернера с растерянностью, – о труде управления ему, должно быть, не напоминали.

– Прилежен ли король в ученье? – спросил царь гувернера.

Неотвязно думалось о своем наследнике. Не об Алексее. О том, которого должна дать Екатерина.

– Успехи у его величества прекрасные, – произнес Вильруа с официальным восторгом.

Куракину он признался:

– По правде, король предпочитает книгам ярмарочного полишинеля, избивающего палкой дьявола.

В отеле Ледигьер состоялась и встреча с регентом.

– Мне передали, – сказал Петр, – что с вами большой ваш друг, столь же ценный, как мой незабвенный Лефорт.

– У меня много друзей, – ответил герцог. – Вот де Ноайль, вот Сен-Симон, – начал он представлять входивших в гостиную сановников.

– А тот государственный муж, который устроил ваш союз с Англией и Голландией?

Дюбуа, державшийся поодаль, выступил вперед. Он слегка струсил. О царском любимце он имел понятие туманное, но из учтивости промямлил:

– Имя Лефорта известно всей Европе. Я не вправе сравнивать себя с ним.

– Напрасно, – ответил царь. – Поздравляю вас с мирным соглашением. Монарх не создает хороших помощников, но он возвышается благодаря им.

Дюбуа, воображавший, что он столкнется с противником, был смущен несказанно. Манеры царя показались подозрительному аббату холодными, «как климат его страны». Но записки Дюбуа, составленные отчасти с его слов, воздадут должное редким дарованиям Петра.

«Я не знаю человека, более любознательного и более восприимчивого. Он сыпал вопросами, часто обходился без переводчика и не очень обижал французский язык».

Обязательные аудиенции кончились. Петр погружается в Париж, как в море.

«Его величество ежедневно посещает публичные места и частных лиц, стремясь видеть все, что удовлетворяет его любопытство и интерес к наукам и искусствам», – сообщает «Газетт де Франс».

Газета лаконична, бесстрастна. Но за ее строками – удивленный гомон парижан, необыкновенное поведение монарха, одетого как горожанин, неистово пересекающего город во всех направлениях. Он хватает первый попавшийся экипаж, не брезгует и наемным фиакром.

Очень скоро он сбрасывает опеку церемонных маршалов, сам выбирает себе спутников.

Пришлась ему по душе остроумная беседа Сен-Симона. Царь отобедал у него запросто.

«Это был мужчина очень хорошо сложенный, худощавый, с довольно округлым лицом, высоким лбом, красивыми бровями, носом довольно коротким, но не слишком утолщенным к концу, губы имел довольно толстые, цвет кожи смуглый, прекрасные глаза – темные, живые, пронизательные».

Сен-Симон опишет подробно и одежду царя – коричневый кафтан с золотыми пуговицами, часто расстегнутый, воротник простой, полотняный. Ни перчаток, ни манжет с позументом. Круглый, темный парик почти без пудры. Шляпа обычно лежит на столе в передней, – царь не носит ее.

С Куракиным хроникер на короткой ноге. «Человек вполне светский и порядочный».

Многие современники отметят ум, такт, образованность Куракина, Шафирова. Войдет в мемуары и духовник царя, прославившийся своеобразно. «Он поразил своей вместимостью, –



напишет герцог Ришелье. – Дали ему для состязания одного аббата, – тот с четвертой бутылки покати́лся под стол. Священник взирал на это с геройским презрением».

Царь на голову выше своей свиты, – это признано всеми. Его уже сравнивают с выдающимися мужами античного мира. Очевидно, суждения о нем, о его государстве были ошибочны...

Ждали сперва, что гость устремится прежде всего в Версаль – чудо Европы, образец для подражания. Но нет, ему важнее обсерватория, модель движущихся светил, новый прибор с делениями и стержнем, позволяющий наблюдать с наивысшей точностью затмение Луны.

Куракин тем временем хлопочет на фабрике гобеленов, – царь придет на полдня, будет вникать в дело досконально. Его величество не ограничится закупкой знаменитых изделий – он заведет сие ткачество у себя.

Заодно посол дознается, нет ли желающих наняться к царю, отправиться в Россию.

«Царю представили работников с репутацией», – кратко сообщает «Газетт». Это сенсация. Ни один коронованный визитер не нисходил до них. Царь направляет шаг в задымленную мастерскую, к слесарю, меднику, переплетчику. Сам берет инструмент, не боясь испачкаться.

На Монетном дворе пустили в ход машину, – скорей туда! Тяжелая матрица, висящая на канате, упала, ударила по серебряному кружочку. Выбила изображение Петра, приветственные слова в честь его приезда.

В загородной усадьбе Марли сооружен небывалой силы насос, – вода от него струится по каналам, по фигурным канавкам сада, бьет фонтанами. Гость провел около новинки не один час. В Версале он будет в конце визита, но прогулок ему мало, – перед ним развертывают пейзажи и планы королевских резиденций и парков. Царь штудирует, измеряет ленточкой-аршином, которая всегда у него в кармане. Уже брезжат в его мозгу искусства, населяющие плоский, болотистый край санктпетербургский.

Собеседник едва ли не самый желанный – Фонтенель, литератор, историк, философ, человек ума свободного, не скованного суеверием. Известен принцип секретаря Академии – «все двери открыты для правды». Регент отвел ему – первому ученому Франции – жилье в Пале-Рояле, но этим не приручил, не сделал своим придворным. За Фонтенелем тянется вереница каламбуров, Филиппу, сказавшему, что он не верит в добродетель, академик будто бы ответил: «Она вас, очевидно, не посещает».

Сочинением «Разговоры о множестве миров» Фонтенель раздвинул перед читателями рубежи вселенной, поддержал Коперника, Декарта. Его «История оракулов» обличает вещунов и гадателей древности, но нельзя не усмотреть в ней критики жрецов нынешних.

Нападки он переносит, отшучиваясь.

– Мое счастье, что духовные дерутся между собой. А если они помирятся, все церкви падут.

Сего вольнодумца, предтечу просветителей, как скажут о нем потомки, русский монарх приблизил к себе. Их видят вместе в экипаже. Фонтенель называет книги, полезные для России. Узнает, что в столице выполнен перевод Пуффендорфа.

– Но ведь он отзывается о вашей стране в выражениях крайне нелестных.

– Упреки в невежестве справедливы, – ответил Петр. – Нас и надо стыдить.

Потом Куракин дополнил, – царь гневался на переводчика, который выбросил оскорбительное место. Приказано напечатать «Введение в историю...» полностью.

Царя пригласили в оперу, на длиннейшую пятиактную «Гипермнестру». Фонтенель ужаснулся:

– Вы умрете со скуки.

В зале было душно, простые парижане, допускаемые на верхние ярусы, шумели непочтительно. Петр потруди́лся за день, его клонило в сон.

На сцене зычно ликовал царь Египта, победивший своего брата – царя Даная и захвативший не только страну, но и пятьдесят его дочерей-невест для пятидесяти своих сыновей. Все они мельтешили в длинных белых одеждах, неразличимые, и под стенания хора девы начали, по приказу отца, убивать юношей на свадебном пиру, и длилось избиение раздражающе долго. Гипермнестра пощадила красавца Ликея, соединилась с ним, чтобы породить Геракла и Персея, но этого Петр не увидел, так как высидел только три акта.

Зато к инженеру, к ученому, к механику – хоть на всю ночь... Фонтенеля радовало влечение царя к точным наукам.

– Наше общество чурается сих предметов. Проще всего объявить излишним то, чего не разумеешь.

Он ввел Петра под купол Академии. Физик Вариньон определял силу тяжести, движение и работу текучей воды, что важно для постройки шлюзов, каналов, гаваней. Химик Этьенн Жоффруа выяснял строение вещества и утверждал:

– Можно делать железо и другие металлы, разлагая и соединяя частицы, составляющие их.

Мечта алхимиков, добывателей золота? Нет, Жоффруа отвергает магические их процедуры, только наука вручит человеку ключ к превращениям.

Географ Гийом Делиль демонстрирует свой атлас мира. Он исправил ошибки, накопившиеся за столетия, градусная сетка нанесена точно. Но вот очертания суши... Об азиатской части России, например, данные пока скудны.

Гость на глаз, по памяти указал погрешности, обещал помочь, прислать чертежи русских картографов. Фонтенель благодарил Петра. Царь заслужил почесть, редко выпадавшую венценосцам, – его избрали членом Академии.

Добросердечный Фонтенель счел своим долгом увековечить мужей науки в «Похвальных словах», вошедших потом в два объемистых тома. О Петре говорится:

«Так как до сей поры не было примера, чтобы Академия восхваляла суверена, вступившего в число ее членов, мы обязаны уведомить, что мы рассматриваем покойного царя лишь в его качестве академика, но академика-правителя, императора, который утвердил науки и искусства в своих обширных владениях. Как военный, как победитель, он обращает к себе наш взгляд потому, что сделал искусство войны достоянием своих подданных».

На какой-то парижской улице, на пути Петра случилось быть молодому драматургу Аруэ – будущему Вольтеру. Впечатление было мимолетным, – они не обменялись ни словом. Но оно не стерлось. Зародился интерес к личности Петра, а также и к его сопернику на исторической арене – Карлу Двенадцатому. Вольтер противопоставит их.

«Карл оставил лишь руины, Петр – государь-основатель на всех поприщах».

Видя, как тянет Петра к людям ремесел и наук, Филипп Орлеанский ощутил укол ревности. Его лаборатория не хуже, чем в Академии... Сотрясая басом и грузным топотом хрупкое, звенящее стекло, регент показывал царю эксперименты. Комнату затемнили, фосфор на пальцах регента светился синеватыми огоньками.

– Видали мы, – сказал царь Куракину. – На Сухаревой башне. У Брюса. Помнишь?

Филипп открыл гостю кладовую сокровищ французской короны. Царь смотрел из вежливости, потом признался, что в камнях не разбирается. Устроили для него травлю оленей, – равнодушен и к этому, охоту, оказывается, не любит. Пиры и увеселения, намеченные для него, посетил не все, принцы крови, например, так и не дождались его и весьма разобиделись.

Дантен, образцовый придворный, угодил царю. Пригласив к обеду, повесил в столовой портрет Екатерины.

– Учись, Мышелов! – кинул Петр. – Таков политес настоящий, с пониманием.

Госпожа Ментенон, как ни противилась, от царя не укрылась. Должен он был увидеть некоронованную царицу Франции, подругу «короля-солнца». Петра провел в покои столетний ее придворный Фагон и, шаркая по гулким коридорам Сен-Сира, под сводами, уходившими во мрак, надоедливо расхваливал свое сочинение о лечебных свойствах хины.

– Надеюсь, – пошутил царь, – ваша книга не так длинна, как ваши объяснения.

Ментенон лежала в постели. Она сильно накрасилась. Занавески были раздвинуты.

– Вы больны? – спросил царь.

– Фагон морит меня голодом, – пожаловалась она. – Не дает мне даже супа.

– Чем же вы больны?

– Старостью, – сухо ответила Ментенон. Титуловать царя она упрямо избегала.

– Увы, против этого нет лекарства, – посетовал Петр, наклонившись к ней.

– Вы заставляете меня краснеть.

Царь поднял брови, попрощался и быстро вышел. Так закончилась аудиенция, запечатленная мемуаристами дословно. Петр заходил потом в классы, желая знать, как и чему обучают в Сен-Сире благородных девиц. Ментенон не могла его сопровождать. Но, как сказал, хихикнув, Фагон, попечительница не перестала подбирать женихов для воспитанниц. Лежа, с пером в руке, составляет марьяжи.

Герцогиня де Берри принимала царя в Люксембургском дворце. Петр оценил обаяние хозяйки, веселую непринужденность и еще больше – живопись Рубенса в ее галерее.

Перед Куракиным веером шелков и бархатов развернулся парижский бомонд. С Гаагой не сравнить – фривольность в нарядах и разговорах. Корсажи не держат, прелесть вся на виду. Волосы резко оттянуты со лба, отчего женская особа смотрит дерзко. Соседка Куракина ковыряла рагу, рассеянно сыпала в него табак и тараторила:

– Вон та, в розовом, и та, в зеленом, – любовницы молодого Ришелье. Они стрелялись в Булонском лесу. Да, принц, вообразите – дуэль на пистолетах. Почему у де Нель такое закрытое платье? Да, у розовой... Царапнуло пулей...

Она жадно опускает пальцы в табакерку, умолкает, чтобы вобрать в ноздри черное зелье.

– Ваш царь восхитителен, – слышит посол. – Какая из наших дам способна соблазнить его, как вы думаете, принц? Вы же знаете его вкусы. У нас держат пари...

Танцуя с ней, москвит вдыхает запахи табака и пота. Вымылась бы, а потом нарядилась в шелка... В баню бы ее, в российскую баню...

На празднике в загородном замке царю пообещали, что картины и скульптуры, приковавшие его взгляд, оживут. Свечи притушили, замок наполнился легко одетыми нимфами. Ночью, после разгульного пиршества, одна из них проскользнула к гостю в спальню.

– Париж вскружил голову москвиту, – сказал регенту аббат Дюбуа, очень довольный.

## 15

В отеле Ледигьер житье подчинено привычкам Петра, – встает он с рассветом, даже после приема. Одного только духовника не поднимает шумное царское пробуждение, – спит с похмелья до полудня. А Куракин хоть и не слышит за три стены голос звездного брата, но чувствует, словно в бок толкает кто-то. Сон при царской особе у Мышелова, у спальника, сторожкий.

В ранний час к отелю подходит Сен-Поль, одетый разносчиком. Цидулу от него принимает Огарков.

– Аббат Дюбуа радуется, – сообщил царю Куракин. – Говорит, Париж опутал русского медведя. Скифы, дескать, кроме своих трущоб да матросских притонов в Голландии ничего не видели, – теперь от французских приятностей обалдели. И царь тоже... Не пора ли нам атаковать, государь?

– Обожди! Сегодня у венгра обедаем.

– Вчера опять Книпхаузен наседали на меня... Скорей, скорей союз с Францией! Мы, говорит, со всеми переругались. Беда, если его царское величество нас бросит.

Пруссак, видимо, обеспокоили прожекты Герца, – боится сепаратного мира царя со шведами. Куракин успокаивал:

– Не бросим. Царь пока занят. Отчего бы вам не пойти к нему?

– Куда?

– Его величество днем посетит собор Нотр-Дам. Будет обозревать Париж с башни.

– Ох! – толстяк схватился за сердце. – Туда я не полезу.

– А вечером, – сказал Куракин, – его величество обедает у князя Ракоци.

Секрета в том нет, Сен-Поль обещал разнести новость. Цесарцам надо знать непременно, пускай мотают на ус. Потревожить их полезно.

Веселья за столом не было. Скрипачи-цыгане бередили душу, но Ракоци не оттого впадал в печаль. Поражение обрекло венгра на скитания, – теперь обращает взоры на султана.

– До конца лета уеду отсюда. Положение мое заставляет делать стрелы из любого дерева.

Французская пословица была произнесена с горечью, но без упрека. Однако обед прошел натянуто.

Вечером – снова на плезиры. А вставать царь понуждает рано. Борис едва жив, держится

на ногах лишь силой ободряющих декохтов.

Поначалу в отеле Ледигьер завтрак подавали по парижскому обычаю, в постель. Царю не понравилось. Для чего это? Каждый в своем углу чавкает, будто собака.

Все качалось перед глазами Бориса – звездный брат, запустивший пятерню в миску с кислой капустой, розовое лицо Шафирова, блюдо с жареными фазанами. Их почти не тронули. Голова Бориса клонилась к скатерти.

– Ох, муки адские! – простонал, ущипнув себя. – Хороводимся мы тут, хороводимся...

Шафиров покосился на царя с опаской. Но Петр фыркнул, снова погрузил пальцы в миску.

– На-ко, Мышелов! Освежись!

Угостил по-царски. Еще немного – задушил бы, забивая в рот огромную щепоть.

– Князю грех жаловаться, – сказал Шафиров. – Вчера затмил собой всех кавалеров. Герцогша Ришелье...

– Тьфу! – обозлился Борис. – Привязалась... Вынь ей да положи русского повара. Вишь, испанский есть у нее, немецкий тоже... Подари ей, государь, да уедем отсюда!

Мямлил не прожевав, упрямо, впал в отчаянность и дельных слов не находил. Шафиров вмешался рассудительно:

– Еще не сделаны визиты к принцам крови. Зело обижаются на нас.

– Плевать, – бросил царь. – Всем не угодишь. Ты как мыслишь, Бориска?

– Не к чему визитовать. Дюбуа того и ждет... Сен-Поль, коришпондент мой, говорит – принцы суть лютые противники регента, как и де Мэн.

Принесли шоколад. Петр, не любивший сладкого, отказался. Шафиров нежил японскую чашечку в мягкой ладони.

– Дознаться бы, – начал он, – из чего мастерят дивное сие вещество – фарфор.

Ох, миротворец! Борис не дал утишить спор.

– Кровь у принцев дурная. То не политика – свара мелкая. Обиды некоторых фамилий. Сен-Поль говорит, согласия у них меж собой нет. Дело нам делать всяко с регентом. Да не мешкать... Книпхаузен на пятки наступает.

– Не мешкать? – отозвался Петр. – Мыслишь, хватит, нагляделись на нас французы? Коришпонденты твои как разумеют? А то – начнем сеять, не распахавши. Что проку!

– Меня Сен-Симон опять зовет откусать. Приватно... Дозволь – схожу! Через него многое явно.

– Сходи! – кивнул Петр. – Со мной знаешь как... Онёры да комплименты.

Встреча состоялась в тот же день. Гостиная графа, окнами на Сену, на громаду собора Нотр-Дам, блещет хрусталем светильников, стеклом поставцов с фарфором, заставлена пестрой, легкой мебелью на тонких, выгнутых ножках. Чем-то напоминают верткого, тонконового хозяина эти креслица, стульчики, табуретки. Сен-Симон словно и не коснулся кресла – само подкатило по скользкому полу.

– Прошу, располагайтесь! Верхнее можете скинуть. Давайте без чинов! О ля-ля, Париж летом невыносим! Я прогнал жену в деревню, сижу ради царя. И не только я...

– Понимаю, – усмехнулся посол. – Сенсация невиданная, русские варвары.

– Нет-нет! – и граф плавно всплеснул щуплыми ручками, напомнив Борису танцовщицу в королевском театре. – Даже Юкселль, осторожный Юкселль... Его трясло от страха, но теперь он оправился, слава богу!

Оба в сорочках, притомленные духотой. Закатали рукава, опущенные кружевом. Локти – на холодок наборного стола. Потягивают терпкое вино – для аппетита.

– Фонтенель восхищен вашим царем. Я редко слышал подобные дифирамбы. Такие суверены, как царь, надежда не одной лишь России, но всей Европы. Ее будущее... В России правит просвещение. Сердечно рад за вас, мой принц.

– Пока что Марс препятствует музам, – вздохнул Борис. – Покончить бы войну, сломить упорство шведов.

– Нелепое упорство! – воскликнул граф, вскидывая руки, будто пытаясь взлететь к расписному потолку, к порхающим в синеве небожителям.

На столе цветной мозаикой выложены карты. Четыре туза... Притягивают снежной белизной. Борис передвинул локоть, прижал туза крестей. На кого он-то ставит, проворный

графчик? Карты завел себе добрые.

– Вы жили в Италии?

– Заметно? – спросил Борис.

– Да. Вас выдает твердость произношения. В нос, как мы, – не получается? Попробуйте!

Хохоча, начал задавать экзерсисы. Похвалил ученика. Потом сказал, что принц чересчур церемонится на вечерах, – ныне модно ввертывать уличную брань. Нет, дамы не краснеют. Преподавал тут же несколько словечек. И, с ходу переменив сюжет, пальнул вопросом:

– Вы целовали ногу папе?

– Пришлось.

– Церковь требовательна. Высшая добродетель – послушание. Кстати, царь возбудил надежды у наших духовных, после диспута в Сорбонне. Возможно ли сблизить религии? Это было бы вам полезно.

– Царь ничего не обещал. Согласитесь, граф...

– Без титулов, прошу вас!

– Я был знаком с одним ученым иезуитом. Он писал сочинение о могуществе духовном. Рим ищет господства над умами. Мы не маленькие. На что нам римская указка?

Ручки графа реяли в воздухе, умоляли:

– Боже вас сохрани! Сочувствую всецело. Правда, мы не столь послушны папе, как может показаться.

Беседа продолжалась и за обедом, оживленная и весьма для дипломата полезная. Ведь общее мнение насчет Сен-Симона таково – глас его есть глас высшего парижского света.

– Париж нам благоприятен, – сообщил Куракин царю. – Маршал Юкселль и иные влиятельные особы для конференции с вами, по всему виду, готовы. Также и Академия к твоему величеству расположена искренне. И в купечестве и на фабрике гобеленов... Чают большого профита.

– А я что твердил тебе, Мышелов? Не зря неделю истратили, не зря. Как итальянцы говорят?

– Кто выигрывает время, выигрывает жизнь.

– То-то же! Ну, нагляделись французы, пора, значит, сбор трубить.

Борис встрепенулся. Наконец-то! Но звездный брат тотчас охладил:

– Обожди! На Монетный двор еще разок надо бы... Больно хороша машина. Чик – и получай! Может, она и на другую работу годится. Смекнуть надо...

А Сен-Симон стремительно, мелким бисерным почерком заносил в дневник встречу с Куракиным.

«...Высокий, хорошо сложенный мужчина, сознающий свое высокое происхождение и притом обладающий большим умом, тонким обхождением и образованностью. Он достаточно свободно говорит по-французски и на других языках, он много путешествовал, служил в войсках, потом выполнял различные миссии».

## 16

Девять дней минуло после приезда царя. В Пале-Рояле подумывали, а что, если прав был камер-юнкер де Либуа, принимавший посольство на границе! Пожаловали из простого любопытства...

И вдруг – приглашение от Шафировова, приглашение настоятельное. Московиты хотят говорить о деле, обсудить интерес обоюдный. И без проволочек, завтра же.

В Пале-Рояле удивление, растерянность. Но неудобно ответить, что парижский двор не подготовлен.

Регент дал согласие.

– Берегитесь! – грозит Дюбуа. – Царь Петр опасный противник.

– Зачем так резко, – морщится герцог. – Франция имеет шанс приобрести друга.

Аббат с радостью вступил бы в поединок с московитами. Но в нынешних обстоятельствах об этом не может быть и речи. Он и не напрашивается. Во-первых, официальные, открытые сношения ему не по чину. А главное, его многочисленные враги придут в бешенство. Лучше не

подливать масла в огонь.

– Поручите Тессе! – советует он. – Исполнительность заменяет ему недостаток ума. Если вы прикажете ему не давать никаких обещаний, его не собьют. Он упрется, как бык. Еще раз заклинаю вас, будьте осторожны. Царю стоит дать мизинец...

– Не будем спорить из-за мизинца, – ответил регент. – Франция не мелочна.

Регент слишком часто призывает Францию. Это дурной знак для Дюбуа.

– Подумайте, ваше высочество. Я удаляюсь.

Отступить непривычно, трудно... Он открыл дверь, потом на пороге обернулся.

– Десять дней русские молчали. Целых десять дней. Это неспроста.

Куракин в тот вечер сказал царю:

– На нас выпускают маршала Тессе. Чают, стало быть, дискурса прелиминарного, то есть предварительного. Пустого словесного трезвона...

Только Куракин и Шафиров посвящены в замысел Петра. Десятидневное промедление, сперва томившее их, принесло плоды превосходные. Царь, а вместе с ним и Россия превратились из пугала, из некоего полумифического чудища в осязаемую сущность. Завоевано приятие персон весьма многих.

Уже не придадут в Париже значения тому, что сын царя переметнулся к австрийцам, – Петр и его вельможи равнодушны к этому событию, уничтожают Алексея молчанием.

Сен-Симон, Фонтенель ратуют за дружбу с Россией, Дюбуа оттеснен, настороженность д'Юкселля слабеет...

– Политесов поменьше, – напутствовал царь дипломатов. – Хватит стрелять холостыми.

Собрались в Пале-Рояле, в гостиной, сиявшей, розовым шелком, пышными телами Венер, написанных маслом, выбранной как будто нарочно, чтобы отвлечь от дел к плезирам.

Отбросив обычные длинноты, Шафиров заявил без обиняков – царь предлагает Франции оборонительный союз, взаимные гарантии.

Атака молниеносная.

– До окончания войны, – отвечает по-писаному маршал Тессе, – невозможно гарантировать завоевания царя, так как военное счастье изменчиво.

– Хорошо, – немедленно соглашается Шафиров, так как то был и пробный шар. – Предоставьте царю действовать, как он найдет нужным, в Швеции, не гарантируя ему ничего, но поставьте царя на место Швеции. Швеция почти уничтожена, она не может больше дать вам поддержки.

Русские наступают, почти не дают передышки. Согласие с Россией не вредит никому из друзей Франции.

– Голландцы протестовать не станут, напротив... Ведь наш союз положил бы предел влиянию императора.

Против этого у Тессе нет возражений. Конечно, Россия отдаляется от императора. Не далее как вчера царь обедал у Ракоци, находящегося в Париже. Отсюда венгр поедет прямо в Турцию.

– Дружба с Англией не обеспечит вам безопасность со всех сторон. Англия к тому же подвержена раздорам...

Шотландия, готовая к мятежу, не упомянута, но подразумевается ясно. Претендент жив, его сторонники оружия не сложили. Тессе натолкнулся на очень убедительную систему доводов.

События ускорились. Говорить с русскими поручено д'Юкселлю. Уже через два дня французская сторона представила проект договора. Часть пунктов русские одобрили. О субсидиях для России проект умалчивал, – до апреля будущего года действуют обязательства перед Карлом.

– Напишите, – настаивал Шафиров, – что вы после этого прекращаете помощь шведам!

В переговоры вступил Книпхаузен, – началось согласование интересов всех трех держав-участниц. Но король Пруссии опоздал выдать ему все нужные полномочия. В Париже договориться не успели, – перенесли совещания в Амстердам, где в августе того же 1717 года и поставили подписи.

Швеция лишилась своей союзницы – правда, невоюющей. Теперь Россия может, опираясь

на посредничество Франции, побуждать упрямого Карла к миру.

Конечный, чаемый Россией итог – «мир и безопасность в Европе». Эти слова договора поразят потомка – так современно они звучат.

Аббат Дюбуа получил тяжелый удар.

«Вы не знаете, чего вы хотите и что делаете, – написал он регенту, вне себя от досады. – Неужели вам не достает уже заключенного союза, который гарантирует вам права на трон? К чему заниматься чепухой! На что вам союз с императором русских, с этим верзилой-матросом, у которого вместо скипетра дубина! Клянусь, я рад, что скрепить договор выпало Шатонефу, – я бы умер от стыда. Лучше бы меня послали в Китай или в королевство Сиамское».

Дерзкое письмо вызвало недовольство в Пале-Рояле. Но Дюбуа грозил регенту неприятностями со стороны Англии и вскоре отправился успокаивать короля Георга.

Свидание состоялось на яхте.

«Это был один из лучших дней моей жизни. Георг удерживал меня два часа, и его уважение ко мне возросло. Короче, он пригласил меня в свой дворец в Лондоне. Я сопровождал его несколько лье на яхте и думаю, он охотно увез бы меня к себе».

И эти строки были прочтены не только регентом. Дюбуа хватил через край, его на время отлучили от Пале-Рояля.

– Я нарисовал ваше государство, – сказал маленький король.

Петр взял листок, погладил каштановые кудри Людовика. Цепочка домиков тянулась от угла к углу. Внизу выгибалось колючую спину какое-то животное.

Простились очень нежно.

Царь провел в Париже больше месяца. Он рассчитывал, что заключение договора состоится при нем. Лихорадка временами возвращалась. Уезжал раздраженный. Последние дни – череда праздников, военных смотров, разных плезиров – утомили вконец.

– Роскошь погубит Францию, – твердил во всеуслышанье, морщась от головной боли.

Скорее в Спа, на воды! Французские врачи тоже советуют – лечение там наилучшее. Уже приехала в Спа, ждет его главная целительница – Екатерина.

Шествие из Парижа было триумфальным. Палили из пушек, вставали в ружье французы, потом бельгийцы. Распотешили царя в Намюре, не отпускали два дня. Играли забавное сражение, – полторы тысячи человек в обеих армиях и все на ходулях, высотой от четырех футов до девяти. Кто не устоял, того с поля долой. И второе состязание – на реке Маас, в лодках. Бойцы в панцирях, действуя тупыми копьями, сталкивали один другого в воду.

Город Намюр достохвально укреплен, в чем русский суверен воочию удостоверился. Газета «Меркюр» по этому поводу писала:

«Во время осмотра царь сделал замечания столь разумные, что они сделали бы честь самым опытным инженерам».

Но явилось и огорчение. Петр на пути в Париж предложил купцу Жану Стефано быть консулом России в Остенде, для учреждения прямой торговли с балтийскими портами. Оказалось, Вена согласия не дает.

Теперь добра оттуда не жди...

Еще весной нагрянул в Вену капитан гвардии Александр Румянцев с царским повелением – вывезти Алексея. В Хофбурге отпирались, – знатный русский в столице не проживает. Гвардеец отыскал след, добрался до Тироля. К царевичу пробиться не удалось. Сановники, припертые к стене, отговаривались:

– Император даровал не протекцию, а защиту от опасностей. Император не разжигает злобу сына к отцу, а прилагает старания погасить ссору.

Петр выслушал эти оправдания в Спа из уст Румянцева. Капитан присовокупил, что царевич действительно настроен злобно, ругает царицу, Меншикова. Делит ложе с метрессой – чухонской девкой Ефросиньей, которую взял с собой из Санкт-Петербурга под видом пажа.

– Все дивятся, царевич от нее на шаг не отходит, а что за сласть? Ростом великая, дюжая, толстогубая, волосом рыжая. Крепостная Афанасьева, приятеля его...

Тут капитан осекся, слово о низком звании Ефросиньи напрасно слетело с языка. А

дивиться он мог и тому, что Алексей странным образом, враждуя с отцом, подражает ему. Прежде – кумпаней своей, чем-то сходной с царским всепьянейшим собором, теперь – выбором подруги из простонародья.

Шли в Спа и донесения из России, добавляли к рассказу Румянцева многое. Поведение близких к царевичу людей подозрительно, его настроили бежать, вокруг него, очевидно, заговор.

Между тем посол Куракин ждал депеши от царя, бумаг для выезда к цесарю.

– Не выдаст мне Алексея, тебя пошлю добывать, – говорил Петр в Париже. – У тебя коготок цепок.

Шафиров соглашался, – да, дипломат для сего самый пригодный. Сумеет, поди, выхватить беглеца деликатно, не доводя отношений с Веной до раздора.

Борис в душе жалел племянника и порицал. Поступок безумный, позорный... Гнев царя на него и на ближних обрушится страшный, и поделом. За собой вины Борис не ведал ни малейшей, худший недруг и тот не замешает его, – ведь со дня свадьбы не встречался с Алексеем. А тело юрода, брошенное в колодезь, давно сгнило.

Но депеши от царя нет и нет...

Наступала горькая для Бориса пора. Потомок найдет в архиве Куракина очень мало свидетельств о ней и поверит предположению, что почти все, связанное с делом Алексея, сожжено. Но краткая запись в «Ведении о главах в Гистории» под пунктом 281 красноречива:

«О назначении меня посылке к цесарскому двору и для призвания царевича, все сие было в Париже, а в Шпа, по приезде Румянцева, чрез интриги Толстого и Шафирова переменилось, и отправлен Толстой, и об его отправлении и инструкциях».

Призвать царевича, вернуть его на родину Куракину явно хотелось, – потомок уловит это между строк. В том набольший посол видел свой долг родственника, дипломата, русского человека. И вставит он в план книги через шесть лет после смерти Алексея пункт 281 с обидой и с жалобой на несправедливость.

Случай в гистории, для всех несчастный. Карьера набольшего посла нарушена понапрасну, царское же поручение, доставшееся другим, привело Алексея к гибели. Князю Куракину не доверили... А возможно, все обошлось бы иначе. Потомок прочтет и это в пункте 281, уверенный в том, что писавший не мог не рассуждать таким образом.

Что же до «интриг», то потомок вправе будет усомниться, – Шафиров, правда, оттеснил Куракина на переговорах в Париже, как старший по службе, но зла против него не имел, а Петр Толстой всегда был дружен с Борисом. Верил ли он сам в «интриги»? Решал царь, и ранила Бориса его, звездного брата, немилость. Тяжко выносить ее, тяжело признать...

Написанное под пунктом 281 есть отчасти шифр, – Куракин обернул словесным камуфляжем упрек царю, упрек непозволительный, особенно после событий 1718 года.

Толстой действовал решительно, – поднял шум в Вене, пригрозил императору. Царевич, убедившись в том, что отстаивать его с оружием цесарцы не станут, сдался. Последнее его укрытие было в Неаполе, в крепости Сант-Эльмо, глядевшей бойницами на море. Изменника доставили в Москву 31 января. Царь уже был в России, но лишь месяц спустя привели к нему Алексея – перепуганного, плачущего, без шпаги.

Вымаливая прощение, он поклялся назвать всех сообщников и сделал это. Тотчас начался розыск.

Схватили, вздернули на дыбе Авраама Лопухина. Он с великой охотой потянул бы за собой Куракина, но улик не имел. В показаниях пытаемых имя посла все же появилось, и не раз, – царевич-де и его друзья рассчитывали на Куракина, он неоднократно сочувствовал наследнику, оставшемуся без матери. Кто-то вспомнил оброненное Куракиным шесть лет назад:

– Вот родит сына царица, тебе еще хуже будет.

Вырвалось тогда из сострадания... В письмах Куракина, найденных у обвиняемых, ничего предосудительного не отыскали. Однако подозрения не обошли его.

Борис, не имея из дома вестей, дал голландскому купцу Борсту письмо для Лопухина. Авраам уже сидел в темнице. Купец ходил по Москве, выспрашивал. Его задержали. Письмо касалось дел хозяйственных, но почему Куракин сносит с шурином не по почте, а через



частных лиц, да еще иностранцев?

Пришлось объясняться.

«О корришпонденции моей с Авраамом Лопухиным всему двору Вашего Величества известно было понеже оной имел надзирание над детьми моими и всем домом моим. И о тех домовных своих нуждах понужден был с ним корришпонденцию иметь, а не в иных каких бездельных и богомерзких делах, в чем надеюсь я весьма по своей верности быть чист. И от всех дел и с Авраамом Лопухиным и с прочими всеми, которые явились в тех зломышленных делах противу Вашего Величества. Что ниже с кем корришпонденцию имел, ниже словом с кем сообщился и нималым каким видом причинился, отчего мог бы себе подозрение получить, понеже верность от многих лет прародителей моих дала мне пример служить верно и беспорочно Вашему Величеству».

Деревья на Принсенграхт стоят черные. Словно кресты на кладбище, – мнится Куракину. Из России слышно – царевича не стало, гнева царского не вынес.

Окончилось зряшное житье Авраама Лопухина, сам привел себя на плаху.

Еще много покатится голов...

## 17

В сентябре 1718 года Сен-Поль сообщил Куракину, что в замке Со пахнет заговором.

Объяснять подробно причину было излишне. Решение «ложи правосудия» уже попало в куранты. Вельможи, созванные Филиппом Орлеанским, исполнили его волю – лишили побочных детей короля Людовика прав и привилегий принцев крови. Герцог де Мэн утратил должность главного воспитателя короля, а вместе с тем и апартаменты во дворце Тюильри.

Анна-Луиза три дня не появлялась в имении. Лежала в особняке дочери, глотала успокоительное. В Тюильри оставила груды разбитой посуды.

Сен-Поль смотрел на нее с отвращением. Серая, глаза ввалились. Ей нет еще сорока, но как изнуряет болезнь, именуемая тщеславием!

– Узурпатор опозорил нас, – твердила она. – Надругался над завещанием короля.

Перед сном неутомимая Пчела диктует письма. Некоторые фразы зашифрованы и непонятны для камеристки. Малезье тоже строчит послания. Почта переходит в сумки курьеров. Иногда отправляют с поручением камеристку Делонэ. Сен-Поль расспрашивает ее осторожно, в беспечном тоне.

– Я любопытен с детства, – шутит он. – Видите, нос лопаткой. Прищемили дверью.

Ухаживать за девицей Делонэ он не в билах. Чересчур костлява. Но он сумел сделаться ей нужным. Камеристка помышляет уйти из Со, покинуть опасные затеи «второго двора», желающего стать первым. У Сен-Поля обширные знакомства в Париже, он обещает помочь.

«Заговором пахнет еще сильнее», – сообщил он Куракину.

В начале ноября маркиз смог назвать Куракину еще нескольких противников регента, весьма родовитых. Кроме рыцарей Пчелы, есть еще группа заговорщиков. Не связанные между собой, но все состоят в сношениях с послом Испании князем Челламаре. Донесение было в пути, когда в замке Со настал переполох. Герцогиня не показывалась гостям, Малезье не забавлял экспромтами. Старик спал с лица, хватался за сердце. Он и девица Делонэ бегали по комнатам, искали что-то.

Передник камеристки смочен слезами. Сен-Поль вошел за ней в бельевую. Делонэ села на табуретку, подобрала ноги, сгорбилась, – убитая страхом девчонка, воспитанница монастыря святого Людовика в Руане.

– Конец, конец... Нас арестуют...

Пропала важная бумага. В доме шпионы, в этом нет никакого сомнения. Украли...

Что за бумага? Делонэ мялась, отмалчивалась. Сен-Поль все же заставил ее досказать. Письмо... Письмо испанского короля. Из Мадрида сюда? Нет, составил Малезье. Для короля? Да, ушло туда, на подпись, с аббатом Бриго. А Малезье оставил себе черновик. Нет его... Кто мог взять? Конечно, шпионы.

Голова девицы Делонэ опустилась, короткая прическа обнажила уши, очень белые, маленькие, почти детские. Плечи тряслись. Шевалье почувствовал жалость.

– Воображаю... Послание в стихах, наверно.

Она возмущенно выпрямилась.

– Это не смешно. Это ужасно.

Филипп испанский обращается к королю Франции. Требуется восстановить завещание Людовика, своего дяди. Вернуть права герцогу де Мэн, отстранить регента.

– Малезье рассеян. Обронил, сжег по ошибке...

– Мы везде смотрели. Старик два раза падал в обморок. Он не выдержит.

– Затея опасная, – сказал Сен-Поль. – Подобные эссе ему не по возрасту. Но вы, по-моему, ни при чем.

– Ошибаетесь. Меня видели... Бриго получил письмо из моих рук.

Пропажа не отыскалась.

Прошло еще пять дней. Сен-Поль играл в бильярд. Лакей, приоткрыв дверь, поманил его, подал записку.

«Жду вас у Авроры».

Шевалье положил кий, сославшись на духоту. Павильон Авроры белел в парке, за черными стволами. Роспись под куполом недавно обновили. Богиня парила в небесной синеве, ее круглое, полное лицо крестьянки излучало доброту.

Печь не топили. Но Делонэ, закутанная в пелерину, дрожала не от холода.

– Имейте в виду... Мадам диктовала мне список... Шесть человек, в том числе вы... Послезавтра в Пале-Рояль, на маскарад.

Регента захватят в плен. Утром будет созван парламент. Место Филиппа займет герцог де Мэн. Таков план... Герцогиня уверена в себе как никогда, распевает уличные песенки. Все будто бы подготовлено.

– Если вы... Если вы не участвуете, мосье... Тогда вам нельзя медлить. Отказа она не потерпит, мосье, она ведь бешеная... Вы покинете нас?

– Увидим, – ответил маркиз осторожно. – А вы, насколько я понял, верны вашей благодетельнице.

– Мадам не отпустит меня.

– Положим, зависит от вас...

– Поздно, мосье, поздно! Доверяю себя провидению, – и она подняла глаза к Авроре. – Мадам поклялась, в случае победы у меня будет поместье в Оверни. Поклялась жизнью дочери... Поместье, мосье! Я до конца с мадам, да простит меня бог.

Она говорила без воодушевления, камеристка Делонэ. С ноткой отчаянья... И в то же время с каким-то странным вызовом.

Прощаясь, попросила адрес в Сент-Антуанском предместье. На случай беды...

Из окон замка неслась музыка. Сен-Поль скакал прочь от нее, с наслаждением прищипывая коня. Перевел дух, когда всплески менуэта растаяли, замерли за спиной.

На другой день он не явился в Со. Дома сжег бумаги, проводил время, выжидая, в таверне напротив. Утром поехал за новостями к Сен-Симону. Улицы были спокойны, похоже, ничто в столице не изменилось.

Регент простудился и на балу не присутствовал. Дюбуа удержал его в постели.

– Маскарады могут быть опасны, – прибавил всезнающий бонвиван, потирая руки у жаркого камина. – Охрана Пале-Рояля удвоена. Чего ждать? Спросите лучше – чего не может быть в Париже!

Последние слова Сен-Симон произнес с заметной гордостью.

Развязка наступила скоро.

В историю войдет девица Филон, известная куртизанка. Подкупленная Дюбуа, красавица заворожила секретаря испанского посольства. Однажды он простился с ней раньше обычного, – дело не терпит, аббат Портокарреро едет в Мадрид, и надо его снарядить.

Аббата догнали. Дюбуа получил тяжелые улики против Челламаре. Посол заодно с врагами регента. Заговорщики готовят переворот и просят Филиппа испанского помочь войсками. На другой день дом дипломата окружили мушкетеры. Челламаре под конвоем

препровели к границе. В руках Дюбуа оказалась вся переписка посла с Альберони.

Камеристка Делонэ впоследствии напишет о провале с досадой. Самонадеянный Челламаре был предупрежден, но не оторвался от ночного пиршества.

«Как бы то ни было, у посла было шестнадцать часов, чтобы принять меры до своего ареста, и, следовательно, ничем нельзя извинить его небрежность в отношении бумаг, которые уличали связанных с ним лиц».

Небрежность ли? Мемуаристы донесли до нас фигуру самовлюбленного и неумного вельможи, кичившегося своими предками. Видимо, он считал разрыв с Францией в любом случае предрешенным, власть орлеанца – сломленной.

А в Со развлекались. Главный курьер герцогини еще передвигался без помех, в экипаже с тайником или в портшезе с двойным дном.

«Герцогиня де Мэн играла в бириби. Господин де Шатильон, который держал банк, человек холодный, не проронивший до того ни звука, сказал: „Есть забавная новость. Арестован и посажен в Бастилию по делу Челламаре некий аббат Бр... Бри...“ Он искал имя, остальные умолкли. Наконец он вспомнил и прибавил: „Самое забавное то, что он все рассказал и многие особы теперь в очень затруднительной ситуации“. И господин де Шатильон впервые при мне рассмеялся. Мадам де Мэн, сделав над собой усилие, сказала: „Да, это очень забавно“. – „Да, – подхватил он, – можно умереть от смеха“.

Камеристка не порывалась бежать. Герцогиня подчиняла своих придворных угрозами и посулами. «Ее не накажут сурово, и мне выгодно поэтому быть при ней».

Мадам забыла обещание, когда за ней, в парижский особняк, явились мушкетеры.

«Я спросила одного из них, с которым стала любезничать, последую ли я за мадам, если ее сошлют куда-либо. Он заверил меня, что ей ни в чем не откажут. Это меня обнадежило, но ненадолго, так как другой стражник пришел и сказал моему, что мадам отбыла. Мое сердце сжалось».

Герцога и Малезье задержали в Со. В кабинете писателя сделали обыск.

«Бумаги брали в его присутствии. В конторке нашли оригинал письма короля Испании королю Франции. Документ, утрату которого Малезье так горько переживал, лежал вложенный в брачный контракт его сына. Он тотчас заметил, кинулся и разорвал послание. Но господин Трудэн, просматривавший бумаги, подобрал клочки. Они были тщательно соединены, после чего Малезье был отвезен в Бастилию».

Регент поступил с виновными мягко, – обширность заговора напугала его. Супруги де Мэн отделались недолгим домашним арестом. Но и в Бастилии жилось вольготно. Малезье продолжал писать мадригалы в честь Пчелы. Аббату Бриго доставили его книги, он превратил камеру в уютную монастырскую келью. Граф де Лаваль, большой гурман, заказывал рестораторам изысканные яства.

Девица Делонэ обменивалась записками с поклонниками и тоже не жаловалась на тюремщиков. Впоследствии, став мадам де Стааль, она напишет «портрет герцогини де Мэн».

«Она и в шестьдесят лет не извлекла из пережитого никаких уроков... Любопытная и доверчивая, она хотела углубиться в разные области знания, но осталась на поверхности их... Она верит в себя так, как верят в бога, никакое зеркало не внушит ей сомнений в своих достоинствах. Демонстрируя все признаки дружбы, она ничего при этом не чувствует. „Мое несчастье, – говорит она, – в том, что мне необходимы люди, которые мне не нравятся“. Ее власть поработает, ее тирания ничем не прикрыта, герцогиня и не пытается смягчить хватку. Она может заплакать, если ее друг опоздает на пятнадцать минут, но равнодушно услышит о его смерти».

Обвиняемые строчили регенту «объяснения», отнекивались и каялись. В досье следствия лег список рыцарей Пчелы. Кавалер Сен-Поль на вызов не явился, и в Париже его не нашли. Он удалялся от столицы, радуясь свободе, Новый, 1719 год он встретил в Гавре, где знакомый капитан предоставил ему приют.

Между Францией и Испанией вспыхнула война. Морская коммерция сократилась, и отплыть довелось не сразу.

На севере громы баталий поутихли. На Аландских островах доверенные России и Швеции вели дебаты о мире. Конференцию прервала кончина Карла Двенадцатого, приключившаяся в

Норвегии, при осаде крепости. Кавалер читал куранты, и снова накатывалось на него странное безразличие, не однажды испытанное. События казались ничтожными. Так уменьшается видимое, когда подзорная труба приставлена к глазу другим, широким концом.

Одну ногу он уже занес через экватор. Застать в Гааге москвитя – и в путь...

Молодой ледок на Принсенграхт был прозрачен и гладок, лезвиями коньков не тронут.

– Мое пророчество исполняется, – сказал Сен-Поль послу. – Вашему покорному слуге иного не остается, как перебраться в края полуденные. Адский котел пока миновал меня, авось земной рай распахнет врата.

Куракин подтрунивал:

– Значит, вон из Европы? К невинности первобытной? Ох, берегитесь! Ну, как зажарят вас те праведники да съедят с перцем, с мускатом. Благо все специи под рукой...

– На Тобаго нет людоедов. Дикари не ведают и сотой доли тех мерзостей, кои творятся в Европе.

Убедившись в решимости корреспондента, посол отставку Сен-Поля принял и не отказал в помощи. Огарков, эксперт для многих надобностей, поехал к Гоутману, к Брандту, выхлопотал кавалеру проезд. И вскорости ветер надул парус над головой странника, погнал в неведомое.

## 18

Сиятельный князь Меншиков кормил в саду зубренка. Совал в клетку сушеные финики, ласково приговаривал, вслух подбирая имя.

– Ты кто? Васька? Али Мишка?..

Зубренок отвечал недоуменным сопением, от незнакомого угощения отворачивался. Прислали животину из Польши. Пока готовят место в зверинце, клетка стоит на лужайке, в кругу статуй. Нимфы высечены из белого мрамора, нагота их на солнце нестерпима. Легче смотреть в полумрак клетки.

– Мишка ты, понял? Мишка. Ну, жри! Тьфу, образина! Неужто невкусно? Да ты попробуй!

Осерчал, скинул с ладони липучие финики. Пошел к дворцу, вяло щелкая тростью по скамейкам. Навстречу бежал лакей, подбирая полы ливреи, не по росту длинной.

– Княгиня Куракина к вам... С прищепком...

– С чем?

– С прищепком, прости, батюшка!

– То-то, дурак!

Лицезреть княгиню Марью не доводилось. Упавал – минет чаша сия. Наслышан о ней, шалой бабенке, предовольно. Весь Питербурх вымела подолом. Канцлер – тот плачет от нее.

– Где она?

– В сенях сидит.

– Я те дам сени! Чучело! В вести-бюле. Огрею вот по башке.

Ругнешь всласть, душу отведешь... А этот... Выбранный еще раз, встретив пустые глаза немца – дворецкого. Скукота с иноземной челядью, их крой почем зря, а словно об стенку... Дворецкий, мыча полувнятно, являл смущение, – ея светлость подняться в апартаменты не пожелала.

И что ей взбрело! Словечко еще крепче висело на языке, когда шел, стуча тростью, к визитерше.

– Низко кланяюсь, княгиня.

– Ну так кланяйся, батюшка, шея не треснет, – выговорила гостя, едва разнимая тонкие, жесткие губы. А спутник ее – мордастый молодчик в кургузом кафтанишке с медными бляхами на поясе – вскочил и даже подпрыгнул в усердном реверансе.

– Это Иогашка мой. – Умолкла на миг и застыла сухим, скуластым лицом. – Секретарь мой, Иван Иванов сын Шефель. Как я с челобитьем к тебе...

Стыда нисколько нет. Канцлер сказывал, живет Куракина на постоянном дворе и при ней немец, который был у князя Ивана Голицына учителем.

– Пожалуйте, княгиня, наверх.

– Нам и в прихожей ладно. Куда уж нам в этикие искусства! Недостойна я ступать по мрамурам твоим, горемыка, брошенная мужем.

Причитала не двигаясь. Гвоздем будто прибита к скамье.

– Нет уж! – рассердился князь. – Извольте встать. Здесь разговаривать не будем.

Послушалась, засемила следом, подобрав платье и телогрею, не прекратив жалобы. На Питербурх, на погоду, на Неву. Вишь, и река не угодила, плеснула в лодку, замочила ноги.

Провел через зал двухсветный, указал тростью роспись на потолке. Такого ведь отродясь не видывала.

– Жалею, не погуляли мы на свадьбе, княгиня. Здесь бы и сыграли. Почто отказала хорошему жениху? И для дочери твоей конфузно.

В залу льется солнце, и медные щиты светильников, опоясывающие залу, свечение умножают. Княгиня вскидывает злые глаза, не мигая.

– Тебе не краснеть, отец мой.

– Уж точно, самим съест конфуз. Кого же сватать, если сына канцлера российского презрела. Короля ищешь?

– А мне и короля не надо, коли он меня пропитания лишит. Муж покинул, девок там содержит...

Поперхнулась, – обступили сонмищем со стен, с ледяной белизны дома и корабли, мосты и кирхи, воды в каналах, в озерах, воды бушующие – в море. У Меншикова в обычае показывать изразцы, гордость свою.

– Удружил тебе галанец, – сказала княгиня, прервав недоброе молчание.

– Эх ты, как мужа честишь!

– А ты не заступайся за него. Попало тебе, батюшка, за изразцы? Попало? А через кого? Кто первый царю шепнул? Галанец и шепнул. Заказ, говорит, миллионный, и все он, Меншиков, на свой двор свез. Стало быть, давно дубины царской не пробовал. Это Голландия? Тьфу!

Плюнула на паркет, растерла. Ишь, ехида! Поднял трость наставительно, потряс.

– Борису Иванычу за верную службу великая благодарность от его величества. И также от меня.

Опустил трость, вонзил в ковер гневно. Марья неслась впереди, отбрасывая назад острые локти, бодливо нагнув голову. Поспешать за ней – подагру бередить. Немец, поравнявшись с князем, прошепелявил:

– Их сиятельство в ажитации. При слабых жилах риск имеется апоплексии.

На изразцах распустились цветы всех пород, сколь их в Голландии есть. Из комнаты произрастений в комнату ремесел, служб всяких, – словно к пристаням Ост-Индской компании. Работный люд плетет сети, латает паруса, таскает мешки в трюм, орудует топором на верфи. Поглядишь – вспомнишь молодые годы с Питером.

Немец зазевался, а княгине ни к чему – уперлась в пол, и, кабы взгляд мог опалить, потянулся бы за ней горелый след. Обычно дворец меншиковский, славнейший в столице, по первости ошеломляет, особливо женских особ. Эту, видимо, ничем не укротишь.

Привычное кресло в кабинете, под новым живописным плафоном, сообщает хозяину апломб. И паче того – город за окном, широко расколотый Невой. Напротив, за рекой, многопушечный оплот Адмиралтейства, от коего взгляд, скользя по крышам новых хором, погружался в зеленую обширность Летних садов его величества. Там архитектор Земцов сооружает фонтан Езопов – с фигурами басен, столь полюбившихся Петру. И он же, Земцов, возведет на диво Европе огромную залу для знатных торжествований. Многие иноземные города затмит Санктпитебург, в котором он, князь Меншиков, губернатор.

Сказать ли бабе сумасбродной, что навет ее лживый, – Куракин не шептун, а правду выкладывает прямо, за то ему от каждого уважение. Что за изразцы вина с него, князя, снята, – оправдался перед царем, построил своим коштом завод, и ныне, слава богу, делаем оные изделия сами. А для этих голландских в доме царя все равно нет простора. Так где же им быть? Не закопаны ведь, не спрятаны. Дворец для разных плезиров и аудиенций открыт и, стало быть, престижу государства служит, – не одному Меншикову утеха.

Да разве втемяшишь ей, упрямой! Заглушив в себе недосказанное, устало махнул рукой.

– Читай!

Немец отпер сундучок, вынул челобитную, развязал узел. Княгиня раскатала на колене, но к себе писанье не приблизила, – забубнила наизусть:

– Отдала я, нижепоименованная, в наследие безденежно дочери своей девице княжне Екатерине поместья свои и вотчины в Московском уезде в Радонежском стану село Алешня с деревнями и пустошами, да в Ростовской волости половину села Васильевского, Никольское тож с деревнями и подпустошами, да в Волхове стану деревня Гришениха...

Ох заладила! Недослушал все деревни и села, оборвал, поколотив тростью по столу.

– Ты чего, батюшка! Мое это... Не куракинское, а наше, урусовское. Приданое мое от родителя. Мне куракинского не надо.

И полилось, и полилось изо рта. Мерзейшие глупости про мужа. Променял ее в Амстердаме на девок, которые в остерии служат голышом. От веры отступил, католик он, и более того – чернокнижник. Прежнюю жену свою испортил и ее намерен извести.

Этак вот изрыгает на каждый порог питербурхский... А сама вино хлещет, и скандалит на постоялом дворе, и людей вводит в соблазн. Заместо мужа, вишь, секретарь... Куракин пишет канцлеру, нельзя ли унять супругу, ведь в стыд вогнала себя и дочь. А как ее уймешь? Просит лишить жительство в столице, выпроводить в Москву. Что ж, дождется она...

Снова нудной капелью – деревни, пустоши... Отдала дочери в приданое, тому года четыре. А Куракин положил выдавать княгине на житье в год триста рублей, понеже обитают супруги врозь. И она с тем согласилась. Ныне же Куракин посватал дочь за молодого Головкина. Чем плох жених? Сын канцлера, учится в Париже, худой должности не дадут ему. Накоса – на дыбы взвилась! Отнимает у Катерины приданое, рушит свадьбу.

– И решила я, нижеименованная, поворотить те вотчины обратно себе, – отчеканила челобитчица и взгляд наострила грозно.

Расстроила свадьбу и рада. Конечно, на кой ляд жениху девка без приданого да теща сварливая. Оборони бог!

– Твоя воля, княгиня. Молили тебя и совестили... И канцлер, и муж твой... Меня тоже не послушаешь.

Борис Иваныч пишет, доверять деревни жене не след, понеже к правлению неспособна и скоро промотает. Приехал бы, да застал ее с немчиком. Вполне мог бы отобрать у супруги права да упечь в монастырь. На рожон ведь лезет баба.

Сказал, смяв досаду, поддразнивая:

– Утащит жених твою Катерину. Парижским манером улестит и утащит.

– Да я... – задохнулась княгиня. – Сунется только... Дочь в моей власти покамест...

– Козла ей, что ли, в постель кладут?

– Не пушу, не пушу! – выкрикала княгиня. – Моя дочь... Материнской клятвой связана. Прокляну, если что... А прощельгу парижского батогамы велю, батогамы...

– Эка разлютовалась! – подивился Меншиков со смешком. – Дворянина? Полно, можно ли?

– Тьфу ихнее дворянство! Тьфу – прости меня, батюшка! Головкины... Велико дворянство!

– Да уж где им до вас, – поддакнул князь. – Как курице до небес.

Насмешки не почуяла. Разошлась еще пуще, принялась чихвостить Головкиных, которые-де полтыщи лет в своем роду бояр не имели и сподобились лишь при Софье. Им, Головкиным, стремя держать Урусовым.

– Верно, верно, – кивал Меншиков. – Урусов, он и в окольных не хаживал, – прямо в бояре верстали. Битте, в боярскую думу! Знаю я, Урусовы перед всеми выпячивались. Задницей сколько скамеек протерли? От задницы след... А еще чем знатны? На царской службе, что ль, отличились? Большого отличия я что-то не припомню... Головкины, вишь, им не ровня! У Петра Алексеича Головкин первый министр, а Урусовым негож.

Прощение свернуто, немец поймал его на лету, захлопнул сундучок. Челобитчица встала, с побелевших, судорогой сведенных губ срывалось невнятное:

– Пойду я... К ногам царицы паду... Авось защитит меня... Вдову при живом муже...

– погоди! – крикнул Меншиков и усадил, махнув дланью. – Плакаться нечего, матушка! Желает деревни поворотить – твое дело, юстиц-коллегия препятствовать не может. Писали на Катерину, будут на тебя писать. А шуму-то, шуму от тебя! Ходишь да слуг царских добрых поносишь. Обиженная! Не тебя жалко, дочь твою жалко, – ей стыд глотать, в девках киснуть.

Выронил трость, поднял, кинул в сердцах на ковер. Вскочил, забыв про подагру.

– Не бойся, – княгиня попятилась, оробев. – Моя забота... Не твое чадо...

– Ступай, ступай в юстиц-коллегию! Пиши деревни на себя и кончай канитель. Хватит гнусных твоих речей! Загостилась твоя светлость в столице, домой пора. А то сделаю оглашение, по какой причине Головкину отказано. Отрыгнулась боярская спесь... Все двери твоей светлости закрою.

– Ой, напустился, батюшка!.. Не изволь сердчать... Я по простоте, а ты...

Уже провожали челобитчицу, ухмылялись со стен голландские шкиперы, плотники, рыбаки. Потешались, оперев руки в бока, женки, торгующие снедью, купчихи в чепцах, свистела коньками ребятня на замерзших грахтах.

– К ногам царицы паду.

Огрызнулась через плечо и едва устояла – платье, намокшее в лодке, не высохло, стянуло лодыжки.

Александр Данилович Меншиков, бывший пирожник, ругался и хохотал враскат, видя, как семенит вниз по лестнице, волоча мокрый подол, княгиня Куракина, урожденная Урусова, а за ней, обняв сундучок с кляузами, боязливо пригнувшись, поспешал дылда-секретарь.

Княгиня Марья – в Гаагу, послу Куракину:

«Дело наше, начатое с графом Гаврилой Иванычем, не совершилось, пожалуй, не изволь в том гневаться на свою дочь понеже в совершении начатого дела не ея есть воля».

Посол Куракин – в Санктпитебурх канцлеру Головкину:

«Теща моя беспутная и бесчестного житья жена моя своим безумством привели меня во всеконечную печаль, а себя они в вечный стыд».

Жене ответа не будет. Жена и дочь отрезаны, чужими стали.

## 19

В апреле 1721 года в городе Ништадте начались мирные переговоры с державой Свейской. Русский флот, разбивший шведов у острова Гренгамн, русские войска, совершавшие набеги на шведское побережье, ход переговоров весьма убыстряли. В Балтийском море, в близком соседстве, пестрели вымпелы английской эскадры, но – как и предсказывал Куракин – она оставалась безучастной свидетельницей.

Все же в прениях сторон прошло целое лето. Дипломаты короля предлагали, дабы оттянуть время, сперва обсудить текст прелиминарный, то есть предварительный. Петр повелел Брюсу и Остерману не склоняться к тому, – условия написаны победителем набело и окончательно.

Курьер с подлинным трактатом застал царя 30 августа на пути в Выборг. «Мы оной перевесть не успели», – сообщали Брюс и Остерман, так торопились обрадовать. Царь повернул бригантину в Санктпитебурх. Вошел в столицу, паля из пушек. Стоя на палубе, выкрикивал счастливую весть:

– Мир, вечный мир со шведами!

Эмблемы мира – белые знамена с масличной ветвью и лавровым венком, вышитым на полотне, – тотчас были розданы конным гвардейцам и разлетелись по улицам и першпективам столицы. О вечном мире должно быть ведомо каждому, благородному и простолюдину.

Куракину, послу в Гааге, отныне обязанность – трудиться для упрочения мира.

В 1724 году царь перевел его в Париж, так как там, в виду оживленных сношений, зандобился посол чрезвычайный, с «полным характером».

Король Людовик Пятнадцатый превратился из ребенка, столь понравившегося царю, в юношу. Петр вырезал из кости его портрет, показал дочери Елизавете. Гляди – суженый твой!

Куракин чувствовал – ни одного брака так не желал звездный брат, как этого. Увидеть на французском престоле русскую, свое родное чадо... Посол подчинился против воли, сватал Елизавету, сватал усиленно, трудов потратил много. Не вышло. Людовик взял в жены дочь противника Петра – Станислава Лещинского.

Звездный брат до сей свадьбы не дожил, до конца лелеял несбыточную надежду. Может, поэтому королева Мария неприятна Борису.

Впрочем, помех она не чинит.

Сиротливо стало после смерти царя. Чаше нападала гипохондрия.

Дело великого Петра в слабых руках. От Екатерины, пережившей супруга на два года, скипетр перешел к тщедушному Петру, сыну незадачливого Алексея.

Гипохондрию и меланхолию вернее всяких лекарств прогоняют заботы, а их по горло. Санктпетербурх, что ни день, торопит – подавай мастеров для всяких строений и красот. Живописцев, лепщиков, садовников, резчиков, мужей наук разных зовет Северная Венеция, и то послу радостно.

Эксперт Огарков проводит вечера в кафе Прокопа, в компании искусников, ест с ними петуха в вине, заводит полезные знакомства. Не гнушается и сам посол того заведения. Часто навещает фабрику гобеленов, смотрит эскизы.

Из Питербурха напоминают:

«Что живописец Мартин картины Полтавской баталии две больших обещает в четыре месяца отделать, чтоб отделал в тот срок».

В столице российской учреждена Академия художеств, и для нее заказ – нанять учителей.

Долго колебался астроном Делиль, ехать ли в холодную Россию? Наконец подписал контракт, назначен директором Обсерватории. Новое и неизведанное пленит его, удержит на двадцать лет. Жозеф-Никола Делиль исправит карту Сибири, вложит труд в составление атласа России.

Добрых знакомцев имеет посол в Ботаническом саду, посылает на родину саженцы, семена различных растений и деревьев для парков, для плодовых садов, для нужд врачебных.

Служба мало оставляет сил, и все же посол в поздний час садится за писанье сокровенное. Подвигается, хоть и медленно, давно задуманная «Гистория», – он закончит лишь главы, трактующие о начале царствования Петра и о войне с Карлом.

Огарков, воротившись из кафе, приносит вести новейшие, раньше курантов. Париж ежечасно в лихорадке, – вспыхнет и вскоре погаснет. Гистория – строгое сито, хорошо отделяет зерно от плевел.

Хватило бы веку, описал бы все события на театруме Европы, и с рассуждениями.

Без сожаления хоронили в Париже Дюбуа. Хитрец натешился напоследок, успел получить сан епископа, а затем и кардинала. А кто помянет его с похвалой? Скитается по свету Альберони, присматривая себе покровителя. Угомонился под монастырским кровом претендент Яков, коего толкали не столько собственные, сколь чужие расчеты.

– Интриганам забвение, – твердит посол сыну, состоящему при отце в градусе легационсрата, то есть советника посольства.

Александр пофыркивает, пускает струю табачного дыма высоко в потолок.

– А благодравные где? Укажи!

## 20

Из Гааги, из тамошнего российского посольства, пришло письмо. Сургуч, припечатанный лишь для виду, тотчас осыпался. Секретов дипломатических пакет не содержал.

Человек, тем письмом представляемый, понаслышке уже известен. Звание имеет простое, а талант высокий – горазд писать вирши. От родителя своего – астраханского попа – отъехал в Москву, учился в Славяно-греко-латинской академии и, будучи нрава дерзкого, с наставниками повздорил. С весны прошлого 1726 года живет сей отчаянный, жадный до познаний попович в Гааге у посла, у молодого Головкина. Основательно знает латынь, греческий, хорошо изъясняется по-французски и по-итальянски. Ныне намерен продолжать ученье в Париже и



просит на то вспоможенья.

Борис кликнул сына.

– На-ко, читай! Студент ТрEDIAковский... Помнишь, пиита приبلудный.

– Ишь, заноза! – сказал Александр, кладя цидулу. – Сколько учителей сменил, все ему негожи. Опять, верно, с богословами связался. Голландцы – строгие мужи, не поспоришь с ними.

Сказывают, хвалит Декарта, острого умом филозофа, который ничего не берет на веру, а для всего сущего и мыслимого требует проверки. Одобряет Томаса Мора: зело восхищен его Утопией – страну равных и добродетельных, а также стихами, каковые начал переводить.

– С аглицкого? – обрадовался посол. – Пускай, пускай едет! Сгодится нам.

– Попа не нужно, а попovichа возьмем, – засмеялся Александр. – Что перевел из Мора, захватил бы. Мне любопытно.

– Коли меня не будет, ты примешь пииту.

Веселость слетела с лица Александра. Ясен намек в словах отца.

Недуги донимают Бориса все злее. С привычной аккуратностью он ведет им учет. «Стужа в желудке», «опухоль и чернь на ногах»... Отмечает лечебные процедуры – «питье молока ишачьего», «подкуривание», «растирание горячей салфеткой» и некоей «белой мазью голландской».

Между тем ответ посла в Гааге получен. Попович Василий ТрEDIAковский, искатель знаний, в путь собрался скоро. Последний раз похлебал шей на графской кухне, уложил в котомку чистую рубаху, иголку с ниткой, хлеба с салом, книги, тетради. Скуповатый Головкин сунул ему горсть медаков. Избавился от блаженного книгочия, от своевольника, не уважающего посты.

А Василию мерять ногами версты не впервой. Шагает астраханец берегом канала к Делфту, напевает песенку, сочиненную еще в Москве, перед отбытием в чужие края:

Весна катит,  
Зиму валит...

Тюльпаны давно сняты, скинула земля цветные сарафаны, лежит черная, голая. Спелое лето лучится в водах. Да ведь не выкинешь слово из песни. Ведет хорошо, ногам помогает, – с ней не оступишься.

Взрыты брозды.  
Цветут грозды,  
Кличет щеглик, свищут дрозды...

Не ведает астраханец, что в Париже, в доме российского посла, сидит нотариус, скрипит пером.

«5 августа 1727 года... Я застал господина Бориса князя Куракина сидящим в кресле у камина, против окна, открытого в сад».

Улыбается Борис, видя, как стряпчий нагрузился бумагой. Здесь ему и трех листов достаточно – для завещания, для описи владений.

«Министр царя Российской империи, личный советник Кабинета Его Величества, генерал-майор и гвардии подполковник, кавалер ордена святого Андрея...»

Дивно французу. Титулов, званий на полстраницы, а живет знатный москвит не по-княжески. Заставил ехать на левый берег, плутать в дебрях Латинского квартала. Вельможи парижские, те предпочитают селиться поближе к Пале-Роялю. Что за охота послу обитать рядом с Сорбонной, с Академией художеств, среди публики шумной и развязной, которая ни во что не ставит старших, не боится ни бога, ни короля!

Мэтр Перишон явно кажет недоумение, посапывая и шевеля дряблыми губами. Плетет старческие каракули, косится на небогатое убранство «рабочего салона». На стенах не гобелены – бумага печатная. «Занавески лимонного цвета», «конторка с двумя досками»... Книг нотариус насчитал сто пятьдесят – «исторических и прочих».

В гостинной записал «короб с хирургическими инструментами» – к услугам врачей, часто посещающих князя. И коллекцию медалей, числом тридцать девять. Вгляделся, приписал почтительно: «изображают деятельность царя».

Перешли в столовую. Тут москвит позаботился о декоруме, – не пышно, но, по крайней мере, модно. «Китайская живопись на бумаге», покрывающая стены, «китайское кабаре» – столик для чайного прибора и ликеров, «48 китайских мелочей». Есть серебряная посуда и пять табакерок для гостей – из агата и янтаря.

Из столовой дверь в залу, обитую пунцовым бархатом. Кресла... Боже, неужели тринадцать! Перишон не смог вывести страшную цифру. Кстати, одно кресло оказалось крупнее других, с высокой резной спинкой, – нотариус поместил его в списке отдельно. Назвал трон, соответственно рангу клиента. В углу залы – «клавесины фламандской работы». И больше ничего, достойного внимания. Может быть, князь прячет... Борис уловил вопрос в глазах стряпчего и ликует внутренне.

Знал бы француз, какие сокровища, заказанные Санктпитебурхом, прошли через руки посла! И не прилипли к рукам...

Царь учил остерегаться роскоши, яко болезни. Дивись, мэтр, дивись тому, что русский князь не украсил жилище свое статуями из мрамора, драгоценными картинами, не накопил золота и камней!

«В вестибюле фламандский ковер». И кроме него ковров нет, – дотошный стряпчий может убедиться.

«Портреты царя и царицы», – заносит мэтр бегло, в ряд с прочим, и Бориса невольно покорило. Заветные парсуны, дороже всего они.

Спустились на кухню. В описи прибавились «формы – для сыров», «скалки для раскатывания шоколада», «японский фарфор», «вазочки для засахаренных фруктов». В подвале «шестьсот бутылок вина и бочка бургундского», – стало быть, славнейшего во Франции. Перишон выбор москвита одобрил. Завершили список «две кареты, по семь стекол в каждой, и берлина с тремя, маленькая». Стоящей отделки на экипажах мэтр не нашел.

Вернулись в кабинет. Из сафьянового бювара извлечен свежий лист. Как намерен его светлость распорядиться?

Наследник один, единственный. Все ему – Александру, сыну, имущество и деньги, хранящиеся у банкиров. Под диктовку москвита нотариус пишет условие – сын должен построить в Москве Дом призрения для больных и увечных воинов.

Это воля не только Бориса. Подал мысль звездный брат, посетив в Париже Дом инвалидов, посидев за чаркой в кругу старых вояк.

Александр сделает. Поклялся отцу...

Бумаги готовы. Поставлены подписи, – мелкое хитросплетение Перишона, широкие, в манере прошлого века, вензеля Бориса Куракина. Отпустив нотариуса, он ревностно взялся за дела, дабы отогнать гипохондрию и меланхолию.

Был вчера полезный разговор в Пале-Рояле с министрами. Пророчат трактат между Францией, Англией, Испанией и цесарем римским. Король Георг умер, сие облегчает упрочение мира в Европе. Также и Россия рассчитывает теперь достигнуть доброго согласия с англичанами.

«И всю сию оперу при помощи божеской надеемся увидеть в свое время».

Донесение в столицу на Неве. Одно из последних...

Странник, бредущий в Париж с котомкой книг, Бориса Куракина в живых не застанет.

Путь астраханца, однако, счастливый. В доме Александра Куракина он встретит радушие. Откроются ему врата Сорбонны – преважнейшего храма наук. Наступит поворот в судьбе пииты – через три года в Санктпитебурге, иждивением молодого посла, напечатают книгу Василия Третьяковского «Езда в остров Любви». Быть ему профессором Академии наук, а во мнении потомков – зачинателем русского лирического стихотворчества.

Покамест же Василий месит постолами дорожную грязь. Пропитания ради трудится неделю-другую у купца в лавке либо у справного мужика на скотном дворе. Складывает вирши

на разных языках, тешит полнотелых, смешливых хозяйских дочерей.

Платят бродяге мало. Кафтан прохудился, насквозь продут ветром. Тяжелые тучи кроют небо, проливаются дождями. Нипочем пиите! Бодрит себя мыслью о том, как станет слушать в университете Шарля Роллена, знаменитого историка. Сам из простых, сын ножовщика, – так неужели не возьмет в ученики поповича!

Устанет шагать, заводит песню:

Взрыты броды,  
Цветут грозды,  
Кличет щеглик, свищут дрозды...

Прошел Роттердам, прошел Антверпен, пересек Брабант. Лето тем временем окончилось. Вдулись реки, заставили искать прибежище в Льеже, наняться к трактирщику. На землю французскую вступил в октябре.

Злой норд-вест рвет ветки с деревьев, стелет под ноги путнику. Поспешает он, страшась холодов.

А песню поет весеннюю...

## ОТ АВТОРА

Эпоха Петра, эпоха крутого, трудного исторического перелома, привлекала меня давно. Как бывало не раз, Россия титаническим усилием наверстывала упущенное, в считанные годы выполняла задание столетия.

Но я еще ничего не знал о Борисе Куракине. Прошло много лет, прежде чем я встретил своего героя – замечательного дипломата и, смею сказать, раннего русского просветителя. Встретил, вчитавшись в его дневник, в зале Публичной библиотеки в Ленинграде. И тут не могу не выразить сердечную благодарность сотрудникам библиотеки, которые разыскивали в книжной сокровищнице сотни необходимых мне изданий.

Я раскрыл рукописный учебник морского дела, составленный в Венеции на русском языке несомненно по указаниям Мартиновича, выдающегося навигатора и астронома, обучавшего Куракина и его товарищей.

В тиши читального зала я вызывал из прошлого титаническую фигуру Петра, его сподвижников, его врагов. Обрисовались, за строками записок Куракина, его одаренные помощники из дворовых – Губастов и Огарков.

«Развлечения в Со» писателя Малезье, сочинения мадам Стааль, урожденной Делонэ... Малоизвестные данные разных авторов о Марии Собеской и Толле, о ловкачах аббатах Дюбуа и Альберони... Открывалась мозаика интриг, столь характерная для восемнадцатого века, когда на арену истории дерзко вторгались новые силы, тесня упрямых феодалов, способствуя возвышению абсолютизма.

В библиотеке Латвийской Академии наук я получил обширный материал о герцогстве Курляндском, о заморских его владениях, а в музеях Риги увидел модели его фрегатов.

Варианты и окончательный текст договора «о мире и безопасности в Европе» легли передо мной в Архиве древних актов в Москве. Одна из самых блестящих дипломатических баталий, выигранных Петром при большом участии Куракина.

Я пытался обнаружить в нашей столице какие-нибудь остатки боярского двора Куракиных. Напрасно! По старым планам удалось установить лишь его местоположение. Это недалеко от нынешней площади Дзержинского, приблизительно на улице Кирова.

Свидания с моими героями ожидали меня и за рубежом. Венецианский друг помог мне расшифровать тамошний адрес Куракина – загадочную «Ламбьянку» – и привел к бывшей гостинице «Леоне Бьянко». Здание это, одно из самых старых в городе, стоит на берегу Большого канала. Висит над водой балкон, правда сменивший былое узорочье на типовую железную ограду. Борис мог видеть налево мост Риальто, а почти напротив – Рыбный рынок. Уцелели лепные гербы «Ламбьянки», оставленные вереницей владельцев, широкий арочный

подъезд, где Борис подзывал гондолу, чтобы ехать к Франческе.

Потом я поднялся на горбатый мост Академии. Передо мной – небольшое трехэтажное палаццо. На бурой плоскости стены отчетливы точеные столбики балконов, нежная ткань перилец, – почерк патрицианской Венеции. Шепот влюбленных влился в него и застыл. Здесь, как полагают мои друзья, обрел обитель тот необыкновенный «амор».

В Париже я искал последний адрес Куракина. Бродил по левому берегу Сены, где улочки сохранили буйную первозданность планировки, ту старинную вязь, которую так увлекательно распутывать.

Колокол древнего аббатства Сен-Жермен де Пре шлет навстречу жесткие аскетические звоны. А толпа молодеет. Из ренессансных ворот Сорбонны выплескивается ватага студентов. Это Латинский квартал, несомненно юная часть Парижа, перекресток призваний. Куда ни направишь стопы – очаг наук или художеств. Факультет Сорбонны, Школа изящных искусств, Ботанический сад, театр на площади Одеон, издавна облюбованной комедиантами...

Узкая, глухая улица Жакоб, улица мелкой и пестрой торговли, тесных закусокных, фруктовых лотков. И книжных развалов, где счастливцев, сияя, выуживает потрепанный том, служивший поколениям. И вот продолжение ее – Университетская. Выставки-салоны с опусами начинающих живописцев, витрины конфекциона. Мушкетерские сапоги с раструбами, джинсы с готовыми заплатами, ожерелья из ракушек – новинки молодежной моды, которая и во второй половине двадцатого века, как при Куракине, дразнит старших.

Где-то тут, близко...

Хмуρο усталился серый, безликий пятиэтажный дом, тупо равнодушный к искателю.

Только на плане времен Регентства обнаружил я смутные очертания скромной постройки с угловой башенкой. Под окнами – черные клубочки подстриженных деревьев.

Работники Библиотеки истории города Парижа радовались этой находке вместе со мной. Спасибо им! Спасибо сердечное также служащим Национального архива Франции, – немало труда стоило им отыскать в Фонде нотариусов бумаги, составленные мэтром Перишоном.

Александр Куракин выполнил заветы отца. Василий Третьяковский благодарил его за «отеческую и щедрую милость» в предисловии к «Езде в остров Любви», выпущенной в Санктпетербурге в 1730 году. Молодой дипломат поддержал Антиоха Кантемира, начавшего перевод вольнодумных «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля. Трактат этот, опубликованный в 1740 году, был позднее, при Елизавете, запрещен как несогласный с учением церкви.

Злоба дня, давно ушедшего...

Но события, потрясшие Европу два с половиной столетия назад, не безразличны нам, ибо человечество ничего не забывает. Суд истории не знает срока давности.